ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

6

1982

6 НОВЫЙ МИР 1982

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г. № 6 Июнь, 1982 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Ш. РАШИДОВ — **Великое братство народов** 3

ИЗ ПОЭЗИИ УЗБЕКИСТАНА — **Уйгун, Аскад Мухтар, Мухаммад Али, Зульфия, Эркин Вахидов, Рамз Бабаджан, Раим Фархади, Жиенбай Избасканов** (с каракалпакского). Перевели Александр Наумов, Раим Фархади, С. Северцев, Александр Файнберг, Альберт Налбандян 9

ИОН ДРУЦЭ — **Белая церковь,** роман 15

ВЛАДИМИР КАРПОВ — **Полководец,** документальная повесть. Окончание 65

ИЗ ПОЭЗИИ УЗБЕКИСТАНА — **Джуманияз Джаббаров, Тураб Тула, Гульчехра Джураева, Абдулла Арипов, Аман Матчан, Шухрат, Шукрулло, Мирмухсин, Хикметулла Аимбетов** (с каракалпакского), **Мухаммад Рахманов, Самариддин Сирожиддинов, Х. Даврон, Шукур Курбанов, Шавкат Рахманов.** Перевели Раим Фархади, С. Северцев, Римма Казакова, Евг. Евтушенко, Юлия Нейман, Н. Габриэлян, Альберт Налбандян, Г. Резниковский, Сабит Мадалиев 154

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН — **Потоп,** роман. Продолжение. Перевела с английского Е. Голышева 163

ПУБЛИЦИСТИКА

ЮРИЙ АЗАРОВ — **Самое человечное.** Записки о нравственном воспитании 193

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Д. ТЕВЕКЕЛЯН — **Сотри случайные черты.** Окончание 216

ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ — **Человек за письменным столом.** По старым записным книжкам 235

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 246

Светлана Соложенкина. Современность современного.

В. Оскоцкий. «Строки поэтов живут века...».

Сергей Чупринин. Ясным светом.

Н. Эйдельман. Вклад в пушкиниану.

Политика и наука 260

Р. Баландин. От освоения к взаимодействию.

Лев Филатов. Игра для всех.

КОРОТКО О КНИГАХ:

Б. Брайнина.— Цвет абрикоса. Повести и рассказы армянских писателей в переводах С. Хитаровой. ✦

Лидия Мешкова.— Наталья Соколова. Осторожно, волшебное! Сказка большого города. Роман. ✦

Владимир Осинин.— Виктор Федотов. Позднее признание. Стихи. ✦

Вл. Котовсков.— Часть общепролетарского дела. Литературная критика в дореволюционных большевистских изданиях. Русская советская литературная критика (1917—1934). ✦

С. Овчинникова.— Рина Зеленая. Разрозненные страницы. ✦

Юрий Давыдов.— Е. И. Меламед. Джордж Кеннан против царизма ✦

А. Белорусец.— Фантастика-81 266

ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КОСОЛАПОВА 271

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 272

© Журнал «Новый мир», 1982.

Ш. РАШИДОВ,

кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС,
первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана

★

ВЕЛИКОЕ БРАТСТВО НАРОДОВ

С радостным настроением встречают трудящиеся Узбекистана славную годовщину образования СССР — большой и светлый праздник нерушимой дружбы и братского единства наших народов. В эти дни мы с гордостью обозреваем и осмысливаем весь шестидесятилетний путь, пройденный первым в мире единым многонациональным государством рабочих и крестьян. Начало этому пути положил, как известно, I съезд Советов СССР, собравшийся в Москве 30 декабря 1922 года, который рассмотрел и утвердил Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Это был истинный триумф национальной политики нашей партии, конкретное воплощение идей Владимира Ильича Ленина, принципов пролетарского интернационализма.

С тех пор наша страна под руководством КПСС, благодаря стремительному социально-экономическому развитию превратилась в мощную державу с высокоразвитой промышленностью и сельским хозяйством, передовой наукой, техникой и культурой.

С вершины шестидесятилетия особенно ярко видны достижения братских советских республик, каждую из которых сегодня характеризует подлинный расцвет. «На собственном опыте,— говорится в постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик»,— народы Страны Советов убедились: сплочение в едином союзе умножает их силы, ускоряет социально-экономическое развитие. Мы вправе гордиться тем, что в общем строю с трудящимися всех наций страны народы бывших национальных окраин, обреченные прежде на вековую отсталость, уверенно шагнули в социалистическое будущее, минуя капитализм, и достигли высот социального прогресса. В совместной борьбе за новый, справедливый мир возникли великое братство людей труда, чувство семьи единой, сложилась нерушимая ленинская дружба народов — неисчерпаемые источники созидательного творчества масс».

Да, только в единой, дружной семье братских народов узбекский народ, ведомый партией коммунистов, смог добиться успехов в хозяйственном и культурном строительстве, неузнаваемо изменить облик своей земли, своих городов и кишлаков, на высокий уровень поднять свою культуру.

Что представлял собой дореволюционный Узбекистан? Это был край патриархальных устоев с господством феодального способа производства, с несколькими десятками полукустарных предприятий и обнищавшим дехканским хозяйством, край с неграмотным населением и полным бесправием трудового народа.

Ныне это суверенная советская республика с прочно утвердившимися социалистическими производственными отношениями, мощ-

ной индустрией, насчитывающей 1600 крупных предприятий, высокомеханизированным сельским хозяйством. Приведу один пример, имея в виду, что энергия — это хлеб экономики. Если в дореволюционном Узбекистане общая выработка всех электростанций не превысила 3,5 миллиона киловатт-часов энергии в год, то в минувшем году в республике было произведено 35,4 миллиарда киловатт-часов!

Узбекистан теперь республика сплошной грамотности с широкой сетью школ, вузов и научных учреждений, с бесплатной и доступной для всех медицинской помощью, республика, в которой единой семьей проживают представители более 100 национальностей и народностей, спаянных неразрывными узами братской дружбы и общностью коммунистических идеалов.

В 1917 году лишь один человек из местного населения (впервые) получил высшее образование, окончив Петербургский университет. А в прошедшем 1981 году в народное хозяйство республики было направлено более 45 тысяч человек с высшим образованием, а всего почти 114 тысяч специалистов.

Иногда можно услышать скептические реплики: сколько, дескать, можно сравнивать сегодняшний советский Узбекистан с дореволюционным? Мне кажется, эти сравнения необходимы, потому что поучительны, они дают наглядное представление, чего мы достигли в условиях социалистического строя, благодаря животворной силе интернационального братства народов нашей страны. Без этого братства такие разительные перемены во всех сферах жизни узбекского народа были бы просто невозможны.

То, что представляет собой сегодняшняя действительность Узбекистана, как и соседних братских республик, за рубежом нередко называют чудом. Может быть, для кого-то это и так, но мы-то знаем, что чуда здесь никакого нет. Наши успехи — это результат не только самоотверженного труда рабочих, колхозников, интеллигенции Узбекистана, но прежде всего героических усилий всего советского народа. Все наши достижения стали возможны благодаря социалистической взаимопомощи трудящихся всех народов СССР, благодаря их нерушимой политической, социально-экономической и идейной общности.

Благодаря великой силе братского сотрудничества и бескорыстной помощи советских народов были воздвигнуты на узбекской земле такие индустриальные центры и новые города, как Чирчик и Янгиер, Ангрен и Навои, Алмалык и Зарафшан, Тахиаташ и Мубарек, Талимарджан и Шаргунь, проложены гигантские газопроводы Бухара — Урал и Средняя Азия — Центр, возрождены к жизни сотни тысяч гектаров в Голодной, Каршинской и Джизакской степях, построены гигантские водохранилища и каналы, проложена железнодорожная магистраль Кунград — Бейнеу, заново отстроен после землетрясения Ташкент.

В жизни нашего народа, как старший брат в судьбе младшего брата, сыграл огромную роль русский народ. Помощь его сказалась не только в развитии промышленности и сельского хозяйства, но и благотворно повлияла на развитие и становление нашего самобытного национального искусства и литературы, науки и просвещения. Все это наглядно свидетельствует о неразрывной дружбе всех народов, о том, что все большие и малые задачи народы нашей страны привыкли решать сообща. Это стало традицией, это вошло в плоть и кровь советских людей.

Со своей стороны Узбекистан, как и каждая из советских республик, вносит свой весомый вклад в развитие единого народнохозяйственного комплекса нашей страны, в освоение топливно-энергетических и сырьевых богатств Сибири, Дальнего Востока и Севера, строительство БАМа, развитие Нечерноземья.

Трудящиеся республики с чувством исполненного долга завершили десятую пятилетку. Дополнительно к плану реализовано продукции более чем на полтора миллиарда рублей. Объем производства за пятилетие возрос на 27,4 процента. Среди новостроек десятой пятилетки — ковровый комбинат в Хиве, фарфоровый завод в Кувасае, первая очередь Андижанского текстильного комбината, Папская фабрика нетканых материалов, новые мощности по производству пряжи на текстильном комбинате в Бухаре, шелковых тканей в Намангане и Маргилане, чулочно-носочных изделий в Коканде, по выпуску минеральных удобрений в Алмалыке и Самарканде, производству триацетилцеллюлозы в Фергане, каторана в Навои и капролактама в Чирчике. Всего около 100 крупных промышленных предприятий и производств, имеющих большое общегосударственное значение и отвечающих современным требованиям научно-технического прогресса.

Бурными темпами развивалось и сельское хозяйство. Особенно мощное ускорение набрала его ведущая отрасль — хлопководство. В общесоюзном разделении труда и в рамках содружества социалистических стран Узбекистану отведена роль главного производителя хлопка. Поэтому земледельцы, все трудящиеся республики рассматривают непрерывное увеличение производства хлопка как свою важнейшую задачу, как свою первейшую патриотическую обязанность и интернациональный долг.

В истекшем пятилетии колхозы и совхозы республики продали государству 28,5 миллиона тонн хлопка — на 4 миллиона тонн больше, чем в девятой пятилетке. В завершающем году десятой пятилетки мы впервые перешагнули шестимиллионный рубеж по производству хлопка-сырца, причем машинный сбор достиг 4 миллионов тонн. Было произведено также более миллиона тонн зерна кукурузы и полмиллиона тонн риса. Производство плодоовощной продукции достигло 5 миллионов тонн, шелковичных коконов — 30 тысяч тонн. Это безусловно весомый вклад наших земледельцев в экономику и продовольственные ресурсы страны.

Героическим трудом советских людей в Узбекистане за этот период было освоено почти 500 тысяч гектаров веками пустовавших земель, а для более надежного обеспечения водой орошаемых земель и земель нового освоения в республике построены Чарвакское и Андижанское водохранилища, а также первые очереди Талимарджанского и Туямуюнского.

Наши успехи в десятой пятилетке отмечены высшей наградой отчизны — орденом Ленина.

Стремясь развить и приумножить достигнутое, Узбекистан взял уверенный старт в одиннадцатой пятилетке, главной задачей которой партия провозгласила рост благосостояния советских людей. Досрочно выполнены задания минувшего года промышленностью республики, большая и напряженная программа осуществлена в строительстве. Перекрыт план по добыче угля, производству хлопкоуборочных и прядильных машин, тракторов и тракторных прицепов, бельевого и верхнего трикотажа, шелковых тканей, цельномолочной продукции.

Опережающими темпами развивалась газовая, химическая и нефтеперерабатывающая промышленности, рост продукции которых составил 10,5 процента. Производство товаров народного потребления возросло на 7,5 процента. Сегодня свыше 1600 наименований промышленных изделий, выпускаемых в республике, удостоены государственного Знака качества.

В строй действующих вступили такие крупные предприятия, как производство серной кислоты на Алмалыкском химическом заводе, новые мощности Алмалыкского горно-металлургического комбината, Мубарекского газоперерабатывающего комплекса. Введены очередные блоки Сырдарьинской и Навоийской ГРЭС. Сданы в эксплуатацию первая очередь Джизакской хлопкопрядильной фабрики, масло-

экстракционный завод в Касане, хлебозавод в Карши, молочный завод в Чирчике, новые производственные мощности на Андижанском, Бухарском и Ферганском текстильных комбинатах, Маргиланском объединении авровых тканей «Атлас».

В прошлом году освоено 89 тысяч гектаров новых земель.

Настоящий подвиг совершили хлопкоробы. В крайне неблагоприятных погодных условиях они перевыполнили взятые социалистические обязательства и второй год подряд выращивают более 6 миллионов тонн сырца. Произведено около 390 тысяч тонн тонковолокнистого хлопка — на 30 тысяч тонн больше, чем в 1980 году.

Колхозы и совхозы успешно справились с планами заготовок картофеля, овощей, бахчевых, фруктов и винограда, кенафа, коконов, каракульских шкурок и другой продукции ферм и полей. План производства зерна выполнен на 126 процентов. Государству продано 1,3 миллиона тонн — на 400 тысяч тонн сверх плана и более чем на 300 тысяч тонн выше уровня 1980 года. Производство мяса увеличилось против 1980 года на 8 процентов, молока — на 5, яиц — на 8,6 процента.

Мы очень гордимся тем, что за достижение высоких результатов во всесоюзном социалистическом соревновании, успешное выполнение государственного плана экономического и социального развития на 1981 год Узбекская ССР девятый раз подряд удостоена переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

В марте этого года в Ташкенте при вручении республике ордена Ленина Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев отметил, что награда эта — «итог больших трудовых усилий, нелегким трудом завоеванных побед». Вместе с тем Леонид Ильич призвал нас не зазнаваться, быть самокритичными, сосредоточиться на нерешенных проблемах, недостатках и упущениях, которых у нас еще немало.

И мы отлично понимаем, сколько нам еще надо трудиться, чтобы способствовать дальнейшему подъему всех отраслей народного хозяйства и интенсификации производства, совершенствовать методы управления экономикой, системы планирования и экономического стимулирования.

Как верно отметил в своей речи товарищ Брежнев, у нас наблюдается снижение в заготовках хлопкового волокна доли первых сортов. Мы очень обеспокоены этим и к концу пятилетки намерены выправить положение. Согласны мы и с тем, что некоторые наши промышленные предприятия работают с неполной нагрузкой, хотя в республике в целом имеется избыток рабочей силы, и с тем, что подготовленные специалисты используются у нас нередко не должным образом. Повышение использования производственных мощностей, рабочего и интеллектуального потенциала становится для нас сейчас одним из самых важных участков работы. При этом мы намерены согласно указанию Леонида Ильича Брежнева и впредь расширять участие республики в крупнейших новостройках страны.

Наряду с огромными социально-экономическими преобразованиями за годы советской власти в Узбекистане развилась и расцвела новая культура — социалистическая по содержанию, национальная по форме. Узбекистан, как отметил в своей речи товарищ Брежнев, сумел «обогатить свою культуру достижениями современной цивилизации, духовными ценностями социализма, опытом других братских народов».

Узбекская советская литература в своем становлении в лице своих выдающихся представителей Хамзы Хаким-заде Ниязи, Айбека, Гафура Гуляма, Хамида Алимджана, Уйгуна, Зульфии, Камиля Яшена стремилась способствовать строительству нового, социалистического общества, выступала страстным пропагандистом идей интернационализма, классового единства трудящихся масс, тесного сплочения со-

ветских народов. Творчество их питалось и обогащалось идеями и опытом выдающихся представителей русской советской литературы Максима Горького и Маяковского, Шолохова и Фадеева, Николая Тихонова и Алексея Толстого.

Литература социалистического Узбекистана существует как равноправная часть многонациональной советской литературы и плодотворно обогащается духовными ценностями других братских литератур. Благодаря этому она становится богаче как в тематическом, так и в жанровом отношении. До революции в нашей литературе почти безраздельно господствовали традиционные сюжеты и темы, в основном были распространены поэтические жанры. В советский же период благодаря влиянию других литератур, особенно русской, успешно осваиваются новые тематические и художественные сферы, в частности прозаические жанры — рассказ, очерк, повесть, роман. Расцветает и драматургия, создан свой национальный театр.

Говоря о становлении и развитии узбекской советской литературы, наши писатели всегда помнят о той братской помощи, которую оказали нам русские мастера слова. Приезды в нашу республику замечательных советских писателей Алексея Толстого, Тихонова, Леонова, Луговского, Фурманова обогатили наших писателей художественным мастерством, помогли овладеть методом социалистического реализма.

Произведения узбекских советских писателей, пронизанные духом пролетарского интернационализма, входя составной частью в многонациональную советскую литературу, в то же время не утратили национальных черт и традиций. Развивая эти традиции, отражая национальный характер, литераторы республики показывают и то новое, что вошло в жизнь нашего народа за шесть десятилетий существования Советского Союза.

Бок о бок, плечо к плечу с представителями других народов сыновья узбекского народа сражались на фронтах гражданской и Великой Отечественной войн, активно участвовали в строительстве социализма, осваивали целинные просторы, осуществляли научно-техническую революцию, и все это находило и находит достойное отражение в нашей литературе. Тема гражданской и Отечественной войн и сегодня остается в нашей литературе одной из ведущих. И это не случайно — борьба за советскую власть, за социализм знаменует коренной поворот в истории нашего народа, и благодарные потомки должны знать, какой дорогой ценой завоевано счастье для людей.

Писатели создают произведения о том, как сформировался и вырос в Узбекистане рабочий класс, как создавались первые колхозы и совхозы. Наша литература стремится отразить жизнь сегодняшнего рабочего и земледельца, вооруженных современными методами хозяйствования, последними достижениями науки и техники.

В нашей литературе получили отражение народные стройки предвоенного и военного времени. Сегодня в республике тоже ведется строительство, только с еще большим размахом и при еще более активном участии представителей разных национальностей. Сегодняшние строители — это люди технически грамотные, владеющие сложнейшими и мощными машинами и индустриальными методами, в то время как в руках участника народных строек 30-х годов были кетмень, лопата, тачка, носилки. Но в преданности делу строительства социализма и коммунизма между участниками тех давних и нынешних строек нет различия. Это, конечно, не означает, что тема народных строек в нашей литературе достаточно исчерпана. Напротив, она продолжается, наши писатели уделяют ей все более пристальное внимание, ибо эти стройки, развертывающиеся во всех братских республиках, собирают людей со всех концов нашей многонациональной родины и становятся школой интернационализма, кузницей дружбы тружеников различных наций.

По нашей литературе, отражающей весь ход социалистического строительства, можно во всей полноте проследить и те огромные изменения, которые происходят в духовном мире нашего человека. Произведения Айбека, Гафура Гуляма, Хамида Алимджана, Шейх-заде, Уйгуна, Камиля Яшена, Зульфии, Назира Сафарова, Михаила Шевердина, Александра Удалова, Рахмата Файзи, Аскада Мухтара, Мирмухсина, Хамида Гуляма, Саида Ахмада, Владимира Тюрикова, Рамза Бабаджана, Ибрагима Рахимова, Ульмаса Умарбекова, Эркина Вахидова, Мухаммада Али, Абдуллы Арипова и других отражают образ нашего современника во всей его полноте и динамике.

В наше время научно-технический прогресс стремительно наращивает темпы, изменяет быт и условия жизни людей, и все это неизбежно сказывается на развитии народного характера. Вполне естественно считать, и это достаточно ярко видно на примере лучших произведений нашей литературы, что люди 30-х годов отличаются от людей 40-х и 50-х и люди 60-х годов — от представителей 70-х. Разница видна и наглядно прослеживается на примере не только представителей разных поколений, но и отдельно взятой личности. Человек идет в ногу с быстротекущим временем, постоянно меняется под его влиянием. Это очень сложный и интересный процесс, на который чутко реагирует наша литература.

Социалистическая действительность, высокие темпы развития нашего государства дают советской многонациональной литературе богатейший материал для глубоких социально-психологических исследований, размышлений и предвидений, без чего вообще не может существовать литература социалистического реализма. Все сказанное, разумеется, относится как к советской литературе в целом, так и к узбекской. Узбекистан до революции был одной из самых отсталых окраин царской России, и ему, чтобы преодолеть эту отсталость как в экономической, так и в духовной сфере, пришлось в своем социалистическом развитии прилагать больше усилий, решительно отказываясь от старых понятий и представлений, отживших норм в человеческих взаимоотношениях и религиозных верований. И сегодня мы можем сказать, что узбекский народ с этой задачей успешно справился и немалая заслуга в этом принадлежит узбекской советской литературе.

Предстоящий юбилей Союза Советских Социалистических Республик подобно солнцу ярко высвечивает торжество ленинской национальной политики партии, плодотворную силу дружбы и сплоченности, взаимопомощи и тесного сотрудничества всех братских союзных республик, которые делают нашу многонациональную родину могучей и непобедимой.

Курс ленинской партии, выработанный XXVI съездом КПСС,— это курс наращивания материального и духовного потенциала каждой республики, и люди советского Узбекистана видят свой первейший патриотический и интернациональный долг в том, чтобы из года в год умножать вклад республики в общенародное дело строительства коммунизма.

ИЗ ПОЭЗИИ УЗБЕКИСТАНА

★

УЙГУН

Из дневника

... Все ясней весенние приметы.
Недоступный ближе окоем.
Лайнер перечеркивает небо,
солнечным согретое огнем.
До чего мала она, планета,
на которой нынче мы живем!
Да, мала... а нам на ней не тесно.
Дали все до краешка видны:
все в них есть и нету только места
для кровопролитья и войны!
Наши птицы вдаль летят, кочуя.
Общих благ хранит земля запас...
Слышу, перечитываю, чую:
мы за мир —
и, значит, мир за нас!

Перевел АЛЕКСАНДР НАУМОВ.

АСКАД МУХТАР

Неизвестный солдат

Подвиг — не зрелище.
Подвиг — безвестная битва,
у которой свидетелей нет,
и ты остаешься один
в окопе, на лодке, затерянной в море,
перед лицом работы, которую
невозможно ни с кем разделить,
перед безумием быта,
перед смертным кошмаром болезни,
наедине с долгом или бедой...

Подвиг — он как заря,
что рождается за горизонтом,
когда незримое солнце
совершает свой труд созидания дня,
но сгорающий диск
еще никому не виден
и только свет
уже разгоняет тьму.
Понимают ли это те,
что идут сегодня с цветами
к вечному пламени
над неизвестной могилой?
Всякий подвиг безвестен.
Он не зрелище,
он невидимое сраженье.
Рано иль поздно каждый из нас —
неизвестный солдат.

Перевел АЛЕКСАНДР НАУМОВ.

МУХАММАД АЛИ

Саз

Сколько струн у саза моего —
Сам о том не ведаю порой...
Вот сейчас он стонет отчего?
Тайну струн, любимая, открой!
Иногда он — бурная река,
Из теснины рвется на простор.
Иногда — пустынная тоска,
Эхо посреди скалистых гор.
Ты уйдешь неведомой тропой,
След твой потеряется вдали...
Саз в глубокой полночи глухой,
Как Меджнун, заплачет о Лейли.
Сколько у него порвалось струн
В дни разлук и в дни лихих невзгод!

Сколько на земле сменилось лун,
Сколько новых лун еще взойдет!..
Но любовь, звучащая струна,
Выручит меня в который раз.
И покуда в мире есть она,
Будет петь благословенный саз.
Сколько струн...
Но самый чистый звук,
Если дума о тебе, мой брат,
Мой советчик, мой отважный
друг,
Как тебя я вновь увидеть рад!
Где б ты ни был — близко,
далеко,
Образ твой всегда передо мной.
Саз поет беспечно и легко,
Лишь вернемся мы в кишлак,
домой.
На пороге повстречает мать,
Трепетной рукой обнимет нас.
Я хочу так целый мир обнять —
Чтоб запел тысячеструнный саз!
Звон капели, колыханье трав,
Грохот волн, что бьются
о причал,
Радости и боли — все вобрав,
Я хочу, чтоб вечно он звучал.

Самая заветная струна
О любимой матери поет,
О тебе, родная сторона,
О тебе, могучий мой народ.

Перевел РАИМ ФАРХАДИ.

ЗУЛЬФИЯ

Садовник

Старый садовник с утра в саду,
Весь мир остальной забыла душа.
В руке поблескивает секатор,
За пояс цветной заткнута теша [1].
Все видит старик:
От больших деревьев
До прошлогодних сухих стеблей.
Все примечает он: влагу, и солнце,
И ветер, и бабочек, и червей.
Все есть в саду,
Но одно — для пользы,
Для пищи корням, цветам, деревцам,
Другое — для яркости и аромата,
На радость людским глазам и сердцам,
А третье — лишь корни живые грызет,
И рад красоте аксакал-садовод,
А с жадным и злобным
Войну ведет.
Тешой обрубая иссохшие корни,
Цветник очищая от гнили злотворной,
Тропу он прошел из конца в конец,
Свой сад создавая, как скульптор упорный,
Заботясь о нем, как мудрый отец.
Весь сад осмотрел терпеливо, серьезно,
Потом подошел к расцветающим розам —
К снежным и пламенным их кустам,
Стал их срезать, не спеша выбирая,
То отстраняясь, то приближая
Каждый цветок к стариковским глазам,
А розы, омытые свежим утром,
Блистали рубином, огнем, перламутром,
Струя тончайший свой фимиам.
К супе [2] подошел, расстелил свой пестрый
Шелковый пояс, охапку цветов
На нем разложил, отобрал только лучшие —

[1] Теша — садовый топорик с лезвием, насаженным поперек топорища.
[2] Супа — глиняное возвышение или деревянный помост, на котором сидят, пьют чай, едят, отдыхают.

Самые нежные, свежие, жгучие,
И наконец, многоцветен и ярок,
Наверно, на свадьбу — невесте в подарок,
Букет из отборных цветов готов.
Как старый художник, довольный портретом,
Идет, улыбаясь, садовник с букетом,
И словно помолодел наш дед:
Его искусства, труда и чувства
Дар этот пышный не будет лишним
В руках, что получат этот букет!..
...Таков и поэт: свой сад сокровенный
Растит он из лучших цветов вселенной,
Из мук и надежд всей жизни своей,
Жжет сорняки да сухие ветви,
Цветы своих дум собирает в соцветья,
Но скажет ли он хоть на склоне дней:
«Сумел я собрать свой букет настоящий —
Как жемчуг, всей радугой жизни горящий!»

Перевел С. СЕВЕРЦЕВ.

ЭРКИН ВАХИДОВ

Вокзал

Загрустив душою беспокойной,
вспомнил я в постылой тишине,
что вовек покою непокорный
есть вокзал. И он поможет мне.
Я иду к вокзалу на свиданье,
к жизни, что всегда бурлит рекой
в суматохе встреч и расставаний,
в радости и горести людской.
Здесь перемешались смех и слезы.
Жизнь вокруг, но не узнаешь ты —
то ль трубят о счастье тепловозы,
то ль протяжно стонут от беды.
Люди в мире чувств плывут как могут.
Плыл и я. Но так и не узнал,
как в себя вместил такое море
этот старый маленький вокзал.

Померкшие звезды

В окно мое, таинственно мерцая,
глядит звезда, которой больше нет.
Зачем она, пространство разрезая,
блуждала в небе миллионы лет?
Зачем она лучом своим пронзает
весенние ночные облака?
Зачем она, погаснув, продолжает
лить свет в мои глаза через века?
О чьей судьбе она напоминает?
Чье имя светит ярко, как звезда?
Великие, склоняюсь перед вами.
Ваш свет во мне не гаснет никогда.
Плачь, жизнь,— моя единственная песня.
Тебя не повторить, не воскресить.
Но льется свет. И все прекрасно, если,
погаснув, продолжаешь ты светить.

Секунды

Живем легко, секунд не замечая.
Смеемся у беспечности в плену.
А маятник — он головой качает,
беспечность эту ставя нам в вину.
Он словно говорит нам: «Будет поздно.
Спешите за секундою любой.
Всему свой срок. И не пришлось бы после
жалеть о них, качая головой».

Перевел АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ.

РАМЗ БАБАДЖАН

Памяти Гафура Гуляма

Того молодого узбека,
насмешника и ворчуна —
когда она только успела
узнать и увидеть, страна,
что обликом смуглым чеканным
и голосом проливным
знаком он и красным чайханам
и станам
глухим полевым?..
Ведь был он простецкой породы,
ничуть не важней, чем они —
ферганские хлопкоробы,
тамдынские чабаны.
Права на него заявляла
ташкентская махалля,
сухая земля Яз-явана,
седого Сурхана поля...
Доподлинно знавший, чем дышат
и в поле и в доме простом,
он был выразителем тысяч,
их голосом и лицом.
Алмазом, в котором дрожали
все отблески огненных лет,
певучей частичкой державы
и всех ее бед и побед!..
И с нею, что счастья дороже,
и с нею, как свет, дорогой,
одною шагал он дорогой
и ведать не ведал другой.
Седины предостерегали,
но дух неуемный — не стих.
Был старцем он со стариками,
но юношей меж молодых.
Как будто легко и цветисто
сплеталась в душе до конца
с веселою силой артиста
могучая сила певца.
Бессменный глашатай отчизны,
он выше, чем песню и стих,
живое движение жизни
ценил и в себе и в других.
И как он мгновенно и просто,
язвительно и озорно
умел из любого вопроса
вылущивать сути зерно!
И перед толпой ли несметной,
в сени ль виноградных плетей —
порывом, и страстью, и смехом
сплотить воедино людей...
...Где звонкая слава гуляла,
острот расходились круги —
по следу Гафура Гуляма
и мы вымеряли шаги.
Он чувствовал нас за плечами,
даря нам без лишних причуд
то мудрого слова звучанье,
то хитрого глаза прищур.
Он не был напыщенным магом!
Учить ему было с руки
одним — неразменным размахом
своей полновесной строки!
Нещадно торопится время.
Земля продолжает полет.
Не терпит мечта повторенья
и все поспешает вперед.
Где строчками жили твоими —
там новый читатель подрос.
Какое-то новое имя
мелькает с газетных полос.
Но ты нам по-прежнему дорог!
На каждом этапе своем —
в открытиях или повторах —
уроки твои узнаем.
Забвенье тебе не по мерке.
Была непомерно жива
та песня — и вот не померкли
ее золотые слова!
И с профилем смуглым чеканным
и голосом проливным
ты бродишь по шумным
чайханам
и станам простым полевым.
И строчки звучат без осечки,
и слушает их молодежь,
и снова из сердца и в сердце
ты краем родимым идешь!

Перевел АЛЕКСАНДР НАУМОВ.

РАИМ ФАРХАДИ

Гончары

Светлой памяти народного мастера Умара Джуракулова.

Пять столетий назад
Возле этих чинар
Жил гончар.
Его звали Навруз-косагар.
Молчалив и угрюм,
Полон дремлющих сил,
Брал он вязкую глину
И долго месил,
Форму ей придавая
На круге своем.
Чашу он обжигал
Лучезарным огнем.
Из хумдана — печи —
Вырывался огонь,
Словно дикий, степной,
Необузданный конь.
Но его укрощала
Навруза рука.
Получалась посуда.
Груба и крепка.
Арбакеши, ткачи —
Люд простой, городской —
Ели, пили всегда
Из посуды такой.
И хвалили ее,
Тут же били ее,
Как и все на земле.
Таково бытие.
Сколько тут ни идти
Вдоль бегущей реки,
На ее берегах
Черепки, черепки...
Из хумдана — печи —
Вырывался огонь.
И ласкала горячую чашу
ладонь.
Но однажды почуял Навруз-
косагар,
Что не сможет поехать
На шумный базар.
Глина стала на ощупь
Совсем холодна
И застыла на круге
гончарном она...
Но в горящей печи
Не погасли лучи —
И Навруза сменил
Сын — Ахмад-ляганчи.
Сколько было потом
В том роду гончаров,
Сколько звездных
Сияло над ним вечеров!
Был Хайдар знаменит,
Был известен Джура.
Старики еще помнят
Того гончара.
Вдоль дороги чинары.
Струится вода.
Та стена и калитка.
Вхожу я сюда...
Помню, здесь я
Мальчишкой нередко бывал.
Мне свистульки из глины
Гончар вылеплял.
Помню, как у хумдана
Грустил Умаркул,
Говоря: «Стал я стар,
Высох, как саксаул...
Кто достанет
Кувшины мои из огня?..
Было, было три сына
Всего у меня...
Первый сын не вернулся,
Погиб на войне,
Искрой малою став
В этом вечном огне...
Сын второй, он — ученый,
Наук кандидат.
Третий — в школе директор,
Наставник ребят.
Вот уйду —
И гончарный рассыплется
круг...»
Молвит он,
А из дома торопится внук.
Подойдет.
И арычную глину берет.
Бьет по ней
И руками проворными мнет.
На кувшине
Волнующих линий игра.
Не умрет.
Продолжается род гончара.
Над хумданом
Огнем
Разгорайся, заря,
Вечно
Кругом гончарным
Вращайся, Земля!

***

Старого Ташкента уголки
Сдвинули подземные толчки.
Я брожу по городу опять
Улицу не в силах отыскать...
Может быть, вы слышали о ней?
Улица. Двенадцать тополей...

Был здесь двор с жасминовым кустом.
В глубине — одноэтажный дом.
В комнатке Ахматова жила.
И писала, и вестей ждала
Из кольца блокад,
кольца разлук...
С ней теплом делился город-друг.
Боль снимала теплая земля.
Тень свою дарили тополя...
Разлетелась желтая листва,
Как стихов потерянных слова.
Улица. Двенадцать тополей.
Может быть, сейчас иду по ней...
Тополя зеленые шумят,
Но дома другие встали в ряд.
Ленинград их строил и Москва —
Дружба настоящая жива.
Кто нашел в войну здесь хлеб и кров,
Первым услыхал тревожный зов.
И дома-красавцы и проспект...
Тополей струится добрый свет!
Я деревья те начну считать,
Насчитаю ровно двадцать пять.
Скажут ли мальчишки-тополя,
Где осталась улица моя?
Я иду, как много лет назад,
Слушая вечерний листопад...
В легкой дымке памяти моей:
Улица. Двенадцать тополей.

Цветок

В земле нашли стены обломок —
Случайный след былых времен.
Повержен он мечом, огнем...
Но ты вглядись в него, потомок:
Как слой глазури чист и тонок...
И не увял цветок на нем!

ЖИЕНБАЙ ИЗБАСКАНОВ

Ивы, ивы...

Вам грустно, ивы,
Холодно вам, ивы,
Стенанья вьюги сводят вас с ума,
Вам нечем шелестеть,
Вы молчаливы.
До нитки вас ограбила зима.
Морозом гневным скована округа,
Снежинок белых мечутся рои.
Вы жалобно глядите друг на друга,
Печальные красавицы мои.
Вы гнетесь под ветрами, вы покорны
Метелям, что белы до черноты...
Но под тяжелым снегом дремлют корни,
Обняв свои весенние мечты.
Мечтаете вы жить — и, значит, живы.
Мечта — она вовеки не умрет.
Зеленый флаг свой вы взметнете, ивы.
Еще настанет час. Придет черед.

Перевел с каракалпакского АЛЬБЕРТ НАЛБАНДЯН.

ИОН ДРУЦЭ

★

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

Роман

Глава первая

Чувство юмора

Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям.

Екатерина II.

Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои.

Давид.

Время было выбрано удачно. Яссы издавна славились бесконечными осенними дождями. С середины октября столица, расположенная, подобно Риму, на семи холмах, совершенно вымирала. И вот однажды дождливой осенней ночью четверо всадников появились в городе. Скакали они, должно быть, издалека, ибо грязь залепила их так, что ни масти лошадей, ни лиц всадников было не разобрать. Проскакав по главной и единственной площади города, они свернули в переулок, спускавшийся по холму вдоль речки, и скрылись за высокими воротами большого каменного дома, в котором располагалась резиденция капуджи, официального представителя султана при молдавском господарстве.

Через какие-нибудь полчаса ворота снова открылись, выпустив всадников, и они с той же поспешностью покинули город, скрывшись в сторону Соколы, где размещался отряд янычар, ведавших охраной представительства. И снова над семью холмами опустилась бесконечность длинной осенней ночи, и над городом по-прежнему висел мелкий, моросящий дождь. Это бесконечное море влаги, стекая по соломенным, по дранковым, по черепичным крышам, нагоняло такую дремоту, что никакое событие в мире, казалось, не в силах было поднять с постели православного христианина и заставить подойти к окну.

Но было все-таки в этом городе окошечко, мимо которого всадники не смогли проскочить незамеченными. Хотя и оно, подобно многим окнам города, об эту пору уже не светилось, из-за занавесочки пара глаз держала на примете всю обозреваемую из окна тьму. Как всегда во время осенней сырости, у господина Зарзаряна начинались приступы подагры. При острых болях он предпочитал сидячее положение лежачему, поэтому по вечерам ему подвигали плетеное кресло к окну, укутывали теплыми одеялами, и он целые ночи просиживал за белой занавеской в ожидании хоть чего-нибудь смешного, что как-то скрасило бы его маяту.

Поначалу налет всадников глубокой ночью показался ему чрезвычайно забавным. Все это обещало обернуться любопытным анекдотом, который можно будет рассказать зимой в кругу семьи, но чем

больше он вникал, тем менее смешной представлялась ему эта история. Во-первых, турки не любят так поздно хаживать друг к другу в гости. Это раз. Во-вторых, странным было то, что всадников впустили без обычных стуков, расспросов, осмотров. Похоже, их там дожидались. Но в таком случае почему дом погружен в такую темень?! Обычно по вечерам сквозь закрытые ставни тут и там просачивались косые полоски света, а в ту ночь ни единого светлого пятнышка — ни до приезда всадников, ни во время их пребывания там, ни после их отъезда. И наконец, что за безумные скачки! Всадники не столько въехали, сколько влетели в ворота, и оттуда их не то что выпустили, а выбросили. Неужели вся эта безумная спешка придумана только для того, чтобы скрыть, сколько человек въехало и сколько выехало оттуда?

На улице идет дождь, старый армянин, сидя у окна, тихо молится про себя, а благодаря таким вот мелочам иной раз получает гласность Великая История. Ибо в самом деле события той далекой ночи, несомненно, канули бы в вечность следом за другими важными событиями, о которых мы так никогда ничего и не узнаем, если бы осень не была такой дождливой и если бы скромный торговец мануфактурой в Яссах господин Зарзарян, арендовавший лавку неподалеку от турецкого представительства, не страдал бы такими тяжелыми приступами подагры.

Особенно в том году ему доставалось. С томиком великого Нарекаци на коленях, песни которого, по преданию, помогали при недомоганиях, он целые ночи просиживал у окна, тихо повторяя про себя слова древнего поэта-монаха, приглядываясь при этом к ночной жизни улицы в надежде увидеть что-нибудь смешное, ибо без улыбки, по мнению господина Зарзаряна, жизнь не стоила ломаного гроша...

По совершенной случайности из окна спальни, расположенной на втором этаже, над лавкой, ему были на редкость хорошо видны дом, двор и все службы турецкого представительства, размещенные в том дворе. Родившись в Константинополе и прожив там добрую половину жизни, господин Зарзарян, хоть и не питал особых симпатий к туркам, тем не менее сжился с ними и был настолько знаком с их языком, обычаями, ходом мышления, что ему доставляло неизъяснимое удовольствие следить за этим оттоманским гнездом, истолковывая про себя каждое происшествие, чтобы угадать возможный ход дальнейших событий.

Ночные гости озадачили его. Он готов был поклясться на томике великого Нарека, что въехало пятеро всадников, а выехало только четверо. Судя по всему, турки тайно забрасывали какое-то важное лицо в это маленькое, разоренное бесконечными войнами государство. Кого именно они закинули и с какой целью — вот истинно достойная загадка для истинно армянской головы.

«Так, так, так»,— сказал сам себе господин Зарзарян. Это происшествие увлекло его настолько, что утром он даже не встал за прилавок своей маленькой лавки. Передав торговлю мануфактурой в руки зятя, он двое суток проторчал у окна в том же плетеном кресле и только к полудню третьего дня тихо в ужасе воскликнул про себя: «Пресвятая дева, да у них — ничего святого!»

Он узнал среди бесконечно сновавшей по двору прислуги того пятого всадника, который, въехав во двор, так там и остался. То был Махмуд, знаменитый палач султана Абдул-Хамида, гроза многих правящих династий, отуреченный грек по кличке Слезливый Орел. Высокого роста, он отличался такой худобой, что, казалось, это не человек, а дерево, над которым уже тысячи лет не пролилось ни единой капли влаги. Смуглый, с горбатым орлиным носом, он тем не менее отличался вопреки своему жестокому нраву добрым, умиленным выражением лица, откуда и прозвище пошло Слезливый Орел.

Его приезд означал наступление тяжелых времен для молдавской

столицы, хотя, казалось, дальше было уже некуда. В самом начале столетия господарь Молдавии писатель и ученый Дмитрий Кантемир, почуяв начало распада Оттоманской империи, предпринял отчаянную попытку освободить свою страну из-под вассального ига Константинополя. Войдя в тайные сношения с Петром Великим, он согласился предоставить свободный проход русским войскам через свою страну и присоединиться к ним со своей армией, с тем чтобы вместе напасть на главные турецкие силы, расположенные на Дунае.

Как известно, этому плану не суждено было осуществиться. Предупрежденные кем-то турки вышли навстречу. Православные армии потерпели тяжелое поражение у Станилешт, на Пруте, и сам Петр чудом избежал пленения. Для России это обернулось горьким уроком, для Дмитрия Кантемира—пожизненными скитаниями, ибо страну свою он так больше и не увидел, а для самой Молдавии это означало наступление самого жестокого периода во всей ее истории, так называемой эпохи фанариотов.

Фанар — это квартал Константинополя, в котором тогда проживали золотых дел мастера, торговцы, ростовщики, по преимуществу греки. Коварные, жадные, жестокие, эти жители Фанара, шнырявшие в поисках поживы по всему свету, знали много языков, и власти Константинополя нередко прибегали к их услугам в качестве переводчиков и информаторов о состоянии дел в тех или иных краях. Со временем оттоманы стали выпестовывать из жителей Фанара чиновников среднего класса, а, обогатив их, турецкие визири, жадные до золота, начали продавать фанариотам должности собирателей налогов в вассальных землях. И наступали черные дни для края, куда опускалась саранча из константинопольского квартала. В Молдавии фанариоты обессмертили себя налогом на дым. Когда в обнищавшей стране облагать налогами было уже нечего, они додумались при наступлении холодов взимать дань с каждой дымящей печной трубы.

Петр Великий строил новую державу и от всех просьб своего сенатора и советника Кантемира идти войной против турок откупался наградами и милостями, потому что интересы державы переместились и война с Турцией, хоть и неминуемая, все время откладывалась. Прошло более полувека, прежде чем русские полки снова появились на Днестре. На этот раз генералу Румянцеву, по слухам незаконнорожденному сыну Петра, удалось одержать блистательные победы при Кагуле и Ларги, где он сокрушил в десять раз превосходившие силы противника. В конечном счете ему удалось вытеснить турецкую армию за Дунай, за что и получил фельдмаршальский жезл и титул Задунайского.

По заключенному в деревне Кючук-Кайнарджи миру Россия закрепляла за собой Азов и Кинбурн. Крым и Кубань становились независимыми от Порты, а русские корабли, что было самым главным, получали право свободного плавания в Черном море. Для дунайских господарств Молдавии и Валахии, хоть и продолжавших оставаться в вассальной зависимости от Порты, был выторгован ряд весьма существенных льгот и привилегий. Казалось, судьба улыбнулась, можно бы передохнуть чуток, и вдруг поздней дождливой ночью в Яссы залетает Слезливый Орел.

Проторчав еще некоторое время у окна, чтобы убедиться, что это был именно он, старый армянин оделся с помощью дочери и зятя, ибо подагра все еще не отпускала. После чего, взяв под мышку рулон голубого шелка и вооружившись палкой, поскольку в старой молдавской столице бродячих собак было полным-полно, он направился во дворец господаря. Идти было недолго, но попасть к господарю оказалось затруднительно, потому что толпы нищих, голодных монахов осаждали дворец со всех сторон.

— Откуда вас пригнало, отцы святые?

— С Буковины, братец, с Буковины...

Турция, хоть и потерпела поражение на Дунае, оставалась достаточно сильной, чтобы быть верной себе. Для турок самыми унизительными в Кючук-Кайнарджийском мире были пункты, предписывавшие определенные ограничения по отношению к вассальным землям Молдавии и Валахии. Несомненно, Молдавия как возможный союзник России на Балканах беспокоила Константинополь, и чтобы как-то ослабить этот край, турки поддались настоятельным уговорам венского двора и под предлогом уточнения границ уступили Австрии всю верхнюю часть Молдавии, так называемую Буковину, край, который особенно славился буковыми лесами.

Тысячи и тысячи беженцев шли из Буковины, чтобы поставить себя под защиту своего государства. Укрыть на зиму такую уйму народа было делом нелегким, но еще труднее оказалось приютить монахов. Почти все православные монастыри Буковины, не желая подвергать себя преследованиям со стороны униатов, снялись со своих обжитых мест, и теперь, накануне зимы, вся молдавская столица была наводнена бесприютными монахами. Разместить беженцев — одно дело, но куда деть монахов, которые по своему уставу должны иметь совместное житие хоть при каком-нибудь да храме?

Проникнув внутрь дворца и пользуясь рулоном голубой ткани как пропуском, господин Зарзарян в конце концов вошел в кабинет господаря Григория Гики. Помимо господаря в кабинете находились еще митрополит Молдавии Гавриил и болезненный на вид старец отошедшего к Австрии монастыря Драгомирны отец Паисий Величковский. Разговор между ними, судя по всему, был нелегкий, потому что когда господин Зарзарян вошел, они молча все трое гуляли по кабинету. У каждого из них была своя тропка, свои мысли, которые совершенно не соприкасались с тропками и мыслями других.

— Что там у тебя? — спросил наконец господарь, заметив в дверях господина Зарзаряна.

— Голубой шелк.

— А если подробнее?

Лицо у господаря было крупное, одутловатое, сплошь покрытое черной полусвалявшейся щетиной. Правя дунайскими господарствами в третьем или даже в четвертом поколении, эти Гики настолько усвоили искусство дипломатии, что западные консулы, аккредитованные в Яссах, называли их сфинксами. И в самом деле, подумал господин Зарзарян, ну совершенно каменное изваяние у гробницы фараона.

— Если подробнее,— сообщил он более тихим голосом,— то новости у меня плохие, ваше величество. Тому три дня в дом капуджи ночью прибыл гость из Константинополя.

— Что за гость?

— Кровавый Махмуд, ваше величество. Палач султана по кличке Слезливый Орел.

Старый митрополит, туговатый на ухо, воспользовался приходом армянина, чтобы отдохнуть в ореховом кресле у окна, но Паисий Величковский, слышавший разговор, в ужасе осенил себя крестным знамением. Лицо господаря по-прежнему оставалось спокойным и бесстрастным.

— Ты полагаешь,— спросил он,— что это для меня плохая новость?

— Слезливый Орел,— сказал старый армянин,— залетел сюда не случайно. Он за чьей-нибудь головой да прилетел.

— За чьей же? — спросил все так же безучастно Гика.

— Боюсь, что за вашей.

— Зачем султану моя голова?

— Она слишком громко возмущалась захватом Буковины.

Гика рассмеялся. Смеялся он вкусно, широко, от всей души, как смеются обычно люди с чрезвычайно развитым чувством юмора, которые по разным причинам не всегда могут себе позволить эту роскошь.

Засмеялся вместе с ним и господин Зарзарян. Ему нравился господарь именно из-за пристрастия к юмору, и если бы не эта его слабость, кто знает, где бы сегодня господин Зарзарян торговал мануфактурой.

— Передай казначею,— сказал господарь, отсмеявшись,— пусть купит у тебя этот шелк по назначенной тобой цене и впредь пусть покупает все, что ты найдешь достойным для меня и всего моего дома...

Зарзарян стоял навострив уши, но больше ничего не последовало, и тогда он вынужден был уточнить:

— Вы имеете в виду опять же шелк или можно и шерсть и английское плотное сукно?..

— Любую ткань, какую ты найдешь нужным, в любое время суток.

Искусство дипломатии само по себе родственно балансированию на туго натянутом канате, но то, что происходило в последней четверти XVIII века в Молдавии, напоминало уже не хождение по канату, а танец на краю пропасти. Вступившему на престол с согласия Петербурга и Константинополя Григорию Гике предстояло что ни день испытывать на прочность Кючук-Кайнарджийский мир, а мир тот был очень непрочным, потому что время было смутное и воевали тогда едва ли не все державы мира.

Турки видели в этом договоре обыкновенный клочок бумаги, назначение которого — выиграть время, необходимое для сбора новой армии, и потому ждали от своего вассала, к тому же служившего в свое время при султане драгоманом, то есть переводчиком, такого же понимания ситуации и соблюдения интересов своих хозяев.

Россия, получившая наконец право свободного плавания в Черном море, ждала от православного господаря самого широкого толкования полученных от турок льгот, с тем чтобы сделать Молдавию в будущем прочным своим союзником при неминуемых столкновениях на Балканах.

Втянутый в соперничество двух великих держав, умело балансируя между Константинополем и Петербургом, господарь вдруг спохватился, что Австрия отсекла всю Буковину. Вместе с ней отходили к Австрии не только богатые плодородные земли, древние села, но и много прославленных монастырей, среди которых был и самый маленький, но, пожалуй, самый знаменитый из них, Путна. Потерю Путны особенно тяжело переживала страна. В этом небольшом монастыре покоились останки Штефана Великого, с именем которого был связан золотой век молдавского государства. Уход в другую державу этой маленькой Путны, с мраморным гробиком, с вечно горящей над ним лампадой, глубоко оскорблял не только национальные, но и религиозные чувства народа, ибо Штефана Великого уже давно в народе почитали святым. И что это за страна, о великий боже, от которой в любое время может быть отсечена любая ее часть, и что это за вера, при которой даже святые не ведают покоя под вечными лампадами!..

С молчаливого согласия Петербурга Гика выразил энергичный протест против захвата Буковины. Австрия была крайне шокирована этим протестом. Озабоченная проникновением России на Балканы, она поручила своему посланнику в Константинополе втолковать султану, что молдавский господарь никогда бы не осмелился возвысить голос против Порты, если бы не Петербург; по дорогам из Ясс на север, в русскую столицу, все время носятся курьеры, в то время как пути из Ясс на юг, в Константинополь, остаются в полном запустении.

У султана Абдул-Хамида было достаточно проблем помимо могилы Штефана Великого. Звезда оттоманов вспыхнула стремительно, но ненадолго. Завоевав в середине XV века столицу Византии Константинополь и наскоро заглотав остатки Римской империи, Порта теперь тратила массу энергии и средств, чтобы удержаться в своих границах, а развал между тем надвигался как рок. Греческим восстаниям не было конца. Багдадский наместник Ахмед-паша, видя слабость сул-

тана, объявил себя независимым от Порты. Восстала северная Албания. Правитель Египта Мохамед-бей отказался платить дань. В этих условиях сообщение о том, что молдавский господарь счел возможным громогласно возмутиться фирманом своего повелителя, уточнявшего границу небольшого вассального княжества, привело султана в такой гнев, что решено было немедленно отправить в Яссы Слезливого Орла.

В самом начале октября во дворец господаря явился сонный каймакам турецкого представителя и бесцветным, скучным голосом сообщил, что Мустафа-бей, посол самого блистательного, солнцеподобного, вовеки немеркнущего и тому подобное султана имеет честь нижайше просить господаря пожаловать к нему на чашку кофе. Когда? О, когда ему будет угодно. После чего, низко поклонившись, каймакам покинул дворец в сопровождении двух секретарей, даже не удосужившись узнать, принято приглашение или нет.

«Наш Водэ донашивает последнюю рубашку»,— говорили промеж себя бояре, с содроганием представляя, чем это приглашение может кончиться. Весь высший свет столицы во главе с митрополитом советовал господарю не принимать приглашения. Русский консул тоже считал, что разумнее всего обойтись без этого кофе. Даже старец Паисий Величковский, не успев толком устроиться со своими последователями в запущенном Секульском монастыре, прислал монаха с письмом, в котором сообщал господарю, что видел — ну, сон не сон, поскольку истинного покоя старец уже давно не ведает, так, подремлет за ночь часок-другой и то хорошо,— так вот, во время одной такой дремы виделась ему жуткая картина, а именно отсеченная голова, и он просит господаря ни в коем случае, ни под каким предлогом...

Здраво рассудив, Гика решил отклонить приглашение капуджи и занялся делами, благо у него их было полно. В обнищавшей, раздетой стране он надумал основать ткацкую фабрику, а это требовало и энергии и средств. Увы, шло время, и с каждым днем господарю становилось все более и более очевидным, что этой чашки кофе ему не миновать. Единовластный правитель не может отклонить — ссылаясь на соображения своей безопасности — приглашение на чашку кофе в собственном доме. Править под висящим над тобой топором невозможно, и вот однажды, возвращаясь с удачной охоты на лисиц, он, минуя дворец, подъехал к дому капуджи.

— Вы останетесь здесь,— сказал он арнаутам, составлявшим его личную охрану.— Если через два часа я оттуда не выйду, входите в дом силой и рубите всех подряд...

— Вай-вай-вай,— говорил между тем Мустафа-бей, стоя на крылечке своего каменного дома.— А где же пехота? Артиллерия ваша где? Кто в наше время ходит на чашку кофе всего с одной сотней арнаутов?

Гике было в высшей степени присуще чувство юмора. Он знал, что он вассал, что для него это непростительная роскошь, но таким он уродился и тут уж ничего нельзя было сделать. Стоя перед турком, он вдруг увидел смешную сторону этой затеи — идти на чашку кофе с вооруженным до зубов отрядом! Отпустив охрану за исключением двух-трех конвойных, он вошел в гостеприимный дом, уселся на мягкие подушки. Хозяин и гость долго пили кофе, курили чубуки, обсуждали охоту на лисиц и сложности при постройке ткацких фабрик. Поздно ночью разомлевшему от кофе, сладостей и чубука господарю вдруг почудилась какая-то возня у ворот представительства. Похоже, кто-то вскрикнул, потом послышался гулкий стук копыт.

— Позвольте, ваша светлость, поблагодарить вас за гостеприимство.

Мустафа-бей удалился ненадолго в соседнюю комнату и, вернувшись, перекинул гостю через плечо большой белый шарф.

— Подарок нашего султана.

— О, для меня это такая честь, выше которой...

— Мой повелитель дарит его для того, чтобы вам было в чем нести свою голову, когда выйдете отсюда...

В ту же секунду Гика услышал тихие, вкрадчивые шаги за спиной. Смуглый горбатый нос, взмах кривого кинжала, смертельный холодок меж лопатками, и в последнее мгновение успелось подумать — ну ничего святого...

В полночь дежуривший у своего окна господин Зарзарян увидел, как с крыльца было выброшено чье-то тело. К утру во дворе представительства был вкопан шест, и долго, около трех недель, провисел на том шесте обезглавленный господарь. Просоленная его голова по обычаям тогдашнего времени была отправлена в Константинополь султану.

Екатерина Вторая пришла в великое негодование при известии об убийстве молдавского господаря. Единственно достойным ответом на это злодеяние могла быть война, причем немедленная, но связанная по рукам и ногам Россия не могла начать военные действия. Москву лихорадило. С Болотной площади дожди еще не успели смыть кровь казненного Емельяна Пугачева. Страна с трудом приходила в себя после великого потрясения, имя которому было — пугачевщина. А ветер тем временем заносил из-за границы искры новых смут. Парламент, духовенство и знать разрывали на части нерешительного Людовика XVI. Заморские колонии Англии нанесли полное поражение британской короне, объявили какую-то декларацию, и из-за Атлантического океана выказывала свое чело новая держава. Шведские корабли не спускали глаз с русского флота в Северном море. Безумие, казалось, охватило весь мир, и первейшей заботой всадника было удержаться на коне. Любимец и правая рука государыни, наместник и губернатор Новороссийского края Потемкин трудился в поте лица. Заселение отнятых у турок земель было в самом разгаре, и затевать в этих условиях новую войну казалось совершенно невозможным.

Тем не менее война с Турцией была неизбежной, и на одном из совещаний с губернаторами и наместниками Екатерина распорядилась, чтобы в месячный срок ей были представлены самые полные сведения о численности мужчин, которые могли бы в случае надобности взять оружие.

— Ваше величество, с какого примерно возраста изволите распорядиться о ведении счета?

— Ну, думаю, лет с десяти — двенадцати.

— Разве отрок в десять лет способен поднять оружие да еще вскочить с ним на коня?

— Сегодня он еще не может, но настанет день, когда судьбу державы решат именно эти десяти- и двенадцатилетние.

Вечером того же дня военный министр и воспитатель будущих царей фельдмаршал Салтыков, сидя за карточным столиком, произнес в задумчивости:

— В рассуждении грядущих времен, ваше величество, мне хотелось бы предостеречь вас от излишне поспешных решений.

— А именно?

— Мне кажется, нам должно избегать столкновений на Балканах, пока не заручимся союзом с европейскими державами.

— О нет! Нам пришлось бы долго ждать.

— Да почему же?!

— Англия слишком многое потеряла, для того чтобы на нее можно было положиться; ошалевшая французская колесница с переломанной осью несется бог весть куда. Пруссия без конца будет высчитывать возможный выигрыш против возможного проигрыша. Остается Вена.

— Возьмем хотя бы ее в союзницы!

— Пока она обещает нейтралитет, но, сдается мне, если подружиться с Иосифом, мы могли бы рассчитывать и на его союз.

— Это самое малое, что нам нужно для того, чтобы начать выяснять отношения с турками. Самое малое! — повторил еще раз фельдмаршал, прощаясь с хозяйкой дома.

А время между тем поджимало. Нота протеста императрицы по поводу убийства молдавского господаря в Яссах была воспринята Константинополем как признак слабости России. Собрав свежую стотысячную армию и снабдив свой неповоротливый флот легкими судами, султан в ультимативной форме потребовал от Петербурга признания вассальной зависимости Грузии от Турции. Екатерина отвергла это наглое требование. В ответ на отклонение ультиматума турецкий флот напал на русскую эскадру в Черном море, вынудив ее укрыться в кинбурнском порту.

— Mon Dieu! — в гневе воскликнула Екатерина при получении сего сообщения.— Да у этих турок в самом деле ничего святого!

При таких обстоятельствах началась в августе 1787 года вторая русско-турецкая война.

Глава вторая

Час умного безмолвия

Я очищу нашим монахам путь к раю хлебом и водою, а не стерлядями и вином.

Петр I.

Мы обязаны монахам нашей историею, следственно и просвещением.

Пушкин.

Высоко в Карпатах еще стоят холода, а предгорья уже дышат оттепелью. Ночами на низины накатывает туман, и увлажненные леса задумчиво роняют капель на залежалый снег. В полночь, когда все сущее замирает, глубоко под снегом воркуют ручейки. Эти робкие голоса оживающей влаги, которым со временем суждено стать грозным половодьем, согревают душу новыми надеждами. И хотя темень за окном по-прежнему стоит стеной, часы ночного бдения становятся короче, задумчивей, добрей. Земля выплывает из ночи осененная, благословенная, и когда под утро одинокий пастух, зимующий в горах, разводит костер, прозрачный дымок его заветных раздумий долго стелется по низинам, будоража дух людской.

— О господи...

Отец Паисий размашисто крестится, низко опускает седую грешную голову. Все-таки что там ни толкуй, идет весна... И еще одно волнение и еще один грех. Как же не грех, когда пожары воспоминаний снова опустошают его усталую, измученную душу. И снова бежит на тебя босоногое детство Полтавщины, невинные забавы в коридорах Киевской духовной академии. Дальше следуют странствия по монастырям и скитам, долгие годы нищенства и постижения путей господних на святой горе Афон. Прожить заново в его-то годы еще одну жизнь — труд нелегкий, ибо дикий табун былого начисто уничтожил ту каплю энергии, которая согревала старца в этот поздний час, и теперь груда всевозможных немощей — как отец Паисий представлял сам себя — маялась в кресле, охваченная унынием.

Ибо, если вдуматься, до чего красива и божественно величава поступь весны! Какое море духа людского она вдруг выпускает на солнечные просторы из плена зимней скованности! Какое обилие семян, залежавшихся в мерзлой земле, обретет себя в новом поколении! Какое множество живых тварей, преодолев зимнюю спячку, возрадуется земной суете! Но, едва встав на ноги, они тут же почувст-

вуют тяжкое бремя собственного бытия, ибо мир не так уж прекрасен, как был задуман господом, и не так уж справедлив, каким он мог бы быть.

Скупые старческие слезы, блеснув на худых скулах, тут же гаснут в огромной седой бороде. Две белые свечи тихо догорают над большим столом, заваленным книгами и рукописями. По предгорьям долго перекатывается хриплый лай одинокой собаки, ночная тьма глядит в окно недобрыми глазами, и на сердце старика начинают давить невеселые думы.

Возрадуйтесь, сказал господь, отпущенным вам благам! Благо тепла, может быть, величайшее из дарованных нам благ, но как часто мы теряем и истинные пути господни и пожалованные нам блага! Около семидесяти раз чудо весеннего раскрепощения выпадало на долю отца Паисия, но всегда оно почему-то проходило стороной. А он всю жизнь терпел холод. В долгие зимние ночи, полные трудов и молитв, готовил себя ко встрече с этим чудесным миром тепла, но мелочность, ничтожность жизни всегда уводили его в сторону. Глядь, а кругом все уж расцвело, весна в полном разгаре, вот-вот лето нагрянет. Теперь, кажется, он впервые в жизни подкараулил этот великий час, ему впору бы выйти, открыть ворота, да что толку, когда дух устал и чувство ослабело...

«Господи, не суди нас по грехам нашим, а единственно по великой доброте своей...»

Еще раз перекрестившись, отец Паисий вернул себя к длинной, им самим сочиненной молитве. Как всегда в минуту большого волнения, его разговор с богом, начатый громко, постепенно переходил на шепот по причине слабеющего к старости голоса, а затем и шепот утихал, и только ритмическое покачивание головы выдавало нелегкий труд сотворения молитвы.

Наконец старик совсем затих, окаменел, углубленный в себя, созерцающий самого себя. Увидеть себя изнутри — труд немалый, осмыслить себя — нелегко. Темень стояла за окном, пахло туманом, в тишине ночи дозревала весна, но старик оставался неподвижным, как изваяние, и от продолжающейся работы духа в нем нарастало такое напряжение, точно вот-вот, с минуты на минуту случится землетрясение. Постепенно ощущение возможной катастрофы уступило место покою, но старец по-прежнему сидел неподвижно, низко, смиренно опустив голову. Это и был знаменитый час умного безмолвия, который Паисий Величковский принес в христианскую церковь. Упадок веры, охвативший XVIII век, объяснялся, по мнению отца Паисия, все увеличивающейся мирской суетой. В этих условиях молитва не приносила молящемуся должного успокоения. Поток мелких забот не выпускал из своих цепких лап душу верующего, и для обретения полного душевного покоя, по мнению отца Паисия, после свершения молитвы должен был непременно последовать еще и час умного безмолвия.

Увы... Мирская суета и непрощенные грехи заводили в такие топи, что, случалось, уже ни молитва, ни час умного безмолвия не возвращали старику душевного покоя. А без душевного покоя продолжать труд над святыми книгами — грех тяжелый. Догорали свечи, на столе лежали странички несравненного Иоанна Дамаскина «Об образе божьем в человеке». Множество раз в своей жизни отец Паисий принимался перекладывать эту поэму с греческого на славянский, теперь он уже был близок к завершению труда, но вот опять не найдешь нужного слова. Душевный покой утерян, потому что с гор скатились пахнущие хвоей туманы и ночь за окном стала мягче, задумчивей, добрей.

— О грехи наши тяжкие...

Когда не помогали ни молитвы, ни час умного безмолвия, тогда наступала очередь пречистой девы Марии, чудотворной иконы,

хранившейся в главном храме монастыря и подаренной, по преданиям, византийскими императорами. Преодолевая постоянную ноющую боль, отец Паисий поставил себя на ноги. Ему не то что идти куда-то, ему просто так стоять и то казалось не под силу, а между тем непременно нужно было идти. Приближалось время полунощницы, службы, совершаемой глубокой ночью, а в возглавляемом им монастыре вся братия, отощав от великого поста и старческих своих недомоганий, спала беспробудно.

О, как надоели ему эти старики, сколько раз он зарекался: не принимать более на себя старшинство ни над одним монастырем, если в нем не будет хотя бы одной трети молодых монахов. А и то сказать, где ты молодых монахов наберешь, когда в мире царит безумие и молодого юнца, у которого еще материнское молоко на губах не обсохло, уже обучают размахивать саблей и стрелять из пистоли.

— Так где же моя псалтирь?

Даниил, монах, которому поручено было дежурить по ночам у покоев работавшего над святыми книгами старца, храпел в соседней приемной. Печь, куда он должен был изредка подбрасывать поленья, остыла. «То-то,— подумал старец,— у меня всю ночь дробился почерк и буквы в слове качались».

— Сын мой!

У отца Паисия была старенькая псалтирь, переписанная им когда-то на святой горе. В те далекие годы нищенства на Афоне он летом жил главным образом на подаяния, а зимой, когда паломников становилось меньше и на одни подаяния не проживешь, он, чтобы как-то свести концы с концами, переписывал псалмы. Почерк у него тогда был красивый, некоторые навыки, приобретенные в типографии Киевской духовной академии, тоже шли в дело, и его псалтири расхватывали, как свежевыпеченный хлеб.

Основав скит пророка Ильи, он уже, разумеется, псалмы не переписывал, но книги его голодной молодости разошлись по всему православному миру. Со временем, перебравшись в Молдавию, отец Паисий часто скучал по службам на Афоне, по паломникам тех святых мест, по тем «голодным» псалтирям, которые он переписывал когда-то. Афонский Пантократиевский монастырь, в котором отец Паисий не раз служил литургии, подарил ему в день его шестидесятилетия выкупленную за большие деньги одну такую «голодную» псалтирь.

Отец Паисий обрадовался потрепанным страничкам, точно молодость веры вернулась к нему. Обтянув томик кожей, он не ходил более ни в храм, ни в трапезную иначе как со своей псалтирью. И вот поди же ты... Перебрав все на столе, наконец вспомнил, что накануне пели допоздна псалмы в трапезной. Должно быть, там на столике и оставил. Что ж, если память становится дырявой, ноги за это должны платить. Эту поговорку он недавно услышал от трансильванского послушника, и она ему очень понравилась. Народная мудрость — вот истинно божья благодать.

Отец Паисий взял сучковатый посох, которым обычно ощупывал каменный пол внутренних галерей монастыря, и, выйдя из своих покоев, направился в трапезную. От бесконечных трудов над святыми книгами зрение его настолько ослабло, что ему и днем все предметы виделись как бы в тумане, а уж о ночах и говорить нечего. Медленно продвигаясь в кромешной тьме, старец все время молился, благодаря бога каждый раз, когда удавалось найти ступеньку, угадать поворот, нащупать ручку.

В трапезной сразу у входа, с правой стороны, горела свеча. Отец Паисий вынул ее, теплую, заплывшую, из подсвечника и, светя себе под ноги, долго шел вдоль длинного братского стола. Справа едва угадывались в темноте очертания высоких окон, слева чуть светились несколько икон в серебряных окладах. Вдруг, когда он уже ощупью

нашел свой столик, стоявший во главе большого стола, из темного зева ночи донеслось:

— Благословите, отче.

От неожиданности отец Паисий чуть не уронил свечу, но потом, спохватившись, подумал, что положение второго, после митрополита, духовного лица Молдавии не позволяет ему так уж поддаваться чувству страха. Только отодвинув стул, сев и ощупью обнаружив на столе псалтирь, спросил:

— Кто ты, сын мой?

— Послушник Иоан.

— Это тот, которого Горным Стрелком зовут?

— Тот самый.

Отец Паисий вздохнул — вот тебе и молодые... А ведь он связывал немалые надежды с этим трансильванским пареньком. Прибился он к ним года два назад, когда они еще ютились в скромном соседнем монастыре Секуль. Обитель та была бедная, народу собралось сверх всякой меры — ни еды, ни жилья не хватало... А из-за гор, из Австрии шел поток беженцев. После подавления крестьянского восстания в Трансильвании все ущелья, все переходы в Карпатах были битком набиты народом. И конечно, где бедным христианам искать защиты, хлеба и крова как не в своем же монастыре...

В Секуле от тесноты все наружные ограды были облеплены самодельными кельями, но все равно приходилось по два монаха на одну постель, так что решили никого более не принимать. Для этого юноши было сделано исключение. У него было чистое лицо и гордое, чуть откинутое назад тело, точно он все время во что-то целился, отчего и прозвище ему монахи придумали. Времена были тяжелые, уныние стояло повсюду великое, но этот юноша, сотворенный трансильванскими крестьянами во дни какого-то веселого языческого празднества, похоже, и не собирался падать духом. Решили оставить его — пусть хоть одно веселое, здоровое лицо украшает обитель.

Правда, мучились они с ним несказанно. Веселый свист баловня сельских красавиц и свободный нрав человека из народа буквально захлестнули монастырь. Полутысячной братии с трудом удавалось управлять этой стихией. Отец Паисий любил его за острый язык, за всегда свежее и неожиданное направление мысли, он почитал для себя святым делом за него заступиться, но вот поди же ты...

— Сын мой! Тебя, сколько помню, нарядили на дальнюю овчарню. Неужто и там, среди послушных божьих тварей, ты не смог преодолеть искушение тела? Стыдно сказать — не прошло еще и половины великого поста, а я уже в третий раз застигаю тут наших братьев, блуждающих в поисках завалявшейся корки...

В темном углу послушник обиженно засопел.

— Святой отец, я не ради корки сюда пришел. Раз в неделю нас меняют, чтобы мы смогли поклониться пречистой деве, и я, спустившись к вечерне...

— Сын мой, вечерня-то когда кончилась! Обитель спит, наглухо заперты ворота. Я вон зашел за псалтирью, чтобы отслужить полунощницу, а ты все еще здесь!

— Простите, святой отец, но у меня нынче так тяжело на душе, что с этой тоской невозможно обратно подниматься в горы.

— Разве спасение от тоски лежит в трапезной?

— Где же еще?

Отец Паисий улыбнулся — он вдруг вспомнил, что было время, когда они всю зиму ночь за ночью сиживали с братьями в трапезной, но это же было совсем другое время!

— Сын мой, то было от великой бедности нашей! Чтобы не дать впасть во грехи тем, кому негде было главу преклонить, мы их собирали в трапезную и до утра дели и толковали псалмы. Это, одна-

ко, вовсе не означает, что как только у кого затоскует дух, надо непременно бежать в трапезную! Теперь мы, слава богу, живем почеловечески и во дворе нашего монастыря два великолепных храма...

— Простите меня, святой отец, но, думая о боге, я чаще вижу перед собой секульскую трапезную, чем эти два богатых храма.

— Отчего так, сын мой?

— Не знаю... Должно быть, при той бедности мы духом были богаче и истинной веры в нас было больше.

«Гм»,— удивился про себя старец и призадумался.

Он и сам знал, что вера в возглавляемой им обители поослабла. Что поделаешь! За все в мире надо платить, и за крышу над головой тоже. Почему-то именно с крышами ему не везло, и всю жизнь сколько себя помнил какой-то рок гнал его с места на место. Основанный им скит пророка Ильи на Афоне разросся настолько, что сам константинопольский патриарх не в состоянии был помочь, и тогда молдавский господарь Калимах предложил им пустовавшую на Буковине Драгомирну. Едва устроились, едва обжили, и вот уже захват Буковины Австрией и новые скитания. В конце концов остановились на крошечном, запущенном Секуле у подножья Карпат, и думал отец Паисий, что это уже надолго, до конца дней, но его слава как подвижника была так велика, что она никак не вязалась с обликом бедного монастыря, в котором он пребывал с монахами. Теснота и бедность Секуля задевали престиж государства, и потому ему предложили переехать в расположенный по соседству Нямецкий монастырь.

Отец Паисий всячески сопротивлялся этому переезду. Во-первых, ему приходилось смещать действовавшего в Нямеце настоятеля. Во-вторых, в первопрестольном монастыре всегда слишком много гордости, богатства, парада. По большим праздникам в Нямец на службы приезжали сами господари со всей своей челядью. После каждой службы — поздравления и угощения. За чаркой монастырского вина, как известно, дела духовные кончаются и начинаются мирские. А в это время по монастырю снуют разодетые дамы в поисках молодого монаха, чтобы сделать его своим духовным наставником. Найдут они себе подходящего наставника или нет, все одно возникала неустойчивость и угроза падения нравов среди монашеской братии. Какое уж там умное безмолвие...

— А отчего душа твоя затосковала, сын мой?

— Австрийская конница, святой отец, переходит Карпаты.

— Разве она может покидать свои пределы и входить в чужую державу?!

— Если война — может.

— Как война? Кто против кого?!

— На этот раз, говорят, Россия с Австрией против турок.

Отец Паисий, уронив на глаза воспаленные веки, прошептал: «Господи, да не покинет нас милость твоя в этот час». Прикрыл желтое, в темных пятнах лицо такими же желтыми и тоже в пятнах руками, но вдруг послушнику показалось, что за скрюченными пальцами таится радость и даже послышалось слабое, еле уловимое «наконец»...

— Святой отец, разве не сказано, что поднявший меч...

— Грешен, сын мой, прости, что согрешил, но истинный пастырь не может не радеть о своем стаде... Ты вон там, в горах, печешься о своих овечках, а у меня тут свои живые души. Отчего гибнут овечки, ты, полагаю, знаешь, а отчего гибнут народы?

— Я думаю, от голода, от болезней всяких...

— Нет, сын мой, народы гибнут, когда они слишком долго остаются неотомщенными. И потому в этом краю каждая травинка, каждый росток только тем и живет, что вот-вот придут единоверцы с востока и принесут избавление. Ибо как там ни толкуй, а прошедшая война принесла-таки некоторое облегчение балканским христианам.

Может, на этот раз две великие державы одолеют кривую саблю мусульман?

— Одолеют они ее или нет, это еще неизвестно, но война будет идти на наших землях и страданиям народа воистину не будет конца.

— Что ты можешь знать, сын мой, в свои двадцать с небольшим о страданиях народных?

— О, я знаю больше, чем вы думаете, святой отец... Я ведь поначалу постучался в ваш монастырь не ради спасения души — я из острога бежал...

Отец Паисий удивленно поднял брови. Прожив почти всю жизнь на Балканах, занятых Оттоманской империей, он научился быть крайне осторожным в делах политических и не только себе, но и своим собеседникам не позволял излишней откровенности. Увы, этой отчаянной рыжей голове, кажется, все было нипочем.

— За что тебя в острог заточили?

Гордый послушник, выйдя из своего угла, стал посреди трапезной, чуть откинув назад свое мускулистое тело, точно и в самом деле во что-то целился.

— Я из восставших.

— Вот как! Кем же ты там у них был?

— Поначалу певчим, потом — в охране.

— Зачем повстанцам певчие? Разве им еще и службы правили?

— Как же без служб! У нас были свои священники. По воскресеньям в лесах, на открытом воздухе служили литургии... Перед пасхой исповедовались и святое причастие принимали.

— А в охране был при ком?

— При нашем предводителе, Хории.

Тяжелые времена накатывают, подумал старец. Половина монастыря — беженцы из-за гор, видевшие в Австрии своего главного притеснителя. Теперь вот Австрия вступает в пределы Молдавии как освободительница, но эти бедные люди слишком хорошо знают в лицо освободителя...

— Плохо вы защищали своего предводителя,— сказал старец.

Послушнику показались эти слова обидными. Подойдя к столику старца, он опустился на колени и сказал дрогнувшим от слез голосом:

— Нет, мы хорошо его защищали, но нас была горсточка, а их была тьма. Я по меньшей мере четыре раза спасал Хорию от гибели, и только когда его четвертовали, решился бежать через горы. Но если вы считаете, что я вел себя там недостойно, можете изгнать меня из обители.

Старец улыбнулся.

— Я догадывался о твоем прошлом,— неожиданно для самого себя сознался он,— но решил оставить при монастыре, потому что мне обличье твое понравилось.

Протянув к нему руки, он кончиками пальцев очертил лик юноши, почти не касаясь его.

— Спасибо, святой отец.

— За лик, сын мой, благодарить не полагается. Это не твоя заслуга.

— Чья же?

— Лик — это символ рода, из которого человек происходит. Еще, пожалуй, на нем лежит печать благоволения всевышнего, когда, конечно, эта печать на нем лежит.

Откуда-то из самой сердцевины ночи прорвался горластый петух. Спохватившись, что время позднее, отец Паисий взял псалтирь, свечу и направился к выходу. Он шел, но что-то его удерживало, какая-то негласная христианская заповедь не позволяла ему покинуть помещение, в котором продолжал оставаться на коленях его духовный сын. Оплывшая на его столе свеча ни за что не хотела возвра-

щаться в подсвечник, на свое старое место, и отец Паисий долго провозился с ней.

— Сын мой, а почему тебя так долго не представляют к монашескому чину? Уж скоро два года как ты у нас послушничаешь, а отец Игнат все не заводит о тебе речь...

Перемена разговора позволяла послушнику покинуть свой угол, не теряя при этом достоинства, но упрямый трансильванец продолжал оставаться на коленях.

— Рано мне в монахи, святой отец. При виде любой несправедливости моя правая рука ищет меч на левом бедре. Нужно время, чтобы я смог успокоить дух в себе и, не думая более о мирских делах, направить свои помыслы к богу.

Это рвение Горного Стрелка несколько озадачило отца Паисия.

— Быть христианином,— сказал он задумчиво,— еще не значит быть безответной овечкой. Мне обличье твое именно потому понравилось, что при всем благообразии ты готов за себя постоять. Несите бога в себе, сказал апостол, но умейте отстоять то, что вы несете, сказано там.

Послушник медленно, долго вникал в эти неизвестные ему слова, после чего, поднявшись с пола, попросил:

— Святой отец, побудьте эту ночь со мной и в память о нашем бедном, старом Секуле растолкуйте хотя бы один псалом.

Внутренний дворик монастыря ожил. Слабый свет лампадок замелькал в окошках келий, добрая сотня дверей запела на разные лады. Разбуженная духовниками монастырская братия уныло поплелась на полунощную молитву.

— Признаться, сын мой, и во мне тоскует дух, и если тебя прислало провидение, то да сбудется воля господня.

Вернувшись к столу, отец Паисий положил перед собой псалтирь. Осенив себя крестным знамением, сказал:

— Приготовь стол к беседе.

Достав в углу тяжелую корзину со свечами, послушник прошел с ней вдоль длинного стола, расставляя их, затем обошел стол еще раз, зажигая. Когда напротив каждого стула загорелась свеча, он вернулся в угол и замер в почтительном ожидании. После небольшой паузы, наполненной треском свечей и мягким шелестом страниц, отец Паисий сказал, обращаясь через весь стол к одиноко стоявшему послушнику:

— Братья мои... Не по праву игумена монастыря, отвечающего перед миром за эту обитель, и не по праву священнослужителя, отвечающего перед богом за вверенное мне братство, а как последний грешник на этой грешной земле прихожу я к вам в этот поздний час, чтобы покаяться в грехах и вместе с вами еще и еще раз приобщиться к немеркнущему свету мудрости слова его.

— Аминь,— прошептал, крестясь, послушник.

— Аминь,— ответил ему старец и замер.

На главной монастырской башне начали бить к полунощнице. Деревянные молотки, разбежавшись по деревянной же доске, выбивали удивительную стройную дробь. Разбуженный деревянными молотками, ахнул из больших своих глубин главный колокол монастыря. И треснула ночь пополам, и дрогнул первородный грех, заключенный во плоти живой, и замер меч, занесенный над жертвой.

— Галилейские рыбаки,— сказал отец Паисий,— наши первые христиане, чтобы не потерять бога в себе, вставали глубокими ночами и, закрывшись в своих лачугах, молились. То были тяжелые времена. Свет учения Христова, казалось, угасал, но эту угасающую малость удалось спасти. Ее спасли не полководцы, не золоченые храмы, не мудрые толкователи древних заветов, а одинокие рыбаки, встававшие по ночам молиться. Наша церковь многим обязана этим рыбакам и, чтобы увековечить их подвиг, постановила в своих кано-

нах навсегда сохранить полунощницу, то есть обязательную службу, которую мы должны совершать глубокой ночной порой.

На монастырской башне, разбуженные главным колоколом, подали голос средние колокола. Не успев вникнуть в суть, средние голоса тем не менее были на редкость верны своему владыке и, добившись нужного меж собой согласия, принялись споро помогать главному в создании того таинственного моста, по которому издавна все временное и земное тяготеет к вечному, небесному.

— Сирийские пастухи,— продолжал отец Паисий,— наши первые христиане, грамоты не знали, церквей не имели. Храмами им служили выжженные солнцем небеса, а молитвами для них были песни царя Давида, которые они заучивали наизусть. Они могли прожить в горах год, а то и более года с одной-единственной песней. Потом, выменяв ее у соседних пастухов на другую песню, опять уходили в горы, и опять на целые года. В память об этих сирийских пастухах мы во время полунощниц обычно не читаем псалтирь в узаконенной последовательности, а, открыв книгу, остаемся на протяжении всей службы с той единственной песней, которая явится очам нашим на случайно открытой странице.

На монастырской башне наступила тишина, и та тишина, должно быть, разбудила маленькие колокола. Они мелко, серебристо, тревожно защебетали, и, чтобы успокоить их и вернуть под свою отеческую власть, снова подал голос главный колокол.

Отец Паисий взял потрепанный томик, открыл его наугад и, отыскав начало псалма, прочел:

— «Тридцать восьмая песнь царя Давида. Я сказал — буду я наблюдать за путями своими, чтобы не согрешить мне языком моим, буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый стоит предо мною...»

Положив на столик открытую книгу, отец Паисий поднял седую голову, воинственно выставив ее навстречу наступавшей со всех сторон темноте.

— Братья мои! Отложим пока начало этой песни и остановимся, призадумаемся над сущностью нашего бренного мира. С чего мы начали свою молитву? Пав ниц перед всевышним, мы признались ему в том, что, достаточно пожив в этой жизни, мы вдруг опомнились и сказали себе — все, будем отныне следить за путями своими, будем обуздывать уста свои, доколе нечестивый стоит пред нами. О многострадальный род человеческий! Как несовершенен этот мир и как древне его несовершенство! Эта песня была сложена за тысячу лет до прихода Спасителя. Потом был сын божий среди нас, было распятие, и вот уже почти две тысячи лет прошло после его вознесения, а мы по-прежнему просыпаемся по ночам и говорим себе — довольно, отныне надо следить за путями своими и обуздывать уста свои...

Тяжело, глухо застонал главный колокол. Это был даже не звон, это был вопль горя народного, и, втянутый в каменные ущелья, раздробленный на мелкие куски, он разошелся далеко по низовьям и верховьям. Стон могучего владыки заставил средние колокола броситься ему на помощь; за ними полетели, сами не ведая куда, их младшие братья. Эти малютки летели долго-долго, а там, далеко внизу, обозначая им место падения, глухо трещали деревянные молотки.

Старец вернулся к начатому псалму.

— «Я сказал — буду я наблюдать за путями своими, чтобы не согрешить мне языком моим, буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый стоит предо мною. Я был нем и безгласен и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась...»

— «Подвиглась»? — спросил послушник.— Это значит сколько было, столько и осталось?

— Нет, сын мой, «подвиглась» — это значит скорби стало много больше, чем было.

— Каким образом?

— О сын мой, в том и суть нашей молитвы. Хлебнув горя сполна, мы заставили умолкнуть в себе то, что даровано нам было свыше. Умолк небесный глас, оборвалась связь с окружающим миром. И что же, много мы на этом выиграли? Да вряд ли, потому что, перестав видеть зло, которое нас окружает, мы перестали видеть и то доброе, что у нас было. А приучив свой глаз не видеть более ни злое, ни доброе, мы потушили огонь сознания в себе, мы стали наравне с травой, с песком, с морем, наравне со всем тем, что хотя и было создано богом, но не было одухотворено им. Великая потеря порождает великую печаль, и потому, осознав свое падение, мы сознаемся богу, что «скорбь наша подвиглась»...

Вдруг оборвался срезанный на лету монастырский перезвон. Какое-то время еще блуждали по ущельям отголоски недавних слез и стенаний, но вот утихли и они. Осталась одна только темнота за окном, да долгая ночь, да длинный ряд догорающих свечей.

— Крещеные македонянки,— продолжал отец Паисий,— наши первые христианки, пуще всего боялись недопонятых слов. После толкования каждого неясного слова они начинали молитву сначала. Не будем и мы преувеличивать свои слабые возможности, запоминать великие истины и начнем сначала тридцать восьмой псалом...

Долго, и долго, и долго молчали колокола на монастырской башне, и только когда немота стала им почти совсем невмоготу, только тогда вновь подал голос главный колокол. Это даже нельзя было назвать звоном — просто так в темноте, охваченный порывом ветра, колокол тихо, про себя, о чем-то вздохнул.

— Подумаем,— сказал отец Паисий,— как мудро создал всевышний человека, как глубоко поместил он в нас свой небесный дар, если мы при всей низости, при всей подлости своей не смогли тот дар погубить. Правда, поначалу мы свой внутренний голос сокрушили, но и в то время, когда нам жилось покойнее, лучше, богаче, и тогда под нашим благополучием тлел заглушенный нами божий дар. Небо не дало нам погибнуть, и настал день, великий день, когда воспламенилось сердце, в мыслях возгорелся огонь. Мы стали опять самими собой, но, господи, сколько драгоценного из того небольшого количества времени, что отпущено нам, мы отдали своей немоте и глухоте! И потому, обретя заново самих себя, мы снова пришли к всевышнему, чтобы спросить про число дней наших и про век наш.

И снова, как уже было тысячу и тысячу раз на этой грешной земле, из ничего, из темноты, из угасающего по ущельям смутного гула, из пахнущих хвоей туманов, из одиночества пастушьего костра, из мягкой задумчивости весенней капели возникли, обрели дар речи деревянные молотки. Перегоняя друг друга, они побежали по деревянным ступенькам все выше и выше, и вот рука пошла шарить в темноте, нашла веревку, рванула к себе. Могуче, вечно засветился благовестный перезвон, и праздник его разошелся на все четыре стороны света. Нет, что ни говорите, пока жив Дух и живо Слово, с миром ничего непоправимого случиться не может.

— Нищим иудеям с римских окраин, жившим на скудное подаяние,— сказал отец Паисий,— нашим первым христианам, вставшим по ночам в своих бедных кварталах за Тибром, чтобы молиться, приходилось дорого платить за свое общение с богом. Иногда это стоило им жизни, но они верили в свое спасение, верили в царствие небесное, и потому когда по ночам гонители слова господня стучали в двери их лачуг...

Вдруг послушник перестал внимать словам настоятеля. Выйдя из своего угла, он направился к отцу Паисию, но шел почему-то на цыпочках, мелкими шажками, все время к чему-то прислушиваясь. Наконец и отец Паисий услышал гул наступающей конницы. Грохот все нарастал, нарастал, пока вдруг не умолк, словно отрезанный каменными стенами монастыря. Несколько секунд переводили

дух люди и кони, после чего, крикнув что-то по-турецки, властно постучали в железные ворота.

— Святой отец,— сказал послушник, дрожа от возбуждения,— у нас есть одна большая выгода — высота! Я соберу молодых монахов, мы выйдем на гребень стены, прямо над воротами, и опрокинем им на голову...

— Сын мой,— ответил растроганный старец,— ты забыл, что ты в монастыре, а не на поле брани. У нас действительно есть выгода, но наша выгода — молитва, а не высота. Смирись, сын мой, и давай воспользуемся своим истинным преимуществом...

Удивительно, подумал послушник, тяжелые времена всегда действуют на старца успокаивающе. И чем невозможнее положение, тем глубже и совершеннее покой, который его охватывает. Вот и на этот раз, просветленный, освобожденный от тревог бесконечной ночи, отец Паисий направился к отсвечивавшим серебряными окладами иконам, опустился на колени. Он уже не молился, не крестился, не клал поклоны, но такое озарение на него снизошло, что, глядя на него, можно было подумать — вот истинно счастливый человек, проживший истинно счастливую жизнь.

Вдруг, приоткрыв глаза, он увидел все еще стоявшего рядом послушника.

— Сын мой, разве ты не хочешь вкусить от того великого блага, имя которому — час умного безмолвия?

— Какое безмолвие, святой отец, когда вот-вот монастырь снесут!

— Сын мой, не суетись, когда в душе твоей слагается молитва.

— А если они сломают ворота и ворвутся в монастырь?

— Ничего без воли всевышнего не произойдет.

Подумав, послушник подошел, опустился на колени. Беспрерывный гул сводил его с ума, он вздрагивал от каждого удара в железные ворота, а тем временем уста его принялись творить «Отче наш». Тысячелетиями освященное чередование простых слов, выстроенных в простую речь, обращенную к богу, медленно смывало с него царящую вокруг суету. Он мало-помалу успокоился, после чего и в самом деле от этих обычных, с детства выученных слов повеяло тем незыблемым покоем, по которому так стосковалось его земное начало и без которого дух не в силах был воспрянуть и обрести себя.

Глава третья

Две Екатерины

За мной стоят 16 тысяч верст пространства и 20 миллионов верноподданных россиян.

Екатерина II.

Мчатся тучи, вьются тучи...

Пушкин.

Огромное облако пыли, распластавшись над выгоревшими от засухи пустырями, медленно ползло с востока на запад. В полуденном пекле, проклиная судьбину и глотая пыль, шли гренадерские и мушкетерские полки. За пехотой на усталых, взмокших от длинных переходов лошадях шли эскадроны кирасир, драгун, гусар. По флангам, прикрывая армию, шли в невообразимом беспорядке, упиваясь вольностью, донские, уральские, запорожские казаки.

За первым валом, не давая поднятой пыли улечься, шел второй вал. Медленно двигались на воловьей и конской тяге тяжелые орудия для осады крепостей. За артиллерией следовали магазины — на длинных фурах покачивались мешки с провизией для солдат, фураж для лошадей и множество всякого другого груза, сопутствующего армии во время наступления.

За пищей телесной на некотором расстоянии следовала пища духовная в виде огромных палаток, наваленных кое-как на телеги и предназначенных для свершения походных молебнов. За ними шли, опять же на почтительном расстоянии, груженные хмельным своим товаром маркитанты, а уж за маркитантами пешочком плелись, замыкая шествие, те, кого обычно называют солдатскими подружками в военное время и более грубым, но более точным словом во времена мира.

«С богом!» — сказала императрица в своем манифесте о начале военных действий против Турции, и вот украинская армия, разбившись на четыре колонны, шла через Подолию, с тем чтобы, переправившись через Днестр, стать лагерем в ожидании встречи с главными силами неприятеля.

Идти было трудно. Между Бугом и Днестром лежала заросшая бурьяном степь. На этой принадлежавшей Турции земле в мирное время кочевали крымские татары, но с тех пор как Крым отошел к России, эта территория, хотя все еще принадлежала Турции, оказалась зажатой в клещи русскими владениями, почему и пустовала. Идти по полуодичалой земле было тягостно и тоскливо. Ни дымка человеческого жилища, ни петушиного крика, ни собачьего лая. Ковыль, да пырей, да полынь, сгоревшая от засухи в пору своего первого цветения. Дымятся потные спины, пыль скрипит на зубах, а солнце знай себе припекает. С утра оно бьет солдата в затылок, в полдень прожигает темя, а от полудня и до последнего отблеска за холмами слепит глаза.

— Добьет, паскуда, ни за грош,— говорили промеж себя солдаты, перекидывая с плеча на плечо мешок с сухарями, десятидневный запас которых должны были нести на себе. Это был бывалый крепостной люд, тот самый, про который полковники говорили своим капитанам: вот тебе три рекрута, сделай мне из них одного доброго солдата. Теперь эти собранные из троих солдаты еле плелись в густом облаке пыли, потому что пустынная степь, солнце и жажда измучили вконец.

Только на третьи сутки после полудня колонны наконец увидели у кромки длинного покатого холма блестевший на солнце пояс живительной влаги. «Хлопци, Днистер!» — завопили на флангах казаки, и гигантская туча пыли, замершая было от удивления на гребне холма, стала дробиться, растекаясь по склону, как выбежавшее тесто, и все накатывала раз за разом, пока не уткнулась в самую воду.

— Доехали,— сообщил сам себе фельдмаршал Румянцев-Задунайский и, выбравшись из коляски, повел своим мясистым носом, как бы принюхиваясь. Это был врожденный полководец, и интуиция заменяла ему карту, по которой двигалась армия. Заметив неподалеку от готовившейся переправы пустой бочонок, подошел, водрузил на него свое грузное тело и потребовал у адъютантов подзорную трубу. Хотя его первоначальным намерением было осмотреть готовившийся к переправе мост, что-то ему там, на том берегу, показалось подозрительным, и, вооружившись подзорной трубой, он принялся изучать правый берег. Там, на том берегу, начиналась Молдавия, но поскольку страна эта находилась в вассальной зависимости от Порты, для каждого солдата там, на том берегу, начиналась война.

— Что-нибудь любопытное, ваше сиятельство?

Фельдмаршал не ответил. Он вообще мало говорил и часто, занявшись каким-нибудь пустячным делом, ставил в тупик окружение своим бесконечно долгим молчанием.

Тем временем пыль на берегу улеглась, и окружавший фельдмаршала штаб пришел в волнение, потому что ничего не осталось от сорокатысячной армии. По всему левому берегу сколько хватало глаз до самых низовьев реки валялись, разбросанные в беспорядке, как после тяжелого боя, пушки, телеги, амуниция, а из воды торчали в неземном блаженстве головы солдат и лошадей.

— Этак, ваше сиятельство, при неожиданном нападении мы могли

бы понести самое конфузливое поражение,— предположил кто-то из адъютантов.

— Пускай их купаются,— разрешил фельдмаршал, и видно было, что пока он сидит на пустом бочонке и смотрит в подзорную трубу, никто напасть на его армию не посмеет. Тело, правда, заныло от неподвижности, грузный полководец несколько видоизменил позу и снова принялся осматривать правый берег.

Штабные офицеры молча сопели рядом под нещадно палящим солнцем. Они понимали, что все это неспроста. Что-то, должно быть, встревожило командующего, но сколько они ни всматривались, решительно ничего достойного внимания не могли обнаружить на том берегу. В отличие от левого, пологого правый берег был высокий и крутой. Громады из ракушечника и мелового камня стояли, выстроившись в ряд, точно стадо загадочных доисторических животных, сбежавшихся на водопой. Обросшие тут и там рыжеватым мхом, с белесыми расщелинами, размытыми дождями, эти громады без конца пили воду: черневшие у основания гор пещерки, едва выделяясь над водой, чем-то напоминали ноздри громадин и создавали ощущение неутолимой жажды.

— Можете идти выкупаться, если кому охота,— разрешил вдруг фельдмаршал.

Сам он, несмотря на возраст и грузность, довольно стойко переносил жару. И хотя никто не рискнул воспользоваться полученным разрешением, слова командующего приободрили начавший было скисать штабной мир, после чего все эти секунд- и премьер-майоры принялись с новым усердием помогать фельдмаршалу в обозревании правого берега.

А был он по-прежнему пуст и безлюден. Наверху тех громад чахли от зноя небольшие вишенки. Тут и там из-за одиноких деревьев выглядывали побеленные известью, крытые соломой домики. Местами, там, где кромка высокого берега, скашиваясь, спускалась к реке, виднелись запущенные поля, темные, покрытые дубовыми лесами дали.

— Никак красотку какую заприметили? — спросил веселым голосом генерал Эльмпт, командир 3-й дивизии, которой предстояло первой переправиться на тот берег.

— Судьбу высматриваю, Иван Карлович. Цыганка как-то нагадала, что суждено мне дожить свой век в глинобитной молдавской хате, и кто знает, кто знает...

Штабные офицеры молча переглянулись. Губернатор Малороссии, фельдмаршал Румянцев-Задунайский был одним из богатейших людей своего времени. Поговаривали даже, что частично эту сорокатысячную армию он содержит на свои средства, делая императрицу своей должницей, и решительно невозможно было представить себе этого богача доживающим свой век в глинобитной хатенке, крытой соломой.

Генерал Эльмпт, однако, иначе посмотрел на это дело.

— А что вы думаете, ваше сиятельство! При таком пекле посидеть на завалинке где-нибудь в тенечке с кружкой прохладного винца...

— Посидим, даст бог, за Прутом,— буркнул Петр Александрович.— Там и дома попросторнее, и завалинки пошире, и вино получше будет.

Фельдмаршал был явно не в духе. Десять лет назад, при первой русско-турецкой войне, ему суждено было стать главным воином России, карающим ее мечом. Ему первому удалось поставить турецкую империю на колени. Гром его побед был настолько оглушителен, что государыня предложила встретить его в столице триумфальными арками, как встречал некогда Рим своих полководцев-победителей. Румянцев отказался от пышных почестей и удалился в свои малороссийские имения в ожидании, когда его снова позовут на поле брани и

отечество вручит ему в руки свою судьбу. Но, увы, ничто не вечно под луной!..

Екатерина была молодой государыней. Она любила пышные балы, роскошь, театральные представления, питала особую слабость к военным мундирам, а за все эти удовольствия, конечно же, приходилось платить. Еще в ту войну она часто посылала к Румянцеву молодых своих фаворитов, деликатно намекая, что для нее было бы чрезвычайно приятно, если старания ее подопечных окажутся полезными России.

Румянцев относился с отеческим пониманием к этим просьбам государыни и, причислив к своему штабу того или иного любимца, вспоминал о нем, когда появлялось не особо трудное дело, а после выполнения задания не забывал представить его к награде, чтобы сделать государыне приятное. Один из ее любимцев, правда, его несколько озадачил. Молодой генерал Григорий Потемкин по уму был на голову выше остальных фаворитов, но отличался при этом такой жадностью к славе и наградам, что просто ставил в тупик командующего. Кто бы мог подумать, что через десять лет он вытеснит Румянцева совершенно и именно его, Потемкина, государыня предназначит в главные герои начавшейся кампании!

Правда, вытеснить знаменитого фельдмаршала оказалось не так-то просто. Когда новое столкновение с Турцией стало очевидным и был срочно заключен союз с Австрией, Военная коллегия, которой было поручено составить план будущей кампании, создала две армии, одну под началом Потемкина, другой назначен был командовать Румянцев-Задунайский. Но если армия Потемкина насчитывала около ста тысяч человек, армия Румянцева едва достигала сорока; если австрийцы осаждали знаменитый Хотин, а Потемкину было приказано взять очаковскую твердыню, то армия Румянцева была сразу отодвинута в резерв. Перейдя Днестр, фельдмаршал должен был разбить лагерь на речке Куболте и ждать развертывания дальнейших событий. Его действия были поставлены в зависимость от успехов или неуспехов осады главных крепостей. В рескрипте Военной коллегии, правда, говорилось, что украинская армия, стоя на Куболте, будет сковывать главные турецкие силы, расположенные на Дунае, но это было вставлено явно для того, чтобы щадить достоинство героя минувшей войны, ибо какое там, к черту, сковывание! Где Куболта, где Дунай! Другой, может, и не принял бы этого назначения, но Румянцев-Задунайский был еще и крупным государственным деятелем, считавшим себя в ответе за судьбы державы, почему и сидел в эту жару на пустой бочке и обозревал правый берег.

— Бегут, однако,— тихо вздохнул кто-то.

Офицеры из окружения фельдмаршала уже давно присматривались к странной возне, начавшейся на правом берегу. На окраинах деревушек начали вспыхивать гривки пыли, которые затем, медленно растягиваясь, уходили на запад длинными лисьими хвостами.

— Оно и правда разумнее,— сказал вдруг фельдмаршал.— Пускай уходят в свои кодры. Подальше от греха.

— Странно, однако,— заметил Эльмпт.— Мы несем им освобождение, а они от нас бегут.

— Бегут они не от нас, а от турок.

— Да где же турки-то?!

— Перед нами, Иван Карлович, народ-мученик, народ-заложник. Наша переправа через Днестр дает повод туркам обнажить меч, а уж он у них долго без дела не останется.

— Что же, в таком случае давайте смотреть переправу.

— Давайте,— соглашается фельдмаршал, а сам сидит на том же бочонке и не спускает глаз с правого берега.

Тем временем сорокатысячная армия, выбравшись из воды, расположилась лагерем. Мирно пасутся лошади, дымятся кухни. Казаки, увлеченные стиркой, с гоготом ловят готовые вот-вот уплыть по

Днестру портки. Солдаты из инженерного корпуса приготовили понтон к спуску на воду. Было самое время произвести осмотр будущей переправы, а грузный фельдмаршал все сидит на своем бочонке. Уже и лисьих хвостов не видать и деревни опустели вчистую, а он все смотрит в трубу. Причем изучает уже не сам берег, а его основание, вернее те ноздреватые пещерки, что выступают над кромкой воды. С некоторых пор эти пещерки стали дымиться, и создавалось впечатление, что это доисторические гиганты выходят из себя.

— Разрешите, ваше сиятельство, выяснить...

— Ну извольте.

Четверть часа спустя двое офицеров в сопровождении небольшого казачьего конвоя уже выбирались из воды на том берегу. Правый берег, по сути, был двойным. Поначалу над водой высился низкий, так называемый малый берег, за ним шла узкая, заросшая лопухами и лебедой полоска шагов в сто, и только за ней уже поднималась на дыбы громада доисторических чудовищ. На узкой полосе земли паслись чьи-то козы, и даже кому-то удалось тут, в низине, слепить хижинку. Так, дом не дом, а все-таки жилище, родные стены и крыша над головой.

— Ну что там? — спросил адъютант, которому была поручена операция.

Двое казаков, выбравшись из крайней, особо дымившейся пещерки, стояли в глубокой растерянности.

— Ничего нету, ваше благородие... Глубокая яма, заваленная гнилыми пнями, сверху зачем-то камни сложены... Дымиться эта холера будет дня три, не меньше...

— Потушить.

Едва казаки принялись засыпать песком тлевшие пни, как из другой пещерки вышла женщина с крупными чертами лица. И на лбу и на щеках у нее красовались темные разводы сажи. Платок, сбитый набок при воинственной спешке, делал ее очень смешной, но добрые, приветливые, умные глаза не допускали снисходительного к себе отношения.

— Кто такая?

— Так... Женщина...

— Ну ясное дело... Зовут-то как?

— Екатерина.

Воины помрачнели. Когда твою государыню зовут Екатериной и ты, молодой офицер, мечтающий о славе, встречаешь в чужой стране этакое чучело, которое, с позволения сказать...

— Да ты хоть знаешь, как зовут нашу императрицу?

— Знаю. Мне повезло.

Улыбнулась широко, от души, но поскольку воины совсем не собирались разделить ее великую радость по поводу такого везения, она тут же скрылась в одну из пещер. Немного погодя вышла. На этот раз сажи и в помине не было. Волосы подобраны, платочек аккуратно повязан, а кроме того она вынесла большой кусок белого камня, который протянула одному из офицеров.

— Известь,— сказала она, как бы оправдываясь.

— Зачем тебе известь?

— Побелить.

— Что белить?

— Храм.

— Какой храм?

— Там, наверху...

Запрокинув голову, Екатерина указала на крайний домик, крытый соломой, который стоял так близко к краю обрыва, что, казалось, вот-вот сорвется оттуда. Это был самый обыкновенный деревенский домик, и только если внимательно к нему приглядеться, можно было заметить висевший на шесте небольшой деревянный крест.

— Церковь ваша, что ли?

— Храм спасителя.

Казаки рассмеялись. Офицеры же, помня наказ государыни, что они вступают в дружественную православную страну, сдержали себя. Собственно, Екатерину мало занимало, кто как относится к ее храму. Не спуская глаз с крошечного, крытого соломой домика, она, широко перекрестившись, отвесила лачуге, висевшей над их головами, глубокий поясной поклон.

— Зачем опустевшему селу побеленный храм?

— Почему опустевшему?..

Встревоженная, замерла, прислушиваясь. В самом деле, оттуда, с горы, доносился сухой треск — били деревом по дереву, и этот треск привел женщину в глубокое волнение.

— И-и-ра! — всплеснула она руками и, забежав в тот единственный стоявший в низине домик, тут же выбежала. Повязываясь на ходу уже другим, совершенно чистым платочком, побежала вверх по крутой тропке. Казаки глотали слюну, глядя, как движется под выгоревшей на солнце ситцевой юбкой молодое и крепкое женское тело.

— Ишь как чешет! Молодуха — в самый раз!

— Молода-то она молода, а глянь, сколько их натаскала!

Из-за высокого лопуха выглядывала целая шеренга перепуганных головок.

— Ну, если смолоду поставить себе домик в низине, подальше от села, можно и побольше прижить,— сказал старый казак, загоняя свою лошадь в воду.

— И то правда,— ответил из воды молодой.

Взбежав на гору, Екатерина стала в глубокой растерянности. Оказалось, по подвешенной в церковном дворе доске, служившей вместо колокола, лупила тяжелой палкой женщина, причем била она по ней, сидя на груженной всяким скарбом телеге. Ввиду чрезвычайной поспешности она прямо на телеге подъехала к акации, на которой висела доска, благо ни ворот, ни забора — ничего вокруг той церквушки не было. С лицом окаменелым, безучастным женщина поднимала нескончаемую тревогу на всю округу, и видно было, что если ее не остановить, она будет стучать до второго пришествия.

— Матушка, вы мне, что ли, стучите?

— Как же,— сказала женщина на телеге не оборачиваясь,— стала бы я из-за тебя руки отбивать... Батюшку вон никак из храма не выманю... Уже и казаки в Днестр полезли, а он все копошится, старая курица...

Фамилия священника была Гэинэ, то есть курица, и селяне его в самом деле за глаза звали старой курицей, но чтобы сама матушка... Екатерина стояла, не зная, что и думать, а двери храма, меж тем настежь открытые, как будто звали на помощь. Какой-то тревогой, какой-то бедой несло оттуда, и, перекрестившись, Екатерина смиренно вошла в храм.

Собственно, какой там храм! Глиняный пол, три покосившихся окошечка, пропускавших так мало света, что нужно было долго привыкать к царящей внутри полутьме. В центре несколько вытянутого в длину помещения стоял столб, подпиравший прогнувшийся потолок, но у крестьян ничего не может пропадать даром, и к верхней части столба была приделана поперечина, так что это был одновременно столб, подпиравший потолок, и крест, на который можно было молиться.

В глубине помещения небольшой, в человеческий рост, иконостас, сколоченный из обыкновенных досок, побеленных известью и покрашенных синькой. Временами из-за перегородки выглядывала голова крайне озабоченного старца. Он суетился и тяжело дышал, что-то там собирая. С улицы сидевшая на телеге матушка торопила его поминутно.

Когда треск становился невыносимым, страдавший одышкой отец Гэинэ выглядывал из-за перегородки и кричал в сторону открытых дверей:

— Да иду же, сию минуту иду!

Едва переступив порог, Екатерина направилась в заветный угол поклониться святому Николе-угоднику, покровителю крестьянок, но дойдя до заветного места, ахнула. Серое, пыльное, затянутое паутиной пятно вместо защитника земных тружениц!

— Да вы, батюшка, с ума сошли! Вы обобрали храм как липку! Пусть бог простит мне мои слова, но даже турки, даже татары во время своих набегов...

Старый, измученный спешкой священник подошел и обнял крест-подпорку, ибо, видит бог, этого ему еще недоставало! Там, на улице, одна сводит его с ума, тут появилась другая...

— Глупая твоя голова,— сказал он как можно спокойнее,— разве не видишь, сколько войск спустилось к Днестру и готовится к переправе? А грозные янычары, думаешь, сидят на Дунае и чубук курят? Да завтра-послезавтра огненный смерч будет гулять над всем этим краем! И во дни тяжких испытаний что остается маленькому народу, кроме горных тропок да густых лесов?..

Екатерина стояла нахмурившись и думала о той великой северной императрице, имя которой по воле случая носила и она.

— А вот русская царица, сказывают, молится тому же богу, что и мы! Теперь что же получается: они, православные, идут к нам на помощь, а мы, тоже православные, улепетываем? Да это же все равно что пригласить к себе человека в гости, а самому, заперев дом, сделать вид, что едешь на ярмарку!

С улицы опять растрещалась подвешенная к акации доска, и этот треск отец Гэинэ совершенно не в силах был перенести.

— Да иду же, сию минуту иду!

Вспомнил, что еще что-то важное нужно взять. Вернулся через боковую дверь алтаря, но пока шел, забыл, за чем шел.

— Вот,— пожаловался он Екатерине, вытянув голову над краем перегородки.— И ты меня ругаешь, и матушка торопит. А между тем село снялось с места, люди подались в леса, и я, как пастырь, не могу не последовать за своим стадом. Иконы и утварь вынужден взять, потому что война может затянуться до осени, и там, в лесу, всякое может случиться — и роды, и панихиды, и похороны. Как же справлять церковную требу, если не взять все это с собой?

Екатерина стояла посреди храма, и ее карие глаза медленно, как степные родники, наполнялись влагой.

— Теперь что же? — спросила она.— Все лето, до наступления холодов, на дверях храма будет висеть замок?

— А что, и повисит. Может, даст бог, не украдут.

Широкое лицо Екатерины, ее тяжелый мужской лоб медленно стали наливаться упрямством, и это не предвещало старику ничего хорошего.

— А разве в священном писании сказано, что когда прихожане бегут в лес, священник непременно должен бросить свой храм и бежать за ними?

— Птичьи твои мозги, сама подумай, что для господа важнее — сотня живых душ или эта хибара, крытая соломой?

— А вот монахи из соседнего монастыря никуда не бегут.

— Фасолевое твое соображение, каменные монастыри нарочно для того в виде крепости и построены. В случае чего они могут наглухо запереть ворота и занять круговую оборону, а что мы можем на макушке этого холмика?

— Ну, во-первых,— сказала Екатерина,— это не холмик, а круча, высокая круча над рекой. Монастырям пыхтеть да пыхтеть, чтобы

себе этакую стену поставить. Во-вторых, с запада село укрыто лесистыми холмами, и хотя особых укреплений нету, я думаю, в случае чего мы смогли бы...

Отец Гэинэ рассмеялся, но это был не смех, а некий вид нервной разрядки, вызванной тупостью человеческой. Потом, осознав свой грех, перекрестился, попросив у бога прощения, и, запутавшись вконец, изрек тоном, не допускающим возражений:

— Закинь своих птенчиков на мою телегу и айда — времени в обрез.

— Как хотите, отец, а я останусь защищать свой храм.

— Дура ты длинноволосая, не смей больше при мне называть эту хибару храмом! Бедность нас унизила, оглупила, но вера в нас еще жива! Неужели ты никогда не видала, в каких прекрасных храмах с золочеными куполами обитает истинный господь? Что же от нашего бога останется, если мы его вечно будем держать в такой хибаре?

Перекрестившись, чтобы замолить свой несомненный грех, Екатерина начала медленно отступать.

— Ну, не спорю,— сказала она,— наш храм давно пора обмазать глиной и побелить. Этими днями я как раз собиралась взяться за побелку, для того и заложила новую печь, чтобы хорошую известь выжечь...

— Воробьиные твои мозги! Сколько эту лачугу ни бели, потолок не выровняется и дырявая кровля не перестанет протекать!

Екатерина стояла смущенная, виноватая, но — верующая.

— Толкуйте как хотите, а это все-таки храм. Тут мы венчаемся, тут крестим своих ребятишек, тут отпеваем своих близких и не можем, ей-ей не можем бросать его на произвол судьбы! Бог нам этого не простит.

Отец Гэинэ вдруг понял, что потратил массу времени впустую.

— Ребятишки твои в низине или тут, на горе? Матушка меня еще с вечера за тобой посылала — как-никак ты моя единственная певчая и без тебя ни литургии, ни вечерни. Собери свою ораву и давай, пока я не уехал.

С тяжелым узлом в одной руке, с железным замком в другой он направился к выходу. Екатерина помогла дотащить мешок до дверей, но перед выходом, отдав священнику мешок, взяла у него замок и заявила:

— Если у вас так мало веры, что вы чуть что даете деру, вот назло вам останусь...

— Сорока ты дремучая,— прошептал в ужасе священник,— а ты подумала, что ждет тебя, единственную в селе женщину, к тому же молодую, после того как вся эта громада переправится через Днестр?

— Ничего, у меня шестеро ребятишек. Они меня защитят.

— Да чем тебя те малолетки защитят?

— Чистотой и непорочностью.

— А если не смогут?

— Если не смогут, меня защитит этот храм.

— Если ты еще раз назовешь эту хибару храмом, я уйду, даже не дав тебе своего отеческого благословения...

Ее глаза, чистые степные родники, переполнились влагой.

— Да как не называть мне его храмом, когда вон сколько раз в зимнюю стужу тут на наших глазах рождался младенец! Сколько раз с этого амвона доносилось слово господне! Сколько раз мы плакали, когда наступал час распятия, и содрогались от счастья, когда Иисус, воскреснув из мертвых и смертью смерть поправ, выходил оттуда в белом одеянии...

— Откуда выходил?

— Да вон из той боковой дверки...

Отец Гэинэ стоял над мешком разинув рот — такого с ним еще не

бывало. Чтобы его прихожанка утверждала, что видела своими собственными глазами...

— Дочь моя возлюбленная... В трудные времена судьбу нашего народа решала не голова, а ноги.

— Вы думаете, мы бегством спасали себя?

— Чем же?

— Тем, что держались за эту глину и за этот крест.

Матушка на улице уже не стучала — она вопила в полный голос.

— Да иду же, вот он я, в дверях стою! Не знаю,— добавил священник, несколько понизив голос.— Не знаю, дочь моя, может, я и не совсем прав, выбрав паству, а не храм, но выбор уже сделан, так что прощай, глупое мое дитя. Пусть в эту лихую годину бог хранит тебя, и твой очаг, и твою землю, и эту бедную...

— И этот храм.

— Ну хорошо. И этот храм.

Тяжелое, крупное лицо Екатерины озарилось счастьем.

— А если это храм и вы нас покидаете на столь долгое время, почему бы вам не вернуть хотя бы часть утвари?

— Милая моя ягодка, что я могу вернуть, когда тут всего полмешка добра!

— Хоть бы Евангелие оставили. Какой это храм без слова господня!

— А то ты не знаешь, что у нас всего одно Евангелие, за которое я еще в позапрошлом году отдал кобылу с жеребенком и с тех пор на одной кляче езжу. Стыд и срам.

— А псалтирь?

— Псалтирей у нас сроду не было.

— А вон там лежало несколько листочков!

— Там лежали всего три псалма, переписанные мной в молодости, когда еще рука не дрожала. Я их храню как свидетельство своей грамотности, вдруг проверка какая будет, но если ты уж так просишь, я их тебе, пожалуй, оставлю. Только смотри береги от огня, от воды и не давай ребятишкам ими играть.

Завладев листочками, женщина положила их там, где они всегда лежали, и, вернувшись, встала в дверях, загородив собой выход.

— А светить?

— Что светить?

— По вечерам, говорю, когда мы соберемся на вечерню и народ опустится перед алтарем на колени, а я выйду петь на клиросе...

— Да какое тут может быть пение?!

— Самое обыкновенное. Крещеные как-никак, и когда солнце пойдет к закату, а со стороны монастыря позвонят к вечерне, мы соберемся, оставшиеся в селе прихожане, я раскрою перед собой те листочки, и как мне тогда без свечки?

— Воска у меня нету,— сознался отец Гэинэ.

— Зачем тогда листочки подарили? Как я их в темноте читать буду?

— Дочь моя, какая свеча поможет тому, кто грамоты не ведает!

— Как не ведаю? Да сколько раз я тут на клиросе читала часослов?

— Это потому, что, будучи от природы смышленой, ты выучила все наизусть и шпарила по памяти.

— А вдруг в один прекрасный день бог смилуется и буквы предо мной откроют свои тайны? Как я в ту тайну проникну, если в церкви будет темно!

Отец Гэинэ перекрестился и, запрокинув голову, признался всевышнему:

— Господи, какие у меня муки с этой дурой, какие муки!

Подумав, покопался в мешке, достал оттуда несколько огарков, завернутых в тряпочку.

— Воску тебе в жизни не видать, его у меня всего одна капля, и

теперь с этой засухой неизвестно, нанесут ли его пчелы или нет. Вот возьми эти огарки. Дома скатаешь из них свечу. Да не надо мне руки целовать, они у меня в пыли да в грехах...

— Мы будем молиться за вас.

— Прощай, глупое дитя, и да пребудет с вами господь...

Проводив священника, Екатерина спустилась к одиноко стоявшему в низине домику. Развела огонь в печи, собрала свою ораву, быстро всех перемыла, причесала, обстирала. Пока она приводила своих птенчиков в божеский вид, воск тихо плавился перед огнем в глиняном черепке. Нарядив ребят, Екатерина смастерила из растопленного воска одну-единственную свечку и, молча кивнув ораве, двинулась вверх по тропке. Она шла впереди, дети цепочкой семенили за ней, а замыкала это шествие шустрая и верная собака Ружка.

В каждом уважающем себя селе есть место для отрады души человеческой. Околина гордилась красивым видом, открывавшимся с обрыва, на котором стоял храм. Подходя к церкви, прихожане, как правило, выгадывали минутку-другую, чтобы постоять, полюбоваться отсюда, сверху, на реку, на заречье, на те далекие голубые дали, которые, кажется, родственны душе твоей и когда-то что-то хорошее тебе обещали...

Екатерина была умной матерью. Она заботилась о том, чтобы ее дети не голодали, но и без причастия миру прекрасного она их не оставляла. Почти не было случая, чтобы она с ними проскочила в храм, не постояв над обрывом, не полюбовавшись Днестром. Обычно перед вечерней тут было не протолкнуться, но теперь они были совсем одни. Оставленные пастырем и односельчанами, они стояли и долго, завороженно глядели на левый берег, туда, где в лучах заходящего солнца в большой спешке спускали мост на воду.

Собранная из понтонов, бочек и связанных вместе плотов, эта гигантская ящерица, добравшись до воды, долго и привередливо к ней принюхивалась. Солдаты, пушки, лошади. Крики, вопли, ор. Затем вдруг все умолкло. Мост поплыл наискосок по реке и, зацепившись носом за правый берег, стал выравниваться. Все шло хорошо, мост уже был готов, уже первую пушку начали по нему переправлять, когда вдруг неизвестно с чего гигантская ящерица закапризничала. Она то выгибала спину, как разъяренная кошка, то, наоборот, исходила лаской, уводя середину моста под воду. В конце концов все это сооружение не выдержало напора воды. Несколько сорванных понтонов вместе с бочками, перекувыркиваясь, понеслись вниз, к морю. Зычный голос завопил во всю мощь:

— Ло-о-ови-и!

За поворотом понтоны были выловлены и вытащены на сушу. Запрягли лошадей и поволокли обратно, чтобы начать все сначала. А времени было в обрез. Фельдмаршал, угрюмый и недовольный, осматривал остатки моста и распекал инженерную службу. Разведка донесла, что со стороны Оргеева движется вверх по правому берегу турецкая конница, направлявшаяся, вероятно, на выручку осажденной хотинской крепости. Откладывать переправу было нельзя, и Румянцев приказал, построив 3-ю дивизию, свершить молебен.

— И-ир-ра! — всплеснула руками Екатерина, когда полковые священники при последних лучах заката вышли в золоченых ризах перед своими полками. Вечерня была уже на исходе; она с детьми сидела, заглядевшись на заречье, а за спиной давно ожидал опустевший храм.

Едва переступив порог, дети кинулись по углам, куда они обычно прятались, чтобы не быть другим помехой, но то было при переполненном храме. Теперь, слава богу, места было полно. Более того, это незаполненное пространство нагоняло тоску, и поскольку эти шестеро ребятишек были единственными прихожанами, решившимися

вместе с ней отстоять храм, Екатерина собрала их из углов, вывела к алтарю, поставила на коленки рядышком.

Теперь наступил черед свечки, ибо без нее какая вечерня! Подумав, Екатерина прилепила свечку к подоконнику. Зажгла, с минуту постояла над ней, следя завороженными, детскими глазами, как крошечный язычок света плавит воск, слизывая его по краям и тут же роняя горячие капли. Пахло ульями, весной, лесами и той неземной благодатью, которая витает над сотворенным миром.

Перекрестившись, Екатерина вернулась к своим ребятишкам, встала за их спинками на колени, опустила им на плечи теплые руки и запела:

Святый боже,
Святый крепкий,
Святый бессмертный,
Помилуй нас.

Сначала испуганно, робко, а затем все слаженнее и слаженнее дети принялись ей подпевать, и вот наконец запели в лад. Свечка, слово, голос, живая святая душа — и, стало быть, чем не храм, чем не вечерня?..

А на Днестре тем временем переправлялась дивизия генерала Эльмпта. В густой тьме огромная лавина бросилась в воду и поплыла наперерез быстрой волне. Плыли лошади, солдаты, какие-то грузы на плотах. Глотали воду, ругались, тонули, прощаясь с жизнью, и выныривали, заново обретя ее.

Из темноты, белея размытыми ущельями, неукротимо двигался им навстречу правый высокий берег. Он был весь в тумане, и только на самой макушке мигал огонек. Эта крошечная капля света то вздрогнет, то вот-вот потухнет, то, глядишь, опять дышит во мгле.

Огромная живая масса плыла по бурной реке, и слабый огонек церковной свечки представлялся каждому счастливой звездой. А увидев свою звезду, кто не содрогнется от счастья и не поплывет навстречу ей?

Глава четвертая

Запретный плод

Naturalia non sunt turpia[1].

История оценит влияние ее царствования на нравы.
Пушкин.

В феврале 1790 года Петербург праздновал взятие Очакова. Героя этого сражения князя Потемкина, державшего в железном кольце турецкий гарнизон почти полтора года, встречали с почестями, подобающими его фельдмаршальскому чину. Два морских батальона и кирасирский полк, носивший его имя, вышли далеко за городскую черту, чтобы встретить светлейшего. Гремели колокола на соборах и храмах, палили пушки кораблей, стоявших в устье Невы, и весь Невский до самого Зимнего был празднично убран.

Государыня была счастлива. Она сумела поставить дело так, что люди умирали с ее именем на устах, но уж зато когда наступал черед чествования, она и это умела устроить как никакой другой монарх. Теперь, стоя у окна и глядя на несметную толпу, заполонившую Дворцовую площадь, она спросила своего камердинера Захара Зотова, услугами которого изредка пользовалась, чтобы узнать, что думают ее верноподданные.

— Что, Захар, сильно любят князя в народе?

— Нет, ваше величество, — спокойно ответил Захар. — Никто его не любит.

[1] Естественное не может быть постыдным *(лат.)*.

— Как так? — удивилась государыня.— Да ты подойди к окну, посмотри, что на площади творится!

— Пустое, ваше величество. Это все от скуки, от желания какого-нибудь праздничка себе, а на самом деле любят его только вы да бог.

— Что ж,— сказала Екатерина после некоторого раздумья.— Бог да я — это не так уж мало.

Вечером в Зимнем был дан бал в честь победы русского оружия. У западных послов разбегались глаза. Екатерининский двор блистал как никогда, и, по правде говоря, он действительно был одним из самых изысканных в Европе. Государыня тратила на его содержание примерно столько же, сколько уходило на русско-турецкие войны. Прекрасно осведомленная о внутреннем положении державы, императрица не прочь была пустить пыль в глаза, причем чем сложнее было состояние дел империи, тем больше пыли она пускала. А двор был в этом деле первым ее помощником. Потому-то Екатерина всю жизнь строила для него дворцы, награждала, обогащала, увлекала.

Созданный руками императрицы, воспитанный в ее духе, петербургский двор, конечно же, был верен себе. Он прекрасно понимал, на чьи деньги, для чего и как он существует. Не зря Суворов, один из самых выдающихся полководцев екатерининской эпохи, писал, что он шесть раз был ранен на войне и двадцать раз — при дворе. Безнравственность буквально разъедала этот блистательный двор, и Екатерина, всячески его опекая, хорошо знала, какие овощи растут в ее огороде.

Собственно, в дни больших празднеств да еще в присутствии западных послов екатерининский двор вел себя безукоризненно, и императрица была воистину счастлива. В те холодные февральские дни она праздновала двойную победу — и над турками и над своим двором, вернее сказать, над завистливыми противниками Потемкина. Почти три года с тех пор, как она поставила светлейшего во главе стотысячной армии, при дворе шли бесконечные споры и неудовольствия по поводу ведения войны. Сам военный министр фельдмаршал Салтыков и вся его Военная коллегия считали, что главный воин России — Румянцев-Задунайский. Ему, собственно, и должны быть переданы все войска и вся свобода действий.

Екатерина не могла согласиться с их доводами потому, что она любила Потемкина. Она обязана была ему доброй половиной своей славы, она наметила его в главные герои той войны и никакие резоны не хотела принимать в расчет. С короной на голове нетрудно быть правой, ибо наступает день, когда все факты так или иначе работают на тебя.

Теперь государыня торжествовала. Она готова была простить фельдмаршалу Салтыкову и его окружению все их заблуждения, все неудовольствия и мелкие уколы в свой адрес, и единственное, что ее расстраивало, был сам Потемкин. Светлейший что ни день появлялся каким-то неприкаянным, грустным, задумчивым, а в день кульминации праздничных торжеств в придворном театре, где давали премьеру по пьесе государыни «Горе-богатырь», светлейший так раскис, что просидел полвечера с опущенной головой.

— Mon cher,— тихо спросила сидевшая рядом императрица,— что с вами происходит?

— Кровь...— прошептал Потемкин, тяжко вздыхая.

— Что — кровь?

— Слишком много было ее пролито при взятии Очакова...

«Поразительный человек,— подумала Екатерина.— Берет крепости, сокрушает целые вражеские армии, а обыкновенную человеческую кровь видеть спокойно не может...»

На пятый или шестой день после прибытия Потемкина решено было отслужить в соборе Николы-морского торжественную панихиду по воинам, павшим при взятии Очакова. Императрица сама пожелала присутствовать, а это означало, что должен был присутствовать и весь двор. Служил митрополит Амвросий, главный священник армии Потемкина — новая должность, выхлопотанная князем у государыни.

В соборе было холодно и мрачно. В ту зиму в Петербурге свирепствовала простуда, и густой кашель то и дело нарушал красоту и величавость богослужения. Екатерина, будучи тоже простуженной, краешком глаза следила за лагерем противников светлейшего, смотрела просто так, чтобы доставить себе удовольствие. Вон там, в углу, стоит, делая вид, что молится, вечно брюзжащий Салтыков. Ничего, пусть молится. Замаливать ему есть что. Рядом с ним этот самый, как там его... Но что такое?! Подле Салтыкова государыня вдруг заметила у крайней колонны справа красивого молодого ротмистра. Он обращал на себя внимание тем, что, будучи хорошего среднего роста, был еще и по-девичьи строен. Нежная кожа тоже как-то по-девичьи отсвечивала, но волос был крутой, вороной, так что на фоне серой мраморной колонны его облик в какие-то мгновения казался флорентийской иконой, изображавшей ангела-хранителя. «Ах!» — воскликнула про себя старая почитательница французских романов, потому что склонность к сладким прегрешениям даже теперь, в шестьдесят, не давала ей покоя. Кто знает, может, о таком вот ангелочке ей и мечталось в длинные сырые ночи престольного одиночества, да где уж там...

Почувствовав на себе чей-то внимательный взгляд, она мигом выпустила из поля зрения этот искусительный лик. Некоторое время слушала панихиду, потом взгляд ее снова вернулся к красивому юноше. «Интересно,— подумала она,— кто повесил перед моими глазами этот вкусный запретный плод и какова может быть его цена?» То, что красавец ротмистр стоял рядом с Салтыковым, как будто указывало на вероятное попечительство фельдмаршала, но возможно ли, чтобы этот примерный семьянин, воспитатель ее внуков, человек, нравственность которого никогда, никак и никем...

И все-таки... С точки зрения искусства было что-то поразительное в том, как живая кожа гармонировала с мрамором. Это было так красиво, что государыня с риском оказаться в плену собственной слабости снова и снова возвращалась к этому ангелу-хранителю. Слов нет, хорош собой. Пожалуй, он смог бы произвести фурор в любой европейской столице, при любом дворе, но, увы, он был не в ее вкусе, совсем не в ее вкусе...

Поскольку это происшествие занимало ее больше, чем могла себе позволить императрица, чтобы освободить себя, Екатерина в тот же вечер спросила свою старую приятельницу Нарышкину, не был ли кто из посторонних, помимо протокола, приглашен на заупокойную в соборе. Нарышкина, прекрасно обо всем осведомленная, не желая преждевременно раскрыть карты, ответила, что, по ее мнению, никого из посторонних не было, но если это важно, она может узнать у князя Барятинского, гофмаршала двора, ответственного за протокол.

— И никакой надобности, душа моя!

Тем не менее этот юный красавец имел наглость той же ночью присниться государыне. Он стоял вместе с соборной мраморной колонной на высокой крепостной стене. Со всех сторон наседали турки, а он был один, и так его государыня жалела, так ей хотелось его защитить! На следующий день после долгого совещания с Потемкиным по иностранным делам державы она села за новую комедию, но дело не шло, потому что государыня опять думала о нем. Ее занимали две вещи — чья это была идея и что за этим скрывалось. За время своего долгого пребывания на престоле она привыкла к тому,

что случайно попадаются государям на глаза одни курицы да облака — все остальное есть не что иное, как результат тонко организованных нечаянностей.

Она заботилась о своем дворе, двор заботился о ней. За четверть века пребывания на русском престоле она уже свыклась с тем, что когда ее очередное увлечение начинало сходить на нет, тут же в ее поле зрения появлялся новый человек, способный увлечь государыню. Но Екатерина была по-своему нравственна, и она никогда бы не простила своему двору, если бы он надумал просто так, забавы ради подзадорить ее любопытство.

Появление этого красивого ротмистра при дворе могло означать окончание еще одной главы в ее жизни, а начать новую ей уже было не под силу. В шестьдесят никто не жаждет перемен. Она любила своего тихого и ласкового Сашу Мамонова, или Мамона, как его называли при дворе, и какие бы интриги ни плелись против него или против светлейшего, она и думать ни о чем не хотела. Но этот юнец возле мраморной колонны — нет, как хотите, это было неспроста. Тут есть какая-то тайна, какой-то намек провидения.

Между тем приближение летней кампании требовало возвращения светлейшего в действующую армию. Проводив его в начале мая, государыня тут же через несколько дней переехала в Царское Село. Хотя было еще холодновато, она знала, что в Царском легче преодолеет тоску, которая ее всегда охватывала после отъезда князя. К тому же, хоть она и государыня и самодержица всея Руси, Екатерина отлично знала цену мелким хлопотам, связанным с переездом. Поначалу кажется, что ты утонул в них и больше никогда не выплывешь, но наступает день, когда они тебя отпускают, и, к своему удивлению, ты обнаруживаешь, что за мелкими хлопотами ты и сам успокоился и многое из того, что представлялось неразрешимым, очень даже просто может быть улажено.

К середине мая вдруг потеплело. В течение одной недели набухли почки, начали зеленеть газоны в дворцовом парке, и однажды в полдень, гуляя со своей любимой болонкой по аллеям, государыня опять оказалась лицом к лицу с тем красавцем ротмистром. На этот раз непохоже было, что встреча была кем-то подстроена. Ротмистр куда-то бежал по делам службы и в спешке чуть не сбил ее с ног. Растерявшись, он отдал честь, после чего раскраснелся так, что, казалось, его вот-вот хватит удар.

— Простите, ваше вели...

— Ничего, пустое,— сказала государыня, спокойно продолжая свой путь, успев, правда, при этом удивиться его ресницам. Ну зачем ему, боевому офицеру, такие большие, как метелки, ресницы! Ну мужское ли это дело, могут ли они украсить истинного воина?! Спору нет, может, где-нибудь при других дворах такие ресницы и имели бы успех, но это не в ее вкусе. Увы...

Возвращаясь с прогулки, государыня свернула к дому Нарышкиной, которая только накануне переехала в Царское. Заглянула только на минутку, чтобы посмотреть, как устроилась ее старая приятельница. Анна Никитична, совершенно осчастливленная посещением, тут же подала Екатерине чаю и, угадав нюхом старой придворной интриганки, чего от нее ждут, начала издалека:

— Уж что творится вокруг, ваше величество, что творится! Поначалу я ушам своим не поверила! Причем ведь мало сказать — молодо-зелено, она же совсем еще ребенок! Мы, признаться, даже удивились про себя, когда вы по своей доброте в столь юном возрасте пожаловали ее фрейлиной. Кто бы мог тогда подумать, что эта бабочка с глазами горной косули...

— Да о ком вы, душа моя, поете-то?

— О княжне Щербатовой.

— Разве за ней было замечено что-нибудь предосудительное? —

спросила государыня спокойно, но ее напудренные ноздри начали воинственно хватать воздух.

Длинные заходы, которые Нарышкина заготовила, мигом улетучились, и, ссутулившись, точно ей предстояло ступать по очень тонкому и хрупкому льду, Анна Никитична пролепетала как можно слаще:

— Я, правда, сама не видела, но, говорят, они с вашим воспитанником в дальних аллеях парка с утра до вечера... Говорят,— добавила Нарышкина совсем тихо,— она от него без ума!

Екатерина вдруг расхохоталась, причем смеялась она так заразительно и громко, как это могут себе позволить только государи в своих столицах, да еще, пожалуй, пастухи в глухих горах.

— Ну,— сказала Екатерина,— рассмешила ты меня, право, рассмешила...

— Но, ваше величество,— стояла на своем Нарышкина,— говорят, и сам воспитанник не безразличен...

— К чему не безразличен? — строго спросила государыня.

— Ну, не знаю, во всяком случае так говорят...

— Для того, чтобы быть небезразличным,— внушительно сказала государыня,— сначала нужен предмет, к которому можно свое небезразличие афишировать.

Допив свой чай и пригрозив хозяйке отдать ее в руки Шешковскому за роспуск сплетен о ее дворе, государыня попрощалась и ушла. И хотя вышла она в прекрасном расположении духа и идти было недалеко, к себе она вернулась усталой и задумчивой. Сашу Мамонова, никому не известного майора, раскопал в действующей армии сам Потемкин. Он выбрал его главным образом за красоту и добрый, покладистый характер. Государыня полюбила его всем сердцем, чуть ли не на второй после сближения день сделала генералом, хотя что-то он быстро начал к ней остывать. Какие-то подозрения и у нее самой были, временами ей казалось, что она с кем-то делит его добрую натуру, но нет, нет и тысячу раз нет. Если во всем копаться, если всему верить, настанет день, когда и жить не захочешь. В конце концов, мужчина есть мужчина. Сама природа предоставила ему большую, чем женщине, свободу действия.

На следующее утро, вызвав князя Барятинского, государыня распорядилась по случаю переезда в летнюю резиденцию отпустить на трое суток всю мужскую часть двора, выдав им внеочередное жалованье в виде наградных. Трудно описать восторг, вызванный этим распоряжением. Хорошо ли, плохо ли, но почти вся знать тогдашнего Петербурга была одолеваема страстью к кабакам.

Как правило, по субботам, как только освобождались от дел, все, начиная с самых маленьких канцелярских крыс и до самых влиятельных вельмож, шли в загул. Даже такие столпы общества, как Безбородко или тот же Потемкин, по субботам, переодевшись в простое платье обывателя, покидали свои дворцы и со ста рублями в кармане пускались до понедельника в самые низкие притоны. Там они пили, играли в карты, развратничали, дрались, а в понедельник, чуть свет вернувшись домой и приняв ванну, надевали золоченые мундиры и шли исполнять свои важные должности.

Случалось, что и приближенные к государыне люди, ее камердинеры, помощники, секретари, не лишены были этой слабости. О Храповицком, секретаре Екатерины, рассказывали, что однажды в каком-то кабаке он подрался за картами с шулером, причем оказался пострадавшей стороной и покинул кабак с огромным синяком под правым глазом. Волей-неволей пришлось в понедельник идти на службу в таком неприличном виде. Каково же было его удивление, когда в числе первых к нему явился на прием один из губернаторов Поволжья, в котором Храповицкий признал своего вчерашнего обидчика. Ночные гуляки посмеялись над своими приключениями, и, к чести

Храповицкого, он решил удовлетворительно дело губернатора, не придав никакого значения понесенному урону.

На второй же день после предоставленного государыней внеочередного отпуска Царское Село опустело. Из мужчин остались одни дежурные по штабу офицеры, камердинеры, срочные курьеры и солдаты караульной роты. Заволновались придворные красавицы — глазки мечутся, слова летят невпопад. Это ужасно смешило государыню, но после обеда прибежала та же Нарышкина, чтобы сообщить, что не все мужчины воспользовались полученным отпуском. Воспитанник государыни предпочел никуда не уезжать — он и теперь гуляет в отдаленной аллее в обществе той же бабочки с глазами горной косули...

— Так,— сказала государыня и, изменившись в лице, молча ушла в свои покои.

Через несколько дней присматривавший за состоянием ее здоровья врач Роджерс обратил внимание государыни на то обстоятельство, что период колик, от которых она страдала, может повториться, и, чтобы избежать его, прописал ежедневный моцион.

Однажды перед обедом во время длинной прогулки по парку со своей приятельницей Нарышкиной государыня опять наткнулась на того красавца ротмистра. На этот раз он уже не растерялся и никуда не спешил. Кем-то вымуштрованный, он делал невероятные усилия, чтобы казаться хладнокровным, но в конце концов растерялся и, едва отдав честь, тут же опустился на одно колено.

— Простите мне мою неловкость, ваше величество...

— Ничего, пустое...

Едва они отошли, как Нарышкина принялась петь:

— Ах, ваше величество, как он вас любит, знали бы вы, как он вас любит! Он буквально боготворит вас!

— Да скажите мне наконец, кто этот ротмистр?

— Платон Зубов, ваше величество. Командир караульной роты дворца. Не правда ли — писаный ангел!

— Не знаю... Странный он какой-то, этот ротмистр...

— Что же в нем странного, ваше величество?

— Эта девичья стройность, эти реснички... В самом деле, не мужчина, а херувим какой-то...

— О, не спешите, ваше величество. Иногда из этих херувимчиков такие дьяволы вылупливаются, такие дьяволы, что не приведи господи...

— Ах ты старая греховодница,— пожурила ее государыня.— Вот возьмусь я за вашу сестру и выведу на сцену перед всей публикой в новой комедии...

— О нет, ваше величество! Все что угодно — только не это!

Согласившись отложить публичное высмеивание сплетниц, государыня вернулась в свой рабочий кабинет и распорядилась вызвать к себе генерала Дмитриева-Мамонова и фрейлину Щербатову. Двор замер. Надвигалась гроза.

Они вошли перепуганные, пали перед ней на колени и молвили в один голос:

— Пощадите, ваше величество.

Екатерина встретила их стоя. Дав им побыть на коленях, она прошла в дальний угол кабинета, взяла с круглого мраморного столика табакерку с портретом Петра Великого. Понюхала табаку, мельком взглянув на ставший для нее родным облик Петра. Чихнула. Прошла медленно, задумчиво из конца в конец кабинета, и вместе с ней нескончаемая вереница русских цариц задумчиво прошествовала по огромным венецианским зеркалам, украшавшим стены кабинета.

— Милая княжна,— спокойно, доброжелательно начала государыня.— Около года тому назад ваш батюшка, известный историк и литератор, обратился к нам с нижайшей просьбой определить его единственную дочь при нашем дворе, с тем чтобы она на наших гла-

зах получила должное завершение своего воспитания. Скажите, мой друг, было ли в той просьбе только естественное в таких случаях радение родителей о своих чадах или это в какой-то мере совпадало и с вашими собственными желаниями?

Бедная княжна! Само обращение к ней государыни привело ее в такой трепет, что, казалось, она вот-вот упадет в обморок. Стоя на коленях, она беспомощно озиралась, потому что от волнения никак не могла вникнуть в смысл сделанного ей государыней вопроса. Але ксандру Дмитриеву-Мамонову потребовалось немало времени, чтобы успокоить свою подругу и помочь ей понять, о чем ее спрашивали.

— О нет, ваше величество! — ответила наконец княжна.— Прежде родительского желания было мое собственное желание, и у меня до сих пор нету слов, чтобы выразить то счастье, которое меня охватило, когда я в первый раз...

— Если счастье было в самом деле столь велико, как вы о том толкуете, то чем объяснить, что, не прослужив и года при дворе, вы уже стоите передо мной на коленях?

— А это потому, что мы любим друг друга, ваше величество.

Екатерина подумала, что в самом деле ее черные, чуть раскосые глаза чем-то напоминают дикую косулю. Еще раз прошлась из конца в конец зала. Уловив краешком глаза вереницу шествовавших вместе с ней по зеркалам императриц, вспомнила, что французский посол уговаривал ее на днях переменить прическу. Высокий кок, утверждал он, утяжеляет лицо, подчеркивая мужские черты ее характера, в то время как опущенные волосы прибавили бы женственности. Слов нет, Сегюр прав, но он при этом упускает из виду, что, переменив прическу, она потеряла бы в росте. Из двух альтернатив — красота или рост — женщина выбрала бы красоту. Государыня обязана выбирать рост.

— Граф,— спросила она вдруг, не дойдя до угла и резко обернувшись через плечо,— за три года пребывания при моем дворе вам был обеспечен голос при разборе всех важных государственных вопросов. Вы выказали при этом незаурядные способности, за что получили, кажется, почти все награды и знаки отличия, какие были в нашем распоряжении, но скажите, граф... Может быть, вы чем-то обижены, но не решаетесь по причине мягкости своего характера...

— О, ваше величество, как вы могли об этом подумать! Ваша доброта и ваша щедрость по сравнению с моими скромными заслугами воистину не знали границ. Более того, говоря по совести, я чувствовал себя недостойным тех чрезмерных милостей, которыми был вами обласкан, и стал было подумывать, не попроситься ли в действующую армию, дабы там, на поле брани, хотя бы отчасти оправдать те звания и награды...

— Если вы собирались на юг, чтобы участвовать в деле и тем доказать свою преданность мне, то почему вы стоите предо мной на коленях рядом с этой зеленой дурой?

— Потому что мы любим друг друга, ваше величество.

«Это он нарочно подхватил ее слова,— подумала государыня.— Хочет прикрыть своим громким голосом первозданную глупость ее лепета. Должно быть, страх, что я могу сгноить в Сибири, ожесточил их и они стали проявлять стойкость, на которую еще вчера вряд ли были способны. Надо бы сначала их успокоить, обласкать, иначе мне этого дела не решить».

— Милая княжна,— сказала государыня как можно ласковее.— Считаете ли вы, что благодарность есть великое чувство, возвышающее человека над всеми прочими тварями, или вы думаете, что это пустое сочетание звуков?

— О, ваше величество, это великое, святое, вечное слово...

— В таком случае почему же...

— Потому что мы любим друг друга, ваше величество.

Гуляя по кабинету, Екатерина подумала, что капли, которые ей вчера прописал Роджерс, вряд ли полезны. Даже, может статься, противопоказаны. От них пошла какая-то странная ломота во всем теле, отяжелели ноги и такое ощущение, что вот-вот начнутся колики. Дай бог дотянуть до конца эту дурацкую историю — и сразу в постель.

— Александр Матвеевич,— сказала она с чувством бесконечной грусти,— известно ли вам, что государи — самые одинокие люди на свете?

— О, ваше величество, кому как не мне...

— Так,— сказала Екатерина более энергично, более густо, чем говорила до сих пор, и после этого восклицания ее голос с каждым шагом наливался крутой царской властью.— А известно ли тебе, Саша, как трудно мне в этом году, когда я вынуждена вести две войны сразу при постоянной угрозе внутренних смут, при полном запустении хозяйства, при том положении дел, когда чуть ли не я сама должна набирать рекрутов, отливать пушки и собирать фураж для армии?

— Мне известно все, ваше величество.

— А коль тебе известно все, то почему, позволь спросить, в этот трудный час ты валяешься у меня в ногах, вместо того чтобы стоять рядом со мной и помогать мне?!

— Потому что мы любим друг друга, ваше величество.

Длинный ряд венецианских зеркал на миг потускнел, и государыне показалось, что ей делается дурно. Слава богу, миновало. Больше всего в жизни она ненавидела смелость простых истин и напористость честных людей. Она была уверена, что все люди думают одно, а говорят другое. Ей это даже представлялось талантом, отпущенным всевышним, она восхищалась теми, кто этот дар довел до совершенства, и когда при ней вдруг кто-нибудь говорил твердым голосом то, что думал на самом деле, это ставило ее в тупик, потому что она тогда оказывалась вне игры. Говорить то, что она думает, для этого Екатерине нужно было бы заново на белый свет появиться.

Коленки, однако, дают о себе знать. Оглянулась, на что бы присесть. Рядом была любимая голубая софа, на которую она обычно забиралась, укрывалась теплой шалью и, зажмурившись, сочиняла реплики для своих будущих комедий. В какой-то миг она подумала: а что, если выгнать их вон, забраться на софу, укрыться... Увы, корона предъявляет свои права. Сев на самый краешек голубой софы и прямо, как в юности, держа спину, она призадумалась. Конечно, в шестьдесят трудно держать спину, точно тебе шестнадцать, но ее соперница следила за ней во все свои раскосые глаза, и Екатерина обязана была давить на нее не только могуществом, но и статью.

— Милая княжна... Вам, должно быть, известно, что мне приходится почти все время воевать. Мы вынуждены отдавать ратному делу лучших своих сыновей, ибо, как мудро говорил Петр Великий, через ратные дела мы вышли в люди и с нами, с которыми раньше в Европе и знаться не хотели, теперь почитают за честь за один стол садиться.

— Известно, ваше величество.

— К сожалению, войны имеют и свою дурную сторону, они почти всегда ведут к падению нравов. И не только в пределах государства или самой армии. Даже в столицах среди знати, даже при моем дворе можно наблюдать это чрезвычайное падение нравов.

— Мне и это известно, ваше величество.

— Вы также, должно быть, знаете, что я, занятая важными государственными делами, мало обращаю внимания на эти флирты. Что ж, люди молодые, это так естественно. Влюбляются, строят интриги, ссорятся, мирятся. Не беда, если какой-нибудь пылкий драгун и переночует у какой-нибудь не в меру горячей фрейлины — лишь

бы об этом не слишком много сплетен пошло. Что ж, и согрешат и покаются потом — стоит ли мне в это вникать?

— Мне известно о таком вашем отношении, ваше величество.

— А если и это вам известно, то почему, позвольте спросить...

— Потому что мы любим друг друга.

Екатерина поднялась с голубой софы, подошла к рабочему столику, и ее рука потянулась было за белым колокольчиком, которого до смерти все боялись. Белый колокольчик означал вызов Шешковского, домашнего палача государыни, под кнутом которого не раз содрогалось и корчилось от боли достоинство России. У Екатерины была минута слабости, ей захотелось, чтобы тут же, на ее глазах, их били кнутом до полного бесчувствия, но потом рассудок взял верх. Это было бы слишком малой местью за то оскорбление, которое они ей нанесли.

— Саша,— сказала она тихо,— скажи, есть хоть какая-нибудь возможность вернуть все в прежнее состояние дел?

— Невозможно, ваше величество.

— Да почему невозможно-то?!

— Потому что мы любим друг друга.

— Что ж,— сказала государыня,— на этом давайте и кончим. Идите оба и оставайтесь на своих должностях вплоть до получения высочайшего решения по вашему вопросу...

В воскресенье после литургии государыня дала большой обед, на котором объявила о предстоящей свадьбе генерала Дмитриева-Мамонова с княжной Щербатовой. Еще через неделю сыграли свадьбу. Подарки государыни были воистину царские — две с половиной тысячи душ и сто тысяч рублей с непременным, однако, условием, чтобы после свадьбы, причем сразу же после свадьбы, молодые навсегда покинули столицу и уехали в Москву, где им было определено место постоянного жительства.

Почти все лето государыня прожила одна, как говорили при дворе, холостячкой, но в течение того лета она много работала и дела империи как будто пошли на лад. С юга поступили наконец добрые вести. В сентябре Суворов, бросившись со своим корпусом на помощь австрийцам, вырвал две блистательные победы. Фокшаны и Рымник переломили ход войны в пользу России, и только рано наступившие осенние дожди спасли турок от полного поражения. Как известно, в те времена войны велись кампаниями, с весны до осени.

В течение всего того лета государыня чаще чем обычно, иногда по два раза в неделю, писала на юг Потемкину. Печать какой-то тревоги лежит на всех ее письмах. Женив своего фаворита Мамонова, она, хоть и не по своей воле, ослабила позицию Потемкина при дворе, потому что в том хрупком состоянии политической устойчивости державы очень важно было, чей человек фаворит и к какой партии он примыкает.

Светлейшего на юге это мало беспокоило, он сообщал в письмах, что как раз занят поисками нового воспитанника для государыни. Он не знал, что воспитанник уже найден, и умная Екатерина, наученная за четверть века пребывания на русском престоле ничего не брать из чужих рук, пока эти руки не станут своими, просто дожидалась своего часа.

И он настал. Однажды под вечер, представляя списки офицеров к присвоению очередных званий, фельдмаршал Салтыков вдруг замолвил слово за скромного ротмистра, командира караульной роты дворца.

— Я и сама успела заметить его старание,— сказала императрица,— но если не возражаете, поговорим об этом завтра после заседания Совета.

На Совете, состоявшемся на следующий день, Екатерина вытащи-

ла давно заготовленный проект о слиянии двух южных армий в одну под командованием Потемкина. Это означало отставку для главного воина минувшей войны Румянцева-Задунайского и утверждение в этом звании князя Потемкина. Долгие годы Салтыков и слышать не хотел об этом, но теперь государыня предлагала сделку — отдать Потемкину всю армию на юге, чтобы самой иметь возможность получить из рук Салтыкова этого херувима. Военному министру цена показалась разумной, и план был утвержден.

В конце сентября, перед возвращением в Зимний, как никогда довольная собой Екатерина предприняла длинную прогулку по парку в обществе той же старой приятельницы Нарышкиной. Во время этой прогулки они опять наткнулись на молодого красавца. Теперь он уже был в чине капитана. За лето похорошел, возмужал и, не теряясь более, молча отдал честь.

— Ваше величество, простите мне мою нескромность,— вдруг произнес он, когда женщины прошли было уже мимо.

— Да в чем же она проявляется, эта ваша нескромность?

— В непростительно долгом лицезрении той, что сияет подобно, подобно...

«Ба, да он у нас еще и поэт!»

Тем временем красавец снова плюхнулся на одно колено, опустив свою грешную головушку, не до конца освоившую правила построения поэтических метафор. А волосы у него были и вправду хороши — с этаким вороным блеском, прямо так и хочется потрогать их рукой... Екатерина с трудом заставила себя перебороть это искушение, но Нарышкина, попридержав ее за локоть, прошептала:

— Пощадите его, ваше величество... Видите, в каком он состоянии. Еще, чего доброго, скончается на наших глазах...

— Да отчего он может так вдруг на наших глазах скончаться?

— От любви, ваше величество! Неужели вы не видите, как он измучен томлениями так и не находящего выхода великого чувства своего?!

— Да что ты говоришь?!

Сделав несколько шагов по направлению ко все еще стоявшему на колене капитану, Екатерина правой рукой, обтянутой белой перчаткой, взяла его за подбородок, как обычно берут малых детей, и, запрокинув его лицо перед своими уже выцветшими голубыми глазами, долго в него всматривалась. Лицо было красивое, точеное, нервное, чуть-чуть женственное, но черные, с цыганским блеском глаза смотрели смело, по-мужски и, кажется, уже были посвящены во многие земные прегрешения.

— Дозвольте, ваше величество, в знак вашего прощения хотя бы прикоснуться.

Зубов впился губами в кончики ее пальцев, и почувствовав сквозь ткань перчатки его горячее дыхание, Екатерина поняла, что это судьба, а от судьбы, как известно, не уйдешь.

— О, да вы в какой-то горячке, капитан... По-моему, вы больны. Я непременно сегодня же пришлю к вам своего доктора...

— Да я совершенно, ваше величество, то есть совершенно...

— И слушать не хочу! Это вам только кажется по молодости лет, а Роджерсу виднее...

Они разошлись. Зубов летел в свое караульное помещение как на крыльях. От Нарышкиной, также хлопотавшей за него, он знал, что посещение врача государыни было началом приближения к ее величеству. После Роджерса кандидат в фавориты переходил в распоряжение статс-дам — они обучали его манерам, придворному этикету. Завершала подготовительный период некая Перекусихина, известное при дворе лицо под кличкой Проб-дама.

Продвижение Платона Зубова в фавориты проходило крайне успешно. На всех этапах он выказывал незаурядные способности, и

почти сразу же после возвращения двора в столицу произошло сближение. Увлечение государыни было столь велико, что ее глаза постоянно сияли, хорошее настроение искало выхода, отчего она что ни день приглашала гостей и устраивала вечеринки. После шумных представлений и роскошных ужинов садились играть в карты, но уставшая за день государыня часам к одиннадцати — никак не позже — прощалась со своими гостями. К великому удовольствию присутствующих, молодой двадцатилетний Зубов, поднявшись следом за государыней, храбро шел за ней в ее внутренние покои.

А что же та влюбленная пара, улетевшая на крыльях любви во вторую столицу? Была ли она счастлива, прожила ли она долгую, счастливую жизнь? Увы, нет, потому что месть государыни была воистину ужасающей. Одурманенные взаимным влечением, они видели себя в первозданной чистоте, но сама государыня прекрасно знала, что, пожив при дворе, они уже достаточно наелись там райских яблок, а если сами не ели, то слышали их хруст на каждом шагу...

В Москве юная Щербатова заскучала — оказалось, Саша совершенно не способен заменить собой блеск и пышность двора. И никаких тебе балов, театральных представлений, сплетен. Молодая супруга начала запираться в своей комнате и плакала целыми днями. Раздосадованный ее поведением супруг тоже стал подумывать, а не свалял ли он дурака с этой свадьбой. Ведь было же время, причем совсем недавно, когда он мог оказывать решающее влияние на ход государственных дел! Его расположения домогались послы иностранных держав, его заваливали подарками, его остроты обходили Петербург. Кланялись в пояс губернаторы, поэты сочиняли оды ко дню рождения — и на что же он все это променял? На теплый домашний халат, на мятые туфли и на бесконечные пререкания с этой и в самом деле зеленой дурой!

Всего через несколько месяцев после свадьбы пошли слухи, что молодые живут плохо, ругаются и даже дерутся. Потом стали поговаривать, что бывший фаворит написал государыне письмо, слезно прося вернуть его к прежним милостям. Екатерина не ответила, и он, выждав какое-то время, снова написал, позаботившись через своих людей, которые все еще оставались при дворе, чтобы это письмо дошло до адресата в самый для него благоприятный день, когда ее величество будет пребывать в наиболее милостивом расположении духа...

Увы, все было напрасно. Государыня бросала его письма в камин не читая. У нее было много хлопот по управлению страной, она была увлечена сочинением новой комедии. А все свободное время она посвящала Платону Зубову, который оказался умным, задушевным, мужественным и, конечно же, конечно же, конечно же...

Глава пятая

Вифлеемская звезда

Страна моей печали, страна любви моей...
Эминеску.

Не заграждай рта у вола молотящаго.
Второзаконие.

Лес ты мой зеленый, отыскать бы путь-дорожку и тропинку для себя... Едва ли не половина молдавской народной поэзии посвящена кодрам, густым дубовым лесам, укрывавшим в лихую годину этот народ и не раз спасавший его от полного уничтожения. Признательность простого сердца не ведает границ — ах, лист зеленый, лес густой, как живешь ты, милый мой?

Кодры — что им сделается? Живут могуче, прочно, вечно, но увы... Наступает день, и час, и мгновение — и пожелтевший зубчатый

лист, мягко отделясь от матери-ветки, долго кружит в голубом прозрачно-осеннем воздухе. Устав в этом парении, он покорно стелется, хороня сам себя. И лежит он, сердечный, плашмя, лежит беспомощный, бездыханный, и пройдет по нему кто угодно, когда угодно, куда угодно...

Опавшая листва вместе с прохладой осенних ночей приводит в движение гигантский мир беженцев. Теперь стоянки открыты и видно за много верст, кто где коротал лето. Весь этот покатый склон, например, занимали Петрешты. В низине над ручьем жили Штефанешты, а на той стороне за пригорком обосновались Варзарешты. О эти бедные, эти многострадальные наши села... У нас еще не было и, кажется, уже никогда не будет полной хроники хотя бы одного села, чтобы проследить, через какие муки пришлось пройти этим карпатским горцам, ассимилированным римлянами, объединенным деревянным крестом над своей церквушкой и многочисленными горестями и бедами, захороненными в названии самой деревушки.

И снова кликнула судьба, и снова запрягаем... Провозившись со своими скудными пожитками всю ночь, чуть соснув только под самое утро, деревни прощаются с кодрами ранней-ранней зорькой. Длинные колонны безропотной бедноты растекаются ручейками по склонам, по пустырям и, прощаясь на ходу село с селом, человек с человеком, уходят — кто на восток, кто на запад, кто на телеге, кто пешком. Небо затянуто тучами, солнца совсем не видать, и, прикидывая время больше по наитию, люди спешат. За годы бесконечных смут поля заросли сорняками, стали чужими и колючими. Ни дорог, ни колодцев, ни памятки никакой, только одинокие, могучие орешины высятся над заросшими пыреем полями, напоминая народу о его прошлом, да покосившиеся распятия — над высохшими родниками, напоминая народу о его вере.

Пронзительно скрипят давно не смазанные, никуда и ни за чем не ездившие колеса. На телеге, груженной всяким скарбом, покачиваются вместе с многочисленными узлами четверо ребятишек. Поначалу, пока выезжали из леса, они сладко спали вповалку, но затем простор открытых полей прорвался сквозь их детский сон, разбудил, и они, не в силах по-настоящему проснуться, без конца оглядываются и, бледные, переболевшие за лето всем на свете, мигают и не могут взять в толк, то ли они в самом деле возвращаются, то ли им эта дорога домой только снится.

Рядом с лошадкой плетется с кнутом под мышкой задумчивый глава семейства, господарь, как они сами себя называют. Идет этот господарь медленно, удрученно, потому что вспашка, сев и уборка — это единственное, что он в жизни умеет, единственное, ради чего живет. А между тем уже четыре года он не пашет, не сеет и не собирает урожай. Семья живет впроголодь, запущенная земля одичала под ногами, а войне ни конца ни края. И оттого, что его воля как человека ни на что более не влияет, ни во что более не реализуется, он начинает тупеть на собственных глазах. Бесконечно несчастный, неумелый и невезучий, опротивевший сам себе, плетется господарь рядом со своей лошадкой, вместе составляя библейски печальное целое.

К задку телеги привязана коза, единственное, что у них, помимо лошадки, осталось. За козой идет, подгоняя ее хворостинкой, господина. Она шепчет про себя какую-то молитву, часто оглядывается на уплывающие вдаль леса, следит, чтобы из телеги что не выпало, и, кажется, вот-вот заплачет. Для деревенских женщин отъезды и приезды — сущая мука. Господь их знает — то ли все дело в том, что женщины обычно прикипают к любому месту, где они пробыли более суток, то ли гложет эту бедную господину, что на телеге всего четверо ребятишек, а весной, когда убегали в лес, было шестеро... Две могилки так и остались там, в укромном месте, под старым дубом, и, покидая

лес, она, должно быть, клянется, что каждый год в день поминовения навестит своих кровинок.

Но, может статься, расстроил ее истошный собачий вой, доносившийся с лесной опушки. В той нескончаемой собачьей печали, конечно же, слышится и голос того самого Гривея, который весной семенил за их телегой. За лето собаки в лесу одичали, зажили стаями, перестали отзываться на свои клички, перестали узнавать своих. Теперь вот воют. Должно быть, спохватились, что их бросают. Вспомнили, что уходящие вдаль люди как-никак не чужие. Было время, эти люди делили с ними последние крохи. Теперь вот уходят, а они остаются. Хоть и одичали, трагедии этого подлунного мира доходят и до них, и, сев на опушку леса, задрав морды к небу, собаки воют пронзительно, истошно, как судьба, как рок какой-нибудь.

Осенний день короток, а путь долог. Колонны идут днем, идут ночью, потом начинают дробиться на ходу. Измотанный бездорожьем, каждый господарь ищет свой путь, полагаясь главным образом на клячу и на бога. Еще верста, еще перелесок, еще ночь — и вот родные холмы начинают ранним утром выплывать из тумана. Еще один спуск, еще один, последний, подъем — и вдруг из-за пригорка вместо крыши родного дома медленно выступает обугленный дымоход. Сердце останавливается, замирает дух. Не скрипят более колеса. Тяжело с натуги дышит лошадь, замерла чем-то удивленная коза, и дети на телеге напряженно вытянули тонкие шейки.

— О арс? Сгорел? — с дрожью в голосе спрашивает господина, ибо, будучи женщиной, она не решается поднять глаза, чтобы не умереть тут же на обочине дороги...

— О арс...— с досадой роняет господарь и, похлопав по загривку свою лошадку, продолжает путь.

О эти наши бесхитростные, глинобитные, побеленные известью домики! Через какие только испытания, через какие только муки они не прошли! Им, слепленным крестьянами по образу и подобию своему — на побеленном фасаде двери вместо носа, два окошка вместо глаз, соломенная крыша вместо шапки, — тоже доставалось в те годы. Когда подкатывала смута, хозяева подавались в кодры, а их домики-слепки оставались. Мертвые, пустующие деревни раздражали и отступающих, раздражали и наступающих. Защитить деревни было некому да и практически невозможно, поскольку фронтов тогда не было. Главные воюющие силы концентрировались в крепостях, а между этими крепостями круглое лето шныряли отряды янычар, и круглое лето языки пожаров пылали над молдавскими холмами.

Представим теперь, как выглядел он тогда, тот отчий дом, поздней осенью, когда наши предки возвратились из своих дальних скитаний. Сгорела соломенная крыша, тушить было некому, и сгорели окна, двери, сгорело все, что было в доме. А тушить по-прежнему было некому, и сгорел хлев, припасенные на зиму дрова, кизяк, срезки виноградной лозы с прошлых лет. А тушить по-прежнему было некому, и сгорели плетеный забор, калитка, сгорели две вишенки и черешенка. Потом, когда уже и гореть было нечему, над теплым еще пеплом прошли сильные летние дожди. Под напором обильной влаги размок и провалился потолок, так что теперь, в полдень, когда солнце стоит в зените, оно светит через сгоревшую крышу, через провалившийся потолок прямо в дом.

После дождя наступили теплые, благостные дни прорастания. Распаренная земля задымилась, и ожили чудом уцелевшие после пожара семена. Теперь поди угадай, что где взойдет, что где прорастет. Подорожник, одуванчики — им нипочем ни война, ни турки, ни пожары. Бузиной и лопухом заросли дорожки вокруг дома, чертополохом заершились завалинки, а одинокий куст овечьей полыни, поднявшись на цыпочки, пытается заглянуть через оконный проем в дом. А чего туда заглядывать, когда и так все открыто и у порога стоит — в качестве

хозяина дома — красивый, стройный, поздно взошедший и потому поздно расцветший подсолнух.

Вот так вот. В сенцах каким-то чудом уцелело семечко, после дождя взошло, и теперь подсолнух радушно улыбается вернувшемуся господарю, господине, всем чадам их улыбается, потому что хоть и скупо, но все-таки светит солнце. А приехавшие из дальних далей хозяева стоят перед расцветшим подсолнухом окаменевшие, и, кажется, пройдут тысячи лет, прежде чем они смогут сделать шаг или проронить хотя бы слово.

О эти наши предки, эти наши герои, эти наши мученики... Мы так и не узнаем, как успевали они за считанные дни, когда зима была уже на носу, и потолок заново настелить, и дом перекрыть, и обмазать его, и побелить. Не узнаем мы, откуда вдруг появились двери, чем было заменено окно, из каких тайников были добыты эти святые запасы кукурузных зерен, но вот загудели жернова, задымились крыши над деревней. Сноровистые хозяйки в вечерних сумерках сварили мамалыжку, собрали вокруг нее, как вокруг солнца, всю семью и этим паром земного бытия, и добрым словом, и улыбкой возвращали своим близким веру в благость мира и надежду на лучшие времена.

Казалось невероятным, немыслимым казалось, чтобы эта дотла сгоревшая деревня когда-нибудь ожила, но вот не прошло еще и недели, а по утрам поет кем-то сохраненный петух, брешет где-то щенок, оставшийся верным своим хозяевам, и выбежавшие поутру к колодцу хозяйки на миг замерли в своей ошалелой спешке, навострив уши, потому что в воздухе повисло что-то похожее на деревенскую сплетню.

К полудню начинают собираться в укромные, прогретые солнцем затишки сельские ребята. Поиграв немного, они становятся кружочком, долго о чем-то шепчутся меж собой, составляют какие-то планы.

Тайны, тайны и снова тайны... Затем, как только в воздухе закружились первые снежинки и наступил заветный день, они заполонили своими ватагами всю деревню. Войдя в чей-нибудь двор, испросив у хозяина позволения, они становятся кружками под окна и тонкими голосами начинают рассказывать о трех волхвах, трех великих магах, из далеких далей пришедших поклониться младенцу, родившемуся в яслях.

Потому что их водила
Вифлеемская звезда...

Отец Паисий, сам колядовавший в детстве, на старости лет писал: а задумался ли ты, любезный читатель, почему это праздник рождества Христова приходится на начало зимы и мы его празднуем при первых зимних холодах? Думал ли ты, почему это всевышний, сотворивший такую бесподобно красивую землю, с таким множеством красок и запахов, со всякой благодатью, выбрал для прихода в мир своего единственного возлюбленного сына именно то время года, когда земля лежит мертвой и все сущее придавлено холодом, а человеческий дух мечется в поисках сути своей? Думал ли ты, читатель, почему народный здравый смысл выбрал именно ребятишек, чтобы они колядками своими возвестили миру о наступлении этого великого празднества?..

Впрочем, пение детей — это и в самом деле одно из величайших чудес мира. Вот их дружная колядка плывет, поднимается по сильно заснеженному западному холму, но тут же, сорвавшись, скатывается обратно, такой подъем ей не под силу. Но сдаваться будущим мужчинам тоже не к лицу. Переведя дух, они шагают дальше и опять становятся под чьими-нибудь окнами. Окрепшая их колядка воинственно возносится на вершину уже другого, восточного холма, откуда, говорят, весь мир увидеть можно.

Холмы, о которых идет речь, и в самом деле были трудны для подъема. В сущности, это была пара слонов-гигантов, лежавших рядом

с незапамятных времен. В этом своем долгом лежании они, преисполненные нежности, вдруг прильнули друг к дружке и своим неосторожным движением чуть не полностью закрыли уютно расположенную меж ними долинку. Все-таки небольшие воротца после их любезничания остались — ровно столько, сколько нужно для маленькой речки, чтобы выйти на простор, и сколько нужно для разумной дороги, по которой две телеги могли бы свободно разъехаться, сохраняя при этом взаимное уважение и чувство собственного достоинства.

Эти фундаментальные для любой нации первоэлементы — взаимное уважение и чувство достоинства — нужно упомянуть потому, что в той чаше стояла, растянувшись вдоль речки, деревушка с нежным названием Салкуца. Должно быть, в этой долине когда-то росли плакучие ивы. Потом они ушли, как уходит все в этом мире. Их место заняли дома, но ивы не исчезли насовсем, подарив свое имя деревне. Укрытая влюбленными слонами Салкуца жила себе припеваючи. Холмы были на редкость плодородны, а кроме того, они благотворно влияли и на сам дух селян, всемерно расширяя их горизонты, ибо с восточного холма видно было до Днестра, а с западного в ясный погожий день можно было увидеть из-за других холмов припрутские поймы.

Высота и месторасположение этих холмов не прошли, разумеется, мимо внимания воюющих сторон, и не было ничего удивительного в том, что при заключении соглашения о зимнем перемирии было решено над Салкуцей поставить два дозора: на восточном холме — русский, на западном — турецкий.

Поначалу все шло тихо и гладко. В положенные часы дозоры менялись, деревушка в низине жила своей жизнью. Казалось, росшие тут на берегу плакучие ивы передали деревне помимо имени еще и некоторые черты своего характера, ибо трудно было бы сыскать на всем белом свете другую такую тихую деревню. Под утро чуть подымят крыши, поскрипят колодцы, полает чей-то щенок — и уже тихо. Под вечер опять же чуть подымят крыши, полает щенок — и снова тихо, теперь уже до самого утра. В праздничные дни зазвенит колокол в церквушке, расположенной по ту сторону речки, за мостом, на небольшом выступе. В ответ на его зов дружно по мостику пройдут прихожане. Поднимутся по тропкам к своему храму, помолятся, тут же побегут обратно — и опять тихо.

Но вот наступило рождество, а праздник рождества, как известно, тихо пройти не может. Крыши дымятся без конца, колодцы скрипят, собачка лает. В церкви двери открыты с утра до вечера, и по деревне снуют ватаги ребятишек, которые, встав под чужими окнами, начинают вещать миру о трех удивительных магах. Их колядка, как уже говорилось, взмывает вверх по склону то восточного, то западного холма, а дозоры слушают, наматывают на ус.

— Плачут,— предположил турецкий дозор.— Кого-то хоронят.

— Колядуют! — завопили казаки на восточном холме.— Братцы, стало быть, рождество и, стало быть, с рождеством Христовым вас, братцы!

Проторчать полсуток на ветру, обозревая белую пустыню, дело скучное, зябкое и одинокое. Тем более если ты христианин, а в расположенной в низине деревушке справляют рождество. Это событие наталкивает озябшего воина на мысль спуститься в долину и поздравить народ с праздничком. При этом можно будет и погреться, и покурить, и, кто знает... Говорят, из лесных ягод, если взяться за это дело умеючи, можно сготовить такую холеру, что одна только чарка — и уже все хорошо...

Турецкие янычары были крайне озадачены поведением русского дозора, который вдруг спустился с холма, разошелся по домам и неслыханно долго, возмутительно долго, преступно долго не возвращался на свой пост. Турки мерзли на ветру и обзывали весь мир сви-

нячим корытом, потому что, если вдуматься, какой из двух дозоров имел больше прав спуститься в деревню и погреться? Русские хоть и православные, все-таки тут чужаки, в то время как турки находились на своих вассальных землях, другими словами, у себя дома. И вот поди же ты, хозяева мерзнут, а гости гуляют. Да неужели, если они решат спуститься с холма, им откажут в хлебе и в тепле?

Желание выяснить истинное положение вещей, а заодно и погреться стало подталкивать турецкий дозор испытать свое счастье. И вот в сумерках в деревню, в которой уже гуляли казаки, спустились турки. К их величайшему удивлению, их тоже приняли, потому что было рождество, праздновали приход в мир учителя смирения и доброты.

После этого дозорная служба пришла в полный упадок. То есть днями она кое-как еще велась, а по ночам оба холма пустовали. Бывало, в одном доме сидят русские, в другом — турки. Бывало, в одном и том же доме сегодня греются русские, завтра — турки. Принимая и тех и других, люди угощали чем бог послал, приглашая при случае еще заглянуть, потому что праздник рождества тянется долго, до самого крещения. Бедным салкучанам и в голову не приходило, какой смертельной опасности они подвергают себя своим христианским гостеприимством. Да и самих воинов, казалось, мало заботили последствия. Солдату что — поел, погрелся и был таков. А между тем рок уже витал над Салкуцей...

В первую же рождественскую неделю, когда над холмами завыли метели и мороз придавил так, что дыханье схватывало, в двери крайней в селе избушки постучали. В доме как раз грелись янычары. Хозяин, добрая христианская душа, пошел и открыл. Вошли четверо подвыпивших казаков, которые, преисполненные веселого настроения, решили обойти с поздравлениями всю деревню дом за домом. Не успели они переступить порог, рта раскрыть не успели, как янычары повисли на них, перевязали, выволокли из дому, перебросили поперек своих седел и поскакали через холм в бендерскую крепость, находившуюся в то время в их руках.

Генерал Каменский, стоявший гарнизоном в Кишиневе и отвечавший за соблюдение перемирия, пришел в ярость от этого сообщения. Человек он был суровый, деспотически относившийся к собственным сыновьям, не говоря уж о подчиненных. Вызвав к себе полковника Головатого, казаки которого несли дежурство над Салкуцей, он долго распекал его за это упущение, после чего приказал устроить засаду и увезти в плен ровно столько турок, сколько было взято казаков.

— Слухаю, вельможный пане.

Головатый взялся сам возглавить эту операцию, и когда он выехал со своей сотней из Кишинева, метели кружили вовсю. Валивший сверху снег подхватывали шнырявшие над самой землей ветряные ведьмы. Они долго гоняли его по низинам, по оврагам, после чего, устав, принимались складывать в сугробы. Но, как и у всех старых людей, настроение у ведьм быстро портилось и, не успев толком замести сугробы, они тут же раскидывали их по всему полю и снова принимались гонять снег с места на место. В этой снежной карусели потонуло решительно все, и трудно было разобрать, где земля, где небо, когда утро, когда вечер.

— За мной, бисовы диты!

Захватив пленных, турки почему-то не спешили возобновлять дозорную службу. Прождав двое суток, Головатый решил оставить Салкуцу и подойти поближе к крепости. Покидая село под покровом ночи, его сотня растянулась длинной цепочкой по склону, но долго еще кружила внутри чаши, все не покидая ее. Неожиданно утихла метель. На темно-синее небо выплыла огромная луна, залив сказочным светом все это вдруг утихшее на полуслове гигантское белое мо-

ре. Какое-то чутье подсказывало Головатому не торопиться. Он все кружил и кружил со своей сотней внутри чаши, пока одна из разведок не донесла, что со стороны Бендер движется конный отряд. Похоже, идет дозор под прикрытием конвоя.

— Хлопцы, слухай сюда!

У Головатого давно был разработан план— все зависело от того, сколько турок появится и с какой стороны. То, что их было не больше двух десятков, его устраивало; то, что они двигались со стороны Бендер, тоже входило в его расчеты. Мигом разбив сотню на три отряда, выскочив через горловину, обогнули западный холм и устроили засаду, с тем чтобы ударить по туркам с тыла и с флангов одновременно, отрезав им путь к отступлению. Важно было только одно — чтобы проскочить незамеченными по этому лунному свету под самым носом у турок.

Турки шли беспечные и самодовольные на остатках крепостной сытости и тепла. Могуче похрапывают в морозной ночи чистокровные арабские скакуны, грозно качаются на поясах кривые сабли — ятаганы, да и сами турки, должно быть, чувствовали себя молодцами из молодцов. Заняв пост, они обнаружили, что Салкуца полностью занесена снегом, и увидели в этом справедливую кару небес.

Чтобы отвлечь внимание от засады, русский дозор на противоположном холме развел костер. Солдаты шумно грелись у огня, и турки пустились злословить по этому поводу — что, дескать, вояки, приходится самим себя согревать? Не с руки стало больше скатываться по склону холма с рождественскими поздравлениями? Ни тебе винца, ни грецких орешков. О, давно бы так! Другой раз будете башкой шевелить, прежде чем на задницах сползать в долину, поросячьи хвосты в сметане! И пока они так зубоскалили, вдруг увидели, что с тыла и с флангов несутся на них во весь опор казаки Головатого.

— О аллах! О аллах! О аллах!

То ли сдуру, то ли с перепугу турки, вместо того чтобы пытаться прорваться к своей крепости, стали, наоборот, спускаться по склону холма к занесенной снегом деревне. Это только и нужно было Головатому, чтобы по ходу коней опрокинуть их в котловину и там подмять под себя. Однако янычары на середине спуска как будто сообразили, что делают не то. Остановившись у каких-то хилых кустиков, едва высовывавшихся из белого моря снега, они выстроились замкнутым кольцом и как будто собирались принять бой.

— Руби их, неверных! — вопил Головатый на полном скаку.

Янычары молча ждали. Вихрастыми клубами пара отдувались лошади, обнаженная сталь слепила бликами при ярком лунном свете. Казаки неслись единым духом, еще пятнадцать, десять, пять секунд — и вспыхнет бой. Но вдруг в последнюю секунду, о великий боже, сотня Головатого исчезла, точно земля ее проглотила. Гигантское облако вскипевшей белизны, и со дна этой лавины одни шапки казаков да морды фыркающих лошадей выглядывают.

Увы, этот бой они проиграли. Занесенный снегом склон холма скрывал под собой глубокие скаты и провалы. Сообразительные турки сумели использовать это обстоятельство. Ориентируясь по одиноким чахлым кустикам, они остановились там, где у лошадей была еще твердая почва под копытами, в расчете на то, что казаки рано или поздно провалятся.

И они таки провалились. Огромные вихри снежной пыли заполнили собой поле несостоявшегося сражения. Сбитые с боевого настроения, люди и лошади с трудом выбирались из этого месива. Трудно было разобраться, где чей конь, где чья шапка и что, собственно, произошло. Получив столь нужную им передышку, турки осторожно начали спускаться по склону холма, как бы все еще не изменив своему первоначальному намерению войти в деревню, но вдруг у окраи-

ны села свернули, проскочили через узкую горловину и понеслись в сторону бендерской крепости.

— Догнать их, душу мать!

Эти грозные крики Головатого мало чем могли помочь, потому что время было упущено. Пока вытащили коней, пока успокоили, пока поправили сбрую, пока прыгнули в седла — турки уже едва чернели точками на гребне соседнего холма. Догнать по следу было немыслимо, решили идти наперерез, но плохо сосчитали угол встречи, и вот турки опять в который раз уходят.

Смирившись с неудачей, сотня Головатого попридержала коней в ожидании команды повернуть обратно. Один только старый чудак по кличке Кресало, безудержный и неуемный казак, в одиночку все еще преследовал неприятеля. Вот турки скрылись за соседним холмом, но он, отчаянная голова, ни секунды не колеблясь, кидается следом за ними. Какое-то время о нем ни слуху ни духу. Кажется, погиб, кажется, уж самое время панихиду по нему служить, но вдруг его кобылка взлетает на гребень холма и старик кричит тоненьким фальцетом:

— По-то-ну-у-ли-и-и!

— За мной, бисовы диты!

На той стороне холма янычары плавали в такой же гигантской чаше, из какой недавно выбрались казаки Головатого. Окружив янычар, казаки, наученные горьким опытом, не спешили уходить с твердого пласта, на котором лошадь копытом чувствовала землю. Турки, видя свою гибель, успокоили коней, собрались в середине поглотившего их обрыва и молча ждали развязки.

Головатый скомандовал бой, но его команда повисла в воздухе, потому что лошади ни за что не хотели во второй раз влезать в это крошево. А время работало на турок, время близилось к утру. Рядом за холмом была крепость. Видя, что конвой не возвращается, турки наверняка отправят из крепости отряд ему на выручку. Вдруг тому же неуемному Кресало пришла мысль. Спешившись, взяв свою кобылку левой рукой за поводок, правой занес саблю и так шаг за шагом вместе со своей лошадкой пошел в наступление.

— Рубить их, нечестивых!

Казаки мигом спешились, взяли лошадей за поводки, обнажили сабли. Янычары приняли бой. Это был тяжелый, кровавый, неслыханный по своей жестокости бой. Под огромным куполом тихого ночного неба, на девственно белом, залитом лунным светом снегу люди и лошади, сцепившись, грызли, рубили, душили друг друга, при этом все время продолжая плавать в снежном крошеве. Земля то появлялась, то опять уплывала из-под ног. Звенела сталь, вопили воины, ослепленные снежной пылью, ржали кони и рвались вон.

Ярость, похожая на безумие. Раненых никто не видел, никто не слышал и, ступая по трупам, по окровавленному снегу, по дымящимся лошадиным внутренностям, рубили, рубили, рубили. Где свои, где чужие, кто кем сражен и кто кого одолевает — все это выяснится потом, а теперь нужно было одно — рубить. Рубить, чтобы выжить, рубить, чтобы победить, и, плавая по пояс в снегу, солдаты снова и снова шли на неверных, размахивая окровавленной саблей и неся в левой руке поводок давно затоптанной в снегу лошади.

Турки начали отступать, но было уже поздно. Да, собственно, и отступать-то особенно уже было некому. Из двух десятков их осталось всего пятеро. Расколов эту пятерку, казаки повалили четверых в снег, связали, потому что приказано было их живыми взять. Оставался еще один, и вот тот, пятый, ну насмерть стоит, паскуда.

К удивлению казаков, тот, последний, был на редкость храбр. Один против целой сотни, он и не думал сдаваться. Ловкий, с повадками дикой кошки, вооруженный ятаганом и кинжалом, он то наскочит, то отступит, и невозможно было угадать, каково будет его следующее движение. В какое-то мгновение казаки им залюбовались —

ну до чего силен, до чего храбр, подлюга! И тогда самолюбивый полковник возымел желание взять его в одиночку.

— Не трожь! — крикнул он казакам.— Ото я его визьму. Ото мий буде турок.

Вывел своего коня на твердый пласт, разогнал так, чтобы конем молниеносно сбить его с ног, но пока он это проделывал, детина вдруг с чего-то вырос на две головы, и казаки ошарашенно оглядывались — с чего он вдруг стал таким длинным? Оказывается, все наскакивая и отступая, турок не переставал при этом выбираться из чаши. И таки выбрался. Теперь ему доброго коня — и поминай как звали. Сбежавшие из боя лошади стояли рядом, печально глядя на окровавленное снежное месиво. Турок ноздрей почувствовал возможность свободы. Всего один бросок, лишь бы ухватиться за гриву...

Но нет. Пожалуй, не спасется. Головатый, разогнав своего жеребца, уже летит на него. Крик, вопль, удар, и на секунду турок исчез под копытами головатовского жеребца. Он, несомненно, погиб бы, если бы попытался уклониться от удара, но храбрый и умный турок, наоборот, нырнул коню под брюхо. Жеребец полковника, дико заржав, вдруг стал беспомощно оседать на задние копыта.

— Ах ты гадина... Моего верного друга...

Выпрыгнув из седла, Головатый ухватил турка и почему-то непременно хотел его удушить. А турок был сильный, не давался, и пока руки Головатого добирались до его кадыка, полковник уже сам лежал в снегу, и турок замахнулся кинжалом. Три шага было до них, но эти три шага сделать — дольше, чем ударить кинжалом. И когда казакам показалось, что уже ничто не спасет сотника, рядом как из-под земли вырос все тот же Кресало с поднятой саблей, а сабля, как известно, бьет точнее и быстрее, чем кинжал.

— Не убивай! — крикнули пленные.— Он сын хана! Лучше нас убивай!

Кресало, говорят, был туговат на ухо, а к тому же у него было правило, в силу которого в бою он не слушал никого. И лежит молодой турок в снегу с расколотым черепом. Пленные в один голос оплакивают его, а Кресало, выбравшись из снега, по-хозяйски поправляет седло на своей кобылке, потому что до утра еще далеко, ехать долго.

В этот великий миг победы, в этот горький час поражения почему-то вдруг всех охватило уныние. Умолкли пленные, утихли лошади, замерли казаки. Реквием великой печали взмыл над полем брани. Оставался один только запах остывающей на морозе крови да трупы воинов и лошадей, выглядывавшие тут и там из перемолотого снега. Вечная слава и вечный покой подавали друг другу руки, а над миром по-прежнему светит луна и, переливаясь синевой, играют в лунном свете засыпанные снегом поля. Небо чуть посветлело, луна вот-вот уйдет за далекие холмы, а из низины медленно поднималась по склону холма сложенная из детских голосков тысячелетней давности песенка о трех магах, которые пришли из далеких далей поклониться младенцу:

Потому что их пленила
Вифлеемская звезда.

В тех же рождественских заметках нямецкий старец вопрошал: а задумался ли ты, любезный читатель, почему это младенец родился зимой, в дороге, в полной неприкаянности беженской жизни? Думал ли ты над тем, что этих зимних беженцев никто не хотел приютить? К тому же в те дни как раз шла перепись населения в царстве Иудейском. Вифлеемские гостиницы и дома для приезжих были переполнены. С трудом нашлась добрая душа, согласившаяся принять Иосифа и Марию, но, поскольку места в доме уже не было, поместили их на ночь в хлеву. Мыслимое ли дело, чтобы господь, благословивший постройку стольких великолепных храмов, предназначил своему единственному сыну обрести земное обличие в хлеву?!

Генерал Каменский, выслушав сообщение о ночном бое, пожелал лично взглянуть на тело сына каушанского хана, привезенное Головатым с поля боя. Двадцатилетний юноша лежал совершенно нагой на деревенских розвальнях, застеленных соломой, и юное прекрасное лицо было все еще озарено решимостью вести битву до конца.

Вернувшись в штаб-квартиру, генерал взял листок и написал несколько строк — самых благородных во всей той четырехлетней войне. «Не как российский генерал,— писал он каушанскому хану,— а как отец, имеющий двоих сыновей на этой войне, я возвращаю вам, светлейший хан, тело вашего сына и склоняю свою седую голову пред мужеством его».

В тот же день в сопровождении полкового священника тело юноши было переправлено в бендерскую крепость. Через день священник вернулся с ответом: «Велико горе человека, потерявшего единственного сына. Утешаюсь только тем, что мой сын погиб достойно, защищая себя и своих товарищей...»

После этого обмена письмами, хотя особого уговора не было, обе стороны во избежание дальнейших недоразумений убрали свои дозоры с холмов, стоявших над Салкуцей. Но, увы, было уже поздно. Жребий был брошен, и судьба этой деревушки была предрешена.

Оттоманская империя описана достаточно, и трудно что-либо добавить к существующему в мировой литературе ее портрету. Потеряв отряд в двадцать человек, похоронив с почестями сына каушанского хана, еще раз перечитав письмо генерала Каменского, турки наконец сообразили. Русские, сказали они себе, хорошо зимуют на своих квартирах, им и в голову не пришло бы нарушить перемирие, если бы не гнусные интриги той маленькой Салкуцы. Что значит, о великий Магомет, они и тех принимают хорошо и этих принимают неплохо. Ну, допустим, православные, рождество и все такое, но праздник кончается, а поздравления продолжаются? Уж, кажется, время бы понять, что там, где греется турок, русскому делать нечего, так же как и турку делать нечего там, где принимают русского. А если кто строит козни и сеет семена раздора, то пусть меч возмездия падет на их голову!

Бедные салкучане, они долго после той катастрофы не могли прийти в себя и, передавая шепотом из поколения в поколение сказание о постигшем их бедствии, всякий раз намекали на то, что этого могло бы и не случиться, будь у них настоящий пастырь.

Что и говорить, со священниками им в самом деле не везло. Отец Никандру, прослуживший всю жизнь в этой долине, был прозван за свое пристрастие к виноградному хмелю отцом Канэ, ибо к старости опустился до того, что стал уже ходить по селу с пустой жестяной кружкой, привязанной к поясу. Бывало, кто-нибудь и хотел бы угостить, да лить было не во что, один кувшин в доме, и в подобных случаях отец Никандру доставал свою привязанную к поясу кружечку...

Его любили в селе, он был добрейшей души человек и обладал притом таким могучим басом, что по праздникам приходили из соседних сел специально, чтобы послушать его службу. Спору нет, к старости он совсем спился, и было бы, может, лучше, если бы его сместили, но салкучане привыкли к нему. Так все шло и шло, пока однажды заезжий епископ не попал в храм на службу, когда отец Никандру, будучи в нетрезвом виде, пытался произнести проповедь.

Тут же на глазах своей паствы он был лишен сана священника. С него даже сняли большой медный крест, символ пастырского звания, но прихожане, присутствовавшие при этом, заступились, настаивая на том, что крест, мол, личная собственность самого священника. Заполучив обратно крест, который он всю жизнь проносил на груди, обернув его в белый платочек, старик брел по деревне и плакал горь-

кими слезами, потому что ему шел уже восьмой десяток и он был не в силах расстаться со своим храмом и со своей паствой.

Новый священник, присланный епископом, был молодой валах из монахов. Не обладая особым голосом, он был на редкость хваток и, кажется, умел все на свете. Службы он справлял на церковнославянском языке, и хотя салкучане мало понимали в тех службах, они полюбили молодого священника за молчаливость, за хозяйственность. В течение нескольких лет они перестроили храм, подняв его крышу на три аршина, перекрыли, достали небольшой колокол, и по воскресным и праздничным дням любо было слушать, как клокотала вся долина от его бойкого звона.

Одно было плохо — священник был родом из Валахии, и как только наступали времена смуты, он прощался с паствой и уходил в свой монастырь. Салкучан, когда нагрянула эта война, охватил ужас — остаться в такое время с закрытым храмом! Посоветовавшись, они пошли всем миром на окраину села к низенькому домику, обвитому виноградной лозой, ибо только это росло во дворе отца Никандру, только это и задерживало его еще в нашем мире.

Выйдя к своим односельчанам, отец Никандру отказался возглавить паству, ибо, будучи лишенным сана, он даже не имел права входа в алтарь, а без алтаря какая там служба! На что миряне ему отвечали: бог с ним, с алтарем! Оставим его до лучших времен. Мы вас нанимаем для того, чтобы петь. Как то есть петь? Да вот так. Вы станете на краю амвона, мы все будем перед вами. Вы скажете: дети мои, пойте вместе со мной. И мы будем вместе с вами петь и отблагодарим вас за эти ваши труды кто чем сможет.

Старик сдался. Повесил на шею медный крест, благо это была его личная собственность, и в сопровождении своей паствы направился через мостик в храм, в котором прошла вся его жизнь.

Был праздник крещения, когда грянуло это великое бедствие. Для отца Никандру крещение было одним из любимейших праздников. Посреди службы, увлекшись собственным пением, он забылся до того, что вошел в алтарь, облачился в золоченую ризу и в той ризе прошествовал во главе своей паствы до самой речки. Там у выдолбленных во льду воронок он отслужил еще одну литургию, благословил паству, покропил ее святой водицей, налил каждому в посуду кто сколько пожелает, и только по свершении всех этих обрядов он вдруг опомнился и увидел себя в золоченой ризе... Господи, прости меня и помилуй! Отпустив паству, он вернулся в храм, аккуратно положил ризу на место и, став на колени перед алтарем, долго, со слезами на глазах молил бога о прощении сего тяжкого греха...

Салкуца, то ли потому, что был ясный морозный день и она намерзлась там на речке, то ли потому, что после крещения время так или иначе, а уже идет к весне и пахарю нужно копить силу, но она несколько раньше обычного затопила печи, поужинала и улеглась. Когда опустились сумерки, село уже спало глубоким сном, и только в церквушке за мостом все еще горела свеча и бесконечно грешный священник плакал перед алтарем и клал поклоны.

Вдруг он умолк. Какой-то гул ему померещился, какой-то необъяснимой тревогой повеяло со всех сторон. Поднявшись с пола, подошел к окошку и замер — на той стороне, за речкой, село было в огне. А конные янычары меж тем неслись по селу с горящими факелами, поджигая все, к чему огонь не успел еще сам дойти. Отец Никандру вышел в сени, нащупал в темноте веревку, ведущую наверх, к колокольне, и принялся что было сил звонить.

Те, кому удалось пережить эту трагедию, потом вспоминали, что их достал сквозь сон не топот копыт, не дым, не треск огня, а единственно набат, доносившийся из-за речки. Ополоумевшие от ужаса люди повыскакивали на улицу кто в чем был. Босые, раздетые, они нес-

лись по морозу, по скрипучему снегу на этот звон, как несутся бабочки на свет костра. В считанные минуты в церкви набилось народу столько, что дохнуть было невозможно, а отец Никандру все звонил, звонил, звонил.

К полуночи огонь пошел на убыль. Снег, начавший было таять вокруг горящих домов, покрылся коркой льда. Тут и там дымились свалившиеся на дорогу крестовины, остатки плетеной калитки, а из прозрачной дымки уныло глядели на свет божий обугленные коробки домов. Теперь уже не белые дома, а одни нелепые дымоходы шли гуськом вдоль речки, повторяя все ее изгибы. Господи, во что этим плакучим ивам суждено было превратиться!

Когда село выгорело дотла, янычары ленивой цепочкой перешли мост и направились к стоявшей на выступе церквушке.

— Дети мои! — стараясь перекричать всех, грохотал с амвона отец Никандру. — Дети мои! Не дайте себе впасть в отчаяние, не забывайте всевышнего, ни на минуту не забывайте всевышнего и пойте за мной: господи, помилуй нас! Господи, помилуй нас! Господи, услышь нас и помилуй!

От страха, от ужаса, от отчаяния переполненная церквушка взывала единым воплем к небесам. Дребезжало стекло в окошке. Сотрясались стены от вопля, а отцы семейств, кровные, родимые, упрятав женщин и детей под защиту храма, остались полураздетые снаружи у его стен и, окруженные конными янычарами, синели, корчились от холода.

О, как им не хотелось умирать, как плакали эти мужи, как скрежетали зубами в святой ярости. Потом вдруг какая-то странная сонливость начала на них накатывать. Они отчего-то вдруг начинали стихать, зевать и, сгорбившись под стенкой, засыпали друг возле дружки вечным сном.

Сомкнув строй вокруг этих несчастных людей, одетые в теплые тулупы янычары, сидя на сытых лошадях, лениво переговаривались, споря меж собой, кто из крестьян и сколько протянет — кто умрет раньше, кто позже, а кто может дожить и до утра. Земля взывала к небесам, христианская церквушка вопила о помощи, но не было ни милости, ни пощады, ни спасения...

На следующий день казаки Семенова, возвращаясь из ночной вылазки, обнаружили около ста трупов мужчин, окоченевших у стен храма. Женщины и дети все еще продолжали выть в церкви, а на той стороне, за речкой, чернели развалины деревни. Натаскав хворосту, казаки развели большой костер во дворе храма, разморозили кусок земли и вырыли большую братскую могилу.

— Дети мои,— сказал отец Никандру после того, как казаки уехали,— сегодня крыша нашего храма — единственная уцелевшая крыша села. Я думаю, бог простит нас и примет под своим кровом, пока мы не воспрянем духом и не обретем себя. Устраивайтесь, живите здесь и берегите только алтарь — в него ни за что не входите. Выберите из своей среды нескольких наиболее крепких женщин, снимите со стен иконы и отправьте их в соседние села просить милостыню. Берите все, что вам ни дадут, и какую бы малость ни собрали, возвращайтесь и делитесь с оставшимися в храме во имя Христа.

— Да неужели вы нас покидаете? — завопила какая-то старушенция.— Да мы без вас пропадем!

— Даст бог, не пропадете,— сказал отец Никандру и после некоторого раздумья добавил: — Я должен хоть ненадолго вас покинуть, потому что мы не сосульки, свисающие с застрехи, не куст плакучей ивы, не холм пустой и бесплодной глины. Мы — народ, и, помимо бога, у нас есть еще и Водэ. Мы хоть и бедная, но держава, и я пойду к нашему владыке, к нашему господарю, поклонюсь ему в ноги и скажу: «Ваше величество! Погибшая деревня взывает к отмщению...»

Он шел четверо суток днем и ночью по заснеженным полям, по лесам, по оврагам. Он шел один и, чтобы преодолеть страх и одиночество, распевал во всю широту заснеженных полей отрывки из церковных служб, псалмы, акафисты. На пятый день к полудню, когда его нагнали дворовые помещика Мовилэ, это был уже не человек, а привидение. Весь заиндевевший, оборванный, обезумевший, он едва переступал ногами и старался, любой ценой старался допеть хриплым голосом детскую колядку:

Потому что им светила,
Потому что их пленила...

Дальше колядка не шла — то ли он слов не помнил, то ли они были неподвластны его обмороженным губам. Мужики перевозили солому из дальних поместий к главной барской усадьбе. Шесть фур, запряженных волами, медленно ползли по заснеженному полю, когда вдруг перед ними возникло это странное привидение.

— По-моему, это поп,— сказал один из мужиков, разглядев сквозь лохмотья большой крест на его груди.

— Какой же это поп, когда он помешанный.

— Да при чем тут помешанный, когда он весь в лихорадке! Еле стоит на ногах!

Остановили волов, собрались вокруг него.

— Отец, откуда идешь и куда путь держишь?

Странник долго на них смотрел, но все они двоились в его глазах, и, не сумев их толком разглядеть, не сумев осмыслить, о чем они его спрашивали, он снова и снова возвращался к той недопетой колядке:

Потому что их пленила,
Потому что их водила...

— Помрет,— сказал старик, поставленный старшим над остальными погонщиками.— Если оставим его тут, в поле, погибнет, и большой грех будет на нас...

В последней фуре под соломой перевозили мешки с картошкой для нужд хозяйства. Поскольку соломы там было меньше и взобраться на воз было проще, они залезли, вырыли гнездышко в соломе и в то гнездо положили найденного в поле попа. Согревшись, он тут же на их глазах стал засыпать, и встревоженные мужики подумали — а что, если он так и не проснется? Нужно было как-то помешать ему уснуть, но чем отвлечь его от этой погибели?

— Мош Гицэ,— сказал молодой погонщик,— ты поройся там в торбочке, может, чего и наскребешь...

Неделю назад, когда их отправили в путь, по случаю холода и дальней дороги им был выдан из барских подвалов кувшин вина. Пока выезжали, вино замерзло и кувшин лопнул. Посовещавшись, погонщики отдали фиолетовый лед на хранение прижимистому мош Гицэ, который тут же упрятал его в свою торбу, и стоило больших трудов уговорить его достать осколочек льда, чтобы разморозить его во рту.

Увы, все это баловство довольно быстро кончилось. Вот уже третий день они получали решительные отказы, хотя мош Гицэ все еще не соглашался на глазах у всех вывернуть торбу наизнанку. Теперь, ввиду чрезвычайного обстоятельства, мош Гицэ снова принялся рыться в той пустой торбе, и путем неимоверных усилий ему таки удалось наскрести там пригоршню фиолетового снежка. О эта наша легендарная скупость...

Отец Никандру уже похрапывал и ни за что не хотел принять угощение. Посовещавшись, погонщики насильно открыли ему рот и набили его винным крошевом. Какая-то жизнь, видимо, еще теплилась в старом священнике, потому что это крошево спустя некоторое время стало таять у него во рту. Струйка красного вина начала медлен-

но стекать по опухшей, посиневшей нижней губе, и, глядь, что-то в той нижней губе дрогнуло.

Она еще помнила вкус божественного напитка, эта нижняя губа. Теперь она была бессильна удержать эту ценность, но нет, такое добро не должно пропасть даром, и вот уже верхняя губа пошла ей на выручку. И хотя вино еще не совсем растаяло во рту, посиневшие, опухшие губы властно и неукротимо пошли навстречу друг другу. Еще рывок, еще усилие, и вот они наконец сомкнулись.

— А пил он лихо, этот поп,— сказал не без зависти мош Гицэ.

На этой глубоко оскорбительной для него фразе отец Никандру проснулся. Оглянулся, пришел в себя и все понял. Ему захотелось как-то поблагодарить этих добрых людей, но рот был полон ценнейшей влагой, которую он ни проглотить, ни выпустить не мог. Глаза наполнились слезами. Старик мигнул благодарно, но почему-то из двух глаз выкатилась всего одна слезинка, и та тут же исчезла неведомо куда.

— Ну и на здоровье,— сказал мош Гицэ.

Накинув на него сверху еще немного соломы, погонщики спустились и погнали своих волов дальше, здраво рассудив между собой, что, если бог даст, поп, несомненно, выживет. Ну, а если ему суждено умереть, все-таки лучше умереть в соломе, чем в пустом заснеженном поле.

Дальше они уже шли молча, изредка ласковым словом подгоняя волов, и все время прислушивались к глубокой тишине полей, потому что, странное дело, напетая простуженным голосом в какой-то лихорадке колядка ожила в их душах, и из далекого поля, из далекого детства кто-то принялся им напевать:

Потому что их водила,
Потому что их пленила,
Потому что им светила
Вифлеемская звезда...

В тех же заметках отец Паисий писал — а задумался ли ты, любезный читатель, над тем, что в ту далекую, холодную зиму рожденного в холодном хлеву младенца согревали своим дыханием буйволы? Столько прекрасных, холеных, царственных зверей создано всевышним! Какими прекрасными, дорогими мехами наградила их природа, но, когда было зябко спасителю, не красота и совершенство, а эти добрые, глупые, терпеливые, неповоротливые буйволы пришли его согревать...

Запряженные волы, низко опустив головы под тяжестью ярма, шумно дышат, волоча за собой свой пожизненный груз. Погонщики, призадумавшись, медленно плетутся за фурами, и как-то грустно у них на душе, потому что ни в поле, ни в воспоминаниях уже никто не колядует. Да и то сказать — рождество когда прошло! На носу уже великий пост, и он в самом деле так велик, что из-за шести недель еле-еле виднеется страстная неделя, за которой грянет светлое воскресение.

(Окончание следует)

ВЛАДИМИР КАРПОВ

★

ПОЛКОВОДЕЦ*

Документальная повесть

В БИТВЕ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ

Крым. 17—24 октября 1941 года

...Ступив на крымскую землю, Иван Ефимович глубоко вздохнул и попросил воды. Какой-то краснофлотец принес из колодца полное ведро. Петров с удовольствием пил холодную, чистую воду, не только пил, но и плескал ее себе в лицо, поливал на шею. Потом он сказал своему верному ординарцу Кучеренко:

— Антон Емельянович, найди, пожалуйста, парикмахера.

Части Приморской армии разгружались в разных местах, стягивались на сборные пункты, приводили себя в порядок после боев, морского перехода и разгрузки. Позволил себе несколько минут отдыха и командующий. Он ждал парикмахера. Но когда Емельяныч привел неведомо где добытого лохматого здоровенного детину, адъютант Кахаров грозно спросил:

— Ты кого привел?

— Мастера.

— Каких дел мастера?

— Насчет побрить-подстричь.

— А если этот верзила полоснет бритвой по горлу генералу, армией ты командовать будешь?

Кучеренко похолодел: «Верно говорит!» Он тут же увел парикмахера и привел из какой-то части девушку в военной форме, с чемоданчиком, полным парикмахерских принадлежностей.

— Ну вот, это наш человек! — весело сказал Кахаров.

17 октября, сразу же как только закончилась эвакуация из Одессы, в штабе флота собралось руководство Приморской армии. Радостное, несмотря на все пережитое, чувство охватило командиров, впервые собравшихся вместе за два месяца осадной жизни. Вице-адмирал Ф. С. Октябрьский устроил для приморцев нечто вроде позднего завтрака или раннего обеда. И хоть посидели недолго, было очень сердечно.

Когда поднялись из-за стола, генерал Хренов подошел к Петрову:

— Ну как, Иван Ефимович, какие планы?

— Приведем себя в порядок, пополнимся вооружением, имуществом и выступим, куда прикажет командование. Кстати, вы не в курсе дела, Аркадий Федорович, как сложится наша организационная структура? Ведь находящаяся в Крыму Пятьдесят первая хотя и отдельная, но все же армия. И если нас подчинили ей, то чем же ста-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 5 с. г.

новится Приморская? Корпусом, оперативной группой? Или ожидается какое-то иное решение?

Аркадий Федорович не стал скрывать от Ивана Ефимовича то, что знал:

— Командарм Пятьдесят первой намерен расформировать управление Приморской и усилить свое командование. Говорит, что вопрос согласован с Москвой. Но у меня такое впечатление, что он опережает события. Видимо, это предложение еще не утверждено.

— М-да-а,— протянул Петров.— Сверху, конечно, видней, но жалко, если так. Дело-то не в амбиции. Если нас расформируют, распадется спаянный коллектив. Ведь все притерлись друг к другу в обстановке, прямо скажем, не тепличной. Людей потом не соберешь, а война не завтра кончится...

— Я привел командарму примерно такие же доводы, но он не прореагировал...

Что было известно генералу Петрову в эти октябрьские дни о положении на других фронтах? Из газет и сообщений по радио он знал: враг подступал к Москве. Появились направления наро-фоминское, подольское, можайское, волоколамское... Гитлеровцам удалось прорвать нашу оборону, они захватили Калинин, Можайск и Малоярославец. Ленинград в блокаде.

На юге немецко-фашистские войска вышли на подступы к Ростову. Гитлеровцы стремились во что бы то ни стало взять Ростов, который они считали воротами на Кавказ, к бакинской нефти. Еще 22 августа 1941 года Гитлер направил записку в адрес главного командования германских сухопутных сил. Были в ней и такие слова:

«Из соображений политического характера крайне необходимо как можно быстрее выйти в районы, откуда Россия получает нефть, не только для того, чтобы лишить ее этой нефти, а прежде всего для того, чтобы дать Ирану надежду на возможность получения в ближайшее время практической помощи от немцев в случае сопротивления угрозам со стороны русских и англичан».

Гитлеровское командование предпринимает попытку проникнуть на Кавказ через Крым. Именно через Крым шел кратчайший путь с Украины на Кавказ. Кроме того, Крым представлял из себя очень удобный район для базирования авиации. Находясь в наших руках, он давал возможность бомбить тылы вражеских войск, действующих под Ростовом и в других местах Южного фронта, держать под авиационным воздействием нефтеносные районы в Румынии. А если бы случилось так, что гитлеровцы овладели Крымом, то он, вполне естественно, превращался бы в очень удобный не только плацдарм, но и настоящий, хорошо защищенный морем аэродром, с которого бы гитлеровская авиация могла действовать в направлении Кавказа.

Для очистки Крыма немецкий генштаб выделил 11-ю армию под командованием Манштейна и румынский горный корпус. 18 октября эти войска перешли в наступление. Главный удар наносился через Перекопский перешеек силами 11-й немецкой армии, а через Чонгарский мост — силами румынских войск. На этом направлении врагу противостояла 51-я Отдельная армия под командованием генерал-полковника Ф. И. Кузнецова.

В тот день, когда армия Манштейна перешла в наступление, Приморская находилась еще в пути, разгружала пришедшие из Одессы корабли с войсками, собирала из разных мест разгрузки части и подразделения, приводила их в порядок.

Измученные в тяжелых продолжительных боях красноармейцы и краснофлотцы располагались в подготовленных для них казармах, мылись, чистились, отсыпались. Командование Приморской армии было расквартировано в гостинице. После всего пережитого тишина, размещение красноармейцев в нормальных казарменных условиях, а командиров в номерах гостиниц казались просто сном.

Положение генерала Петрова при создавшейся в Крыму обстановке было неопределенным. В директиве Ставки, полученной еще в Одессе, было сказано, что войска Приморской армии по прибытии в Крым подчиняются командующему 51-й Отдельной армией. Таким образом, функции генерала Петрова в качестве командующего Приморской армией вроде бы на этом заканчивались. Но, не имея конкретных указаний о расформировании армии и о том, как и кому передать войска, прибывшие из Одессы, генерал Петров продолжал руководить своей армией. Он понимал, что отдых не может быть долгим.

Первым и самым главным своим делом Петров считал восстановление боевой готовности дивизий и полков. Конечно же, для этого надо было не только чтобы люди поели, помылись, отдохнули, необходимо было пополнить численность поредевших частей, воссоздать артиллерию, которая в большинстве своем была на конной тяге, а очень много лошадей потеряли в Одессе и во время эвакуации, да и количество орудий в дивизиях было в большом некомплекте. То же самое можно сказать о стрелковом оружии и о боеприпасах. Дивизии за время прошлых боев истощились полностью.

Кроме этих забот, у командования были и другие, и прежде всего забота о моральном состоянии войск. В частях проводились собрания, митинги, на которых выступали член Военного совета Кузнецов, начальник политотдела армии Бочаров и генерал Петров. Они давали высокую оценку героизму и мужеству бойцов, выдержавших невероятное напряжение обороны Одессы, оставивших город только по приказу Верховного Главнокомандования. Они говорили о предстоящих новых трудных боях и всячески помогали бойцам морально и физически подготовиться к ним.

Для того чтобы перебросить части Приморской армии в направлении Ишуньских позиций, надо было найти вагоны, паровозы, автотранспорт, горючее и многое, многое другое.

По воспоминаниям о боях в годы гражданской войны, по литературе Перекопские позиции считались почти неприступными. И поэтому хотя и доходили уже сведения о том, что противник наступает через Перекопский перешеек, Петров надеялся, что он понесет здесь очень большие потери и что Ишуньские позиции 51-я армия удержит.

Здесь следует отметить еще одно обстоятельство. Кроме неожиданностей, всегда возникающих в ходе военных действий, Петрову довелось в первые дни столкнуться с малопонятными порядками, установившимися в наших частях, базирующихся в Крыму.

Чтобы меня не заподозрили в субъективности суждений, приведу выдержку из воспоминаний маршала Н. И. Крылова:

«Утром 19-го я был в Симферополе. Штаб 51-й армии, где требовалось уточнить полученные по телефону указания, а также оформить заявки на автотранспорт, горючее, боепитание и многое другое, занимал, словно в мирное время или в глубоком тылу, обыкновенное учрежденческое здание в центре, обозначенное, правда, проволочным заграждением вдоль тротуара.

При виде этой колючей проволоки на людной улице невольно подумалось: «Что за игра в войну?» Сержант в комендатуре, выписывая мне пропуск, неожиданно предупредил: «Только сейчас, товарищ полковник, в отделах одни дежурные — сегодня воскресенье».

Командующий армией, начальник штаба и многие другие командиры находились, надо полагать, поближе к фронту. Но те, кого они оставили в городе, отстоявшем всего на несколько десятков километров от переднего края, оказывается, еще соблюдали выходные дни, о существовании которых мы давно забыли. В штабных коридорах я встретил нашего начальника артиллерии полковника Николая Кирьяковича Рыжи, удивленного не меньше моего здешними порядками. Он пожаловался, что не с кем решить вопрос о боеприпасах. Нужных людей в конце концов разыскали. Но чувство недоумения от этих первых симферопольских впечатлений не изглаживалось долго».

Петров по этому поводу, конечно, и недоумевал и негодовал. Если бы подобная беспечность касалась только порядков в штабе, это была бы еще не такая беда. Однако отсутствие необходимой боевой собранности явно сказывалось поначалу и на руководстве войсками и на их действиях.

И это не осталось безнаказанным.

Гитлеровцы прорвали Перекопские и Ишуньские позиции. Своими танковыми и механизированными колоннами они вырвались на степной крымский простор, где не было ни подготовленных рубежей, ни войск, способных их остановить.

Петров и его армия участвовали в боях лишь на завершающем этапе этой катастрофы, а чтобы раскрыть причины ее, необходимо знать события, предшествовавшие этому. Вернемся на два месяца назад.

14 августа, когда бои за Одессу были в самом разгаре, возникла угроза вторжения гитлеровцев в Крым со стороны материка. Ставка приняла решение создать в Крыму Отдельную 51-ю армию на правах фронта с оперативным подчинением ей Черноморского флота. Командующим этой армией был назначен генерал-полковник Ф. И. Кузнецов, членом Военного совета — корпусной комиссар А. С. Николаев, заместителем командующего — генерал П. И. Батов.

Генерал Кузнецов, как и Петров, выходец из прапорщиков первой мировой войны, в Красной Армии служил с 1918 года, в годы гражданской командовал ротой, батальоном, полком. В 1926 году окончил Академию имени М. В. Фрунзе. В 1938 году был заместителем командующего войсками Белорусского Особого военного округа, в 1940—1941 годах — начальником академии Генерального штаба. До назначения в 51-ю армию побывал — уже в ходе войны — командующим Северо-Западным фронтом, 21-й армией, Центральным фронтом. За четыре месяца четыре таких перемещения!

При назначении в 51-ю армию Кузнецову было приказано: не допустить вторжения в Крым на суше, через Перекопский перешеек и Сиваш, а также высадку морских и воздушных десантов.

Для выполнения этой задачи Кузнецов распределил силы 51-й армии так: 276-я дивизия — на оборону Чонгарского полуострова и Арабатской стрелки, 106-я дивизия — на южный берег Сиваша (фронт — 70 километров!), 156-я дивизия — на Перекопские позиции. Три кавалерийские дивизии были размещены на Крымском полуострове для борьбы с десантами. 271-я стрелковая дивизия сосредоточена в районе Симферополя как резерв командующего.

Кроме того Кузнецову предписывалось срочно сформировать на месте четыре стрелковые дивизии. Приказ был выполнен, эти дивизии должны были оборонять побережье Черного моря.

Казалось бы, командарм 51-й армии разумно распределил имеющиеся силы. Он готов был встретить врага всюду, где бы он ни появился на Крымском полуострове.

Однако вот комментарий к этому решению другого военачальника, маршала Крылова:

«До нашего прибытия из Одессы войск в Крыму было не так уж мало. Собрать бы их вовремя в кулак, создать заслон покрепче там, откуда следовало ждать главного вражеского удара! Не приходилось же рассчитывать, что немцы, овладев перекопскими воротами полуострова, надолго там остановятся.

Между тем в Крыму увлеклись своего рода круговой обороной. Держали значительные силы не только на Чонгаре, у Сиваша, на Арабатской стрелке, но и на побережье, у Евпатории, Алушты, Судака — на случай морского десанта. А во внутренних районах — на случай воздушного... Такое распыление наличных сил обошлось дорого.

Слов нет, когда все позади, судить и рядить легче. Думается, однако, можно было и тогда более трезво оценить, велика ли реальная вероятность крупных десантов, в особенности с моря. А на суше противник уже стоял одной ногой в Крыму...

Говоря обо всем этом, я далек от того, чтобы упрекнуть в чем-либо тех, кто драл-

ся на Ишуньских позициях. Части оборонявшей их оперативной группы генерала Батова сражались мужественно, не раз отбрасывали немцев контратаками. Но у противника был слишком большой численный перевес, особенно в танках и артиллерии, над полем боя господствовала его авиация.

И пока подошли из Севастополя приморцы, положение успело стать критическим: назревал прорыв фронта».

Вот еще одно мнение о тех же событиях на Перекопе, высказанное непосредственным их участником генералом П. И. Батовым, я привожу его, дабы быть более объективным и подвести читателей ближе к истине:

«Руководство 51-й армии оказалось в весьма трудном положении. Через две недели после его прибытия начались стычки с подходившими со стороны Днепра разведывательными отрядами 11-й армии Манштейна. Надо было создавать новые дивизии, обучать и вооружать их, в Крыму же не имелось никаких запасов оружия, даже винтовок».

Поставлю здесь от себя восклицательный знак, как это делают шахматисты, подчеркивая очень сильный или очень слабый ход. Далее Батов пишет:

«Соединения, пришедшие в августе с материка — две стрелковые и три кавалерийские дивизии,— были малочисленные, рядовой состав еще не обучен, материальная часть мизерная... С начала и до конца сражения за Крым осенью 1941 года командующий 51-й армией не имел в своем распоряжении артиллерийского кулака в виде армейских артиллерийских бригад, которыми мог бы влиять на ход боев».

Добавлю опять же от себя, что не имел он еще и танковых соединений, и противотанковой артиллерии, и многого другого, необходимого для ведения боя хотя бы даже и не на равных с противником.

Соотношение сил и средств — объективный показатель боевой мощи противоборствующих сторон, позволяющий определить степень превосходства одной из них над другой. Читателю придется набраться терпения и хотя бы коротко познакомиться с силами гитлеровцев, прорывающихся в Крым. В 11-ю армию Манштейна входили: 30-й армейский корпус в составе трех пехотных дивизий, 54-й армейский корпус в составе трех пехотных дивизий, 49-й армейский корпус в составе двух горнострелковых и двух моторизованных дивизий СС «Адольф Гитлер» и «Викинг». Еще Манштейн имел до 40 полков артиллерии разных калибров. Его армию поддерживали 350 самолетов, из которых 200 — бомбардировщики.

Командующий 11-й армией, в то время еще генерал-полковник, Эрих фон Манштейн был опытным военачальником, и, поскольку он в течение длительного времени — во время битвы за Севастополь и позднее — являлся постоянным противником генерала Петрова, мне кажется целесообразным познакомить читателей с Манштейном более подробно. Вот его краткая биография.

Эрих фон Левинский (он же фон Манштейн) родился 24 ноября 1887 года в Берлине в семье будущего генерала артиллерии и командира 6-го армейского корпуса Эдуарда фон Левинского. Двойную фамилию получил вследствие усыновления его генералом Георгом фон Манштейном. Происхождение по линии отца и матери — из старых прусских офицерских семей.

По окончании кадетского корпуса поступил в 3-й гвардейский полк в Берлине. 1913—1914 годы — учеба в военной академии. В первую мировую войну сначала был адъютантом 2-го гвардейского резервного полка (бои в Бельгии, Восточной Пруссии, Южной Польше). С мая 1915 года, после тяжелого ранения, служил офицером штаба в штабах армий генералов фон Гальвитца и фон Белова. Участвовал в наступлении в Северной Польше, в кампании в Сербии, в боях под Верденом. С осени 1917 года — начальник штаба 4-й кавалерийской

дивизии. В мае 1918 года — начальник штаба 213-й пехотной дивизии на западе. Участвовал в наступлении в районе Реймса в мае и в июле 1918 года, затем в оборонительных боях на западе до окончания войны.

В начале 1919 года — офицер штаба погранзащиты «Юг» в Бреслау (Вроцлав). Далее зачислен в рейхсвер, служба попеременно в генеральном штабе и в войсках. С февраля 1934 года — начальник штаба 3-го военного округа (Берлин). С июля 1935 года — начальник оперативного управления генерального штаба сухопутных сил. С октября 1936 года — генерал-майор и первый обер-квартирмейстер генерального штаба, одновременно первый помощник и заместитель начальника генерального штаба генерала Бека.

В феврале 1938 года в связи с отставкой генерал-полковника барона фон Фрича снят с должности и переведен в Лигниц (Легница) на должность командира 18-й дивизии. Участвует в оккупации Судетской области в качестве начальника штаба одной из армий. В 1939 году — начальник штаба группы армий «Юг» (командующий — фон Рундштедт), участвует в оккупации Польши. Затем переведен (вместе с фон Рундштедтом) на ту же должность в группу армий «А» на Западный фронт.

Вскоре снят с этого поста и назначен командиром пехотного корпуса. В этой должности — участник кампании на западе в 1940 году. Награжден Рыцарским крестом. Участвует в подготовительных мероприятиях к вторжению, проводимых на побережье Ла-Манша.

Март 1941 года — командир 56-го танкового корпуса. В июне — переброшен на Восточный фронт; танковый рейд из Восточной Пруссии через Двинск (Даугавпилс) до озера Ильмень.

Сентябрь 1941 года — командующий 11-й армией.

Манштейн прибыл в город Николаев 17 сентября 1941 года на смену погибшему от партизанского фугаса генерал-полковнику фон Шоберту. На Перекопском перешейке наступала не вся его армия, а один 54-й корпус, вслед за этим корпусом двигался еще один, 30-й армейский корпус: узкий перешеек не позволял послать в наступление большие силы. Вот что пишет об этом наступлении Манштейн:

«О внезапном нападении на противника в этой обстановке не могло быть и речи. Противник ожидал наступление на хорошо оборудованных оборонительных позициях. Как и под Перекопом, всякая возможность охвата или хотя бы ведения фланкирующего огня была исключена, так как фронт упирался с одной стороны в Сиваш, а с другой — в море. Наступление должно было вестись только фронтально...»

Дальше фон Манштейн, мягко говоря, сгущает краски:

«Численное превосходство было на стороне оборонявшихся русских... Шести дивизиям 11-й армии уже очень скоро противостояли 8 советских стрелковых и 4 кавалерийские дивизии, так как на 16 октября русские... перебросили защищавшую Одессу армию по морю в Крым».

Если бы дело обстояло так, как описывает Манштейн, не видать бы ему Ишуньских позиций! Как были рассредоточены дивизии по Крыму решением командующего 51-й армией, читателю уже известно. Знает он и то, что на Перекопских позициях оборонялась одна 156-я стрелковая дивизия.

Петров получил приказ от командующего 51-й армией не только остановить противника, но наступать своими частями, отбить у противника Ишунь и восстановить положение, которое было неделю назад.

Вопросы, касающиеся артиллерийской поддержки, подвоза боеприпасов, авиационной поддержки, не были решены. Совсем не было танков. В штабе армии требовали только одного: «Быстрее вперед, иначе противник займет через два дня весь Крым!»

Понимая сложность положения, генерал Петров и его штаб стремились как можно быстрее выдвинуть части на фронт. Петров и полковник Крылов встречали эшелоны на станциях за Симферополем. Пока войска выгружались из вагонов, генерал ставил задачу командирам, и полки форсированным маршем направлялись на боевые позиции. 22 октября вступила в бой 2-я кавалерийская дивизия, которой командовал полковник П. Г. Новиков, 23 октября — 95-я дивизия под командованием генерал-майора В. Ф. Воробьева и полк чапаевцев. 25 октября сражались уже все части Приморской армии.

22 октября последовала директива Ставки, согласно которой было образовано командование войск Крыма во главе с вице-адмиралом Д. И. Левченко. Генерал Батов стал его заместителем по сухопутным войскам, генерал-полковник Ф. И. Кузнецов передал армию П. И. Батову. Таким образом, определилась и решилась судьба Приморской армии. Теперь она, сохраняя свою организацию и название, входила в состав войск Крыма целиком, как армия, только уже не Отдельная.

Несмотря на все трудности, приморцы наступали и на некоторых участках своими решительными действиями не только остановили врага, но и принудили его отходить. 25 октября немецкие дивизии были вынуждены даже перейти к обороне. Но 26 октября, подтянув резервы, Манштейн двинул на узком участке семь пехотных дивизий, усиленных большим количеством танков и самолетов. Если пехоту приморцы могли отбивать стрелковым оружием, то с танками бороться было просто нечем. Противник потеснил дивизию на левом фланге, на правом фланге двинулся в стык между 9-м стрелковым корпусом и Приморской армией и стал обтекать войска армии.

Наши части несли большие потери, было уже ясно, что прорыв противника неотвратим. Поступила директива Военного совета войск Крыма, в которой предписывалось отходить на юг, на промежуточные рубежи в глубине полуострова.

После получения этой директивы связь с командованием войск Крыма была прервана.

Положение генерала Петрова было очень сложным. Ему теперь приходилось принимать решения, исходя только из личных соображений, руководствуясь только собственной оценкой создавшейся обстановки и способностью заглянуть в будущее. Тяжесть ответственности, ложащейся на плечи командующего, он ощущал сейчас с особой остротой.

Петров, конечно, понимал, что части Приморской армии, хотя и не по его вине, все же опоздали к решающим боям на Ишуньских позициях. Более того — даже прибыв сюда, пусть и с опозданием, они не смогли удержать гитлеровцев на тех рубежах, где с ними встретились. Они отходили, и это удручало, несмотря на все объективные причины: малочисленность, необеспеченность артиллерией, техникой.

Однако Петров был не из тех генералов, которые в тяжелой обстановке поддаются унынию. Он старался прежде всего найти выход из, казалось бы, безвыходного положения. Но какие бы усилия он ни предпринимал, реальностью оставался факт: части Манштейна ворвались в Крым и стремительно продвигались по степным просторам к Феодосии и Керчи, а в центре, обтекая Крымские горы, рвались к Ялте и Севастополю.

В ночь на 31 октября на окраине небольшого поселка Сарабуз в глинобитном домике собрался Военный совет Приморской армии. Коротко обрисовав создавшееся положение, генерал Петров высказал мнение, что отходить Приморской армии на Керчь, куда путь пока открыт, нет смысла, потому что в этом случае Севастополь — главная база Черноморского флота — останется неприкрытым: в городе нет сухопутных частей, способных защищать город. Исходя из этого он

считал, что Приморской армии следует отходить в сторону Севастополя, несмотря на то, что здесь придется не просто отходить, а уже пробиваться через немецкие части, которые обошли левый фланг армии. Члены Военного совета поддержали мнение Петрова.

Такое решение возлагало на плечи командующего огромную ответственность за жизнь многих тысяч людей. Поэтому Петров созвал еще одно совещание. Он приказал начальнику штаба к 17 часам вызвать в район поселка Экибаш, в сорока километрах севернее Симферополя, командиров и комиссаров дивизий, которые входили в Приморскую армию, и тех, которые поступили в его подчинение в последние дни.

В условиях тяжелых боев трудно было собрать командиров, трудно было и им самим оставить свои части, но они все прибыли к назначенному сроку в Экибаш, понимая, что предстоят очень серьезные перемены. Совещание состоялось в помещении местной больницы. У простого стола на табуретках заняли места Петров и член Военного совета бригадный комиссар М. Г. Кузнецов. На расставленных вокруг скамьях садились командиры.

Петров смотрел на каждого из своих старых боевых соратников и старался по их лицам определить настроение. Не растерялись ли? Все же в их боевой жизни это первые неудачные бои. От границы в июне и то отходили более организованно, по своим приказам и графикам, а не по воле противника.

На совещание прибыли командир 95-й стрелковой дивизии генерал-майор Василий Фролович Воробьев, командир 25-й Чапаевской дивизии генерал-майор Трофим Калинович Коломиец, командир 2-й кавалерийской дивизии Петр Георгиевич Новиков, командир 40-й кавалерийской дивизии Филипп Федорович Кудюров. Присутствовал командир вновь вступившей в состав армии 172-й стрелковой дивизии моложавый, с энергичным лицом полковник Иван Андреевич Ласкин. Были командиры полков, находящихся поблизости.

Петров встал, окинул всех внимательным взглядом и, подергивая от волнения головой, сказал:

— Мы вызвали вас, чтобы вместе обсудить создавшееся положение и посоветоваться о дальнейших действиях армии. Противник захватил Джанкой и преследует части Пятьдесят первой армии, которые отходят к Керченскому полуострову. Перед фронтом нашей армии натиск врага несколько ослаб. Однако он ослаб только потому, что противник делает все возможное для охвата наших флангов. Предотвратить этот охват, особенно слева, нам нечем, мы не располагаем никакими силами. Сегодня утром немецкие танки появились в нескольких километрах южнее Симферополя. Дорога на Севастополь, идущая через Бахчисарай, по-видимому, уже перерезана. Связи с командованием и штабом войск Крыма у нас сейчас нет. Из Симферополя штаб убыл. Последние указания, которые я получил от командования войск Крыма, сводились к тому, что Приморская армия, сдерживая противника, должна отходить на очередной рубеж. Оборудованного рубежа, на котором мы могли бы остановить противника, в нашем тылу сейчас нет. После изменений, которые произошли в обстановке за последние часы, постепенный отход от рубежа к рубежу, на мой взгляд, не имеет смысла. Противник обошел нас уже с трех сторон. В степи мы его не остановим. Дальше начинается предгорье. Постепенный отход все равно привел бы нас в это предгорье. Отходить в горы и обороняться в горах? Но мы дадим простор и свободу действиям противника по дорогам и на открытой местности в направлении Севастополя и Керчи. У нас нет организованного тыла, не будет и снабжения. Практически перед нами два пути: идти на Керчь или на Севастополь. Путь на Керчь еще не закрыт. Есть пока достаточно широкий проход, воспользовавшись которым мы могли бы за

ночь достигнуть Керченского полуострова и занять там оборону. Однако туда, как вы знаете, отходит Пятьдесят первая армия. Думается, она закрепится на ак-манайских позициях, ее сил будет достаточно для удержания этих позиций. Свободного пути на Севастополь уже не существует, во всяком случае для всей армии. Идти туда — значит идти с боями. Но Севастополь — главная база Черноморского флота. Удержать ее необходимо ради сохранения нашего господства на Черном море. Не секрет, что с суши город не прикрыт: полевых войск там нет. Если к нему не пробьется Приморская армия, если значительные силы противника ее опередят, Севастополь может пасть. Давайте же с учетом всего этого обсудим, куда следует идти армии. Мнение каждого командира и комиссара будет принято во внимание.

Петров помолчал некоторое время, давая возможность каждому обдумать и подготовить свое мнение. И затем повернулся к сидящему с краю командиру 161-го стрелкового полка 95-й дивизии:

— Полковник Капитохин, начнем с вас, с левого фланга. Прошу.

Капитохин встал и четко сказал:

— Я за то, чтобы мы шли оборонять Севастополь.

Рядом с Капитохиным сидел начальник артиллерии 95-й дивизии.

— Полковник Пискунов,— обратился к нему командарм.

— Считаю, нужно идти защищать Севастополь.

— Я думаю, идти надо к Севастополю,— говорит командир 25-й Чапаевской генерал-майор Коломиец.

Такого же мнения и комиссар этой дивизии бригадный комиссар А. С. Степанов.

За то, чтобы идти в Севастополь, высказался командир 40-й кавалерийской дивизии полковник Ф. Ф. Кудюров с тремя боевыми орденами Красного Знамени на груди и другие.

За отход на Керчь: командир 95-й дивизии В. Ф. Воробьев, ее военком полковой комиссар Я. Г. Мельников и начальник штаба подполковник Р. Т. Прасолов. Генерал-майор Воробьев так определил свою точку зрения:

— Мы не знаем истинного положения в районе Бахчисарая. Весьма вероятно, что немцы успели выдвинуть туда порядочные силы. Имея противника справа и слева, армия рискует втянуться в мешок, который потом окажется завязанным. К тому же у нас мало снарядов, чтобы отбиваться. В горах мы неизбежно потеряем остатки своих тылов. А в сторону Керчи еще можно пройти свободно. И это значит сохранить армию. Вот почему я за то, чтобы идти туда и обороняться там.

Когда высказались все, Иван Ефимович подвел итог:

— Четверо из присутствующих высказались за отход к Керчи, остальные, то есть подавляющее большинство, за Севастополь. Это большинство поддержало решение, к которому Военный совет армии в принципе уже пришел минувшей ночью в Сарабузе. Итак, мы идем прикрывать Севастополь. Отвод главных сил с обороняемого рубежа начнем с наступлением темноты. Прошу командиров подойти к моей карте, я укажу частям направление движения.

Петров определил маршруты и поставил задачу: выйти к утру на рубеж реки Альмы.

Совещание заняло не больше часа, и в конце его был отдан и подписан боевой приказ. Получив конкретные указания, командиры и комиссары разъехались.

Принимая это ответственное решение, Иван Ефимович Петров проявил способность широкого стратегического мышления. Он нашел в себе силы подняться над той опасностью, которая нависала над армией и над ним лично. Он мыслил крупно, масштабно. Он исходил из того, что с потерей Севастополя будет потеряно Черное море и про-

тивник сможет силами флота выйти прямо к побережью Кавказа, не только нападая на него подводными лодками и кораблями, но осуществляя и десантные операции. Удерживая черноморскую базу, наши войска оставались в тылу врага и тем самым сохраняли за собой часть Крымского полуострова. Оборона Севастополя, так же как это было с Одессой, поможет Приморской армии отвлечь на себя большое количество войск противника, которые не смогут участвовать в наступательных операциях в направлении Кавказа. Таким образом, противник не получал прямого пути на Кавказ, захватить который Гитлер так стремился.

Воспоминания из предвоенных лет

Любой поступок человека объясняется его взглядами, стремлениями, убеждениями, характером. Истоки любой черты характера или поведения человека можно найти в его биографии, воспитании, в жизненных испытаниях, которые он прошел.

Совсем недавно, всего за четыре года до совещания в Экибаше, о котором мы говорили, были в жизни Петрова такие превратности, которые несомненно подтолкнули его здесь, под Симферополем, на этот не совсем обычный в военных делах широкий совет с боевыми соратниками.

Петров всегда верил в товарищей, был надежным другом, и тем же ему отвечали люди, с которыми он дружил или служил в одних частях. Именно поддержка сослуживцев по армии, товарищей по партии однажды очень помогла ему в весьма драматической ситуации.

Клеветники и доносчики возбудили «дело».

Петров обвинялся в связях с человеком уже репрессированным, связях, «которые выражались в неслужебном общении и с выпивками», ставилось ему в вину даже то, что он служил «в белой армии и скрывал свое офицерское прошлое».

Обвинения, выдвинутые против Петрова, сегодня выглядят странно, надуманно: он ведь не скрывал своего офицерского прошлого, даже мы, курсанты, знали это. Записи в протоколе о службе «в белой армии» показывают, насколько не правы были люди, обвинявшие его. Петров ни одного дня не служил в белой армии, которая, как известно, возникла после революции и боролась с ней. Петров служил в царской армии, а в дни революции добровольно вступил в Красную Армию.

В ходе обсуждения один из членов парткомиссии, Васильев, в своем выступлении высказал ряд обвинений в адрес не только Петрова, но и полковника Филатова, который был заместителем начальника училища по строевой: «Филатов является исключительно вредной личностью! Предлагаю изъять Филатова из училища, поставить этот вопрос перед Военным советом».

Из протокола видно — и это очень характерно для Петрова,— что он, будучи сам, как говорится, на волосок от исключения из партии, немедленно стал заступаться за Филатова, так как обвинения, по его мнению, были несправедливые. Другой член парткомиссии, Маклашин, тут же отреагировал: «Ваша реплика, товарищ Петров, Васильеву, что Филатов все-таки не враг, говорит за то, что вы, товарищ Петров, становитесь на формальный путь. Товарищ Филатов до сегодняшнего дня продолжает заниматься саботажем, его курсанты не любят, боятся. Да и вообще деятельность Филатова может перерасти во враждебную деятельность».

Я хорошо знаю обстановку в училище в те предвоенные годы, когда им руководил Петров, близко знал много лет полковника Филатова, поэтому, дабы не сложилось впечатления о каком-то развале, сабота-

же и прочих неблаговидных делах, скажу несколько слов. Обстановка в училище была прекрасная, учили нас хорошо, жили мы дружной семьей. Любовь к Родине и партии воспитывалась в нас повседневно, мы были беззаветными патриотами. Лучшим и неопровержимым доказательством этому являются жизни, отданные выпускниками училища в боях за Родину. Весь наш выпуск в мае 1941 года был направлен в западные приграничные округа. Из ста лейтенантов, выпускников моей роты, я встретил за тридцать шесть послевоенных лет всего пятерых, остальные погибли. Утверждение, что курсанты боялись Филатова, абсолютно не соответствует действительности, курсанты очень любили его. Корректный, тактичный, Филатов воспитывал в нас чувство достоинства. Конечно, ни о каком саботаже не может быть и речи: Филатов приходил на работу раньше всех и уходил позже многих, отдавая службе и курсантам всего себя, не жалея ни сил, ни здоровья. Филатов прошел через всю войну, стал генералом, командовал дивизией, удостоен многих правительственных наград. Он всю жизнь был другом Петрова, до последних дней Ивана Ефимовича навещал его в больнице. Теперь нет уже и самого Филатова. И он, к сожалению, тоже не оставил воспоминаний.

После разбора персонального дела Петрова на парткомиссии все кончилось сравнительно — для тех времен — благополучно. Петрова не исключили из партии, не сняли с должности начальника училища, ограничились вынесением строгого партийного взыскания.

Но тучи еще долго ходили над головой Ивана Ефимовича. В 1939 году обвинения повторились снова.

Те годы обычно вспоминаются только плохим, чаще говорят о поступках неблаговидных. А вот в связи с делом Петрова можно было наблюдать редкое, но поразительное проявление честности и мужества со стороны нескольких человек.

В личном деле Петрова я обнаружил четвертушки листа серой, плохого качества бумаги. Я читал их и думал, что вот такая небольшая бумажечка решала судьбу человека. На этих бумажках (всего их было разослано двенадцать) под копирку был напечатан запрос о партийном лице И. Е. Петрова, который, как говорилось в запросе, в скором времени будет привлечен к ответственности «за связь с врагами народа» и за свою «антипартийную деятельность». Наверху каждой четвертушки чернилами вписаны фамилия и инициалы того, к кому обращен запрос.

Нетрудно представить состояние человека, получившего в те годы такой запрос. Формулировка его не оставляла никаких сомнений насчет того, что может ожидать Петрова.

И вот к чести людей, написавших ответы на явно тенденциозный запрос, надо сказать, что эти замечательные коммунисты, рискуя очень многим, а точнее — всем, написали правду о Петрове. Мне кажется, читатели должны знать имена этих достойных и смелых людей. Привожу коротко содержание их письменных ответов, которые назывались «Партийный отзыв» (к сожалению, не во всех письмах указаны должности и даже инициалы писавших):

«Член ВКП(б) с февраля 1919 года Чернухин: ...Петров старый член партии, считаю, что он предан партии Ленина — Сталина».

«Военком штаба САВО, полковой комиссар Евстафьев: Знаю Петрова И. Е. с 1933 года, опытный, дисциплинированный командир, партии Ленина — Сталина предан».

«Член ВКП(б) с июля 1918 года Челмадинов: Знаю Петрова И. Е. с 1929 года. Политически и морально устойчив, в практической работе проводит линию нашей партии и активно за нее борется».

«Член ВКП(б) с 1920 года Курбаткин: ...Петров И. Е. безусловно предан партии Ленина — Сталина».

Аналогичные отзывы прислали: Сергеев, член партии с 1932 года; В. Баженов, член партии с 1919 года; П. С. Бокреев, начальник кафедры Академии имени М. В. Фрунзе, член партии с 1918 года; И. И. Вырыпаев, член партии с 1925 года; М. Патоличев, член партии с 1927 года; Филатов, член партии с 1938 года; Брилев, член партии с 1939 года.

Авторитет Петрова, уважение к нему были настолько велики и прочны, что ни у одного из запрошенных не поднялась рука написать неправду или просто покривить душой.

Я рассказываю о драматических событиях в жизни Ивана Ефимовича Петрова совсем не для того, чтобы вести разговор о репрессиях тех лет. Партия давно осудила все, что творилось тогда незаконно. Но из тех лет, мне кажется, тянутся ниточки и к совещанию под Симферополем, о котором шла речь выше.

Честность коммунистов в свое время спасла Петрова. Мнение людей, их добрый совет всегда были важны для него, а после этого случая его уважение к людям и надежда на поддержку товарищей в критических обстоятельствах стали еще больше.

Отход к Севастополю. Октябрь 1941 года

Итак, выслушав мнение командиров, посоветовавшись со всеми присутствующими на совещании, генерал Петров принял решение и отдал соответствующий приказ — и тем самым взял на себя всю ответственность за отвод армии к Севастополю.

Вот как об этом рассказано в воспоминаниях генерал-полковника артиллерии, а в те дни полковника и начальника артиллерии Приморской армии Н. К. Рыжи:

«Было бы неверно думать, что И. Е. Петров собрал Военный совет, дабы разделить с другими ответственность, опереться на мнение большинства. Командарм уже принял окончательное решение идти к Севастополю, с тем чтобы его оборонять. Заседание Военного совета укрепило уверенность И. Е. Петрова в том, что поставленная войскам задача будет выполнена. К тому времени, когда командиры и комиссары прибыли на КП 95-й дивизии, штаб армии уже определил маршруты движения соединений, уравнительные рубежи и время выхода к ним головных колонн. Командарм использовал заседание также для того, чтобы дать командирам все указания и советы, которые невозможно было вместить в боевой приказ.

Мне генерал Петров тут же приказал снять с фронта прежде всего тяжелую артиллерию, включая 51-й и 52-й полки, входившие раньше в 51-ю армию, и направить ее через Алушту и Ялту к Севастополю.

— Тяжелая артиллерия,— сказал он,— должна быть там раньше пехоты. Если понадобится, она поможет пехоте прорваться к севастопольским рубежам».

После войны я служил вместе с генерал-полковником Рыжи, он был командующим артиллерией Туркестанского военного округа. В конце пятидесятых годов механизация и моторизация наших Вооруженных Сил уже была завершена, и только в горнострелковых частях, исходя из их специфики, были оставлены кони. В 1958—1960 годах я командовал горнострелковым полком. Николай Кирьякович Рыжи был страстным любителем лошадей, вот он и приезжал иногда «отвести душу». Особенно ему нравился мой личный конь Агат арабских кровей. Будучи человеком очень тактичным, Николай Кирьякович, хоть и был намного старше меня по званию и по служебному положению, каждый раз спрашивал разрешения «посмотреть лошадок» и «размять Агата, чтобы не застоялся». Рыжи шутил при этом: «Вы, Карпов, командир новой формации, вам моторы, технику подавай».

Рыжи был прав, я кончал академию после Великой Отечественной войны, и кавалерия с ее хоть и высокими для своего времени темпами была для меня чем-то архаичным. Конь мой Агат действительно застаивался. Нравился он мне своей статью, огоньком в лихих глазах. У него был хвост трубой, что, как утверждал Рыжи, было верным признаком его арабского происхождения. Но все его красоты особого душевного волнения во мне в отличие от генерала не пробуждали. Однако я очень благодарен своему коню за то, что он послужил поводом для близкого общения с Николаем Кирьяковичем. За чашкой чая после верховой езды я услыхал от него очень много интересного. Чего стоит одна одиссея Рыжи при отходе из Севастополя, когда он на старенькой шхуне пересек Черное море и попал в Турцию!

Вернемся, однако, в армию, отходящую к Севастополю.

Отдав приказ и распределив маршруты между дивизиями, генерал Петров даже не подозревал, как скоро ему придется изменить намеченный план отхода. В эту же ночь он получил сведения о том, что передовые части противника прорвались по приморской дороге и вышли к реке Альме, которую Петров назначил первым рубежом обороны при отходе. Надо было немедленно искать другие пути отхода и поставить новые задачи дивизиям, которые уже успели сняться с места и выйти на ранее определенные им маршруты. Очень нелегкое это дело — повернуть целую армию, не имея устойчивой связи, под постоянными бомбежками врага и нажимом его сухопутных войск, да еще ночью! Верный своей привычке личным общением решать с командирами самые трудные вопросы, Петров немедленно выехал к командиру 95-й дивизии, начальника штаба Крылова отправил в 172-ю, еще нескольких работников штаба — в другие дивизии и части. Благодаря этому на первый взгляд простому и естественному способу руководства Петров и его штаб без путаницы, без кривотолков и ошибок, избежав потерь от неожиданных столкновений с противником, в короткое время повернули огромную массу войск и направили ее в обход Симферополя на юго-восток, опять-таки на горные рубежи и дороги, потому что степное пространство уже было занято немецкими войсками. Однако вся наша тяжелая артиллерия и часть тылов, предусмотрительно отправленные Петровым в первую очередь, еще до отхода частей, из-под самого носа противника ушли по шоссе через Алушту и Ялту на Севастополь. Если бы не эта предусмотрительность командующего, пять полков тяжелой артиллерии достались бы врагу, так как по горным дорогам они бы не прошли.

Управляя войсками на марше, руководя боями, генерал Петров со штабом медленно отходил на юг.

О том, как складывались события дальше, лучше всего свидетельствует рассказ маршала Крылова, находившегося в те дни рядом с Петровым:

«Петров осознавал: организация сухопутной обороны города, очевидно, так или иначе ляжет на его плечи. Непрестанно об этом думая, он мучился, что не знает ни состояния оборонительных рубежей, ни какова там обстановка вообще. У Ивана Ефимовича возникал вопрос, не следует ли ему для пользы дела поспешить в Севастополь с полевым управлением, чтобы к подходу основных соединений уже быть на месте.

Вопрос этот, трудный для командарма, поскольку речь шла об его отрыве от главных сил армии, был решен после того, как И. Е. Петров встретился в Алуште с командующим войсками Крыма вице-адмиралом Г. И. Левченко.

Гордей Иванович, старый моряк, жил в те дни судьбой Севастополя. Он был убежден, что теперь и его место там. А Петрову приказал ехать туда немедленно, поторопиться. «У вас есть генералы, которые доведут войска,— сказал Левченко Ивану Ефимовичу,— а вам надо сейчас быть в Севастополе и вместе с командованием флота создавать надежную оборону»...»

Итак, 2 ноября Петров вместе с полевым управлением выехал через Алушту в Севастополь и 4-го прибыл туда.

Отправляясь в Севастополь, Петров поручил руководство отходящими частями командиру 25-й дивизии генералу Т. К. Коломийцу, с которым поддерживал постоянную связь по радио, и фактически продолжал управлять действиями армии.

Первая попытка захвата Севастополя. Ноябрь 1941 года

Когда стало известно о прорыве врага в Крым и нависшей угрозе над Севастополем, Военный совет Черноморского флота объявил Севастополь на осадном положении. В городе был создан городской комитет обороны под председательством первого секретаря горкома Б. А. Борисова.

Командование Черноморского флота сделало все возможное, чтобы отразить первый натиск врага. С кораблей списывались краснофлотцы. Из них создавались пешие отряды, которые выдвигались на позиции. Тыловые и специальные подразделения морской базы и даже тылов Приморской армии, находившиеся в городе, тоже вливались в создаваемые отряды и уходили на фронт. Очень большую работу проделали артиллеристы военно-морской базы. Артиллерия береговой обороны предназначалась для ведения огня по противнику, ожидаемому с моря, долговременные бетонные укрытия для орудий строились именно с таким расчетом. Никто даже не предполагал, что придется отбивать врага, наступающего на Севастополь с суши. И вот теперь за короткий срок артиллеристы переоборудовали свои батареи и своевременно встретили врага.

Кстати, момент, с которого началась оборона Севастополя, определяется достаточно точно. Это 16 часов 35 минут 30 октября, когда береговая батарея № 54 под командованием старшего лейтенанта Ивана Заики открыла огонь по авангарду войск Манштейна — сводной моторизованной бригаде Циглера. Батарея Заики находилась в сорока километрах от Севастополя, она тоже готовилась для отражения морских десантов, а стрелять пришлось по танкам и автомашинам с пехотой.

Позднее батарея Заики, окруженная пехотой противника, героически сражалась до выхода из строя последнего орудия, после чего часть личного состава удалось вывезти в Севастополь, а Заика с группой, прикрывавшей отход батарейцев, ушел в партизаны, где командовал партизанским отрядом, а позднее вернулся на флот.

Моряки при отражении первой попытки захватить Севастополь проявили образцы героизма, примеров тому много, приведу лишь один из них. 7 ноября, в день 24-й годовщины Октябрьской революции, группа краснофлотцев под командованием политрука Н. Д. Фильченкова вступила в схватку с 15 танками врага. Бутылками с горючей смесью Иван Красносельский поджег три танка, Юрий Паршин, Даниил Одинцов — по одному, Василий Цибулько подбил танк связкой гранат. Но шли другие танки, тогда Фильченков привязал к поясу гранаты и бросился под гусеницы, то же совершили Одинцов и Паршин. Всем пяти погибшим черноморцам присвоено звание Героев Советского Союза, они первые севастопольские Герои. П. А. Моргунов, бывший комендант береговой обороны Севастопольской морской базы, в своей книге «Героический Севастополь» так подводит итоги отражения первой попытки захвата города:

«Прошло десять напряженных дней, в течение которых защитники Севастополя сорвали попытку немецко-фашистских войск с ходу захватить город.

Благодаря героизму и самоотверженности всего личного состава частей и соединений береговой обороны, морской пехоты, ПВО, кораблей и авиации флота, а также

отдельных частей Приморской армии севастопольцы одержали большую победу... Враг не только не смог с ходу взять главную базу, но и нигде не прорвал нашу линию фронта на подступах к Севастополю в районе Дуванкой — Черкез-Кермен ему удалось потеснить наши войска, заняв хутор Мекензия.

Противник не достиг также своей цели — не допустить в Севастополь Приморскую армию».

Справедливые слова, только добавим то, о чем не сказано у Моргунова: боями Приморской армии и сухопутной обороной Севастополя уже и в это время руководит генерал Петров, о чем свидетельствует приказ вице-адмирала Г. И. Левченко от 4 ноября 1941 года:

«В состав войск Севастопольского оборонительного района включить: все части и подразделения Приморской армии, береговую оборону главной базы Черноморского флота, все морские сухопутные части и части ВВС ЧФ по особому моему указанию.

Командование всеми действиями сухопутных войск и руководство обороной Севастополя возлагаю на командующего Приморской армией генерал-майора Петрова И. Е.».

Знакомя с этим приказом своего начальника штаба Крылова, Иван Ефимович обратил его внимание на следующее:

— Здесь не поставлены задачи флоту, его корабельным соединениям. Бóльшая часть кораблей перебазирована на Кавказ.— Петров помолчал, он понимал, что защищать приморский город, не имея в нем боевых кораблей, дело ненадежное, но, не желая обсуждать приказ старшего, добавил: — Мы с вами солдаты и обязаны принять и выполнить приказ таким, каков он есть. Главное сейчас — привести в строгую систему управление всеми обороняющими Севастополь силами. И как можно быстрее. Об этом и надо думать, а остальное так или иначе образуется.

С первых часов пребывания в Севастополе Петров объезжал позиции и изучал местность, оборону, состояние частей. Поэтому к моменту подписания приказа о его назначении Иван Ефимович был в курсе всех дел. На следующий же день на совещании под председательством вице-адмирала Ф. С. Октябрьского Петров, оценивая обстановку на сухопутном фронте, отметил мужество, смелость, высокий моральный дух и стойкость моряков, проявленные уже в первых боях. Он выразил уверенность, что по мере прибытия частей Приморской армии прочность обороны будет наращиваться.

Адмирал Октябрьский просил Петрова немедленно включиться в руководство боевой деятельностью войск в Севастополе.

После спокойной и объективной оценки положения дел Петровым выглядит несколько странной телеграмма, отправленная адмиралом Октябрьским в тот же вечер в Ставку:

«Положение Севастополя под угрозой захвата... Противник занял Дуванкой — наша первая линия обороны прорвана, идут бои, исключительно активно действует авиация... Севастополь пока обороняется только частями флота — гарнизона моряков... Севастополь до сих пор не получил никакой помощи армии... Резервов больше нет... Одна надежда, что через день-два подойдут армейские части»...

В этой же телеграмме опять сообщались мероприятия по переводу боевых и вспомогательных кораблей, авиации, частей зенитной артиллерии на Кавказ. Туда же предлагалось перевести все запасы, склады, мастерские, судоремонтный завод, все управления флота. И еще раз подчеркивалась необходимость перевода штаба и руководства флота в Туапсе, откуда будет осуществляться руководство флотом и боевыми действиями на черноморском и азовском театрах.

Главный смысл этой телеграммы — желание адмирала Октябрьского вывести штаб флота и боевые корабли в кавказские порты, чтобы сохранить их. В этом был и свой резон. В Севастополе находился Военный совет войск Крыма во главе с вице-адмиралом Лев-

ченко. Командиром Севастопольской базы назначен контр-адмирал Жуков, командующим войсками СОРа (Севастопольского оборонительного района) — генерал Петров. При наличии стольких руководителей Октябрьский считал возможным отбыть со своим штабом на Кавказ.

7 ноября 1941 года пришла ответная телеграмма наркома Военно-Морского Флота Н. Г. Кузнецова на имя не только Октябрьского, но и Левченко:

«...Мне кажется, достаточно ясно, что вашей главной задачей является удержать Севастополь до крайней возможности. Так дрался под огнем артиллерии и авиации Таллин, так держался Ханко, так вы, черноморцы, держали Одессу, и мне непонятна нотка безнадежности в отношении Севастополя.

К борьбе за Севастополь надо привлечь корабли, хотя условия для их базирования там будут трудными. Но вам известно, что весь Северный флот в Полярном с начала войны находится под ударами авиации, а линия фронта проходит еще ближе. Севастополь можно и нужно защищать, и, пока оборона его не будет устойчивой, Военный совет должен быть там».

Из этой телеграммы видно полное совпадение мнения Петрова о применении боевых кораблей в обороне приморских городов с решением наркома Военно-Морского Флота.

К 9 ноября основные силы Приморской армии пробились к Севастополю. Петров встречал своих боевых соратников — командиров соединений и частей. Они были усталые, соединения понесли большие потери. Но тем не менее всех радовала встреча и то, что наконец-то пробились к Севастополю и силы армии собраны в кулак.

Однако, как выяснилось, кулак этот пока не представлял из себя большой силы. При упрощенном подсчете, в среднем, считают, что дивизия содержит до 10 тысяч человек. Вот какой численности оказались дивизии приморцев в день выхода к Севастополю: 172-я стрелковая дивизия — 940 человек, 25-я Чапаевская стрелковая дивизия — 1670 человек, 95-я стрелковая дивизия — 3759 человек, 2-я кавалерийская (только по названию, конечно, кавалерийская) — 320 человек, 421-я стрелковая дивизия — 3438 человек (вскоре она была расформирована, и личный состав ее пошел на комплектование других частей). Кроме того, вышли сюда 40-я и 42-я кавалерийские дивизии, в обеих было 1496 человек; 265-й корпусной артиллерийский полк — 1106 человек, гвардейский минометный дивизион — 211 человек и танковый батальон — 213 человек. Всего все части и соединения вышедшей к Севастополю Приморской армии насчитывали немногим более 13 тысяч человек.

Таким образом, радость встречи была велика, но трудностей в организации обороны для командующего не убавилось, а, пожалуй, даже прибавилось, потому что прибывшие части нужно было срочно переформировывать, пополнять, восстанавливать их боевую способность. На фронте тем временем бои не прекращались, противник продолжал наступление. Всю реорганизацию частей и перестройку обороны командующему и его штабу приходилось проводить в ходе боев. Главная забота Петрова была — осуществить ее как можно быстрее, но в то же время и не в ущерб боеспособности частей.

По договоренности с адмиралом Октябрьским Петров немедленно стал укомплектовывать дивизии батальонами морской пехоты и другими отдельными отрядами, которые были ранее сформированы здесь для защиты Севастополя. Часто эти батальоны входили в полки, сохраняя свое название, своих командиров, которые уже знали личный состав и участвовали с ним в боях.

Командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский, чтобы не было никаких трений, издал специальный приказ, которым обязывал всех моряков влиться в состав стрелковых дивизий и всех—

краснофлотцев и морских командиров — подчиняться командирам строевых частей.

Но Иван Ефимович при доукомплектовании учитывал психологические тонкости, своеобразный патриотизм моряков, их любовь и привязанность к флоту,— за ними были сохранены звания краснофлотцев, морская форма.

Кстати, здесь полностью оправдалось решение наркома Военно-Морского Флота о том, чтобы командование Черноморского флота было оставлено в Севастополе. Что это дало? Прежде всего помогло Петрову быстро восстановить боеспособность частей Приморской армии. Адмирал Октябрьский, как он сообщил в приведенной телеграмме, намеревался вывести из Севастополя не только управления флота, но и все тылы и склады. Если бы это произошло, Приморская армия осталась бы без необходимых ей стрелкового оружия, боеприпасов, продовольствия, горючего, потому что армия после стольких боев ничего этого в своих тылах не имела. В годы войны, несмотря ни на что, велся строгий учет, соблюдались определенные формальности; для Приморской армии получить все необходимое у морских учреждений, которые подчинялись другому наркому, было не так просто. Присутствие в Севастополе командующего Черноморским флотом, его личное общение с Петровым намного облегчали снабжение и устранение формальностей.

Кроме боеприпасов и продовольствия, моряки передали Приморской армии и ее командующему установленные, отлаженные и действующие средства связи, приборы для наблюдения и целые командные пункты, позволяющие немедленно приступить к руководству войсками.

Были, разумеется, и некоторые сложности в этой первой организационной стадии, касающиеся подчиненности береговых морских служб, артиллерии, морской авиации сухопутным начальникам, но все это со временем наладилось. Что же касается совместных боевых действий, то на передовых позициях, как и в Одессе, установилось дружное взаимодействие и даже не взаимодействие, а общие действия моряков и сухопутных войск. Они не спорили, кто что должен делать, кто кого должен обеспечивать и кто кому должен подчиняться. Дружной работой и стойкостью в бою в первые же дни и во все долгие 250 дней обороны Севастополя они дали прекрасный пример боевого содружества.

Боеспособность частей Приморской армии в основном была восстановлена уже на следующий день после прибытия их.

Удивительна эта оперативность в работе генерала Петрова и его начальника штаба полковника Крылова! В течение суток были не только переформированы и доукомплектованы части, определены их участки обороны, распределены артиллерия и другие средства усиления. В ходе этой работы написан приказ и тут же доложен вице-адмиралу Октябрьскому, который утвердил его, и немедленно здесь же, в штабе флота, этот приказ был перепечатан, подписан командованием Приморской армии и завизирован Военным советом Черноморского флота. Приказ этот представляет для понимающих в военном деле людей очень любопытный документ по краткости, ясности, точности определения боевых задач. Это по сути дела первый боевой документ, отражающий решение Петрова, заложенное в оборону Севастополя. Нет возможности, да, наверное, и необязательно приводить здесь весь текст приказа Петрова. Скажу лишь о том, что в отличие от Манштейна, у которого в подчинении были хорошо вооруженные и обученные кадровые дивизии, командующий Приморской армией Петров составлял свои дивизии, как лоскутные одеяла,— из тыловых, учебных и специальных подразделений, оказавшихся под рукой. Для наглядности приведу лишь один пункт из этого приказа:

«...II. Второй сектор обороны — комендант полковник Ласкин...

Состав войск — 172 стр. дивизия в составе:

а) 514 сп в составе двух батальонов:

1-й батальон сформировать из состава всех частей 172 сд.

2-й батальон укомплектовать за счет трех рот истребительного отряда и роты 51 полка связи.

Включить в состав полка все гарнизоны долговременных сооружений в их районе. Командир полка майор Устинов...

б) 2-й полк морской пехоты в существующем составе...

в) сформировать новый стрелковый полк с наименованием «1 Севастопольский стрелковый полк». Полку иметь три б-на. 1 батальон укомплектовать за счет 1 Перекопского батальона. 2 батальон — за счет батальона Дунайской флотилии. 3 батальон — за счет батальона Школы оружия...»

Небольшой комментарий к этому приказу, так сказать, информация к размышлению: надо только представить себе, в каком состоянии были части, если из всей 172-й стрелковой дивизии создается всего один батальон!

Таким образом, за неделю своего пребывания в Севастополе Петров проделал огромную работу, в которую был вложен не только опыт гражданской войны, но и опыт боев за Одессу. Под руководством Петрова сухопутные части, моряки и различные спецподразделения, занимавшие оборону на подступах к городу, отразили попытку 11-й немецкой армии с ходу захватить Севастополь. Кроме того, противник не достиг своей цели — не допустить отходящие части Приморской армии в Севастополь. И еще. Севастопольский участок боевых действий приковал к себе крупную группировку противника и в результате активных контратак не позволил ему снять части с этого участка, а напротив — вынудил перебросить сюда на помощь контратакованным частям 22-ю дивизию, которая действовала на направлении Керчи. С приходом Приморской армии севастопольская оборона обрела четкую, стройную, грамотно разработанную оборонительную систему.

Оборона всегда вполне справедливо считалась пассивным способом ведения боя. Инициатива обычно на стороне наступающего. Тут как в шахматах: первый ход делают белые. Так и при ведении боевых действий первое слово — за наступающим, обороняющийся же начинает реагировать на предпринимаемые действия тех, кто переходит в наступление.

Воспользуемся имеющимися в нашем распоряжении воспоминаниями Манштейна и узнаем, что же он собирался предпринять как командующий наступающей стороны:

«Теперь перед 11-й армией стояла задача взять штурмом последний оплот противника в Крыму — Севастополь. Чем раньше будет предпринято это наступление, чем меньше времени будет дано противнику на организацию его обороны, тем больше будет и шансов на успех... Перед наступлением нужно было прежде всего решить вопрос о силах. Не вызывало сомнения, что четырех дивизий, стоявших в то время перед крепостью, было недостаточно, чтобы осуществить ее штурм. Их недоставало даже для того, чтобы создать сплошной фронт. К тому же оказалось, что противник... сумел в относительно короткий срок довести силу обороняющихся войск до 9 дивизий. Этот факт свидетельствовал о том, насколько необходимо было прежде всего перерезать его морские коммуникации».

Вот как спустя несколько десятков лет рисует Манштейн положение дел под Севастополем, как камуфлирует реальную картину. Ни слова нет о том, что Манштейн уже предпринял первое наступление на Севастополь и ввел в бой два корпуса против разрозненных и наспех сформированных отрядов морской пехоты, а потом малочисленных частей Приморской армии, подоспевших им на помощь.

Также ни слова нет о том, что это первое наступление Манштейна не достигло цели. Фельдмаршал очень часто в своих мемуарах говорит о своей любви и уважении к немецким солдатам. А вот здесь, как видим, не хочет вспомнить о десятках тысяч этих солдат, которых он положил в первом наступлении на Севастополь, положил напрасно, так и не добившись осуществления своих скороспелых, провалившихся расчетов.

Рассказывая о готовящемся штурме Севастополя, Манштейн назвал эту главу «Первое наступление на Севастополь». Не будем поправлять фельдмаршала в арифметике, но повторим, что первое наступление уже состоялось и первый урок Манштейну генерал Петров уже преподал, полностью нарушив планы, которые намечал Манштейн. Приведу слова Манштейна по этому поводу, потому что в них содержится оценка действий генерал-майора Петрова, который с первой встречи заставил уважать себя даже врага:

«Благодаря энергичным мерам советского командующего противник сумел остановить продвижение 54 ак (армейского корпуса.— *В. К.*) на подступах к крепости. В связи с наличием морских коммуникаций противник счел себя даже достаточно сильным для того, чтобы при поддержке огня флота начать наступление с побережья севернее Севастополя против правого фланга 54 ак. Потребовалось перебросить сюда для поддержки 22-ю пд (пехотную дивизию.— *В. К.*) из состава 30 ак. В этих условиях командование армии должно было отказаться от своего плана взять Севастополь внезапным ударом с ходу...»

Вот первая убедительная победа защитников Севастополя над превосходящим по всем родам войск противником! Это победа и Петрова как полководца. В районе Севастополя были начальники старше его. И не для того, чтобы принизить их руководящую роль, а лишь для подтверждения полководческих качеств Петрова напомню телеграмму адмирала Октябрьского, приведенную выше, о том, что «положение Севастополя под угрозой» и что «Севастополь до сих пор не получил никакой помощи армии... Резервов больше нет». Именно в тот день, когда отправлялась эта телеграмма, генерал Петров, несмотря на отсутствие сил и резервов для противодействия, все же решил нанести контрудар противнику и остановить его продвижение в Инкерманскую долину. Это его стиль — вспомните притчу о Геркулесе!

К этому времени подошла 7-я бригада морской пехоты во главе с полковником Е. И. Жидиловым и бригадным комиссаром Н. Е. Ехлаковым. Бригада была из состава Приморской армии и тоже проделала марш с севера в сторону Севастополя. Генерал Петров решил контратаковать с утра 8 ноября силами этой бригады. Трудность была еще и в том, что и у бригады и в распоряжении Петрова на этом участке не было полевой артиллерии и минометов, нечем было поддержать атаку.

Петров возлагал надежду на огонь 30-й береговой батареи и еще батарей № 2 и № 35. Причем батарея № 30, которой командовал очень грамотный и хороший артиллерист Александер, должна была вести огонь шрапнелью. По боям еще в период гражданской войны генерал Петров хорошо знал эффективность огня шрапнелью. Она могла при хорошем, точном попадании поражать участок до одного километра в глубину и 250 метров в ширину. Но была и опасность поражения своих войск при неточном попадании. Для того чтобы этого не произошло, на 30-ю батарею к Александеру был послан начальник артиллерии береговой обороны подполковник Б. Э. Файн, который вместе с Александером произвел все необходимые расчеты и для безопасности первые залпы сделал с некоторым удалением разрывов от траншей своей пехоты.

Около 12 часов дня 7-я бригада перешла в наступление. Шрапнельный огонь, как и предполагал И. Е. Петров, оказался очень эф-

фективным. Все три батальона 7-й бригады успешно продвинулись вперед и с наступлением темноты после тяжелого дня боев закрепились на новых рубежах.

В эти же дни, 7 и 8 ноября, успешно переходя в контратаки, сдерживала врага и 8-я бригада морской пехоты под командованием Б. Л. Вильшанского и военкома М. Н. Ефименко. Бригада отбила у противника несколько очень важных высот и даже немного потеснила врага.

Однако противник продолжал наступление на всех направлениях. Это ставило в очень трудное положение войска генерала Петрова. Командующий армией не располагал ни достаточными резервами, ни крупными частями. Ему нечем было создать значительный перевес хотя бы на одном решающем участке. Но, несмотря ни на что, все же в эти дни оборона выстояла и противник своих целей не добился. Не очень большие по силе, но все же умело организованные Петровым контрудары 7-й и 8-й морских бригад, как видим, огорошили Манштейна. Он принял эти бригады за части, вновь подброшенные морским путем с Кавказа, и, опасаясь их дальнейшего продвижения, перебросил сюда свежую дивизию и даже потерял уверенность в возможности овладеть Севастополем с ходу. Так что на этом этапе, в труднейших и невыгодных условиях, победа, одержанная севастопольцами, очевидна!

Месяц, забытый фельдмаршалом

Говоря об организации первого, по его подсчетам, штурма Севастополя, Манштейн пишет, что он назначил это наступление или, вернее, был вынужден начать это наступление только во второй половине декабря 1941 года, а именно 17 декабря. Таким образом, мы видим, что с момента, когда части Приморской армии вышли в район Севастополя и заняли там оборону, то есть с 10 ноября до этого наступления, 17 декабря, выпадает больше месяца, о котором Манштейн не говорит ничего — кроме нескольких общих слов о подготовке нового наступления. Это не простая забывчивость, а нежелание вспоминать о делах, не прибавляющих маршалу лавров. Именно в эти дни генерал Петров и руководимые им войска причинили Манштейну очень много неприятностей.

Что же произошло в течение этого месяца? Утром 11 ноября, на следующий день после выхода частей Приморской армии в сектора обороны, части 11-й армии Манштейна перешли в наступление на первом и втором секторах обороны — вдоль берега моря и Ялтинского шоссе в направлении на Балаклаву. В течение всего дня продолжались тяжелые бои. Противнику удалось окружить 149-й полк 40-й кавалерийской дивизии и овладеть несколькими важными высотами и деревней Варнуткой. Контратакой 154-го полка положение было восстановлено. Не добившись успеха, Манштейн решил ослабить оборону мощной бомбардировкой войск, города и кораблей в порту. 12 ноября в течение всего дня фашистская авиация была в воздухе. Гитлеровцы заявили в этот день, что они разбомбили город до основания. Конечно, это не соответствовало действительности, но разрушения были большие. Более 20 самолетов врага накинулись на крейсер «Червона Украина», в корабль было шесть прямых попаданий. Несколько часов боролся экипаж за спасение корабля, но все же он затонул. 13 ноября гитлеровцы вновь ринулись в наступление, ожидая, что после такой отчаянной бомбежки сопротивление наших войск уже сломлено. В тяжелом бою комендант первого сектора полковник Новиков ввел в бой все, чем располагал, вплоть до охраны штаба. Погиб командир 383-го полка полковник Н. Г. Шемрук. К концу дня противник окружил часть 40-й кавдивизии.

Генерал Петров, чтобы помочь войскам в этом секторе, решил отвлечь отсюда силы врага, нанеся удар противнику в других секторах. Этот неожиданный удар принес успех. 8-я бригада морской пехоты овладела деревней Эфендикой и рядом высот.

Опасаясь развития успеха наших частей на этом направлении, Манштейн перебросил сюда часть 22-й пехотной дивизии и таким образом ослабил нажим на балаклавском направлении.

Генерал Петров немедленно приказал частям второго сектора, как только они почувствовали это ослабление, перейти в контрнаступление. Это было осуществлено, части полковника Ласкина овладели важными высотами и потеснили противника на один-два километра. Но это еще не обеспечивало безопасности Балаклаве, поэтому генерал Петров продолжал изыскивать возможности улучшить позиции на этом участке и вызволить из окружения части 40-й дивизии. Он подготовил наступление на первом и втором секторах и назначил начало атаки на утро 14 ноября.

Но противник упредил наши части и сам на рассвете перешел в наступление. Однако, несмотря на то, что гитлеровцы перешли в атаку, части второго сектора после получасовой артиллерийской подготовки поднялись им навстречу и с криками «ура» тоже пошли вперед. Отважно действовал 514-й полк под командованием подполковника И. Ф. Устинова. Он овладел господствующими высотами, и тут же ему навстречу поднялись и пошли на прорыв части окруженной 40-й кавалерийской дивизии. В результате этих совместных действий кавалеристы вышли из кольца.

С утра 15 ноября гитлеровцы силами четырех дивизий опять кинулись на штурм. Удар по-прежнему наносился вдоль Ялтинского шоссе, в направлении на Камары и высоту с Итальянским кладбищем. Бои здесь были кровопролитными. Только 514-й полк за день этого боя потерял до 400 человек. Генерал Петров, ощущая напряжение в этом секторе, находился на его наблюдательном пункте. Полковник Ласкин все время следил за высотой с Итальянским кладбищем и деревней Камары. Петров тоже хорошо знал местность в этом районе и значение каждой высоты, поэтому сказал командиру дивизии:

— Высоты надо взять обязательно. Противник несет большие потери, и надо продолжать бить его всюду днем и ночью. Главное — уметь правильно и вовремя использовать артиллерию. У вас в секторе она сильная.

Отдав все необходимые распоряжения и высказав уверенность, что войска сектора продержатся, генерал уехал на другой участок. На следующий день он опять прибыл на НП Ласкина, пригласил к себе командование второго сектора и сказал:

— Положение у Балаклавы достигло критического напряжения, противник овладел высотой 212,1 — последней перед Балаклавой. Нам надо захватить высоты, являющиеся ключевыми пунктами на этом направлении. Тогда вся группировка противника, действующая в районе Балаклавы, окажется в ловушке. Одновременно мы укрепим оборону на всем южном участке. Но для этого надо нанести удар по флангу противника со стороны вашего сектора.

Выслушав мнение и советы командиров, командующий армией приказал:

— Силами Пятьсот четырнадцатого полка, командир подполковник Устинов, и местного стрелкового полка, командир подполковник Баранов, в ночь на двадцатое ноября провести атаку и овладеть высотой 440,8, чтобы существенно улучшить положение обороняющихся в первом секторе. Проведение этой операции возлагаю на вас, полковник Ласкин. А коменданту первого сектора полковнику Новикову очистить от противника высоту 212,1 и осуществить захват высоты 386,6.

Постоянно заботясь о внезапности, избегая шаблонов, учитывая, что атаковать нужно превосходящего противника, Петров приказал провести эту атаку ночью. Конечно же, ночь усложняла и сам бой, и руководство им, и осуществление поставленных целей. И все же командующий оказался прав. 514-й полк подполковника Устинова внезапным ударом ночью в ближнем бою уничтожил свыше двух рот гитлеровцев и овладел высотой 440,8 и окопами в восточной части Камар. Части первого сектора овладели высотой 212,1. Неудачно действовал только полк Баранова. Рано утром генерал Петров прибыл на наблюдательный пункт и не стал ругать ни подполковника Баранова, ни полковника Ласкина, а, как бы приняв часть вины на себя, сказал Ласкину:

— Мы слишком поздно передали полк Баранова в ваше распоряжение. Вы не успели, видимо, отработать все необходимые вопросы. Но ничего. Зато Устинов молодец, очень удачно действовал.

Командарм сказал, что противник понес на этом участке значительные потери и это надо использовать. Надо переходить в новое наступление и продолжать теснить врага. Вечером 20 ноября полковник Устинов доложил, что противник начал окапываться на занимаемом рубеже; это подтверждает, что он понес большие потери и, наверное, завтра не собирается наступать. Генерал Петров приказал немедленно, не ожидая рассвета, переходить в атаку.

Командующий оказался прав — контратака принесла успех, фашисты были застигнуты врасплох. Они не ожидали, что после таких тяжелых боев, которые проходили днем, советские части рискнут перейти в наступление, и опять-таки ночью. Полк Устинова освободил Камары и захватил много пленных.

21 ноября противник, подтянув свежие подразделения, перешел все же в наступление на Камары. Гитлеровцам удалось захватить высоту и вклиниться в оборону 514-го полка. Но полковник Устинов, не раз убеждавшийся в успешности контратак, на которые его постоянно нацеливал командарм, и в этот раз поднял остатки полка навстречу врагу.

В этот момент Устинов был ранен, но контратака все-таки достигла своей цели: деревня Камары была взята (командовать полком стал комиссар Караев).

Захваченный в этих боях немецкий ефрейтор показал:

«В 72-й пехотной дивизии в первой линии находятся все три полка и все понесли очень большие потери от артиллерийского огня и контратак русских. В ротах осталось не более как по 30 солдат. Поэтому на нашем участке были введены в бой два саперных батальона».

Из этих показаний пленного можно увидеть, как хорошо чувствовал пульс боя генерал Петров, как он улавливал нужный момент для контратаки — именно в минуты наибольшей слабости противника. Этот опыт, это умение Петрова чувствовать ритм и накал боя помогали, как видим, частям не только удерживать занимаемые позиции, но и постоянно улучшать их.

Тактика, выбранная Манштейном в этом наступлении, заключалась в следующем: атаковать наши войска с нескольких различных направлений и тем самым распылить наши силы, не дать им сконцентрироваться на одном участке фронта.

Как мы могли убедиться из описания боев, генерал Петров разгадал эту тактику Манштейна. Благодаря быстрой и точной реакции на все перипетии боя он нашел возможность не только останавливать вклинивающиеся на различных участках части гитлеровцев, но даже и контратаковать их. Этими активными действиями Петров сумел остановить продвижение противника, нанести ему ощутимые потери

и в конечном счете вынудить на данном этапе отказаться от наступления.

В общем, к концу ноября Петров добился того, что наступательный порыв гитлеровцев иссяк. Их потери были так велики, что требовалась пауза для их возмещения и пополнения боеприпасами. Наступило относительное затишье, если можно так назвать боевую жизнь фронта с ее повседневными бомбежками, артобстрелами, перестрелками и схватками на отдельных участках, постоянной охотой снайперов и ночной охотой разведчиков.

Пытаясь оправдать безуспешность действий своих войск, Манштейн ссылается и на такие причины:

«В Крыму начались непрерывные дожди, которые в кратчайший срок вывели из строя все дороги без твердого покрытия... С началом дождей армия практически теряла возможность обеспечивать свое снабжение автогужевым транспортом, во всяком случае на участке от материка до Симферополя. К 17 ноября уже вышло из строя по техническим причинам 50% нашего транспорта. На материке же, на севере, уже свирепствовал лютый мороз, который вывел из строя 4 паровоза из 5, имевшихся тогда в нашем распоряжении южнее Днепра. Таким образом, снабжение армии ограничивалось теперь 1—2 эшелонами ежедневно».

Гитлеровские генералы не раз прибегали для оправдания своих неудачных действий к ссылкам то на зиму и морозы, то, как видим здесь, на дожди и плохие дороги. Они забывали, что советские войска отбивали их наступление при тех же морозах и дождях и пользуясь теми же самыми дорогами.

Но вот еще что пишет Манштейн о боях, проходивших именно в эти дни:

«В горах Яйлы действовал штаб румынского горного корпуса с подчиненной ему 4-й горной бригадой, так как здесь с самого начала развернулось сильное, хорошо подготовленное партизанское движение. Партизанские отряды получили большое пополнение за счет рассеянных в горах частей Приморской армии и постоянно угрожали нашим коммуникациям как на дороге на Феодосию, так и на севастопольском фронте южнее горной гряды».

Так что не дожди, не морозы и не выведенный из строя транспорт не позволяли гитлеровцам нормально снабжать войска, идущие к передовой. Очень существенный вклад в общую борьбу вносили партизаны.

Наступившее затишье позволило Петрову оглядеться, обдумать и взвесить общий ход войны и положение своей армии.

В Крыму стояла дождливая осень с неожиданными прорывами яркого крымского солнышка днем и холодными ветрами ночью. Белокаменный Севастополь даже в непогоду выглядел нарядно. Листва шуршала на деревьях и под ногами. 27 ноября выпал первый снег. Петров побывал в городе, постоял на Графской пристани.

Мы, естественно, не знаем, о чем думал генерал, стоя на Графской пристани, но, наверное, не будет ошибкой предположить, что он, читавший недавно в Ташкенте заочникам академии лекции по истории военного искусства, вспоминал о славных предках, об адмиралах Нахимове и Корнилове, поднимавшихся здесь когда-то от моря, сравнивал оборону тех дней с нынешней. Какие удивительные переклички возможны в истории! Более ста лет назад русская армия отходила от реки Альмы через горы, через Бахчисарай к Севастополю. По тем же дорогам шла сюда и Приморская армия. Приморцы тащили на веревках и лямках орудия и повозки, ящики с боеприпасами и продовольствием. А тогда дороги, наверное, были еще хуже. В 1854 году осада началась осенью — сначала 7, позднее 36 тысяч русских отбивались от 67 тысяч англичан и французов. И тогда не было подготовленной обороны с суши, войска все строили своими руками. Тогда,

как и сейчас, были созданы три полосы обороны и передовая позиция. Сочетание огня, траншей и блиндажей было началом позиционной обороны, здесь ее применили впервые. Вот и Петров, наверное, думал об опыте первых севастопольцев и о том, как использовать его в новых условиях. Узнав о дне первого штурма, Корнилов, чтобы ослабить натиск врага, применил огневой контрудар всей своей наземной и корабельной артиллерией. Он нанес врагу такие потери, что тот не смог перейти в атаку в назначенный час. А почему бы и теперь не воспользоваться этим примером? Адмирал Корнилов погиб в день того штурма. А Нахимов отбил еще множество штурмов — 349 дней и ночей стояли насмерть севастопольцы. А сколько продержимся мы? Не то оружие, не те возможности у врага, одна авиация чего стоит! Но и мы не одни здесь, вся страна сражается, фронт — от моря и до моря. Дела наши вроде бы поправляются. Под Смоленском и Ельней нанесены сокрушительные удары. Ленинград держится. На юге наши отогнали врага за реку Миус и освободили Ростов.

Это наступление советских войск в непосредственной близости от сражающегося Севастополя, конечно же, очень воодушевило защитников города-героя.

В эти дни Гитлер был вынужден отдать первый приказ об отступлении своей «непобедимой» армии. За оставление Ростова он снял с должности командующего группой армий «Юг» фельдмаршала Рундштедта, назначил на его место фельдмаршала Рейхенау.

После провала первого наступления на Севастополь Манштейн стал готовиться к наступлению более фундаментально. Штаб 11-й армии разместился в Симферополе. А сам Манштейн с начальником штаба и группой офицеров-операторов расположился в поселке Сарабуз. Какое совпадение — в том самом Сарабузе, где Петров совсем недавно советовался с командирами, куда идти, в Керчь или в Севастополь! Манштейн жил в здании правления колхоза, и, как он пишет, «на этой скромной квартире мы оставались до августа 1942 года, лишь дважды, в июне 1942 года, когда наш штаб находился под Севастополем, отлучаясь на КП на керченском участке».

Как видим, Манштейн относился к тому типу командующих, которые не очень подвижны при управлении своими войсками. Много ночей и дней провел Манштейн в этой квартире над картами, отыскивая способ, как же взять Севастополь — единственную оставшуюся в Крыму опору советских войск. Гитлер неоднократно и торопил и упрекал Манштейна за медлительность, он хотел как можно скорее избавиться от этого севастопольского клина, который мешал беспрепятственному продвижению гитлеровских войск на Кавказ.

Документы позволяют нам сегодня знать гораздо больше, чем было известно Петрову. Чтобы читатель яснее представлял себе общую картину разгорающегося сражения, познакомим его с соображениями самого Манштейна о замысле наступления и о направлении главного удара:

«Для того чтобы сломить сопротивление крепости (Севастополя.— *В. К.*), необходимо было в качестве предварительного условия по возможности скорее поставить под свой контроль порт — бухту Северную. Пока крепость имела морские коммуникации, при нынешнем положении дел противник по технической обеспеченности, а быть может, и по численности постоянно сохранял бы превосходство над нами. Поэтому главный удар должен был наноситься с севера или северо-востока в направлении бухты Северной, следовательно, совсем не так, как наносили удар союзники в Крымской войне, когда они имели господство на море. Для нас важен был не город, а порт. Только на севере наша армия могла использовать свою мощную артиллерию для поддержки наступления.

Исходя из этих соображений, командование армии приняло решение наносить

главный удар с севера или северо-востока. На юге решено было вести вспомогательное наступление, главным образом с целью сковывания и отвлечения сил противника.

На севере должен был наступать 54 ак, которому для этой цели были подчинены четыре дивизии (22 пд, 132 пд, 50 пд и только что подтянутая 24 пд), а также бо́льшая часть тяжелой артиллерии.

Сковывающий удар на юге должен был наносить 30 ак, имевший для этого в своем распоряжении, кроме 72 пд, также переброшенную от Керчи 170 пд и румынскую горную бригаду. Со стороны Керчи была подтянута также 73 пд, которая должна была составить резерв войск, наступавших с севера».

На Керченском полуострове из немецких частей остались лишь штаб 42-го корпуса и 46-я пехотная дивизия.

Наступление Манштейн назначил на 27 или 28 ноября.

Генерал Петров, зам командующего СОРа по инженерной обороне генерал А. Ф. Хренов и начинж Приморской армии полковник Г. П. Кедринский проделали огромную работу по укреплению и ремонту дотов, дзотов в секторах обороны, развитию траншейной системы. Совершенствовались и укреплялись тыловые рубежи обороны на случай прорыва противника.

О том, что представляла собой оборона, ее размах и очертания, мне кажется, лучше расскажет Аркадий Федорович Хренов своим точным инженерным языком — я попросил его об этом в одной из наших бесед:

— За десяток дней, прошедших после прекращения немецкого наступления, жизнь в городе изменилась необычайно. Поражала непривычная тишина — вражеская авиация снялась с крымских аэродромов и направилась под Ростов и Таганрог, где войска нашего Южного фронта предприняли успешное контрнаступление. Воздушные налеты на Севастополь прекратились. Конечно, тишина была относительной — артобстрелы продолжались. Но к их периодичности уже приспособились и почти не замечали их. Бригады МПВО успели разобрать завалы, образовавшиеся на месте разрушенных бомбами домов. В восьми школах, переведенных в подземные помещения, начались прерванные занятия. На улице Карла Маркса начал ходить трамвай. Конфигурацию передового рубежа определял установившийся после боев передний край обороны протяженностью сорок четыре километра. Здесь и раньше не было сплошной линии укреплений, а теперь, с потерей двух узлов сопротивления, строительство приходилось вести, по существу, заново. Главный рубеж за немногими исключениями сохранил свое прежнее начертание. Длина его составляла, как и раньше, около тридцати пяти километров, а глубину предстояло довести до четырех — шести километров. Ему-то согласно плану и уделялось основное внимание. На этом рубеже намечалось создать сорок два батальонных района обороны. Костяками таких районов должны были стать доты и дзоты, находящиеся во взаимной огневой связи. Промежутки между ними заполнялись стрелковыми, пулеметными, минометными и артиллерийскими окопами. Все эти сооружения связывались в единую огневую систему ходами сообщения. По переднему краю и в глубине предполагалось устроить противотанковые и противопехотные заграждения. Создавался и тыловой рубеж глубиной от двух до четырех километров с двумя отсечными позициями. Время затишья было использовано для интенсивной работы. Если к первому октября по всему фронту было построено сто тридцать дотов, то к середине декабря их уже было двести семьдесят. Число окопов за это время возросло до трех с лишком тысяч, протяженность проволочных заграждений — до девяноста километров. Было установлено большое количество противотанковых и противопехотных мин и фугасов. И все же для создания прочной и надежной обороны всего этого было мало. Глядя прав-

де в глаза, надо признать, что при нынешних средствах борьбы не может быть абсолютно неприступной обороны. Противник способен сосредоточить такое количество сил на узком участке и нанести такой удар, перед которым не устоит ни одна твердыня. Другое дело, решится ли он на неизбежные огромные потери или надолго оставит нас заблокированными у себя в тылу. В любом случае,— заключил Аркадий Федорович,— понесет ли враг потери или мы прикуем к Севастополю его крупные силы — это наш выигрыш. Значит, надо готовиться к длительной, упорной борьбе. У нас, кроме обороны, альтернативы нет; самим нам, без помощи извне, Манштейна не одолеть. Но если мы продержимся до наступления наших войск на материке или же в Крыму, то Севастополь еще скажет свое веское слово!..

Штаб Приморской армии занимался перегруппировкой и пополнением войск из маршевых батальонов, которые стали прибывать на кораблях с Кавказа. Из частей первого сектора генерал Петров сформировал стрелковую дивизию, назначив ее командиром полковника П. Г. Новикова. Кроме частей первого сектора, в эту дивизию вошли части 2-й кавалерийской дивизии, сводный полк пограничных войск НКВД, которым командовал Е. А. Рубцов, 383-й стрелковый полк под командованием подполковника П. Д. Ерофеева, 1330-й стрелковый полк и 51-й артиллерийский полк, командиром которого был майор А. П. Бабушкин.

За время боев у Перекопа, при отходе к Севастополю, при отражении первого наступления гитлеровцев Приморская армия потеряла около тысячи командиров, не считая сержантов. Быстрой замены их с Большой земли ожидать, конечно, не приходилось. Петров, пользуясь наступившей передышкой, находит возможность пополнить комсостав здесь, на месте. Создаются краткосрочные курсы строевых командиров, на них зачисляются отличившиеся в боях сержанты. Учеба длится десять дней, после чего курсанты получают звание младших лейтенантов и назначение командирами взводов. Сержантам, которые командовали взводами в бою и проявили при этом уменье и мужество, командарм присваивал звание младших лейтенантов без окончания курсов. На должности политработников было выдвинуто около двухсот активных, отличившихся коммунистов. Для подготовки младших командиров создаются школы сержантов в дивизиях.

Армейская разведка и крымские партизаны доносили командованию Приморской армии о происходящей перегруппировке противника, о возможной подготовке его к наступлению. О том, что генерал Петров и его штаб своевременно разгадали замысел противника, свидетельствует доклад Петрова, сделанный 26 ноября на совещании Военного совета, где он сказал, что противник готовится к наступлению. В связи с этим он отдал директиву своей Приморской армии, в которой, кстати, говорилось: «Переход противника в наступление возможен во второй половине дня 26.11.41 года».

Как видим, Петров определил даже начало наступления, которое было назначено Манштейном на 27 ноября.

Но ни 27, ни 28 ноября Манштейн не смог перейти в наступление. Причинами, помешавшими осуществить это наступление, Манштейн, как уже сказано, считал русскую зиму, плохие дороги, плохую работу транспорта и т. д. и т. п. Только к 17 декабря он смог завершить подготовку наступления. Вот его запись:

«Итак, с опозданием на три недели, опозданием, которое, как оказалось, решило исход этой операции, 54-й армейский корпус на северном участке и 30-й армейский корпус на юге были наконец готовы к наступлению».

Нет, совсем не те причины, о которых говорит Манштейн, вынудили его отказаться от наступления. Вернее, не только они. 26 ноября, в день, который генерал Петров определил как возможное начало

наступления противника, защитники Севастополя нанесли по скоплению немецких войск удары артиллерией и авиацией. Не раз в этот день вспомнил Петров добрым словом Корнилова, опыт которого он использовал! В артиллерийской контрподготовке участвовала вся артиллерия Севастополя, включая и батареи береговой обороны. Вели огонь также и боевые корабли, находившиеся в это время в севастопольском порту. Нанесла бомбовый удар и вся авиация, имевшаяся в распоряжении защитников Севастополя. Все это, конечно же, причинило немалый урон войскам противника и, как в далекие годы первой севастопольской обороны, не дало ему возможности ринуться вперед. Это была своеобразная историческая перекличка двух героических поколений.

5 декабря 1941 года советские войска перешли в контрнаступление под Москвой. За короткое время они опрокинули группу армий «Центр», нанесли ей огромные потери и отогнали от столицы.

Разгром гитлеровцев под Москвой переполнял радостью все сердца. Может быть, в те дни Петров еще полностью не осознал, что в этом сражении произошел крах «молниеносной войны», но то, что наступает перелом, это он видел и понимал отчетливо. Хотелось найти возможность поддержать это наступление на севере, но таких сил, которыми можно было ударить по врагу, у него не было.

— Удержим Севастополь, приковав к себе мощную Одиннадцатую армию, это тоже большая помощь — может быть, сил этой армии как раз и не хватило под Ростовом или Москвой! — говорил Петров, охваченный волнением.

Немецкое командование все свои неудачи сваливало на русскую зиму. В директиве от 8 декабря 1941 года Гитлер писал:

«Преждевременное наступление холодной зимы на Восточном фронте и возникшие в связи с этим затруднения в подвозе снабжения вынуждают немедленно прекратить все крупные наступательные операции и перейти к обороне... Главными силами войск на востоке по возможности скорей перейти к обороне на участках, определяемых главнокомандующим сухопутными войсками, а затем, выводя с фронта в тыл в первую очередь танковые и моторизованные дивизии, начать пополнение всех соединений... Как можно быстрее захватить Севастополь (решение относительно дальнейшего использования основных сил 11-й армии за исключением частей, необходимых для береговой обороны, будет принято по окончании там боевых действий)».

В одном из своих выступлений Иван Ефимович сказал, как бы обращаясь к гитлеровскому командованию по поводу криков по радио и в газетах о морозах, плохих дорогах, больших пространствах:

— Разве, господа, вы раньше этого не знали? Неведомо вам было, что в России стоит холодная зима? Это любому немецкому школьнику известно! Просторы велики? Так что же, у вас карт не было? Дорог мало? Но мы передвигаемся по тем же дорогам, и морозы, и снега, и дожди нас не минуют. Вот и получается: ищете вы объективные причины, чтобы спрятать за них свои неудачи. Хотите оправдать лихие расчеты, составленные по картам, но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Нет, господа, главный ваш просчет в том, что мы оказались не те, какими вы нас представляли!

Новый штурм. Декабрь 1941 года

17 декабря утром, когда еще не рассеялся полумрак ночи, на все секторы севастопольской обороны обрушился шквал артиллерийских снарядов. Одновременно гитлеровская авиация бомбила боевые позиции наших войск, город и порт.

Зазвонили, зазуммерили телефоны, информация о начале артподготовки поступила из всех секторов. Иван Ефимович всегда стремился

на передний край, в самое трудное место. Куда выехать сейчас? Вражеская артиллерия готовит атаку по всему фронту. Знать бы, где нанесет противник главный удар, туда бы и выехал и резерв подтянул бы. Но где он, этот главный удар?

Что было известно Петрову перед началом наступления о противнике? Готовится. Подтягивает свежие части. Пополнил боеприпасы. 15 декабря ночью из третьего сектора доложили по телефону о том, что у противника слышны шум, движение, идет какое-то перемещение. В тот день в шесть часов утра Петров, как это было заведено у него, поднялся, умылся, наскоро позавтракал и пришел в общую комнату командного пункта, куда уже собрались офицеры, которых по его просьбе вызвал Крылов. Здесь были начальник разведки майор Потапов, командующий артиллерией Рыжи, начальник оперотдела Ковтун.

Полковник Крылов, дежуривший ночью, доложил коротко обстановку.

— Немцы готовят какую-то пакость,— сказал Петров.— Наверное, ночью они уплотняли боевые порядки. Надо быть начеку, особенно на левом фланге.— Спросил Потапова: — Сколько может быть у немцев дивизий с учетом вновь прибывших?

— От девяти до одиннадцати. Я сверил эти данные у разведчиков флота.

Петров позвонил контр-адмиралу Жукову, сообщил о поведении противника и свой вывод о готовящемся наступлении. Адмирал спросил: «Ну и что будет дальше?» Петров спокойно ответил: «Надеюсь, все будет в порядке, мы выдержим».

Командарм приказал всем частям усилить наблюдение и быть в готовности к отражению атаки противника.

И вот началось...

После двадцатипятиминутной артиллерийско-авиационной подготовки пехота и танки противника ринулись в атаку. Севастопольцы их встретили огнем. На фоне снега танки были хорошо видны, и артиллеристы сразу же подбили несколько машин врага. Но в настойчивом движении противника ощущалась непреклонная решимость.

Постепенно в ходе боев прояснилась обстановка. Комендант первого сектора генерал-майор Новиков доложил о том, что противник ворвался на высоту 212,1, но пограничники Рубцова вернули эти позиции. К вечеру первый сектор продолжал удерживать свои рубежи полностью.

Во втором секторе гитлеровцам тоже при первой атаке удалось овладеть несколькими высотами, однако дивизия под командованием Ласкина уверенно отражала дальнейшее продвижение врага.

В третьем секторе дело дошло до рукопашной. 287-й полк 25-й Чапаевской дивизии и 2-й Перекопский морской полк под натиском превосходящих сил отступили к Камышловскому оврагу.

Очень тяжелые бои шли в четвертом секторе. После неоднократных контратак, понеся большие потери, 8-я бригада морской пехоты Вильшанского была выбита с высоты Азиз-Оба.

Петров усилил четвертый сектор своим резервом — 40-й кавалерийской дивизией полковника Ф. Ф. Кудюрова и 773-м полком. Командарм приказал контратаковать и вернуть высоту Азиз-Оба. Батареи береговой обороны и полевой артиллерии начали артиллерийскую подготовку, однако гитлеровцы, упредив наши части, сами пошли в наступление. Начался кровопролитный встречный бой, в котором малочисленная, но стойкая кавдивизия Кудюрова стала теснить врага. Однако 773-й полк вышел несвоевременно, не включился в контратаку войск сектора, попал под сильный артогонь и под натиском пехоты и танков противника стал отходить. В результате этого отхода попал в окружение 241-й полк.

На командном пункте Петрова отовсюду по телефонам и радио слышались доклады, донесения, просьбы из секторов и запросы вышестоящих инстанций.

Командарму сообщали по телефонам и по радио:

— Семьсот семьдесят третий полк продолжает отходить. Комендант четвертого сектора Воробьев, чтобы закрыть прорыв, направил туда Сто сорок девятый кавполк и несколько тыловых подразделений.

— Все наши контратаки в третьем секторе не имели успеха, несмотря на переданный туда резерв командарма.

— Восьмая бригада морской пехоты потеряла тысячу семьсот человек, из пяти батальонов в ней осталось два, и то неполных.

Вечером с наступлением темноты атаки противника прекратились. Командарм приказал офицерам штаба армии выяснить на местах точное положение частей, помочь в восстановлении их боеспособности, пополнить боеприпасами, вывезти раненых, накормить бойцов, организовать ночью отдых и подготовить войска к отражению новых атак утром.

Сам Петров выехал к контр-адмиралу Жукову, исполняющему обязанности командующего Севастопольским оборонительным районом. Жуков уже доложил в Ставку о новом решительном наступлении врага на Севастополь и попросил у адмирала Октябрьского (который находился на Кавказе) крейсер для огневой поддержки, так как в Севастополе было лишь несколько тральщиков и катеров. Жуков вместе с Петровым решили формировать резервные батальоны и роты из тыловых подразделений морской базы, а в Приморской армии — из выздоравливающих раненых. Связались с городскими партийными организациями и попросили у них помощь людьми.

В течение следующего дня, 18 декабря, не удалось восстановить положение в третьем и четвертом секторах.

Крылов доложил:

— Наши потери убитыми и ранеными за два дня три тысячи пятьсот человек.

Петров сказал:

— Продолжать контратаки ради восстановления прежнего положения пока не можем, не имеем права. Контратаковать будем только в случаях прорыва обороны и силы надо беречь для этого. Главное сейчас — закрепиться на нынешних рубежах. Подготовьте такой приказ частям.

После начальника штаба Петров говорил с начальником артиллерии армии полковником Рыжи. Командарм приказал:

— Чтобы ослабить натиск врага и помочь нашим войскам, организуйте и проведите артиллерийский контрудар, попытайтесь сорвать утром атаки врага или ослабить их насколько это возможно.

— Сделаю все возможное, товарищ командующий,— ответил Рыжи,— но прошу вас еще раз ускорить подвоз боеприпасов с Большой земли. То, что Ставка приказала нам завезти, так и не доставлено. Полевая артиллерия частей скоро останется без снарядов, а минометы — без мин.

— Мы с Жуковым еще раз запрашивали, Октябрьский ответил: загружается транспорт «Чапаев», прибудет к нам двадцатого декабря. Вслед за ним выйдет «Абхазия». Но адмирал предупредил нас — это весь боезапас, находившийся в Новороссийске.

— В артполку Богданова осталось триста восемнадцать снарядов. К минометам прямо от станков возим мины, которые изготовляют в городе. Их делают около тысячи в день — для таких боев это же слезы!

Начался третий день наступления.

8-я бригада, окончательно ослабленная боями, не удержала рубеж, гитлеровцы захватили Аранчи. Образовался разрыв на стыке бригады с дивизией Кудюрова.

Резервов у командарма не было. Снимать части из других секторов нельзя, всюду идут бои. Оставалось одно — отвести на севере части четвертого сектора на заранее подготовленные в их тылу позиции.

Из второго сектора сообщили — ранен командир 7-й морской бригады Е. И. Жидилов, убит начальник штаба А. К. Кернер, бригадой командует ее комиссар Н. Е. Ехлаков.

— Не нужно туда никого назначать,— сказал Петров.— Ехлаков справится.

Только разобрались с этим, новое сообщение:

— Убит, а может быть, тяжело ранен начальник штаба артиллерии Васильев.

Однако вскоре уточнили: он, оказывается, упал в обморок от нервного истощения — не спал все трое суток штурма.

К концу третьего дня противнику удалось вклиниться в стык между третьим и четвертым секторами у станции Мекензиевы Горы. Здесь прорвалось до батальона пехоты противника. Ни у командиров дивизий, ни у командарма резервов уже не было. Остановить этих вклинившихся фашистов было нечем. Нужен был хотя бы один батальон.

Петров позвонил контр-адмиралу Жукову и просил Гавриила Васильевича хоть чем-нибудь помочь. Контр-адмирал обещал срочно найти людей, и действительно вскоре они прибыли. Только командира батальона он просил назначить распоряжением самого Петрова.

Быстро припомнив, кто еще из боевых командиров жив и может быть назначен на эту должность, Петров остановился на кандидатуре майора-пограничника Шейкина. В свое время Шейкин формировал пограничный полк, а затем передал его Рубцову. Сейчас Шейкин был заместителем Рубцова. Майор Шейкин был уже немолод, служил в армии с 1919 года. В Красную Армию пришел с Путиловского завода. Во время боев в Одессе проявил себя мужественным, настойчивым и находчивым командиром.

Получив вызов по телефону, Шейкин прибыл из-под Балаклавы очень быстро. И в этом уже чувствовалось, что он сам понимает и ответственность момента и то, что дорога каждая минута. Несмотря на долгие тяжелые бои, он был подтянут, на нем еще была форма пограничника с зелеными петлицами, в руках автомат, на груди бинокль, на боку полевая сумка.

Генерал Петров рассказал майору Шейкину о стоящей перед ним задаче:

— Вы назначаетесь командиром батальона моряков, который только что сформирован и перебрасывается на машинах в район кордона Мекензия номер один. Туда доставят сейчас и вас. Представитель штаба сектора встретит вас у кордона Мекензия и уточнит задачу и обстановку. Запомните одно: немцы, прорвавшиеся в наши тылы, должны быть уничтожены.

Шейкин не задал ни одного вопроса. Он понимал, что на месте все детали будут уточнены, а сейчас надо действовать немедленно. Командарм и начальник штаба Крылов пожали майору руку, и тот побежал к ожидавшей его машине.

Плохо было то, что большинство краснофлотцев, собранных в батальон, до этой поры друг друга не знали. И уж совсем плохо, что они никогда не воевали на суше. А бой предстоял с опытным и сильным противником.

Комбат Шейкин, комиссар батальона старший политрук Шмидт и начальник штаба старший лейтенант Алексеев тоже встретились впервые. Шейкин очень жалел, что у него нет хотя бы одного дня на тактические занятия.

Батальон состоял из 500 краснофлотцев, их разбили на три роты, комбат, комиссар и начальник штаба распределили, кому с какой ротой идти в бой.

Начальник артиллерии сектора организовал огневую поддержку. Не теряя ни минуты, батальон пошел в атаку.

Бой был тяжелым. Приданные три танкетки оказались бесполезными: они застряли в чащобе на пнях.

Рота, которую вел начальник штаба батальона, полегла почти целиком, погиб и старший лейтенант Алексеев. Не раз сам майор Шейкин возглавлял атаки, ложился к пулемету. Краснофлотцы били фашистов гранатами и штыками, пускали в дело только что захваченные немецкие автоматы.

Результаты действий моряков превзошли все ожидания. Ударный отряд гитлеровцев, прокладывавших путь своей дивизии, был разгромлен. Там, где прошел сводный батальон моряков, остались несколько сот убитых немецких солдат и офицеров, все их оружие.

Батальон Шейкина выполнил свою задачу до конца. Войдя в азарт, моряки вырвались даже за линию фронта, существовавшую до начала штурма, побывали в немецких окопах, а затем вернулись в свои. С этого рубежа уже никто не отошел ни на шаг. Этот рубеж держали до следующего штурма Севастополя, до июня 1942 года.

Героический батальон существовал всего около двух суток, затем он влился в состав полков Чапаевской дивизии, краснофлотцы пополнили поредевшие роты. А сам Касьян Савельевич Шейкин стал начальником штаба 54-го Разинского полка. Это пример и героизма защитников Севастополя и находчивости генерала Петрова, который быстро нашел энергичного командира и ликвидировал опаснейший прорыв в обороне.

Однажды, возвратившись в полночь от Жукова, Иван Ефимович сказал Крылову:

— Мне кажется, находясь на Кавказе, Октябрьский не понимает всей серьезности нашего положения. Жуков показал мне его телеграмму, в которой сказано, что боевые корабли сюда присланы не будут, так как это грозит срывом какой-то очень ответственной задачи. Или они там что-то готовят, или я отказываюсь его понимать.

Контр-адмирал Жуков в эту же ночь отправил телеграмму:

«Сталину, Кузнецову, Октябрьскому, Рогову.

Противник, сосредоточив крупные силы, часть свежих войск, при поддержке танков, авиации в течение трех дней ведет ожесточенные атаки с целью овладения Севастополем. Не считаясь с огромными потерями живой силы, материальной части, противник непрерывно вводит свежие силы в бой. Наши войска, отбивая атаки, упорно отстаивают оборонительные рубежи... Большие потери материальной части, оружия, пулеметов, минометов... Войска отошли на второй рубеж. Резервы и пополнение не получены. Снарядов 107-мм корп. артиллерии, 122-мм гаубиц, 82-мм минометных нет. Остальной боезапас на исходе. На 20 декабря с целью усиления частей, действующих на фронте, вводится личный состав кораблей, береговых и зенитных батарей, аэродромной службы и т. д.

Дальнейшее продолжение атак противника в том же темпе — гарнизон Севастополя продержится не более трех дней.

Крайне необходима поддержка одной стрелковой дивизией, авиацией, пополнение маршевых рот, срочная доставка боезапаса нужных калибров.

Жуков, Кулаков».

Ставка немедленно ответила директивой в адрес командующих Закавказским фронтом и Черноморским флотом:

«1. Подчинить СОР Закавказскому фронту.

2. Октябрьскому немедленно выбыть в Севастополь.

3. Командующему Закавказским фронтом немедленно направить в Севастополь крепкого общевойскового командира для руководства сухопутными операциями.

4. Перебросить в Севастополь одну стрелковую дивизию или две стрелковые бригады.

5. Выделить авиацию для нанесения ударов.

6. Немедленно направить 3000 человек маршевого пополнения и боезапасы».

Содержание третьего пункта директивы показывает, что готовивший эту директиву был плохо информирован или даже кем-то дезинформирован в отношении руководства боями сухопутных войск. Читатель, знающий ход событий, тоже несомненно будет удивлен, прочитав этот третий пункт. Кстати, это указание обернется для Петрова незаслуженными неприятностями.

Генерал Петров, которого осведомили, видимо, лишь об идущей помощи, посоветовавшись с членом Военного совета Кузнецовым, решил для поддержания стойкости войск сообщить им об этом.

«Командирам дивизий, бригад и полков.

Принять к сведению: решением Ставки ВГК гарнизону Севастополя направлена крупная поддержка свежими войсками — пехотой, авиацией. Помимо этого, направлено много пополнения, боеприпасов. Первые эшелоны ожидаются в течение 24 часов. Задача войск — ни шагу назад, до последней возможности защищать свои рубежи, дабы обеспечить возможность развертывания прибывающих частей. Это сообщение довести до командиров и военкомов батальонов, вселить в войска уверенность и стойкость. Всем политработникам и политорганам во главе с комиссарами дивизий, полков направиться в полки, батальоны, роты с задачей укрепить стойкость бойцов и командиров. Особо на это обращаю внимание III сектора.

Петров, Кузнецов, Моргунов, Крылов».

21 декабря рассвет был пасмурный, на море лежал туман. Выполняя директиву Ставки, этим утром к Севастополю подходили боевые корабли. Должны были быть доставлены 79-я курсантская (морская) стрелковая бригада, 10 маршевых рот, боеприпасы. На крейсере «Красный Кавказ» под флагом командующего Черноморским флотом шел вице-адмирал Ф. С. Октябрьский. Петров ходил у причала в ожидании прибывающего вице-адмирала и особенно бригады, которая должна была стать его резервом. У генерала был план — немедленно ввести в бой эту бригаду, дорога была каждая минута, на передовой положение было почти критическим.

Несмотря на благоприятную для маскировки погоду, отряд кораблей все же был обнаружен на подходе к Севастополю и стал прорываться в Северную бухту уже под обстрелом артиллерии противника. Петров с волнением смотрел на поразительную картину: шли один за другим корабли, а вокруг них вскидывались белые фонтаны воды. Там, на этих кораблях, была последняя надежда Петрова, резерв, силами которого он хотел укрепить оборону, и вот этот резерв и все надежды, возлагаемые на него, могут сейчас на глазах пойти на дно! И самое обидное, что, видя все это, Петров не мог ничем помочь! Единственное, что можно было сделать, это подавить батареи врага своей артиллерией. И Петров слал гонцов к телефонам:

— Огня! Больше огня артиллерии!

Обеспечивая прорыв кораблей, открыла огонь и береговая и армейская артиллерия. Вылетела на помощь и немногочисленная авиация. Она стала штурмовать огневые позиции батарей противника. Благодаря совместным усилиям артиллерии и авиации боевые корабли вошли в Северную бухту и быстро там ошвартовались.

В эти минуты шли кровопролитные бои в районе станции Мекензиевы Горы. Раненые не уходили с позиций, не на кого было их оставлять. Бойцы буквально стояли насмерть. Понимая, что дорога каждая минута, генерал Петров, как только на причале Северной бухты с крейсера «Красный Крым» высадилась 79-я бригада, поставил боевую зада-

чу полковнику Потапову, приказав ему немедленно выдвигаться в район Мекензиевых Гор и кордона Мекензия № 1 и быть готовым контратаковать противника в направлении Камышлы.

Воспоминания. Год 1977

Летом 1977 года я встретился в Севастополе с вице-адмиралом Александром Илларионовичем Зубковым, который в 1941 году командовал крейсером «Красный Крым». На его крейсере прибыли в Севастополь основные силы 79-й морской бригады.

Небольшого роста, коренастый, с глазами цвета морской воды, вице-адмирал говорил мягким спокойным голосом. В его очень правильной речи чувствовалась начитанность, своеобразная военная интеллигентность, отличающая кадровых моряков. Был он человеком обаятельным, и матросы, наверное, его очень любили. Мы о многом говорили с вице-адмиралом Зубковым, выходили на берег моря и к причалам, где швартовался крейсер. Вот что рассказал мне Александр Илларионович о тех очень ответственных часах в обороне Севастополя:

— Мы готовились к десантной операции, намечалась высадка десанта в Керчи и Феодосии. Этим были заняты уже много дней. И вдруг поступил приказ: выйти на помощь Севастополю и перевезти туда Семьдесят девятую бригаду. Двадцатого декабря около семнадцати часов крейсеры «Красный Кавказ», «Красный Крым», лидер «Харьков», эскадренные миноносцы «Бодрый» и «Незаможник» под флагом командующего флотом вышли из Новороссийска в Севастополь. Вся палуба моего крейсера и все помещения были заняты бойцами Семьдесят девятой морской стрелковой бригады. Когда наши корабли вышли на траверз Керченского пролива, начался шторм до шести-семи баллов. Море заволокло туманом. Пришлось сбавить ход, и вместо раннего утра двадцать первого декабря, когда мы рассчитывали ошвартоваться в Севастополе, мы подошли к нему только к одиннадцати часам. Тут как раз начал рассеиваться туман и стал виден берег. Соответственно и нас тоже стало хорошо видно с берега. Артиллерия противника открыла огонь, налетели вражеские бомбардировщики. От всплесков воды, которые поднимали бомбы и снаряды, некоторое время даже не были видны корабли, идущие рядом. Самолеты врага сбрасывали бомбы и одновременно обстреливали корабли из крупнокалиберных пулеметов, а у меня вся палуба забита бойцами морской бригады! Наши зенитчики приложили все усилия, чтобы отбить налет бомбардировщиков, и это им удалось. Очень смело прикрывали наши корабли и немногочисленные самолеты, которые базировались здесь, в Севастополе. Наше приближение к бухте Северной осложнялось еще и тем, что вокруг в море были мины и мы двигались по фарватеру в минном заграждении. Не было никакой возможности для маневра. Поэтому мы решили использовать только единственное оставшееся в нашем распоряжении — скорость. Несмотря на опасность быстрого движения по узкому фарватеру, мы на полной скорости, на какой корабли никогда в бухту не входят, ворвались в Северную бухту и быстро под бомбежкой и обстрелом противника стали швартоваться. И не просто ошвартовались, а тут же включились в огневую поддержку защитников города. Нам сообщили, что идут очень напряженные бои на подступах к Севастополю, и поэтому мой крейсер, да и другие корабли сразу же открыли огонь по тем целям, которые нам были указаны. У причала нервно прохаживался худощавый генерал в пенсне. Это и был Петров. К генералу подошли командир прибывшей морской бригады полковник Потапов и комиссар Слесарев. Пока бригада быстро разгружалась, Петров ввел Потапова в курс дел.

Я спросил Зубкова:

— Александр Илларионович, для меня, человека сухопутного, не

совсем ясно: почему же так удачно, без потерь вы проникли в Севастопольскую бухту?

— Как потом нам сказал адмирал Октябрьский, он, принимая решение об этом маневре, надеялся, что все командиры кораблей — опытные моряки и справятся с такой сложной задачей. И, как видите, он не ошибся.

Сейчас в центре Севастополя воздвигнут величественный мемориал. Здесь увековечены номера воинских частей и названия кораблей, защищавших город. Когда мы подошли к этому мемориалу, Александр Илларионович с гордостью показал на одну из строк и сказал:

— Вот, как видите, записан и подвиг экипажа крейсера «Красный Крым». Наш крейсер участвовал в пятидесяти восьми боевых операциях, защищал Одессу, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Феодосию. За смелость и героизм крейсер «Красный Крым» и его экипаж приказом народного комиссара Военно-Морского Флота от восемнадцатого июня тысяча девятьсот сорок второго года удостоены гвардейского звания. Но теперь уже нет нашего корабля-ветерана. В память о прославленном крейсере его имя передано большому противолодочному кораблю Черноморского флота, на котором был торжественно поднят гвардейский флаг. С тех пор он называется «Красный Крым». Конечно, я дружу и с командованием и с экипажем этого нового корабля. И не только я — многие члены экипажа старого крейсера бывают в гостях у нынешних моряков «Красного Крыма». Мы поддерживаем и передаем наши боевые традиции новому поколению моряков.

Вместе с вице-адмиралом Зубковым я побывал в гостях у экипажа нового гвардейского корабля. С нами пришли и многие офицеры старого экипажа крейсера. Нам повезло: мы были в дни, когда экипаж пополнялся матросами нового призыва. Когда мы поднялись по трапу на борт, командир «Красного Крыма», высокий, баскетбольного сложения капитан 3-го ранга, подал команду и подошел к адмиралу с рапортом:

— Товарищ вице-адмирал! Экипаж гвардейского большого противолодочного корабля «Красный Крым» по большому сбору по случаю приема молодого пополнения гвардейцев построен. Командир корабля капитан третьего ранга Еремин.

Адмирал повернулся к строю матросов, поглядел на них уже не строгим командирским, как бывало прежде, а добрым отеческим взглядом и поздоровался.

— Здравия желаем, товарищ адмирал! — дружно ответили ему моряки.

После короткого разговора с адмиралом командир корабля подал команду:

— К принятию гвардейской клятвы приступить!

Один из моряков встал перед строем. Зазвучали торжественные слова гвардейской присяги:

— Мы, сыны советского народа, сегодня вступая в ряды славной гвардии, клянемся постоянно совершенствовать боевое мастерство, крепить воинскую дисциплину, ежедневно готовить себя к подвигу, свято продолжать боевые традиции моряков-гвардейцев крейсера «Красный Крым»...

А напротив строя молодых моряков стояли те самые ветераны, чьи боевые традиции клялись продолжать молодые моряки.

После клятвы ветераны подходили к матросам и вручали им гвардейские ленточки. Моряки надевали их на свои бескозырки. Черно-желтые ленты развевались по ветру и словно оттеняли этими цветами боя молодые лица моряков. Они делали призывников отныне причастными к делам славным, боевым, гвардейским. Лица у пожилых и у молодых моряков были просветленные, растроганные.

Я тоже был взволнован и понимал состояние моряков. Да, принять присягу, дать гвардейскую клятву — это бывает раз в жизни и запоминается навсегда. Тем более что гвардейскую ленточку вручает участник боевых операций, за которые этому кораблю дано столь высокое отличие!

В каюте командира я беседовал с двумя командирами «Красного Крыма» — прежним и нынешним. Спросил Зубкова:

— Сколько вам было лет, Александр Илларионович, когда вы командовали «Красным Крымом»?

— Тридцать восемь,— ответил Зубков.

— А вам? — обратился я к Еремину.

— Мне поменьше — тридцать четыре,— ответил он.

Оказалось, что они оканчивали одно и то же морское училище имени Фрунзе, в разные годы, конечно. Но Василий Петрович добавил:

— На днях я должен сдать командование кораблем и отбыть на учебу в Военно-морскую академию.

— Скажите, пожалуйста, Василий Петрович, как помогает вам дружба с ветеранами? Влияет ли она на службу, на дела экипажа?

— Естественно. Все матросы хорошо знают о героических подвигах корабля. Мы гордимся этими подвигами, стараемся высоко нести гвардейскую честь, прежде всего оправдать ее делами. Я доволен экипажем. Мы уже не первый год имеем звание отличного корабля, являемся одним из лучших кораблей нашего соединения. Награждены переходящим Красным знаменем. О своих успехах мы докладывали Леониду Ильичу Брежневу. Он является почетным членом нашего экипажа. В сентябре тысяча девятьсот семьдесят четвертого года он посетил наш корабль, сказал о том, что моряки никогда не подводили, даже в самые тяжелые минуты испытаний.

А на палубе тем временем ветераны и молодые разошлись группами и беседовали между собой. Я подошел к одной из групп и тоже включился в разговор. Спросил капитан-лейтенанта Кошмана:

— Петр Антонович, кем вы были на старом «Красном Крыме»?

— Я был командиром отделения сигнальщиков.

— А кто сейчас сигнальщик? — спросил я матросов.

Вперед выступил веселый, немного веснушчатый моряк и доложил:

— Гвардии старшина второй статьи Андрющенко, командир отделения сигнальщиков.

— А вы какого класса специалист?

— Я специалист первого класса.

— А вы кем были? — обратился я к капитану 1-го ранга Егору Прокофьевичу Михальченко.

Он ответил:

— Командиром батареи главного калибра.

— А сейчас я командую главным калибром,— весело сказал гвардии старший лейтенант и представился:— Моя фамилия Ивлошкин. Только главный калибр у нас теперь другой. Раньше были пушки, а теперь ракеты.

Интересным был рассказ Бориса Владимировича Философова:

— Я был командиром зенитной батареи, прослужил на «Красном Крыме» всю войну. А сейчас председатель совета ветеранов корабля «Красный Крым», поэтому часто бываю здесь — и в праздники, и когда они из боевых походов возвращаются, и когда готовятся к выходу. У меня с «Красным Крымом» есть еще и особенная связь. Сейчас здесь, на новом корабле, служит мой сын Юра. Он старший помощник командира.

Юрий в этот день был на вахте, занят неотложными делами, но иногда все же подходил к нам. Тепло поглядывал на отца и его боевых товарищей.

Когда мы сошли на берег, бывший командир сигнальщиков «Красного Крыма» повернулся к борту и что-то просигналил.

Я спросил Александра Илларионовича:

— Что он передал?

Адмирал ответил:

— Так держать!

С борта ответил флажками нынешний командир отделения сигнальщиков. И я опять поинтересовался: что же он отвечает? Адмирал расшифровал мне морскую азбуку:

— Спа-си-бо ве-те-ра-нам!

Хорошая это была встреча. И хоть я не моряк, но хотелось мне на прощание пожелать всем по-моряцки: «Так держать!»

Штурм продолжается

А теперь вернемся в тот день и час, когда крейсер «Красный Крым» под командованием Зубкова прорвался в Севастополь и шла его разгрузка...

Командир 79-й стрелковой бригады полковник Алексей Степанович Потапов был знаком генералу Петрову еще по Одессе. Там он, будучи в звании майора, тоже возглавлял первый присланный из Севастополя на помощь одесситам отряд моряков-добровольцев. Потапов был горячий, смелый и очень решительный командир. Однажды там, под Одессой, он на свой риск провел настоящий рейд в тыл противника. Поскольку на этот рейд он не получил предварительного разрешения, ему тогда досталось. Но в то же время его наградили — за причиненные противнику потери. В той вылазке Потапов был ранен в руку и эвакуирован. Теперь у него левая рука плохо двигалась, и, взглянув на нее, Петров сразу вспомнил о той вылазке в Одессе.

Комиссар бригады полковой комиссар Иван Андреевич Слесарев тоже участвовал в боях под Одессой, в сентябре, когда наносился контрудар; он был комиссаром морского полка, высадившегося у Григорьевки.

На причале, пока шла разгрузка бригады, генерал Петров рассказал Потапову, что сейчас происходит на передовой, и определил задачу: в течение ночи сосредоточиться в районе кордона Мекензия № 1 и быть готовыми к атаке. Под командный пункт для 79-й бригады был определен домик дорожного мастера в километре южнее кордона Мекензия № 1. Пока бригада разгружалась и перевозилась, командующий армией побывал с Потаповым в этом домике. Здесь генерал Петров вместе с Потаповым еще раз детально уточнил обстановку и приказал ему к 8.00 22 декабря быть в полной готовности к атаке.

Положение на фронте в этот момент было крайне напряженным. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт: всего за полтора часа до разговора с Потаповым генералу Петрову по телефону сообщили из штаба третьего сектора:

— Полковник Кудюров убит. Танки противника у нашего КП. Больше говорить не могу, ликвидируйте мои позывные...

Там произошло следующее. Танки противника прорвались между двумя нашими кавалерийскими полками. В одном из них оставалось около восьмидесяти бойцов, в другом — не больше ста человек. Танки подошли к командному пункту дивизии, и все, кто находился на КП, стали отбивать их. Здесь было несколько противотанковых пушек, которые вели огонь по танкам. Когда погибли расчеты этих пушек, полковник Кудюров сам встал к противотанковой пушке и был убит разрывом вражеского снаряда. Оставшиеся в живых бойцы все

же пока сдерживали врага. Командующий перебросил на помощь сюда разведывательный батальон 95-й дивизии и саперный батальон. Положение на некоторое время было стабилизировано. В командование дивизией вступил начальник ее штаба И. С. Стройло.

В 2 часа ночи 22 декабря Петров закончил организацию предстоящей утром контратаки. Ввиду того, что в прежних контратаках не участвовало сразу столько сил, эту называли контрударом. 79-й бригаде предстояло разгромить противника, вклинившегося в районе Камышловского оврага. Справа от этой бригады должен был наступать 287-й полк Чапаевской дивизий, а слева — два полка 388-й дивизии. Поскольку 388-я дивизия в предыдущих боях показала себя не с лучшей стороны и все еще не была должным образом сколочена, генерал Петров послал туда работников штаба армии и политотдела, чтобы мобилизовать людей на эту атаку. 388-я дивизия тоже понесла потери, но все-таки она насчитывала не меньше бойцов, чем вся свежая 79-я бригада.

На рассвете 22 декабря после короткой артиллерийской подготовки, в которой участвовали артиллерия сектора и корабли, 79-я бригада и ее соседи справа и слева пошли вперед. И вдруг в это же время перешли в наступление и противостоявшие им части противника. Произошел встречный бой. Но 79-я бригада оказалась очень хорошо сплоченной. Она опрокинула противника и упорно продвигалась вперед вдоль шоссе на Бельбек. Не отставал наступавший справа 287-й полк Чапаевской дивизии. К вечеру потаповская бригада вышла к высотам перед Камышловским оврагом, и линия фронта на этом участке почти полностью была восстановлена. Был выручен из окружения полк, которым командовал капитан Дьякончук.

Огорчало Петрова и опять-таки усложняло обстановку только положение слева в секторе, которым командовал генерал Воробьев. Два полка 388-й дивизии не выполнили свою задачу. И генерал Воробьев даже не мог пока точно доложить, где они находятся. Командующий Приморской армией немедленно выехал в этот сектор.

На месте генерал Петров выяснил, что противник продвигается в направлении Любимовки. А Любимовка уже находилась у моря! И это, следовательно, угрожало окружением войск, оборонявшихся за Бельбеком. Для контратаки, для того, чтобы отрезать клин противника, необходимых сил у командарма не было. Он приказал генералу Воробьеву отвести левофланговые части к Бельбеку, чтобы они не остались в окружении. Сокращающийся по протяженности фронт давал возможность командиру четвертого сектора Воробьеву стабилизировать и прочно удерживать более узкий участок.

Кроме того, командующий приказал вступить в командование 388-й дивизией комбригу С. Ф. Монахову. После многих неудачных действий этой дивизии и в связи с тем, что положение здесь не улучшалось, командарм вынужден был прибегнуть к этой крайней мере. Таким образом, из-за ослабления этого фланга участок фронта, совсем недавно бывший самым отдаленным от города, теперь становился одним из самых близко расположенных если не к городу, то к бухте Северной. Выход противника на этот рубеж уже позволял ему прицельно обстреливать и город и бухту.

После контрудара 79-й бригады и сокращения фронта четвертого сектора положение обороняющихся войск несколько стабилизировалось. Во всех секторах наступление гитлеровцев успешно отражалось. А на левом фланге третьего сектора бригада Потапова даже продолжала развивать свой успех и захватила несколько высот у Камышловского оврага. Ее надежно поддерживал правый сосед, 287-й стрелковый полк чапаевцев под командованием подполковника Н. В. Захарова. Захаров воспользовался тем, что противник связан боем с потаповцами, и тоже нанес удар во фланг, продвинулся вперед

и захватил вражеские позиции. За этими успешными действиями наблюдал генерал Петров и с радостью и с сожалением. С радостью, потому что были правильно рассчитаны все действия, которые удалось осуществить в этом контрударе. С сожалением, потому что командарм чувствовал: можно было бы развить успех, нарастить его, продолжить наступление, но в его распоряжении не было для этого никаких резервов.

А как расценивал ситуацию командующий противоположной стороны Манштейн? Вот что он пишет:

«Нет возможности подробно излагать здесь ход наступления... Основную тяжесть боя несла храбрая 22-я Нижнесаксонская пехотная дивизия во главе с ее отличнейшим командиром генерал-лейтенантом Вольфом; от нее же зависел успех. Она очистила от противника полосу обеспечения между реками Кача и Бельбек, вместе с наступавшей южнее 132-й пехотной дивизией штурмовала высоты на южном берегу долины реки Бельбек и прорвалась уже в зону укреплений южнее долины. Но клин наступления становился все уже, так как 50-я пехотная дивизия и 24-я пехотная дивизия, наступавшие с востока в направлении на бухту Северную, не продвинулись сколько-нибудь заметно в поросшей почти непроходимым кустарником гористой местности. В боях за упорно обороняемые противником долговременные сооружения войска несли большие потери. Начавшиеся сильные холода потребовали крайнего напряжения их сил... Если бы мы имели свежие войска, прорыв к бухте Северной удался бы. Но их не было...»

Вот так — опять виноваты холода, опять не хватает сил! Даже в этой короткой цитате упоминаются четыре полностью укомплектованные перед наступлением пехотные дивизии. И вот эти четыре дивизии, сосредоточенные на узком участке и ударившие в стык между четвертым и третьим секторами, оказались не в состоянии прорвать оборону, которую держали части неполного состава, измученные в предыдущих боях. Таким образом, шел уже седьмой день штурма, а Севастополь не только не был взят (Манштейн приказывал это сделать на четвертый день), но наступающие части еще не прорвали, по сути дела, фронта обороняющихся ни на одном участке. Это, конечно же, был провал штурма.

23 и 24 декабря на кораблях прибыла в Севастополь 345-я стрелковая дивизия под командованием подполковника Н. О. Гузя. Генерал Петров в это время находился в войсках у генерала Воробьева. Положение в четвертом секторе по-прежнему внушало ему самые большие опасения. Командарм приказал командиру 345-й дивизии, пока разгружаются его части, прибыть на рекогносцировку. Сориентировавшись в обстановке, подполковник Гузь тут же возвратился в штольни в районе Инкермана, где расположился штаб его дивизии. Положение на фронте было очень серьезным. Ожидать полного сосредоточения всех частей не было времени. Поэтому по мере их прибытия Гузь ставил им задачу — занять оборону в промежутке между 79-й бригадой и четвертым сектором.

И вот в момент, когда чаши весов колебались и готовы были склониться в ту или другую сторону, если одному из командующих сражающимися армиями удастся бросить на них весомую поддержку, в эти напряженнейшие минуты в расположении наших войск происходит поистине абсурдный поворот. Лично для Петрова возникла в высшей степени стрессовая ситуация, которую нельзя обойти молчанием. Лучше всего об этом расскажет очевидец. Первым, кто столкнулся в штабе армии с этой неожиданностью, был майор Ковтун, в те дни начальник оперотдела штаба армии. Вот как он вспоминает об этом:

«Я был на своей вахте (привыкаю к морскому языку), то есть дежурил с двух часов ночи. Сидел над картой и отрабатывал ее — пересчитывал количество оставшихся батальонов, орудий, танков, авиации и писал на карте данные.

Часов около шести утра в помещение вошел генерал-лейтенант. Спрашивает, кто я. В свою очередь называет себя:

— Назначен командармом. Фамилия — Черняк. Генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.

Я был, конечно, удивлен. Он спросил, где Петров. Узнав, что отдыхает, но скоро встанет, не велел будить.

— Что это вы делаете? — подошел он к карте. Внимательно посмотрев мою работу, спросил: — Академию кончали?

— Нет.

— Сразу видно. Кто же теперь так делает соотношение сил? Надо сопоставлять количество дивизий, а не батальонов. Вы работаете, как при Кутузове.

Молчу.

Он еще раз прочитал таблицу.

— У вас столько дивизий, а вы не можете удержать рубеж обороны! Нет наступательного порыва. Но я вас расшевелю!

Его замечание меня удивило. Я сказал:

— Нельзя же наши дивизии равнять с немецкими — там полные полки трехбатальонного состава, а у нас половина полков двухбатальонного состава, да и батальоны неполные, иногда воюют и отдельные подразделения...

Он оборвал меня. Приказал приготовить доклад о состоянии армий.

Все же я разбудил Петрова. Он вышел и представился Черняку. Я ушел в отдел.

Вскоре меня вызвал Петров. Он был удручен — вероятно, также и тем, что был оставлен заместителем Черняка. Мы тоже были расстроены: не видя ошибок в его действиях, не могли понять — за что же его понизили?

Петров приказал готовить приказ о вступлении Черняка в командование армией. Сел в машину и уехал в войска, сказав, что будет у Воробьева.

Вскоре пришел к нам в отдел и Крылов. Черняк из его кабинета связывался с командирами дивизий.

После обеда Черняк дал распоряжение готовить приказ о наступлении. Как же так? Не успел приехать, не был в войсках, не знает, что делается на фронте,— и вдруг наступать...

«Ну, хорошо,— думаю,— пойдет наступать. А чем? Ведь мы с трудом сдерживаем атакующего противника... Где возьмем силы? А какие будут потери... Не пахнет ли здесь авантюрой?»

Поделился мыслями с начальником штаба артиллерии Васильевым, с Костенко. Они были такого же мнения.

Вечером Черняк бегло просмотрел представленные мной материалы и занялся с Крыловым приказом на наступление. Потом предупредил, что с утра поедет на Мекензиевы Горы — там он намечал полосу для наступления,— и ушел.

После его ухода приехал Петров. Выслушав, что произошло в его отсутствие, покачал головой и смолчал. Потом ушел с Крыловым в свой каземат. О чем они там говорили — не знаю».

Крылов в своих воспоминаниях тоже не пишет, о чем с ним говорил тогда Петров, надо полагать, Иван Ефимович едва ли жаловался на судьбу, наверное, он больше заботился об армии, о людях и давал советы начальнику штаба. Об этом эпизоде Крылов говорит в достаточно общих чертах:

«Все это было как снег на голову.

Держался Черняк корректно по отношению к Петрову да и ко всем нам уважительно. Петров, проявив огромную выдержку, ничем не выдавал своих переживаний. Не раз потом доводилось мне видеть военачальников, внезапно узнававших о своем смещении, но мало кто был в состоянии встретить это так, как тогда Иван Ефимович.

Над развернутой картой начался деловой разговор о состоянии фронта. Затем новый и старый командующий отправились вместе в войска.

Выдержка генерала Петрова послужила всем на КП примером. Взбудораженные новостью работники штарма занялись своими делами. Но общее недоумение, понятно, не рассеивалось. Ни я, ни комиссар штаба Глотов не могли этому помочь. Приходившие

к нам товарищи не скрывали чувства горечи. Люди, близко соприкасавшиеся с Иваном Ефимовичем Петровым, глубоко уважали и любили его.

О генерале Черняке известно было мало. Кто-то из служивших у нас участников войны с белофиннами рассказал, что он командовал дивизией, отличившейся при прорыве линии Маннергейма, за что был удостоен звания Героя Советского Союза...»

Неожиданным было назначение нового командующего, неожиданным было и его решение о наступлении, чем он буквально ошеломил новых подчиненных. В наступлении должны были участвовать вновь прибывшие 345-я дивизия, бригада Потапова, бригада Вильшанского, полк Дьякончука. Конечно же, подобное решение не было проявлением какого-то самодурства или же безграмотности со стороны нового командующего. Несомненно, он был ориентирован на наступление еще в Тбилиси, в штабе Закавказского фронта, где не слишком реально представляли себе обстановку в Севастополе.

Узнав о решении нового командарма, Петров, официально назначенный его заместителем, не стал комментировать это решение. Но он, конечно же, думал о бедах, которые, несомненно, подстерегают обороняющиеся части. Да и сама судьба Севастополя повисла на волоске.

Что должен переживать человек, с которым обошлись не только несправедливо, но и оскорбительно? Не было никаких оснований для отстранения Петрова от должности. Он показал свои способности еще в боях за Одессу. Он наладил оборону Севастополя еще до того, как к нему прорвалась Приморская армия, когда его защищали только разрозненные отряды моряков и батальоны местного формирования. Он организовал отражение первого штурма Севастополя. К 21 декабря под руководством Петрова фактически был сорван новый, хорошо подготовленный немецкий штурм. Да, не просто обида, а самое настоящее оскорбление заключалось в таком несправедливом отношении вышестоящего командования. Но Петров прежде всего защищал Родину. Он отстаивал Севастополь, много уже сделал для этого и не мог, конечно, из-за чувства обиды опустить руки, отстраниться от дел и принести тем самым вред войскам, замечательным людям—защитникам Одессы и Севастополя, с которыми ему уже так много пришлось пережить. Петров продолжал руководить боями.

В эти дни проявились благородство и принципиальность старших морских начальников, с которыми Петров отстаивал Одессу и Севастополь. Трудно и не всегда гладко складывались его отношения и с Октябрьским и с Жуковым, но в беде эти люди оказались не только честными, но и смелыми. Нелегко и непросто возражать Ставке и командованию фронта после подписанного ими приказа! И все же контр-адмирал Жуков неоднократно связывался с Октябрьским, просил защитить Петрова, а вице-адмирал Октябрьский и член Военного совета Н. М. Кулаков, рискуя вызвать большое неудовольствие своим поведением, послали такую телеграмму:

«Экстренно. Москва. Товарищу Сталину.

По неизвестным нам причинам и без нашего мнения командующий Закавказским фронтом, лично совершенно не зная командующего Приморской армией генерала Петрова И. Е., снял его с должности.

Генерал Петров толковый, преданный командир, ни в чем не повинен, чтобы его снимать. Наоборот, Военный совет флота, работая с генералом Петровым под Одессой и сейчас под Севастополем, убедился в его высоких боевых качествах и просит Вас, тов. Сталин, присвоить генералу Петрову И. Е. звание генерал-лейтенанта, чего он безусловно заслуживает, и оставить его в должности командующего Приморской армией. Ждем Ваших решений».

25 декабря был получен ответ:

«Севастополь. Октябрьскому.

Петрова оставить командующим Приморской армией. Черняк назначается Вашим помощником по сухопутным частям.

Основание: Указание нач. Генерального штаба Красной Армии Шапошникова. Краснодар. 25 XII. Козлов, Шаманин».

26 декабря С. И. Черняк объявил приказ о своем вступлении в должность помощника командующего Черноморским флотом по сухопутным частям, а генерал Петров издал приказ о вступлении в командование Приморской армией.

Вот какие драматические ситуации случаются в жизни полководцев, причем создаются они не противником, а своими начальниками, от которых не ожидаешь такого удара. Видно, в каждом деле есть свои бюрократия и верхоглядство, проявлялись они, к сожалению, и в делах военных, в чем мы убедимся еще не раз и на примере дальнейшей судьбы Петрова.

А тяжелые бои на севастопольских рубежах между тем продолжались.

Не проявив амбиции, не показав оскорбленности, Петров продолжал руководить войсками. Судьба города, жизнь приморцев, победа над гитлеровцами были для генерала превыше личных обид.

Начальник разведки доложил командующему, что Манштейн назначил новый срок взятия Севастополя — 28 декабря.

— Хочет сделать новогодний подарок Гитлеру,— сказал майор Потапов.

— Мы ему устроим свой подарочек! — саркастически улыбнулся Петров.

27 декабря в бой в районе станции Мекензиевы Горы были введены уже все полки дивизии Гузя. Иван Ефимович теперь ближе познакомился с новым комдивом. Николай Олимпиевич рассказал, что он старый русский солдат, еще в годы первой мировой войны был награжден двумя Георгиями.

Петров на местности определил участок каждому полку, а Гузю сказал:

— Этого ни в каком уставе нет, но на ближайшее время примите к исполнению такую схему: от командира роты до бойцов в передовом окопе — сорок метров, от командира полка — четыреста, ну а от вас максимум восемьсот — девятьсот. Иначе в такой обстановке и на такой местности управлять дивизией не сможете.

После рекогносцировки Петров уехал к Воробьеву.

Теперь направление главного удара противника определилось окончательно: четвертый сектор. Как мы знаем, Иван Ефимович предполагал такое еще до начала наступления, он говорил об этом Крылову 15 декабря. Но беспокоили его здесь не только главные усилия противника.

Находясь почти постоянно эти дни на командном пункте Воробьева, командарм окончательно убедился, что командир сектора не справляется со своими обязанностями, он более склонен к штабной работе, в динамике боя у него нет должной решительности. В разговоре с Крыловым Петров еще раз проверил свое мнение и, посоветовавшись с ним, решил усилить командование четвертого сектора. Произошло перемещение одного из генералов, и, поскольку это касается оценки его действий, считаю лучше дать ее не от себя, а словами его непосредственного начальника — Крылова:

«Военный совет армии пришел к выводу, что нельзя более медлить с заменой коменданта четвертого сектора. Последние дни подтвердили: на этом посту нужен сейчас командир более инициативный и волевой, с живой организаторской стрункой, способный лучше обеспечивать выполнение собственных приказов... Было решено вверить 95-ю стрелковую дивизию и четвертый сектор обороны полковнику А. Г. Капитохину, командиру 161-го полка... Василий Фролович Воробьев отзывался в распоряжение штаба армии».

Кстати, в эту же ночь появился в Приморской армии еще один генерал. После обычного ночного совещания, подводящего итоги боевого дня, Петров улыбнулся и с явным удовольствием объявил:

— Как нам только что сообщили, постановлением Совета Народных Комиссаров от двадцать седьмого декабря полковнику Крылову Николаю Ивановичу присвоено звание генерал-майора.— Петров первым поздравил и обнял своего начальника штаба.

Назначив новый срок взятия Севастополя, Манштейн стремился тем самым загладить свои прежние неудачные попытки овладеть городом. Кроме того, на фоне краха наступления на Москву удача здесь, на юге, подняла бы престиж командующего. В общем, на карту было поставлено все, и Манштейн ни перед чем не останавливался ради достижения цели. Он гнал в бой истекающие кровью дивизии, стремясь во что бы то ни стало выйти к бухте Северной.

26 декабря началась высадка нашего десанта на Керченском полуострове. В Севастополе об этом пока не знали. Более ста мелких судов Азовской флотилии, которой командовал контр-адмирал М. Г. Горшков, в штормовую погоду высадили десант, который благодаря смелости личного состава закрепился в районе мысов Зюк, Хрони и Тархан. Другой десант был высажен на северо-западном берегу Керченского пролива в районах Камыш-Бурун и Эльтиген. Шторм задержал дальнейшую высадку и переброску войск. Непогода была настолько сильной, что вице-адмирал Октябрьский обратился в Военный совет Закавказского фронта с просьбой отложить десант на два-три дня. Однако, поскольку операция уже началась, командующий Закавказским фронтом генерал Козлов ответил Октябрьскому, что обстановка требует начать операцию в срок, поставленный в радиограмме, и что Военный совет настаивает на проведении операции с привлечением всех сил и средств флота, включая линкор.

В ночь на 29 декабря группа кораблей под командованием капитана 1-го ранга И. Е. Басистого, несмотря на сильный шторм, подошла к Феодосии и открыла артиллерийский огонь по порту из орудий всех калибров. Этот артиллерийский огонь был полной неожиданностью для гитлеровцев, продолжавших праздновать рождество.

После сильного артналета десантные подразделения стали высаживаться прямо на причалы порта и немедленно бросались в бой. Вскоре бои перекинулись на улицы Феодосии. Высадка проходила под сильным ответным артиллерийским огнем противника. На крейсере «Красный Кавказ» вражеский снаряд пробил башню и разорвался в боевом отделении. Загорелись боеприпасы, оставалось несколько минут до взрыва. Благодаря самоотверженности и храбрости краснофлотца В. М. Покутного, комендора П. Пушкарева и электрика П. Пилипенко был предотвращен взрыв огромной силы и гибель корабля.

Крейсер «Красный Крым» при высадке получил 11 прямых попаданий снарядов, понес потери в личном составе, но все же выполнил задачу по высадке десанта. Удачные действия моряков и десантников были отмечены приказом Верховного Главнокомандующего, который поздравил их с победой над врагом, захватом крепости Керчь и города Феодосии и началом освобождения советского Крыма от гитлеровских захватчиков.

Вполне понятно, что высадка десанта у Керчи и Феодосии весьма озадачила Манштейна. Вот его слова:

«Это была смертельная опасность для армии в момент, когда все ее силы, за исключением одной немецкой дивизии и двух румынских бригад, вели бой за Севастополь».

Для Петрова последние дни 1941 года принесли большое огорчение — был ранен начальник штаба армии Крылов, которого Иван Ефи-

мович очень уважал и ценил. Это случилось 29 декабря. Крылов поехал к станции Мекензиевы Горы, где было напряженное положение. Противник вел сильный артиллерийский огонь и мог предпринять активные действия. И вот стемнело, а Крылов все еще не возвращался. Петров уже не раз спрашивал, где Крылов. Работники штаба звонили на командные пункты, но Крылова не находили.

Последнее место, где он был,— 79-я бригада. Оттуда уехал, но в штаб не прибыл. Тут уже забеспокоились: не случилось ли с ним что-нибудь. И вот неожиданно он сам позвонил начальнику оперативного отдела Ковтуну с квартиры. Кроме каземата в бункере, была у него еще и комнатка в штабе, в обычном доме. Вот из этой комнатки он позвонил и попросил прийти. Ковтун к нему пошел. А Петров на КП, не зная, куда ушел Ковтун, нервничал, подозревая уже, что с Крыловым что-то случилось. Когда Ковтун вернулся, генерал строго стал ему выговаривать:

— Где вы пропадаете? Ни вас, ни Крылова. Узнали, где Крылов?

Ковтун замялся. Петров увидел на его гимнастерке следы крови.

— Откуда на вас кровь?

И, понимая, что произошло неладное, уже строго спросил:

— Что вы от меня скрываете? Где Крылов? Что он, убит или ранен?

Узнав, что Крылов ранен, Петров немедленно пошел в комнатку Крылова. Вместе с начальником медслужбы Соколовским Иван Ефимович сопровождал Крылова в госпиталь и был там, пока делали операцию. Еще дорогой Крылов рассказал Петрову, что с ним случилось.

Он вел наблюдение за противником и, как все из штаба Петрова, работал в его стиле: хотел выбраться поближе. В это время начался минометный налет, и Крылов почувствовал удар в спину. Понял, что ранен, и все-таки сам выбрался из-под кустарников, дошел до своей машины и поехал в штаб. А чтобы никого не тревожить, не велел говорить, что ранен.

Операцию Крылову делал армейский хирург профессор Кофман. Осколок мины был величиной с половину спичечной коробки. Он пробил лопатку и вошел в глубь грудной клетки и едва не дошел до сердца. Медики удивлялись той физической и моральной силе, которую проявил Крылов: получив тяжелое ранение, он самостоятельно передвигался, добрался до машины и потом до квартиры.

Вернувшись из госпиталя, генерал вызвал Ковтуна и сказал ему:

— Теперь основная тяжесть ложится на вас. Надеюсь, что справитесь. А как дальше быть, подумаем. Мне бы очень не хотелось, чтобы Крылова эвакуировали из Севастополя. Тогда он для нас окончательно потерян, вернется не скоро, да и вообще — к нам ли вернется? Некоторые врачи побаиваются ответственности за жизнь начальника штаба и, конечно же, стремятся отправить его подальше. Но сам Крылов просил меня и врачей, чтобы его не эвакуировали. Он не хочет от нас уезжать. Ну, ладно. Надеюсь, что все у него обойдется благополучно. Пока под всеми приказами ставьте подпись Крылова.

Бои за Севастополь, казалось, достигли апогея. Невидимая струна, или волосок, на котором держалась оборона, натянулась до последнего предела. В течение 30 декабря на станцию Мекензиевы Горы неоднократно врывались гитлеровцы, и столько же раз их выбивали наши части. Рукопашные бои разгорались здесь один за другим. К вечеру фашистам все же удалось овладеть станцией. В эту ночь от адмирала Октябрьского пришло сообщение:

«Войска Закавказского фронта и корабли Черноморского флота захватили города Керчь и Феодосию. Операции продолжаются... Наши части выходят в тыл противнику, осаждающему Севастополь».

Вот она, радость! Вот десантные операции, о подготовке которых слышали давно. Ради них терпели нехватки в боеприпасах, пополнении — знали, все идет туда, для наращивания сил этих десантов. Наконец-то свершилось!

Получив такое известие, можно было возликовать и расслабиться. Известно немало случаев, когда преждевременное торжество оборачивалось бедой. Но генерал Петров был достаточно опытным военачальником, чтобы допустить такой промах. Он отлично понимал состояние Манштейна, просто видел, как тот мечется на своем командном пункте от сознания, что его радужные планы о новогоднем подарке фюреру, о славе на фоне неудач под Москвой рушатся на глазах. Высадившиеся десанты, для борьбы с которыми Манштейн может снять только части из-под Севастополя,— это для него катастрофа. Спасти его может только взятие Севастополя или хотя бы Северной бухты, из-за которой можно будет артиллерией сровнять город с землей. Понимая все это, Петров не позволил ни себе, ни подчиненным расслабиться ни на минуту. И он не ошибся! Лучшее тому доказательство — позднейшие слова самого Манштейна:

«Было совершенно ясно, что необходимо срочно перебросить силы из-под Севастополя на угрожаемые участки. Всякое промедление было пагубно. Но можно ли было отказаться от наступления на Севастополь в такой момент, когда казалось, что достаточно только последнего усилия, чтобы, по крайней мере, добиться контроля над бухтой Северной?»

И Манштейн идет на этот крайний риск, вот что он пишет:

«...командование армии приняло решение, даже после высадки десанта у Феодосии, все же идти на увеличивавшийся с каждым часом риск отсрочки в высвобождении войск из-под Севастополя... По согласованию с командиром 54-го армейского корпуса и командирами дивизий должна была быть предпринята еще одна последняя попытка прорыва к бухте Северной».

Это был штурм отчаяния. На карту было поставлено все. И генерал Петров предвидел возможность такого отчаяния.

Как прозорлив оказался генерал Петров! Каким он был тонким психологом! Как точно разгадал все возможные ходы и даже самый отчаянный поступок противостоящего гитлеровского командующего! Но разгадать мало. Чем противодействовать этому последнему удару? И вот, не имея ничего, Петров все же находит средства для борьбы. Он мобилизует все внутренние резервы защитников города, используя для этого силу своего приказа и даже силу своего авторитета, любви к себе, о которой, конечно же, знал Петров! Больше ничего в распоряжении командарма уже не было.

Генерал Петров назначил экстренное совещание руководящего состава частей и соединений не в своем штабе, а на передовом командном пункте, прямо в боевых порядках.

Командиры понимали — именно чрезвычайные обстоятельства вынуждают собирать их так срочно и в таком месте. Петров, прежде чем начать разговор, посмотрел каждому в лицо, как бы желая определить состояние и внутреннюю решимость подчиненных. Этот взгляд заставлял подобраться, насторожиться в ожидании какого-то необычного разговора.

Генерал заговорил негромко, но жестко:

— В четвертом секторе оставлены очень важные позиции, которые еще больше приблизили врага к ключевой во всей обороне бухте Северной. У нас большие потери. Не хватает боеприпасов. Но войска дерутся геройски, стойкость их достойна восхищения! Гитлеровцы вот-вот выдохнутся, потери их огромны, однако противник сделает еще одну отчаянную попытку, я уверен в этом, слишком много было вложено средств до этого, и теперь ему надо оправдать свои потери во

что бы то ни стало. У нас силы на исходе. Но мы должны выстоять! Мы должны отстоять город! — Голос генерала стал еще жестче.— Это приказ Родины, народа, партии! Нам доверили оборону Севастополя, и судьба его — в нас с вами, в нашем мужестве и стойкости. Настал решающий момент в обороне Севастополя! Я как командующий армией приказываю — ни шагу назад! Дороги назад нет, позади море. Я прыгать в море не буду, да и вам не советую. Но если нас все же сбросят — крабов будем кормить вместе. Нам оказано великое доверие, о нас помнят, от нас ждут только победы! — Петров умолк, еще раз оглядел соратников, которые, слушая эту речь, еще больше подобрались, будто даже усталость прошла. Командарм на прощание очень добро сказал: — Ну, товарищи мои дорогие, от чистого сердца желаю боевой удачи!

Иван Ефимович приказал начальнику артиллерии полковнику Рыжи подготовить к утру все артиллерийские средства, все батареи стрелковых войск береговой обороны и кораблей.

На рассвете вся артиллерия открыла мощный огонь по противнику, находящемуся еще на исходном положении. Два часа не могли оправиться гитлеровцы от этого удара, но через два часа, в 10 часов, они перешли в наступление опять все на том же направлении — от станции Мекензиевы Горы к бухте Северной. Два часа продолжался тяжелый бой, переходивший часто в рукопашную, и все же атака была отбита. Собрав все части, противник опять бросился в атаку. И эта атака была отбита. К 16 часам противник, произведя перегруппировку и подтянув все возможные резервы, атаковал третий раз, уже с танками. Наши войска не только отбили эту атаку, но и сами переходили в контратаки, уничтожали противника в рукопашных схватках. Гитлеровцы не выдерживали штыковых атак советских воинов, отходили.

К исходу дня 79-я бригада улучшила свои позиции, продвинулась на левом фланге. 345-я дивизия полностью держала свои рубежи. Части 95-й дивизии и все, кто входил в четвертый сектор под командованием нового командира полковника А. Г. Капитохина, неоднократно переходили в контратаки и тоже удержали свои позиции.

Севастопольцы выстояли. И опять же лучшее тому свидетельство — признание врага:

«...попытка штурмом взять крепость Севастополь потерпела неудачу. За нами осталось преимущество более плотного окружения крепости... Мы также захватили удобные исходные позиции для последующего наступления... Но это было слабым утешением, если учитывать понесенные жертвы».

В этом признании неопровержимы только слова о понесенных жертвах, потому что, как только Манштейн стал перебрасывать части из-под Севастополя на борьбу с керченским десантом, генерал Петров тут же воспользовался ослаблением противника и за короткое время активными боевыми действиями восстановил многое из того, что было оставлено в недавних боях. Не стану детально описывать эти трудные контратаки истощенных частей, их успех во многом зависел от энтузиазма, от сознания одержанного верха над врагом. В результате этих боев «удобные исходные позиции для последующего наступления», которые якобы захватил Манштейн, остались лишь на бумаге, реальными же были лишь его огромные потери.

Вот она, еще одна яркая и убедительная победа и командарма и защитников Севастополя над превосходящими силами врага. Они не только удержали город, но, приковав к себе главные силы 11-й армии Манштейна, обеспечили успешную высадку десантов в Керчи и Феодосии, создали выгодные условия для наступления высадившимся частям. Очень дорогой новогодний подарок сделали севастопольцы Родине. В предновогодней передовой статье «Правды», которая передавалась и по радио, были такие слова о севастопольцах:

«Несокрушимой стеной стоит Севастополь, этот страж Советской Родины на Черном море... Беззаветная отвага его защитников, их железная решимость и стойкость явились той несокрушимой стеной, о которую разбились бесчисленные яростные вражеские атаки. Привет славным защитникам Севастополя! Родина знает ваши подвиги, Родина ценит их. Родина никогда их не забудет!»

Подготовка к новым боям

Приморская армия постоянно совершенствовала оборону, укрепляя ее в инженерном отношении руками все тех же несгибаемых в бою солдат и матросов. В каменистом грунте на тридцати шести километрах фронта было вырыто 350 километров траншей, составлявших три оборонительные позиции глубиной до двенадцати километров. До марта инженерными работами руководил генерал А. Ф. Хренов (в марте его перевели в Керчь).

Большую помощь в инженерном оборудовании обороны оказала Севастополю оперативная группа инженерных заграждений во главе с начальником штаба инженерных войск Красной Армии генералом И. П. Галицким, созданная Ставкой, когда враг был на подступах к Москве. Как только наши части, отстояв столицу, пошли в наступление, оперативная группа была направлена в Севастополь. В эшелон было погружено 20 тысяч противотанковых и 25 тысяч противопехотных мин, 200 тонн взрывчатки. В Новороссийске все это было переправлено на крейсер и рано утром 1 января как новогодний подарок прибыло в Сезастополь.

Вот что рассказывает о встрече с Петровым один из руководителей инженерной опергруппы, генерал-лейтенант инженерных войск Е. В. Леошеня:

«Почему-то Иван Ефимович Петров представлялся мне человеком суровым, жестким, излишне резким и очень немногословным. Все это казалось естественным — он много пережил, очень тяжелая задача легла на его плечи сейчас. Но такие представления мгновенно развеялись, когда на командном пункте Приморской армии навстречу нам вышел худощавый генерал в пенсне. Он приветствовал нас широким радушным жестом русского хлебосольного хозяина, встречающего старых добрых знакомых:

— Добро пожаловать! Поджидаю, давно поджидаю. Прошу ко мне в кабинет...

Мы сели у стола с картой, и Иван Ефимович, сразу обнаружив глубокое знание военно-инженерного искусства, заговорил о том, как представляется ему система противотанковых и противопехотных заграждений перед передним краем обороны, система, которая пока существовала лишь в зародыше...

По вызову командарма явился начальник инженерных войск Приморской армии полковник Гавриил Павлович Кедринский — подчеркнуто подтянутый, в ремнях и до блеска начищенных сапогах. Как мы убедились в дальнейшем, он был не только настоящим знатоком своего дела, но и человеком с творческой инициативой. Позже мне стало известно, что при оставлении Одессы Г. П. Кедринский лично заложил в гостинице мину замедленного действия, взрыв которой уничтожил группу фашистских офицеров.

Поручив начинжу ввести нас в курс дел по его части и распорядившись, как нас разместить, чтобы было удобно работать, И. Е. Петров попросил представить к вечеру хотя бы первоначальный план усиления обороны Севастополя взрывными заграждениями...

В назначенное время мы явились к командарму с готовым планом. Исходя из характера местности, мы выделили в плане направления, которые следовало прикрыть как противотанковыми, так и противопехотными минами...

Генерал Галицкий кратко доложил оценку местности и вытекавшее из нее инженерное решение. Он подчеркнул, что речь идет о плане-минимуме, который необходимо осуществить немедленно.

— Одновременно,— продолжал Иван Павлович,— мы будем разрабатывать более широкий план заграждений и инженерного оборудования позиций.

Командарм спросил, как обеспечен представленный план минами и когда можно приступить к работе. Мы ответили, что для выполнения этого плана привезенных из Москвы мин хватит и еще останется резерв. А приступать к минированию следует сегодня же ночью.

Кто-то из присутствующих высказал мнение, что производить минирование в третьем и четвертом секторах пока нецелесообразно. Сперва, мол, нужно восстановить там прежнее положение, отбить у немцев утраченные нами позиции.

Генерал Галицкий решительно возражал против такой точки зрения.

— С устройством заграждений в этих секторах,— говорил он,— медлить нельзя. Заграждения резко повысят устойчивость обороны. Если же отобьем прежнюю позицию, начнем минировать там. А нынешние позиции станут второй линией.

Выслушав все соображения, И. Е. Петров сказал:

— План одобряю и утверждаю. К минированию приступать без промедления.— И, обернувшись к Галицкому, спросил: — Ваши дальнейшие действия?

— С вашего разрешения,— ответил Иван Павлович, весьма удовлетворенный всем ходом этого совещания,— мы прямо отсюда отправимся на инструктаж дивизионных инженеров и командиров саперных батальонов, которые ожидают нас в деревне Кадыковка. Оттуда я с Кедринским поеду в третий и четвертый сектора, а полковник Леошеня с подполковником Грабарчуком — в первый и второй.

— Желаю успеха!— заключил командарм, пожимая нам руки.

...Иван Ефимович был собеседником приятным и интересным. А широта его инженерных познаний казалась просто удивительной для общевойскового командира. Он прекрасно знал и отечественную и немецкую инженерную технику, был весьма эрудирован в вопросах фортификации. Сперва я просто не мог себе представить, когда и как успел он все это изучить. Узнав, что я возглавляю кафедру военно-инженерного дела в Военной академии имени М. В. Фрунзе, Иван Ефимович рассказал, как, будучи начальником пехотного училища в Ташкенте, он по совместительству читал курс истории военного искусства в местном вечернем отделении нашей академии. В связи с этим ему приходилось усиленно заниматься самообразованием. Так и приобреталась та военная энциклопедичность, которая сначала была несколько неожиданной для нас в командующем Приморской армией...

Заграждения первой очереди были уже установлены, а работа над основным планом близилась к концу, когда мы понесли тяжелую потерю. 16 января Гавриил Павлович Кедринский — на этот раз один — отправился в расположение Чапаевской дивизии, и через два часа стало известно, что он смертельно ранен разрывом мины. Доставленный в госпиталь в Инкерманской долине (в оборудовании этого подземного госпиталя Гавриил Павлович принимал действенное участие), он вскоре скончался.

Полковник Кедринский был подлинным героем севастопольской обороны. Его похоронили на Малаховом кургане, у памятника адмиралу Корнилову, под гром нашей артиллерии, бившей по врагу. Отдать последний долг своему соратнику прибыл на Малахов курган командарм Петров».

Эта потеря была одной из многих в те дни. Однажды из 25-й Чапаевской дивизии вместе с боевыми донесениями сообщили: тяжело ранена пулеметчица Нина Онилова.

Первым об Ониловой написал московский журналист, корреспондент ТАСС А. Хамадан. Он познакомился с Петровым в дни боев за Одессу, где они по-настоящему подружились. Хамадан, будучи больным человеком, «белобилетником», не подлежащим призыву в армию, пользуясь корреспондентскими возможностями, приехал не только в огненную Одессу, но и в Севастополь. Он написал одну из первых книг о героических защитниках города под названием «Севастопольцы», она вышла в 1942 году с предисловием генерала Петрова.

Трагически сложилась судьба А. Хамадана. В последний день обороны ему по приказу Петрова был дан пропуск для посадки на самолет, но он уступил свое место одному из раненых. В занятом фашистами городе Хамадан попал в лагерь, вел там подпольную работу среди пленных, за что был казнен гитлеровцами в мае 1943 года.

О последних днях жизни Нины Ониловой я рассказываю по запис-

кам Хамадана, не ставлю эти строки в кавычки лишь потому, что они дополнены некоторыми деталями.

Узнав о ранении героической пулеметчицы, Петров позвонил в медсанбат, спросил:

— В каком состоянии Онилова?

— В очень тяжелом, отправили в госпиталь, может быть, там помогут, у них больше возможностей.

Петров позвонил в госпиталь. Профессор Кофман грустно ответил:

— Все возможное сделали. Больше ничем помочь не можем. Она продержится несколько часов.

Петров коротко бросил Крылову:

— Съезжу в госпиталь.

В подземной пещере тускло горят электрические лампочки, душно, пахнет лекарствами и сырым камнем.

Онилова лежит бледная, с закрытыми глазами, кажется мертвой. Петров вопросительно посмотрел на профессора. Тот тихо сказал:

— Она жива. Иногда открывает глаза. Очень слаба. Много крови потеряла.

Петров сел на табуретку у кровати, увидел на тумбочке стопку бумаг, стал их перебирать: вырезки из газет, письма, «Севастопольские рассказы» Толстого. Иван Ефимович стал читать пометки Ониловой на полях: «Как это верно», «И у меня было такое чувство». Особенно привлекла внимание запись: «Советский Севастополь — это героическая и прекрасная поэма Великой Отечественной войны. Когда говоришь о нем, не хватает ни слов, ни воздуха для дыхания. Сюда бы Льва Толстого. Только такие русские львы и могли бы все понять. Понять и обуздать, одолеть, осилить эту бездну бурных человеческих страстей, пламенную ярость, ледяную ненависть, мужество и героизм, доблесть под градом бомб и снарядов, доблесть в вихре пуль и неистовом лязге танков. Он придет, наш Лев Толстой, и трижды прославит тебя, любимый, незабываемый, вечный наш Севастополь».

Профессор Кофман взял с тумбочки и протянул командующему тетрадь:

— Не успела еще дописать, пишет актрисе из фильма «Чапаев».

Петров взял письмо, стал читать:

«Настоящей Анке-пулеметчице из Чапаевской дивизии, которую я видела в кинокартине «Чапаев». Я незнакома вам, товарищ, и вы меня извините за это письмо. Но с самого начала войны я хотела написать вам и познакомиться. Я знаю, что вы не та Анка, не настоящая чапаевская пулеметчица. Но вы играли, как настоящая, и я вам всегда завидовала. Я мечтала стать пулеметчицей и так же храбро сражаться. Когда случилась война, я была уже готова. Сдала на «отлично» пулеметное дело. Я попала — какое это было счастье для меня! — в Чапаевскую дивизию, ту самую, настоящую. Я со своим пулеметом защищала Одессу, а теперь защищаю Севастополь. С виду я очень слабая, маленькая, худая. Но я вам скажу правду: у меня ни разу не дрогнула рука. Первое время я еще боялась. А потом страх прошел... Когда защищаешь дорогую, родную землю и свою семью (у меня нет родной семьи, и поэтому весь народ — моя семья), тогда делаешься очень храброй и уже не понимаешь, что такое трусость. Я вам хочу подробно написать о своей жизни и о том, как вместе с чапаевцами борюсь против фашистских...»

Онилова открыла глаза. Сначала поглядела вверх на лампочку, потом медленно перевела взгляд на Петрова. Узнала, попыталась подняться. Иван Ефимович остановил ее, положил руку на плечо. Девушка улыбнулась, тихо, слабым голосом сказала:

— Как же это вы пришли? Спасибо вам. Я знаю, что я скоро умру. Но я счастлива — успела кое-что сделать.

Петров погладил Нину по голове.

— Ты славно воевала, дочка,— сказал он, стараясь преодолеть хрипоту, появившуюся в голосе.— Спасибо тебе от всей армии, от всего нашего народа. Ты хорошо, дочка, очень хорошо сражалась. Я помню, как ты била врагов еще в Одессе. Помнишь лесные посадки, высоту над Дальником?

Онилова закрыла и тут же открыла глаза, дав понять этим, что помнит.

— Помню, все помню, товарищ генерал,— прошептала она.

— Весь Севастополь знает тебя. Вся страна будет теперь знать. Спасибо тебе, дочка, от всех нас, твоих боевых товарищей.— Петров еще раз погладил Нину по голове, поцеловал в лоб, сказал, будто извиняясь: — Пойду, милая, дел неотложных много. Бьем мы фашистов. Бьем! А ты поправляйся.

Петров отвернулся, снял пенсне и стал протирать его платком...

В тот же вечер Нина Онилова скончалась, она похоронена вместе со своими боевыми друзьями в Севастополе. Петров, несмотря на занятость, был на ее похоронах.

Нине Ониловой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Тем временем севастопольцы готовились к решающему штурму противника.

Большое внимание Петров вместе со своим начальником артиллерии Рыжи уделял маневру огнем артиллерии — ее Петров считал главной ударной силой. В каждом из секторов приходилось по 14—15 стволов на километр фронта. Рыжи был большой знаток своего дела, он добился такой маневренности, что мог сосредоточить огонь орудий числом до трехсот там, где это потребуется. Вся артиллерия, вплоть до самой тяжелой, готовилась к ведению огня прямой наводкой по танкам. Создавался запас боеприпасов, которые по-прежнему привозили на подводных лодках. Делали самодельные мины, гранаты, бутылки с горючей смесью. Характерно, что именно в ожидании решающего штурма Николай Кирьякович Рыжи, ставший к тому времени генералом, вступил в партию.

В дни этого относительного затишья в Севастополь приехал сын Ивана Ефимовича.

Юра был моложе меня на два года, в 1942 году ему должно было исполниться восемнадцать — призывной возраст. Он ждал этот год с нетерпением. Все друзья старше его были уже на фронте, а он «по малолетству» все еще прозябал в тылу. В декабре 1941 года Петров получил от сына не письмо, а крик души. Он просился на фронт, оставалось совсем немного до нового года. Иван Ефимович понял его и разрешил приехать. Юра добирался через пустыню Каракум, Каспий, Кавказ, Черное море. И вот наконец он в Севастополе.

Рос он в военной среде и, конечно же, умел стрелять из боевого оружия и кое-что знал о службе. Но все же для первоначального обучения отец поручил его заботам своего ординарца Антона Емельяновича Кучеренко, проходящего вот уже через вторую войну. Антон Емельянович быстро нашел подход к непоседливому молодому человеку, чем-то так взял его в руки, что Юра уважал его и побаивался не меньше, чем отца. Когда Юра прошел этот своеобразный курс начального обучения, Иван Ефимович назначил его своим адъютантом и в работе не щадил, гонял с поручениями в штабы частей, чтоб набирался парень опыта, да чтоб и окружающие видели — никаких родственных поблажек. Юра на людях всегда к нему обращался официально — «товарищ генерал». В минуты отдыха шутливо жаловался молодым офицерам: «С вами он добрый, а меня жучит беспощадно, только успевай поворачиваться с поручениями».

Внезапный удар

Для того чтобы показать характер героя, в обычных романах писатель проводит его через ряд событий и трудностей, в преодолении которых раскрывается для читателей образ этого человека. Главные трудности на войне создает и причиняет враг. Есть, конечно, и другие, не зависящие от противника трудности: под Севастополем, например,— оторванность от всей Советской Армии и ее тылов, большие сложности со снабжением, обеспечением боеприпасами, лечением раненых и многое другое. Но главное — противник. И тот, кто им командует на этом участке. Ведь каждый из полководцев противника — человек со своей биографией, привычками, особенностями, а как военачальник — с определенным образованием, опытом, склонностями. Все это не безразлично для боевых действий, в которых они участвовали. Немецкие генералы знали свое дело и талантливых среди них было немало. Тем весомее заслуга наших военачальников, одолевших этих сильных и умелых врагов.

Общие рассуждения на эту тему мне хочется подкрепить конкретным доказательством. Я уже приводил выше биографию противника генерала Петрова — фон Манштейна. Мы познакомились с ним и в ходе боев, где он потерпел не одно поражение от Петрова. Будет справедливо и вполне объективно показать способности и характер этого соперника на каком-то наглядном примере. Тем более что для этого есть весьма подходящий случай.

Манштейн потерпел поражение в первом ноябрьском и в декабрьском решительном штурме Севастополя. Петров не дал Манштейну осуществить его задачу и нанес его войскам огромные потери. И в момент этой неудачи Манштейн получает известие о высадке наших десантов в Керчи и Феодосии. Затем последовала высадка десантов в Евпатории и Судаке. Положение Манштейна было, прямо скажем, незавидным. Гитлер негодовал по поводу сдачи Керченского полуострова. Командир оборонявшегося здесь 42-го корпуса граф Шпонек был снят с должности, отозван в Берлин, предан суду военного трибунала. Председательствовал на заседании трибунала Геринг. Судебное разбирательство было кратким и больше походило на расправу — командир корпуса граф Шпонек был приговорен к смертной казни. Правда, казнь позднее была заменена заточением в крепость.

Конечно же, все это сказывалось на настроении и состоянии Манштейна. Но главные неприятности и угрозы он видел впереди. В Крыму уже действовали не отдельные десанты, а крупные силы, создавшие новый фронт.

Вот в таких критических обстоятельствах Манштейн проявил себя как опытный военачальник. Он правильно, объективно оценил обстановку:

«В первые дни января 1942 года для войск противника, высадившихся у Феодосии и подходивших со стороны Керчи, фактически был открыт путь к жизненной артерии 11-й армии, железной дороге Джанкой — Симферополь... Противник пытался помешать снятию войск с Севастопольского фронта, перейдя теперь со своей стороны в наступление на наши новые, недостаточно укрепленные позиции».

Это наступление — акция Петрова. Несколько дней назад он предпринимал все возможное и невозможное, чтобы отбить наступающие дивизии противника, теперь же ради помощи высадившимся десантам решался наступать остатками сил, лишь бы приковать к себе и даже заставить вернуть части, которые Манштейн снимал из-под Севастополя.

Если бы все командование Крымского фронта действовало так решительно, как Петров в Севастополе, успех был бы обеспечен! Но, к сожалению, по непонятным причинам оно, имея преимущество,

проявляло невероятную пассивность и не перешло в решительное наступление. По этому поводу недоумевает даже Манштейн:

«Если бы противник использовал выгоду создавшегося положения и быстро стал бы преследовать 46 пд от Керчи, а также ударил решительно вслед отходившим от Феодосии румынам, то создалась бы обстановка безнадежная не только для этого вновь возникшего участка восточного фронта 11-й армии. Решалась бы судьба всей 11-й армии... Но противник не сумел использовать благоприятный момент. Либо командование противника не поняло своих преимуществ в этой обстановке, либо оно не решилось немедленно их использовать».

В этой ситуации инициативой вновь овладевает Манштейн. Он сначала сумел создать фронт, остановить наши части, а затем, видя бездеятельность противостоящих командующих, показал свой характер и добился немалых успехов.

Вот как оценивает Манштейн обстановку, в которой все это произошло:

«На Керченском фронте противник по-прежнему держал свои 44-ю и 51-ю армии. Их общий состав равнялся к концу апреля 17 стрелковым дивизиям, 3 стрелковым бригадам, 2 кавалерийским дивизиям и 4 танковым бригадам, то есть в целом 26 крупным соединениям. Этим силам командование армии могло противопоставить не более 5 немецких пехотных дивизий и 1 танковой дивизии... Так как румынские соединения (до трех дивизий.— *В. К.*) только условно были пригодны для наступательных действий, соотношение сил в планируемой операции, закодированной под названием «Охота на дроф», фактически было еще хуже. К тому же наступление на Парпачском перешейке должно было вестись только фронтально. Оба моря исключали всякую возможность флангового маневра. Кроме того, противник создал глубоко эшелонированную оборону. Как можно было в этих условиях и при соотношении сил 2 : 1 в пользу противника добиться уничтожения двух его армий?»

Справедливости ради уточним: здесь были не две, а три наших армии: 44-я под командованием генерал-лейтенанта Черняка, того самого, который в Севастополе два дня был командующим Приморской армией; 47-я под командованием генерал-майора Колганова; 51-я под командованием генерала Львова.

Манштейн понимал, что на узком, вытянутом перешейке между Черным и Азовским морями фронтальным ударом против большой массы противостоящих войск он ничего не добьется. Тут надо было проявить именно военное искусство, найти какое-то неожиданное решение, опереться на какие-то факторы, которые есть в его распоряжении. И он все это нашел.

Во-первых, внезапность. Имея превосходство в силах, командование Крымского фронта не верило в возможность наступления немцев, обладавших здесь гораздо меньшими силами. Во-вторых, Манштейн нанес отвлекающий удар на юге перешейка, вдоль берега Черного моря, а главным ударом под выступающие позиции одной из армий в центре, по сути дела вдоль фронта, силами танковой дивизии пробил и пропорол насквозь всю оборону до Азовского моря. И в-третьих, Манштейн использовал не только неожиданность, но и маневренность своих войск, их хорошую управляемость. В течение десяти дней, с 8 по 18 мая, Манштейн очистил Керченский полуостров, лишь в Аджимушкайских каменоломнях с 16 мая по 31 октября 1942 года вели героическую оборону бойцы и командиры, оставшиеся в них.

Вот что пишет генерал армии С. М. Штеменко об этих трагических днях в своей книге «Генеральный штаб в годы войны»:

«Еще в конце января Ставка направила туда (в Крым.— *В. К.*) в качестве своего представителя Л. З. Мехлиса. Из Генштаба с ним поехал генерал-майор П. П. Вечный. Они должны были помочь командованию фронта подготовить и провести операцию по деблокированию Севастополя. Мехлис, по своему обычаю, вместо того чтобы помо-

гать, стал перетасовывать руководящие кадры. И прежде всего он заменил начальника штаба фронта Толбухина генерал-майором Вечным.

В феврале — апреле Крымский фронт при поддержке Черноморского флота трижды пытался прорвать вражескую оборону, но успеха не имел и сам вынужден был перейти к обороне. Оперативное построение фронта между тем не отвечало задачам обороны. Группировка войск оставалась наступательной. Левый фланг, примыкавший к Черному морю, оказался слабым. Командующий войсками объяснял это тем, что после некоторого улучшения исходных позиций фронт непременно будет наступать. Но наступление все откладывалось, оборона, вопреки указаниям Генштаба, не укреплялась, Мехлис же лишь препирался с командующим.

А противник готовил наступление. Он намеревался сбросить советские войска с Керченского полуострова и затем обрушиться всеми силами на героически оборонявшийся Севастополь. Безошибочно определив слабое место на приморском фланге нашей 44-й армии, противник нацелил сюда крупные силы танков и авиации, готовил высадку морского десанта. Прорыв здесь нашей обороны с последующим развитием наступления на север и северо-восток позволял врагу выйти в тыл армиям Крымского фронта.

Нам было известно о приготовлениях немцев. Фронтовая разведка точно установила даже день, намеченный ими для перехода к активным действиям. Об этом накануне было сообщено войскам. Однако ни представитель Ставки, ни командующий фронтом не предприняли надлежащих мер, чтобы отразить удар.

8 мая немцы нанесли этот удар, прорвали наши позиции и стали быстро развивать успех. Оборона Крымского фронта, не имевшего резервов в глубине, была дезорганизована, управление войсками потеряно. После двенадцати дней боев в таких условиях, несмотря на героизм войск, Крымский фронт потерпел очень тяжелое поражение».

Одним из виновников катастрофы, как видно из слов Штеменко, был Л. З. Мехлис, и, поскольку Петрову предстояло в дальнейшем с ним работать, считаю необходимым рассказать о его стиле работы. Сохранились два красноречивых документа. Один — телеграмма Л. З. Мехлиса Верховному Главнокомандующему от 8 мая 1942 года:

«Теперь не время жаловаться, но я должен доложить, чтобы Ставка знала командующего фронтом. 7-го мая, то есть накануне наступления противника, Козлов созвал Военный совет для обсуждения проекта будущей операции по овладению Кой-Асаном. Я порекомендовал отложить этот проект и немедленно дать указания армиям в связи с ожидаемым наступлением противника. В подписанном приказании комфронта в нескольких местах ориентировал, что наступление ожидается 10—15 мая, и предлагал проработать до 10 мая и изучить со всем начсоставом, командирами соединений и штабами план обороны армий. Это делалось тогда, когда вся обстановка истекшего дня показывала, что с утра противник будет наступать. По моему настоянию ошибочная в сроках ориентировка была исправлена. Сопротивлялся также Козлов выдвижению дополнительных сил на участок 44-й армии».

От Верховного Главнокомандующего не укрылась попытка представителя Ставки уйти от ответственности, и в ответ он телеграфировал:

«Вы держитесь странной позиции постороннего наблюдателя, не отвечающего за дела Крымфронта. Эта позиция очень удобна, но она насквозь гнилая. На Крымском фронте вы — не посторонний наблюдатель, а ответственный представитель Ставки, отвечающий за все успехи и неуспехи фронта и обязанный исправлять на месте ошибки командования. Вы вместе с командованием отвечаете за то, что левый фланг фронта оказался из рук вон слабым. Если «вся обстановка показывала, что с утра противник будет наступать», а вы не приняли всех мер к организации отпора, ограничившись пассивной критикой, то тем хуже для вас. Значит, вы еще не поняли, что вы посланы на Крымфронт не в качестве Госконтроля, а как ответственный представитель Ставки.

Вы требуете, чтобы мы заменили Козлова кем-либо вроде Гинденбурга. Но вы не можете не знать, что у нас нет в резерве Гинденбургов. Дела у вас в Крыму несложные, и вы могли бы сами справиться с ними. Если бы вы использовали штурмовую авиацию не на побочные дела, а против танков и живой силы противника, противник не прорвал бы фронта и танки не прошли бы. Не нужно быть Гинденбургом, чтобы понять эту простую вещь, сидя два месяца на Крымфронте».

В результате керченской катастрофы представитель Ставки Верховного Главнокомандования Мехлис был снят с постов зама наркома обороны и начальника Политического управления Красной Армии, снижен в звании до корпусного комиссара. Сняты с должностей и понижены в звании на одну ступень командующий фронтом генерал-лейтенант Козлов, дивизионный комиссар Шаманин. Снят с должности начальник штаба фронта. Генерал-лейтенант Черняк, генерал-лейтенант Колганов, командующий ВВС фронта генерал-майор авиации Николаенко снижены в звании до полковников.

Вот скольких военачальников, обладающих большими силами, сумел переиграть Манштейн! А генерал-майора Петрова под Севастополем он в тот период не сумел одолеть, даже имея огромное превосходство.

Все эти дни Петров готовил свою Приморскую армию к новым боям. С середины мая решением Военного совета в соединениях проводились делегатские собрания личного состава. На эти собрания присылались делегаты, по два-три бойца от взвода. С докладами выступали Петров или члены Военного совета Чухнов и Кузнецов. Петров откровенно и прямо говорил о создавшейся сложной обстановке и предстоящих трудностях.

Крылов, который, не долечившись по-настоящему после тяжелого ранения, вернулся к исполнению своих обязанностей, не раз бывал с командармом на собраниях и так рассказывал о выступлениях Петрова:

«Все горизонтся начистоту. И что гитлеровцы, готовящие генеральное наступление на Севастополь, подтягивают новые части, обеспечивая себе большой численный перевес. И что снять, вывезти отсюда нашу армию, если бы даже поступил такой приказ, практически невозможно: Севастополь не Одесса и у флота не хватит перевозочных средств. А главное — что стало еще важнее, еще необходимее сковать и перемолоть неприятельские войска, сосредоточенные сейчас в Крыму, не пустить их на Дон, на Кубань. И потому задача приморцев, севастопольцев — стоять насмерть, истреблять фашистов здесь, на этих вот рубежах...

Не скрывая силы противника, командующий говорил о силе нашей, о своей уверенности в стойкости и мужестве бойцов, о их воинском умении. Иван Ефимович рассказывал — это ведь знали не все,— чем отличились за войну, какой прошли путь командиры данного соединения вплоть до батальонных, а иногда и до ротных: тех, кто однажды ему запомнился, Петров уже не забывал.

Заканчивал командарм тем, что просил присутствующих откровенно, по-солдатски, сказать, как подготовились в подразделениях встретить врага, как настроены люди, какие остались недоделки в оборудовании позиций, в чем есть нужда и чем еще можно укрепить оборону.

И делегаты, откликаясь на этот призыв, выступали горячо, взволнованно, так что и привычные, казалось бы, слова обретали зажигающую силу. Помню, как обнимали товарищи сержанта, который, чувствовалось — от всего сердца, выкрикнул:

— Неужели ж русский, советский человек испугается немца, фашиста? Нет, такому позору не бывать! Ручаюсь Военному совету: пока мы живы, наш взвод свою позицию не сдаст!»

Запись генерала Ласкина о том же собрании любопытна тем, как люди видят разные детали одних и тех же событий при одинаковом отношении к Петрову:

«На собрании у нас в 172-й дивизии был весь состав Военного совета. С докладом выступил генерал И. Е. Петров. Он ознакомил делегатов со складывающейся обстановкой, с мерами по усилению обороны и подчеркнул то, как изменились возможности защитников города по сравнению с декабрьскими боями. Тогда мы имели тонкую ниточку наших боевых позиций. Сегодня — целую сеть хорошо оборудованных окопов, траншей и ходов сообщения. Тогда автоматы имели лишь некоторые командиры взводов, рот и разведчики, теперь ими вооружены до 30 процентов бойцов, созданы взводы автоматчиков в батальонах и роты в полках. Мы получили достаточное количество противотанковых ружей, пополнились противотанковой артиллерией, имеем и подразделение гвар-

дейских минометов. У нас недостаточно авиации, но нам помогает авиация фронта. Костяк нашей армии и 172-й дивизии составляют опытные и закаленные бойцы, командиры и политработники, и есть все условия для того, чтобы на священных рубежах севастопольской земли дать уничтожающий бой фашистским полчищам, выстоять и победить.

Выступавшие потом делегаты перед лицом своих соратников, перед командованием давали клятву не дрогнуть в боях, стоять насмерть и выполнить свой воинский долг до конца.

Затем командарм произнес короткую заключительную речь. Он выразил уверенность в том, что высказанные делегатами слова и клятвы — это голос всех бойцов 172-й дивизии, что такой же решимости разгромить врага и отстоять Севастополь полны все красноармейцы армии, что с такими воинами мы непобедимы.

Через день командарм решил отдельно поговорить с младшими командирами. Генерал Петров, обращаясь к собравшимся, сказал:

— Поднимите руки те, кто воюет с самого начала обороны Севастополя.

Поднятых рук было маловато. Тогда он предложил поднять руки тем, кто отбивал декабрьский штурм врага, и, увидев, что таких оказалось более половины, заключил:

— Военному совету армии приятно знать, что больше половины из вас прошли тяжелые бои. Вам придется без приказа сверху замещать выбывающих из строя командиров взводов, а может быть, и командиров рот, брать на себя командование и ответственность за выполнение задачи. Будьте к этому готовы. Мы надеемся на вас, закаленных фронтовиков».

Привожу отдельные пункты из постановлений, принятых 16, 18, 26 мая городским комитетом обороны. Они поистине не нуждаются в комментариях и лучше, чем это смог бы сделать я, рассказывают, как город готовился вместе с армией к решительным боям. Вот эти решения, немедленно вступавшие в действие:

«17 мая 1942 года закончить комплектование и вооружение боевых дружин на всех основных предприятиях... 50% личного состава дружин перевести на казарменное положение... Всех мужчин, способных драться с оружием в руках, включить в резерв боевых дружин, назначить командный и политический состав и вооружить гранатами... Женщин привлечь по мере надобности в сандружины; наиболее здоровых по их желанию включить в резерв боевых дружин».

Город, армия и флот ждали удара.

Третье наступление на Севастополь

Не было никаких сомнений в том, что Манштейн, развязав себе руки на всех остальных участках в Крыму, теперь сосредоточит все силы против Севастополя. Это подтверждали и данные разведки, и сообщения партизан, и директива генерального штаба, в которой прямо говорилось о возможности наступления на Севастополь в ближайшее время.

Понимал все это и Петров. Его сейчас интересовали лишь два вопроса: когда начнется наступление и где будет наноситься главный удар?

В зависимости от того, когда и где это произойдет, он бы — соответственно — усилил боевые порядки. На всех направлениях быть одинаково сильным невозможно. Необходимо понять, выявить замысел противника и сосредоточить свои главные усилия на направлении его главного удара. Это и есть проявление полководческого искусства в обороне.

Командарм предполагал, что на этой местности, в этих условиях противник едва ли предпримет что-нибудь новое. Самым целесообразным в его положении было по-прежнему наносить удар с севера в направлении бухты Северной, которая является ключом к городу и порту, да и ко всей обороне Севастополя.

Петров за время, которым он располагал, пока шли бои на Керченском полуострове, усилил это направление, переместив туда 172-ю дивизию Ласкина и укрепив оборону инженерными сооружениями. Беспокоило командование то, что армия почти не получила пополнения, части были укомплектованы не больше чем на пятьдесят процентов, во многих подразделениях не хватало даже винтовок, недоставало боеприпасов для полевой артиллерии. Все это ушло на обеспечение Керченско-Феодосийской операции. А теперь противник, имея большое превосходство в авиации, держал под контролем море и не допускал в Севастополь ни боевые корабли, ни транспорты.

Подвоз самого необходимого был минимальный.

Зная состояние обороны, войск и предположения генерала Петрова, заглянем теперь в планы Манштейна.

Прежде всего необходимо напомнить — Севастополь торчал как кость в горле у всей немецкой армии. Желание выдернуть эту кость было огромным не только у Манштейна, но и у Гитлера. Это доказывает вызов Манштейна к Гитлеру с докладом о планах наступления на Севастополь. Причем насколько большое значение придавал Гитлер предстоящему наступлению и как серьезен был факт самого этого вызова, свидетельствуют слова самого Манштейна:

«С тех пор как я излагал ему свои мысли относительно проведения наступления на западе в феврале 1940 года, я впервые встречался с ним как командующий крупным войсковым объединением».

Сколько крупных операций имело место с 1940 года, и у Гитлера не возникало необходимости личной встречи с Манштейном, он ограничивался разговорами по телефону и обменом телеграммами. А в этот момент, момент решительного наступления на Севастополь, Гитлер вызвал Манштейна к себе в ставку. Вот какое огромное значение придавал он этому городу.

Выслушав доклад Манштейна, фюрер полностью одобрил его решение, таким образом намерения, касающиеся Севастополя, уже становились не только планами Манштейна, но и решением Гитлера.

Возвратившись из ставки, Манштейн немедленно начал стягивать все силы 11-й армии к Севастополю. Для прикрытия побережья он оставил на Керченском полуострове одну 46-ю пехотную дивизию, на других направлениях — румынские части.

Манштейн пишет:

«Было ясно, что наступление на крепость будет еще более трудным, чем в декабре прошлого года. Ведь противник имел полгода времени для того, чтобы усилить свои укрепления, пополнить свои соединения и подвезти морем в крепость материальные резервы».

И далее Манштейн приходит к такому решению:

«Оценивая возможности проведения наступления на этот укрепленный район, командование армии пришло в основном к тем же выводам, что и в прошлом году. Центральный участок фронта для решительного наступления не годился. Оставалось только вести наступление с севера и северо-востока, а также южной части восточного участка. При этом главный удар — по крайней мере, на первом этапе — должен был наноситься с севера... Но ясно было также и то, что от наступления на юге отказаться было нельзя. Во-первых, необходимо было добиться распыления сил противника, атакуя его одновременно с разных сторон».

Из этой цитаты мы видим, что генерал Петров в своих предположениях о направлении главного удара и о том, что Манштейн едва ли придумает что-нибудь новое, не ошибся.

Гитлеровцы любили давать экзотические названия своим операциям. И этот решающий штурм Севастополя получил условное наименование «Лов осетра». При всей своей самоуверенности и упоенности только что одержанной победой на Керченском полуострове в глубине

души Манштейн, видимо, все же сомневался в том, что наступление будет успешным. Это подтверждают следующие его слова:

«Нельзя забывать, что в Севастопольской операции речь шла не только о наступлении на крепость, но и о действиях против армии, численность которой была, по меньшей мере, равна численности наступающих, если в отношении оснащенности она и уступала нам».

В действительности, как это сейчас хорошо известно, в Севастополе находились все те же дивизии, измотанные в боях, укомплектованные лишь на пятьдесят процентов, но стойкие духом и готовые биться до последнего. Да и сам Манштейн несколькими абзацами ниже проговаривается. Он то говорит, что Приморская армия получает пополнение с Большой земли, то вдруг пишет:

«Пока 11-й армии был придан 8-й авиационный корпус, противник был лишен возможности беспрепятственно осуществлять перевозки по морю».

И действительно: имея абсолютное превосходство в воздухе на этом участке, гитлеровцы полностью контролировали море, не давая возможности подвозить в Севастополь войска и снабжение. Прорывались только подводные лодки, грузоподъемность которых, как известно, очень незначительна. Из-за господства авиации противника в севастопольском порту не было и боевых кораблей, что лишало сухопутные войска их артиллерийской поддержки.

Приведу несколько цифр для того, чтобы читатель мог увидеть соотношение сил перед наступлением: танков — у нас 38, у противника 450 (соотношение 1:12); самолетов — у нас 116, у противника 600 (соотношение 1:6); орудий разных калибров — у нас около 600, у противника более 1300. Кроме того, Гитлер прислал Манштейну специальные орудия калибром 600 мм и знаменитую пушку «дора» калибра 800 мм. Сам Манштейн оценивал свои огневые возможности так:

«В целом во второй мировой войне немцы никогда не достигали такого массированного применения артиллерии, как в наступлении на Севастополь».

Эти слова не требуют комментариев.

Манштейн понимал, что это наступление для него — последний шанс. В случае неудачи он окончательно потеряет авторитет в войсках и у Гитлера. Он сделал все для того, чтобы обеспечить успех штурма.

Имея огромные силы, Манштейн действовал теперь наверняка. Для того чтобы расчистить путь своим наступающим дивизиям, он намеревался проломить брешь в обороне наших войск не обычной артиллерийской подготовкой, какая бывает перед атакой, а особой:

«Решено было начать артиллерийскую подготовку за пять дней до начала наступления пехоты бомбовыми ударами и мощными дальними огневыми нападениями по обнаруженным районам сосредоточения резервов противника и по его коммуникациям. Затем артиллерия должна была, ведя методический корректируемый огонь, в течение пяти дней подавить артиллерию противника и обработать огнем оборонительные сооружения, расположенные на передовых рубежах. Тем временем 8-й авиационный корпус имел задачу непрерывно производить налеты на город, порт, тылы и аэродромы».

Итак, рано утром 2 июня 1942 года артиллерия и авиация противника нанесли удар огромнейшей силы, вернее, начали удар, если так можно сказать. Прошел час, земля дрожала и вскидывалась вверх, город и порт горели. Все было затянуто дымом и гарью. Ясный день превратился в темные сумерки. Каждую минуту бойцы и командиры в окопах ждали начала наступления. Но прошел час и другой час, а противник все бомбил и обстреливал наши позиции, не переходя в атаку.

Так длилось весь день. Целый день беспрерывного артиллерийского обстрела и бомбежек! Нервы защитников Севастополя были сильно

напряжены. Каждую минуту они ждали и готовились к схватке с врагом, но она не произошла. На следующее утро повторилось то же самое. Противник опять яростно бомбил и обстреливал наши позиции и город.

Вот рассказ очевидца этого ада. Живет в Минске генерал-лейтенант Иван Андреевич Ласкин. Тот самый Ласкин, который, будучи в те дни полковником, командовал 172-й дивизией, защищавшей четвертый сектор. Я с ним встречался и беседовал много раз, поддерживаю регулярную переписку. Он написал книгу «На пути к перелому», из нее я беру цитаты с добавлениями из его устных рассказов.

— Около двух тысяч орудий и минометов обрушили на нас свой огонь,— вспоминает Ласкин.— Над нами свистели снаряды, разрывались они повсюду. Все слилось в сплошной грохот. На нас летели бомбардировщики, они шли группами по двадцать—тридцать самолетов в каждой. Они не заботились о прицельном бомбометании, а заходили волна за волной и буквально перемешивали землю на всей площади нашей обороны. Авиация висела в воздухе непрерывно. Из-за постоянного обстрела артиллерией и разрывов снарядов не было слышно звука мотора самолета. И группы бомбардировщиков, сменяющие одна другую, казались какими-то стаями фантастических бесчисленных черных птиц. На всех наших позициях бушевал огненный вихрь. От разрывов тысяч бомб и снарядов потускнело небо. А самолеты все летели и летели волна за волной, и бомбы сыпались на нас непрерывно. В воздух взлетали громадные глыбы земли, деревья с корнями. По узкому участку нашего четвертого сектора одновременно вели огонь свыше тысячи орудий и минометов, его бомбило около ста бомбардировщиков. Огромное облако темно-серого дыма и пыли поднималось все выше и скоро заслонило солнце. Светлый солнечный день сделался мрачным, как при затмении. На моем направлении, на направлении своего главного удара, противник имел превосходство в живой силе в девять раз, в артиллерии больше чем в десять раз, не говоря уж о танках, которых мы совсем не имели. Прибавьте еще к этому полное господство авиации противника...

Севастополь превратился в сплошные развалины и пожарища. Уцелели лишь небольшие участки жилья на окраинах. Петров, находясь на своем командном пункте, непрерывно запрашивал и узнавал, в каком состоянии находятся обороняющиеся, большие ли потери. Командир Чапаевской дивизии в первый день обстрела доложил Петрову о потерях в полках:

— У Матусевича убито трое, ранено двое, у Антипенко трое раненых.

Петров засомневался — уж очень сильным был артогонь и бомбежки врага, неужели так мало жертв? Он спросил:

— Так ли? Точно ли вы докладываете? Верны ли ваши сведения?

Командир дивизии помолчал и коротко ответил:

— Я бы не посмел вас обманывать, товарищ командующий.

Из других секторов тоже докладывали о незначительных потерях. Командующий для проверки этих докладов позвонил начальнику санитарной службы:

— Сколько поступило раненых в госпиталь?

Оказалось, в течение 4 июня в этом сплошном вихре огня госпиталь принял всего 178 раненых. Это полностью подтверждало доклады командиров секторов. Так оправдала себя многомесячная работа защитников Севастополя. Была создана надежная траншейная система, она теперь оберегала от потерь даже при таком невиданном огневом шквале.

Самые большие разрушения противник произвел в незащищенном городе. Вот что пишет об этом Крылов:

«Единственное, что врагу перед штурмом вполне удалось, это разрушить город Севастополя — такого, каким мы привыкли его видеть и представлять, каким он оста-

вался после двух прошлых штурмов и семи месяцев осады, теперь не стало. Он превратился в руины. Особенно пострадали центральные улицы, обращенные к морю, самые красивые. Одни здания рухнули, на месте других стояли обгорелые каменные коробки».

Исходя из интенсивного огня, количества выпущенных снарядов и обрушившихся на участки бомб, генерал Петров делал вывод о том, где намечен главный удар противника. Он понял, что главный удар будет наноситься в направлении четвертого сектора, защищаемого дивизией Ласкина и бригадой Потапова, а вспомогательный удар — на юге вдоль Ялтинского шоссе. Учитывая это, Петров выехал на передовой армейский командный пункт — на направление четвертого сектора.

Генерал был в предельном напряжении. Несколько дней не спадало это напряжение. Казалось уже, что от такой артиллерийско-авиационной обработки на передовых рубежах никто не уцелел. Командарм постоянно поддерживал связь с командирами соединений и все время уточнял: жива ли оборона, остался ли кто на передовых позициях?

Вот продолжение рассказа Ласкина:

— Около полудня шестого июня командарм вызвал на передовой пункт управления армии командиров соединений третьего и четвертого секторов. Он посмотрел внимательно на каждого из нас и спросил: «Заметили ли вы, что часов с десяти сегодня противник ослабил свой огонь? Это Манштейн дает артиллеристам время на тщательную подготовку к ведению еще более мощного огня завтра. Имеющиеся в штабе армии разведывательные данные дают основание считать, что завтра противник начнет наступление. Авиационно-артиллерийскую подготовку, еще более мощную, он начнет с самого утра. Принято решение,— продолжал командарм,— провести артиллерийскую контрподготовку по основным группировкам войск противника, сосредоточившихся в исходных районах для наступления на северном и ялтинском направлениях. Многочисленную артиллерию и танки врага мы, конечно, вывести из строя не рассчитываем: у нас для этого нет средств и боеприпасов. Главная задача контрподготовки — истребить как можно больше живой силы, изготовившейся для перехода в наступление, ослепить пункты наблюдения и нарушить управление войсками».

Далее Ласкин так размышляет о решении командарма Петрова:

— Определение начала огневой контрподготовки — вопрос очень сложный. Военному человеку известно, что на войне фактор времени играет исключительно большую роль. Мы знали, что против нас нацелены более тысячи артиллерийских стволов, и если они ударят раньше нас хотя бы на пять—десять минут, то мы можем остаться и без артиллерии и поставить под опустошительный огонь врага все войска, расположенные на главной полосе обороны. Выгоднее всего было начать огневую контрподготовку перед рассветом. Внезапный массированный огонь в это время сулил наибольший успех, мы могли нанести врагу большой урон, нарушить управление, а значит, и сорвать сроки открытия им огня. Перед вечером нам сообщили, что наша контрподготовка начнется в два часа пятьдесят пять минут. Около двух часов ночи наблюдатели стали докладывать о том, что на всей немецкой стороне заметно передвижение солдат, слышится шум моторов и лязг гусениц. Было ясно, что немцы занимают исходное положение для наступления. Значит, командарм не ошибся, назначив артиллерийскую контрподготовку! Теперь мы напряженно ждали, не начнут ли гитлеровцы свою артиллерийскую подготовку раньше назначенного Петровым срока. И если это произойдет, может случиться катастрофа. Но расчеты командующего и его штаба оказались верными. В два часа пятьдесят пять минут началась наша артиллерийская контрподготовка. Как выяснилось позже из показаний пленных, противник

назначил начало своей артподготовки на три часа, а штурм — на четыре часа утра, следовательно, в своих расчетах генерал Петров упредил их всего на пять минут! Эти пять минут сыграли очень важную роль. К сожалению, из-за недостатка боеприпасов стрельба нашей артиллерии продолжалась всего двадцать минут. Но даже при такой непродолжительной контрподготовке пехота противника, вышедшая уже на исходные позиции, понесла значительные потери, была нарушена связь и на некоторое время ошеломлены и солдаты и командиры частей противника. Гитлеровское командование вынуждено было для начала организованной атаки ввести силы из второго эшелона и начать наступление не в четыре часа, как они намечали, а только после семи часов.

И вот снова и, казалось, еще более яростно из-за понесенных потерь гитлеровцы обрушили мощь своей артиллерии и авиации на наши позиции. И опять запрашивал Петров передовые части, и ему неизменно отвечали: «Держимся! Оборона жива!» Это радовало и воодушевляло командующего.

Ласкин говорил об этих минутах:

— К тому времени я уже целый год участвовал в боях, но такого сильного огня противника до сих пор не испытывал. Думается, не ошибусь, если скажу, что в истории войн такое огромное огневое превосходство одной стороны над другой на земле и в воздухе было впервые.

Хочется обратить внимание читателей на редкое совпадение мнений воюющих сторон. Манштейн тоже почти теми же словами оценивает силы немецкой стороны, вспомните его слова, приведенные выше: «...во второй мировой войне немцы никогда не достигали такого массированного применения артиллерии, как в наступлении на Севастополь».

И вот после семи часов утра, опомнившись от контрподготовки и устранив беды, которые она им причинила, гитлеровцы пошли на штурм. По всей обороне разнеслось: «Немцы пошли в атаку!» Гитлеровцы были уверены, что после такой многодневной артиллерийско-авиационной подготовки, после того, как все расположение обороняющихся было перемешано с землей, конечно же, защитники Севастополя будут подавлены физически и морально и не окажут серьезного сопротивления. Но они ошиблись!

Оборона встретила штурмующих плотным прицельным огнем. Стремительного броска и безостановочного движения у атакующих не произошло. Манштейн приказал снова обрушить всю силу артиллерии и авиации на обороняющихся. Опять началась мощнейшая огневая обработка обороны. Снова летели и летели эскадрильи самолетов и рвались бесчисленные снаряды.

И опять послушаем Ивана Андреевича Ласкина:

— Мой командный пункт был в одном километре от первых траншей, и я видел очень ясно, как из-за деревьев и кустов Бельбекской долины начала надвигаться лавина танков и за ней поднималась пехота противника. Вскоре я насчитал больше пятидесяти танков. Они шли на участок Семьсот сорок седьмого стрелкового полка, которым командовал подполковник Шашло, и на левый фланг Семьдесят девятой бригады полковника Потапова. Танки шли под прикрытием плотного огневого вала. Наша артиллерия открыла огонь по этим танкам и подожгла несколько машин. Пулеметы били по живой силе противника. Но танки и пехота продолжали настойчиво двигаться вперед. Вражеские мины, снаряды и бомбы сыпались и на наш наблюдательный пункт. Рушились блиндажи и землянки, засыпало землей окопы и траншеи. К нам на наблюдательный пункт прибежал командир батальона противотанковых ружей капитан Шаров. Он доложил, что его бронебойщики подбили четыре танка, но шесть его противотанковых ружей разбиты и расчеты погибли. Чтобы понять напряжение боя

и состояние людей, достаточно было посмотреть на самого Шарова. Лицо его было окровавлено и запылено. Весь он с головы до ног был в гари и копоти. Я спросил его:

— А пехота держит позиции?

— Стрелки не оставляют своих окопов. Будут драться до последнего,— хриплым, но твердым голосом ответил капитан.— И мои бронебойщики тоже.

— Вы ранены, товарищ Шаров. У вас кровь на лице.

— Там почти все люди в крови. Даже если не ранен снарядом или пулей, то от осколков и камней, которые сыплются тысячами со всех сторон и хлещут по лицу и по голове, там все в крови.

— Отдохните несколько минут здесь,— предложил комиссар капитану.

— Не могу, товарищ комиссар. Не до отдыха сейчас. Да и какой тут у вас отдых,— добавил Шаров с грустной усмешкой.— И у вас тут все содрогается.

Комиссар нашей дивизии Солонцов сказал:

— Такие люди, как Шаров, в тяжелой боевой обстановке и сами не дрогнут, и людей своих заставят держаться до последнего. Храбрый офицер!

Комиссар был абсолютно прав. Шаров вел себя необыкновенно мужественно. Позднее он погиб в боях, и 21 апреля 1943 года Ивану Александровичу Шарову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Меня вызвал к телефону командующий.

— Мы с напряжением следим за событиями на вашем участке,— услышал я спокойный голос генерала Петрова.— То, что ваши полки в огне, нам ясно. Доложите, какие силы наступают на вас и удерживают ли части свои позиции.

— В сплошном огне вся дивизия,— ответил я.— Авиация непрерывно висит над нами и бомбит. Артиллерия проводит мощные огневые налеты один за другим. На нашем участке наступает до двух дивизий и до шестидесяти танков. Полки Устинова и Шашло свои позиции удерживают твердо.

Позднее мне стало известно, что наступало на нас больше двух дивизий и больше ста танков, но я всегда в своих докладах старался не увеличивать силы противника.

— Куда вышли танки и удалось ли немцам где-нибудь вклиниться в оборону? — спросил командарм.

— Танки и пехота подошли к переднему краю Шашло, но в оборону не вклинились, задержаны огнем.

Командарм помолчал и спросил:

— Живы ли полки?

— Вся дивизия ведет бой, товарищ командующий. Потери большие, но более подробно об этом доложить не могу.

— Докладывайте мне чаще, Иван Андреевич. А я сейчас передам генералу Моргунову, чтобы он усилил на вашем направлении огонь береговых батарей. Кроме этого пошлем авиацию. Прошу сообщить личному составу полков Устинова и Шашло, что Военный совет армии восхищен их стойкостью и мужеством!

Ласкин помолчал, будто вглядывался в те далекие события и затем продолжал рассказ:

— Для того чтобы вы представили напряженность боев в эти минуты, вот вам несколько эпизодов. В первой траншее назревала рукопашная, бойцы отбивали наседающих фашистов. Здесь находились наши разведчики и среди них женщина, Мария Байда, очень смелая девушка. Ее ранило в голову. Санинструктор Кучер говорит ей:

— Давай перевяжу.

— Какая сейчас перевязка, никакой перевязки не нужно, Ваня, стреляй фашистов!

И сама продолжала стрелять очередями по гитлеровцам. Фашисты забросали их позиции гранатами и пошли вперед. И вот бесстрашная девушка прямо среди взрывающихся гранат первая кинулась им навстречу.

Рядом с Марией разорвалась еще одна граната, и она второй раз была ранена, но до самого вечера не уходила даже на перевязку. В тот день группа бойцов, в которой находилась и Мария Байда, была окружена, но они не оставляли позиций, бились и защищались до последнего. И им удалось вырваться из окружения.

Вот другой эпизод. Гитлеровцы прорвались к наблюдательному пункту батареи Сухомлинова. На его позиции сыпались бомбы с самолетов, произошло несколько прямых попаданий, орудия замолчали. Немцы начали обходить наблюдательный пункт Сухомлинова. И он вызвал огонь на себя. Сухомлинов и его товарищи геройски погибли.

Ласкин опять помолчал.

— Я с комиссаром Солонцовым стал пробираться на самое тяжелое направление — к командиру Семьсот сорок седьмого полка подполковнику Шашло. Местность в полосе нашей обороны была вся обезображена и стала неузнаваема. Полностью была уничтожена растительность, земля стала сплошь черной, изрытой воронками. Мы пробирались по разрушенным траншеям. В траншеях лежали убитые. И вот когда мы добрались до наблюдательного пункта Шашло, оказалось, что двери его НП завалены землей. Я с ним разговаривал через дверь. У Шашло была телефонная связь со всеми подразделениями. Он доложил мне о том, что подразделения его полка держатся. Мы с комиссаром организовали помощь, откопали НП командира полка и двинулись дальше.

На соседнем участке командир полка Устинов доложил нам обстановку:

— Полчаса тому назад батальоны удерживали свои позиции. Но противник возобновил сильный обстрел, атаки его следуют одна за другой. Впереди, как видите, сплошная завеса пыли и дыма. Дальше чем на пятьдесят метров местность не просматривается. Проводную связь с батальонами восстановить пока не удается. Обстановка выясняется моими офицерами. Скоро они должны прибыть. Блиндаж командира полка вздрагивал от близких разрывов бомб и снарядов. На нас сыпалась земля сверху из перекрытия. Вскоре вернулись посланные Устиновым офицеры и доложили, что батальоны на передовых позициях пока выдерживают натиск врага.

...Наконец наступил вечер. Бой стал утихать. Слышались отдельные выстрелы и разрывы, короткие очереди автоматов. Командиры стали выяснять, сколько у них осталось бойцов в подразделениях. Все вокруг было неузнаваемо. Траншеи изувечены, тропки, по которым ходили раньше, исчезли. Люди были черны от пыли и гари. Почти все охрипли.

Оказав помощь товарищам, перевязав самих себя, солдаты принимались искать командиров и стягивались к ним. Это было лучшим доказательством их стойкости, подтверждало, что они полны решимости биться дальше.

Генерал Петров понимал, что в течение оставшихся ночных часов восстановить разрушения, причиненные обороне, едва ли возможно. И, значит, завтрашний день, завтрашний бой будут еще более тяжелыми. Надо было приложить все силы для восстановления боеспособности войск. Надо накормить бойцов, оказать помощь раненым, снабдить части боеприпасами. Этим занимались штаб и тылы армии. А сам командующий считал самым важным поговорить с командирами соединений. Начал он с того, кто был на главном направлении, с полковника Ласкина. Он пригласил его к себе. Генерал Петров спокойно

выслушал короткий доклад командира и комиссара Солонцова. И опять, как и по телефону, Петров задал уже ставший символичным вопрос:

— Живы ли полки?

— Полки живы, товарищ командарм. Дивизия фронт держит,— твердо доложил Ласкин.

Петров встал и, не скрывая восхищения, произнес:

— Мы не ошиблись, что на это опасное и ответственное направление поставили вашу дивизию! Такого сильного удара врага за семь месяцев обороны Севастополя мы еще не испытывали. Сегодня главная тяжесть пришлась на Сто семьдесят вторую. Она оказалась в центре главного сражения. Да, потери большие, но полки не сломлены. А раз живы они, будет жить и оборона!

Командующий посоветовал командиру и комиссару:

— Разъясните людям, расскажите им о положении дел на фронте, потому что, когда люди не знают обстановки, они могут потерять уверенность в своих силах. После того, что защитникам Севастополя пришлось пережить за минувший день, после этого страшного огненного ада у них может появиться растерянность, упадок. И поэтому надо непременно довести до сведения бойцов действительное положение на фронте, рассказать им, что мы выстояли. Поблагодарите их за стойкость.

В ту ночь никто из командиров не уснул. Не спали и бойцы. Они поправляли свои окопы, приспосабливали их для завтрашнего боя. Связисты восстанавливали связь. Саперы латали минные поля. Тыловики доставляли пищу и боеприпасы.

Петров позвонил Потапову и приказал 79-й бригаде с рассветом 8 июня предпринять контратаку и восстановить оборону на своем левом фланге.

Конечно же, опасно, почти безнадежно проводить такую контратаку, когда противник значительно превосходит в силах. Контратакующие имели всего около двух батальонов и несколько танков устаревшего типа. Но генерал Петров, верный тактике активной обороны, решался на эту отчаянную контратаку, чтобы хоть чем-то помочь тем, кто стоит на направлении главного удара. И эта контратака с утра все-таки была проведена. Артиллеристы поддержали ее огнем. Но атакующие были остановлены. Других резервов у командующего армией не было. Не было их и у командиров секторов обороны.

Отразив контратаку, противник снова обрушил огневой смерч на наши позиции. Опять вела огонь вся артиллерия и бомбила авиация противника. И опять за этим огневым валом шли танки и пехота врага. Уже нечем было сдерживать эту лавину. На позициях становилось все меньше и меньше защитников. И все же первая атака на главном направлении была отбита 172-й стрелковой дивизией. Однако вскоре началась следующая, еще более сильная. Снова упорно двигались танки и пехота, и авиация расчищала бомбовыми ударами для них путь.

Во второй половине дня 8 июня Ласкин доложил генералу Петрову:

— Противник медленно, но все же вгрызается в оборону дивизии. Резервов у меня никаких нет. Прошу хотя бы усилить огонь артиллерии. Рыжи помогает хорошо, но береговые батареи бьют слишком далеко от линии фронта.

— Сможет ли дивизия удержать свой основной рубеж до наступления темноты?

— Да,— ответил командир дивизии.

— Надо до вечера удержать рубеж обороны силами вашей дивизии во что бы то ни стало,— сказал командарм.— А ночью к вам подойдет Триста сорок пятая дивизия.

День этот был очень тяжелым, и особенно на направлении глав-

ного удара. Погибли уже многие командиры. Вот что произошло с командиром 747-го полка подполковником Шашло, которого совсем недавно командир дивизии вынужден был откапывать на его наблюдательном пункте. Немцы прорвались к НП командира полка и окружили его. На выручку поспешили остатки роты автоматчиков, в которой было всего двадцать человек. Когда им удалось пробиться к наблюдательному пункту командира полка, все его защитники уже погибли. Погиб командир полка Василий Васильевич Шашло, погибли несколько офицеров-артиллеристов, которые находились с ним на командном пункте. Командиром полка был назначен комиссар этого полка Василий Тимофеевич Швец, храбрый, стойкий и спокойный в бою офицер.

Защитникам Севастополя день этот казался бесконечным. Но в конце концов все же наступил вечер. Комдива Ласкина и комиссара Солонцова опять вызвал к себе на передовой командный пункт генерал Петров. Ласкин рассказывает:

— На этот раз мы шли с комиссаром к командарму очень подавленные, потому что предстояло докладывать о том, что противник все-таки вклинился в нашу оборону. Когда мы зашли в так называемый домик Потапова, я не сразу увидел командующего, он сидел у стола среди других командиров. Увидев, подошел, доложил обстановку. Петров выслушал доклад спокойно, уточнил, куда и насколько продвинулся противник, спросил о потерях. И потом, глубоко вздохнув, сказал: «Немного вклинился... Мы-то думали, что из вашей дивизии уже никого в живых не осталось под таким огнем. А вы еще и фронт держите! Вот это дивизия!» Генерал Петров подошел, обнял и поцеловал меня. Не предусмотрено такое поощрение уставом, но скажу честно, это было для меня равносильно награде.

Конечно же, в этих трудных боях поубавилось сил и у самого Петрова, но он понимал, что, несмотря на всю тяжесть обстановки, он все же в какой-то степени одерживает победу над противником. Потому что противник рассчитывал после такой многодневной авиационной и артиллерийской подготовки одним рывком пройти через оборону и овладеть городом. И вот уже на исходе еще один день штурма, а гитлеровцам только едва-едва удалось зацепиться за передний край обороны. Это, несомненно, был успех обороняющихся. И генерал Петров больше чем кто-либо другой понимал это.

Как видел и как оценивал ход боя Манштейн?

«На всем широком кольце крепостного фронта ночью были видны вспышки орудий, а днем облака из пыли и обломков скал, поднимаемые разрывами снарядов и бомб нашей авиации. Поистине фантастическое обрамление грандиозного спектакля! Но сильнее, чем природа этой «железной земли»... сильнее, чем все средства техники, которые использовали наступающие и обороняющиеся, оказалась сила и самоотверженность тех солдат, которые боролись здесь за победу... Здесь дух немецкого солдата, его храбрость, инициатива, самоотверженность боролись против отчаянного сопротивления противника, сила которого заключалась в благоприятной для него местности, в выносливости и невероятной стойкости русского солдата... Эту борьбу, длившуюся беспрерывно около месяца, в самое жаркое время года (уже рано утром температура достигала 50 градусов), невозможно хотя бы приблизительно описать так, чтобы это описание выражало то напряжение сил, с которым сражались как наступающие, так и обороняющиеся».

Эти восторженные и романтически окрашенные записи Манштейна, сделанные гораздо позже, уже после окончания войны, не совсем соответствовали тому настроению, которое в действительности было у него в те дни. 9 июня наступление несколько ослабло и даже приостановилось. Начальник разведки Потапов доложил командующему Петрову: из показаний пленных вытекает, что 132-я и 50-я дивизии немцев понесли такие потери, что они наступать не в состоянии, больше трети состава потеряла 24-я дивизия. Общие потери гит-

леровцев за два дня боя достигают около 20 тысяч человек. Пленные говорят о том, что Манштейн якобы обращался к Гитлеру с просьбой разрешить ему прекратить штурм Севастополя, что он, Манштейн, считает целесообразным проводить не штурм, а осаду Севастополя. Потапов докладывал об этом обращении Манштейна к Гитлеру лишь предположительно, но то, что у немцев большие потери — это было абсолютно точно, в тылу противника вереницы машин, полные раненых, двигались к Симферополю.

Трудно было поверить в подобное обращение Манштейна к фюреру, потому что оно означало бы для генерала признание в своей беспомощности. Но, с другой стороны, эти сведения имеют под собой и некоторые достоверные основания. Об этом свидетельствуют собственные слова Манштейна:

«Второй этап наступления, до 17 июня, характеризуется на обоих фронтах наступления ожесточенной борьбой за каждую пядь земли, за каждый ДОС, за каждую полевую позицию. Ожесточенными контратаками русские вновь и вновь пытаются вернуть потерянные позиции. В своих прочных опорных пунктах, а то и в небольших ДОС, они часто держатся до последнего человека... До 17 июня удается — правда, ценой больших потерь — на бо́льшую глубину и на широком участке вклиниться в долговременный оборонительный рубеж на севере... В полосе наступления 30 ак к 17 июня тоже удается вклиниться в передовые оборонительные посты противника, выдвинутые перед его позицией в районе Сапун-горы... Но, несмотря на эти с трудом завоеванные успехи, судьба наступления в эти дни, казалось, висела на волоске. Еще не было никаких признаков ослабления воли противника к сопротивлению, а силы наших войск заметно уменьшились (тем самым Манштейн подтверждает сведения нашей разведки.— *В. К.*)... Так как можно было предвидеть, что силы собственной пехоты будут, по всей вероятности, преждевременно истощены, командование армии попросило выделить в его распоряжение 3 пехотных полка, на что было получено согласие ОКХ (Главное командование сухопутных войск.— *В. К.*)».

Из цитаты видно — в течение недели севастопольцы причинили наступающим дивизиям Манштейна такой урон, что не просто выбили из них наступательный порыв, но поколебали уверенность самого их командующего в успехе наступления!

Генерал Петров все время на северной стороне. На несколько часов ночью он появляется на КП, чтобы заслушать доклад Крылова, посоветоваться с ним, сходить на заседание Военного совета к адмиралу Октябрьскому. Затем он отдает необходимые распоряжения, редко удается час-два соснуть, и опять возвращается в ставший уже знаменитым домик Потапова на северной стороне.

Самым тяжелым для командарма в эти дни было, конечно, отсутствие резервов и еще то обстоятельство, что немцы штурмовали оборону Севастополя на всех участках. Невозможно было снять с какого-то сектора хотя бы часть сил и перебросить их на помощь Ласкину на северную сторону и на юг.

Петров стремился поддержать дух севастопольцев добрым словом, беседами, награждением. Каждый вечер он подписывает наградные материалы и приказывает еще до утверждения этих материалов вышестоящими инстанциями читать их в подразделениях и тем самым повышать стойкость обороняющихся.

Еще в ходе боев за первый рубеж обороны Петров попросил Крылова организовать работы по укреплению второго рубежа — совершенствовать его инженерные сооружения, минирование, всячески готовить его на случай, если противник прорвется. Весь личный состав из тыловых подразделений и учреждений было приказано отправить на передовую. В тылу остались только повара.

Атаки противника продолжались. Ему удается занять некоторые высоты на северном направлении на участке Ласкина. Это, как правило, случается только тогда, когда в траншеях не остается ни одного живого защитника этого участка. Самая левофланговая дивизия Ка-

питохина — под угрозой; ее вот-вот отсекут от общей обороны. На наблюдательный пункт Ласкина прорываются вражеские танки с десантом автоматчиков. В отражении танков принимает участие весь штаб во главе с командиром дивизии Ласкиным. Дальше второй траншеи немцы все-таки не прошли.

Оборона Севастополя, если можно допустить такое сравнение, была похожа на бурдюк. Она вдавливалась местами под напором сильного нажима штурмующих, изгибалась, но ни в одном месте пока не была прорвана. За десять дней штурма на направлении, которое было главным, против дивизии Ласкина, гитлеровцам удалось продвинуться не больше чем на три километра.

У Петрова нет сил для контратак и, что особенно плохо, не хватает боеприпасов. Каждая атака заканчивается рукопашным боем. Измученные, усталые севастопольцы находят в себе силы для этого последнего решительного, традиционного для русского воинства удара штыком. И, как правило, гитлеровцы не выдерживают этих рукопашных схваток.

Но и потери в этих рукопашных, конечно же, более значительны и для наших войск.

Командир 79-й бригады Жидилов в своей книге «Мы отстаивали Севастополь» рассказывает:

«10 июня меня вызвали к командующему Севастопольским оборонительным районом. Машина с трудом пробирается по улицам, засыпанным обломками разрушенных зданий. Туманом стелется горячий, удушливый дым. Жара убийственная, и впечатление такое, что это не южное солнце, а пламя пожарищ раскалило город. Нет больше различия между передним краем и тылом... Снаряды и бомбы падают на город. После этого шума кажется невероятной строгая тишина помещений флагманского командного пункта... Адъютант вводит меня к командующему. Октябрьский ходит по кабинету и диктует распоряжения... За столом сидят генерал Петров и дивизионный комиссар Кулаков. По воспаленным провалившимся глазам видно, что люди давно забыли об отдыхе. Петров чаще обычного подергивает головой... Командующий флотом говорит генералу Петрову:

— Иван Ефимович, давай задание Жидилову.

— Садитесь, товарищ полковник, и слушайте,— приглашает Петров и вынимает из планшета исчерченную карту.— Впрочем, вы и без карты знаете каждый куст, каждый бугор. Вот станция Мекензиевы Горы. Пехота и танки противника вклинились здесь между Чапаевской и Девяносто пятой стрелковыми дивизиями, рвутся к Северной бухте. Положение угрожающее. Необходимо ликвидировать прорыв, отрезать вклинившиеся вражеские части и уничтожить их. На вас лично,— генерал делает ударение на слове «лично»,— с двумя батальонами, артиллерийской и минометной батареями возлагается выполнить эту задачу во взаимодействии с Чапаевской дивизией. Исходный рубеж для наступления — огневая позиция 30-й береговой батареи. Завтра к исходу дня вы должны выйти к виадуку у отметки 10,0, где встретитесь с частями Чапаевской дивизии, которая будет наступать от кордона Мекензия № 1. На время этого боя вы поступаете в оперативное подчинение к командиру четвертого сектора полковнику Капитохину...»

С утра 11 июня во исполнение этого приказа группа Жидилова перешла в наступление. Бои были тяжелые. Наступать приходилось против превосходящих сил противника. С большим трудом продвигались батальоны вперед. Очень часто вспыхивали рукопашные схватки. Несли потери наступающие, погиб командир 3-го батальона, погибли несколько командиров рот и политруков рот. Но бойцы все же продвигались вперед.

К вечеру батальоны залегли под сильным огнем. И тогда командир бригады полковник Жидилов пошел в 3-й батальон, где погиб командир батальона, а военком Ищенко пошел во 2-й батальон. Несмотря на сильный огонь, они все же подняли бойцов в атаку. Батальоны овладели дорогой северо-западнее станции Мекензиевы Горы, не-

много не достигнув того рубежа, который был указан в приказе Петрова.

С утра 12 июня батальоны Жидилова опять продолжили наступление и все же выполнили задачу, поставленную командармом. В этом бою группа Жидилова потеряла половину своих бойцов и командиров.

На северной стороне враг упорно продолжал атаковать. Особенным мужеством отличалась зенитная батарея под командованием старшего лейтенанта И. С. Пьянзина. Она стояла на высоте юго-западнее станции Мекензиевы Горы. Несколько дней батарея отбивала танки и пехоту прямой наводкой из зенитных пушек. Иван Ефимович знал и следил за труднейшими боями этой батареи, позднее он сам мне рассказывал о них, просил написать подробнее, что я и сделаю несколько ниже.

К многим трудностям прибавилась еще одна. От жары и палящего солнца в нейтральной зоне начали разлагаться трупы, которые не успевали убирать фашисты. Ветер приносил в окопы страшный смрад. В жарком воздухе стоит такой тошнотворный дух, что от него некуда спастись. Солдаты, всегда отличающиеся хорошим аппетитом, не могут ничего есть, не прикасаются к пище.

К 15 июня в соединениях осталось совсем мало бойцов: 95-я и 345-я дивизии имели не больше четверти штатного состава, в 79-й бригаде, если свести все подразделения вместе, набралось бы не больше одного батальона.

17 июня противник нанес сильный удар в районе четвертого сектора и, несмотря на сопротивление остатков частей Капитохина, все же вышел к берегу моря, отрезав, таким образом, остатки частей Капитохина и береговую батарею № 30.

Вот тут произошел один эпизод, выделяющийся даже на фоне всей героической обороны Севастополя.

30-я батарея была блокирована со всех сторон. В ее казематах осталось около двухсот человек. Будучи блокированной, батарея продолжала вести огонь и к 18 июня расстреляла все снаряды какие были в запасе.

Личный состав укрывался в подземных сооружениях и вел борьбу под руководством командира майора Г. А. Александера и военного комиссара старшего политрука Е. К. Соловьева. Ночами под руководством командиров батарейцы даже совершали вылазки наверх и уничтожали врага.

До полка пехоты противника, два саперных батальона, танки и артиллерия пытались захватить батарею, но, как только они приближались, бойцы открывали огонь из амбразур. Фашисты пытались задушить их, забивали все отверстия камнями, засыпали их песком. Это привело к тому, что дизели заглохли, подземные помещения остались во мраке. К концу разъяренные фашисты стали пускать в казематы батареи ядовитые дымы. От этих дымов прежде всего погибали раненые. Через несколько дней Александер принял решение прорваться с личным составом, но не в сторону Севастополя, который был отрезан противником, а в сторону гор и уйти к партизанам.

На батарее уже не было ни воды, ни продуктов, кончались боеприпасы. Верный друг командира комиссар Соловьев был ранен. Не имея возможности пробиваться к партизанам и не желая быть обузой, он остался на батарее и в последний момент застрелился.

Трагически завершилась короткая жизнь Александера. Ему удалось с группой бойцов выбраться с батареи через канализационные каналы. Они попытались пробиться к партизанам, но были обнаружены гитлеровцами. Начался ближний бой, в котором часть людей погибла, а часть была взята в плен, в том числе и Александер. Его отправили в тюрьму в Симферополь. Фашисты не раз ему пред-

лагали перейти на сторону немцев, но Александер отказывался. Его стали зверски избивать и в конце концов убили.

Тем временем на 30-й батарее еще держались остатки раненых. Они задраили тяжелую дверь и не сдавались немцам. Фашисты просверлили в двери отверстия и стали травить защитников ядовитыми дымами. Заняли батарею, когда на ней никого в живых не осталось.

Несмотря на все трудности, Большая земля и флот помогали Севастополю: с 13 по 17 июня были доставлены 138-я стрелковая бригада и маршевое пополнение общей численностью более шести тысяч человек. Эта помощь стоила очень дорого: в севастопольском порту был потоплен транспорт «Абхазия». Обычное комфортабельное пассажирское судно успело сделать шестнадцать рейсов только в Севастополь, доставив сотни тонн боеприпасов и увозя тысячи раненых. От прямых попаданий бомб затонул миноносец «Свободный». Несколько километров не дошла до севастопольских причалов красавица «Грузия»: «юнкерсы», прорвав прикрытие наших истребителей, потопили ее на глазах у ожидавших защитников. Солдаты пополнения вплавь добрались до берега, а 500 тонн снарядов, которые были нужны как воздух, пошли на дно.

Но моряки все же продолжали попытки прорваться к Севастополю. 16 июня пришел крейсер «Молотов», доставив остатки 138-й бригады и 600 тонн снарядов. Всю ночь шла разгрузка и погрузка — даже раненых носили только бегом. Разгрузившись и приняв за ночь на борт две тысячи раненых и тысячу женщин и детей, крейсер ушел на рассвете в сопровождении эсминца «Безупречный».

Как и в предыдущие ночи, 17 июня у командующего флотом адмирала Октябрьского состоялось очередное совещание. Генерал Петров сообщил обстановку и отметил особенно тяжелое положение на северной стороне в районе четвертого сектора, где противник отрезал остатки полков 95-й стрелковой дивизии. Капитохин с этими остатками может продержаться не больше двух-трех дней.

Петров предлагал утром 18 июня произвести контратаку силами 138-й стрелковой бригады и 345-й стрелковой дивизии в направлении балок Графской и Сухарной, чтобы помочь Ласкину и Капитохину.

На юге в первом секторе противник тоже потеснил наши части, и Петров был вынужден здесь несколько сократить линию фронта для того, чтобы более прочно удерживать этот участок.

По предложению Моргунова был разработан план помощи 30-й батарее: используя контратаку, подготовленную генералом Петровым, небольшая специальная группа должна была выручить из блокады тех, кто еще оставался на батарее.

После совещания генерал Петров тут же уехал на свой командный пункт, чтобы за ночь подготовить запланированные мероприятия. К утру было сделано все необходимое для обеспечения контратаки. Однако, как только она началась, наши части были встречены сильнейшим огнем противника. Попытки, предпринятые для соединения с остатками 95-й дивизии и деблокации 30-й батареи, тоже успеха не имели. Противник был намного сильнее. У нас же был настоящий голод на боеприпасы. Находчивые моряки-водолазы решили из-под воды доставать снаряды с затонувшей «Грузии». Водолазов обстреливали из орудий, их бомбили с самолетов — только 18 июня на них было сброшено несколько сот авиабомб,— но моряки подняли и отправили в части 38 тонн боеприпасов!

Наши части за эти дни понесли огромные потери: только убитыми больше 7000 человек и ранеными более 14 000 бойцов и командиров. 172-я и 95-я стрелковые дивизии, по сути дела, сохраняли только свои номера. Мало, очень мало оставалось бойцов в траншеях! Не было и боеприпасов, на каждое орудие осталось не более двадцати снарядов.

20 июня на северной стороне оборона держалась только отдель-

ными опорными пунктами. Героически сражалась береговая — константиновская — батарея. Остатки ее защитников ночью на лодках пытались переправиться на южную сторону, но были обнаружены и почти все погибли. На батарее остались раненые во главе с также тяжело раненным комиссаром Кулиничем. Они подорвали боеприпасы, взорвали рубку управления и сражались с ворвавшимся противником до последнего. Озверевшие фашисты даже мертвого моряка с нашивками комиссара на кителе кололи штыками, а потом, истерзанного, повесили на сигнальной мачте.

Даже Манштейн, находясь сравнительно далеко от этих боев, ощущал их напряжение и жестокость:

«Особенно трудным оказывается выбить противника из его последних укреплений на северном берегу бухты. Для размещения боеприпасов и резервов Советы устроили в отвесных скалах глубокие штольни с бронированными воротами, которые были оборудованы для обороны. Их гарнизоны не думали о сдаче. Когда наши саперы приблизились к входу в первую из этих пещер, внутри каземата произошел взрыв, обрушился значительный участок скалистого берега, погребая противника, бывшего в казмате, а также группу наших саперов».

Не вдруг и не сразу произошел взрыв, о котором пишет Манштейн. В штольнях, о которых у него идет речь, осталось около 250 бойцов и рабочих арсенала. Возглавляли их начальник артиллерийского склада № 7 майор Н. К. Федосеев и политрук А. М. Вилор. 21 июня фашисты уже заняли высоту, под которой находились эти штольни, и попытались уничтожить арсенальцев. Наши забаррикадировались в штольнях и держались несколько дней. Их мучили жара и духота. Спасаясь от жажды, они вырыли колодцы и пили горько-соленую морскую воду, набиравшуюся в них. Кончилось продовольствие. С большим риском и осторожностью моряки ночами выбирались на берег и доставали продукты из затонувшего здесь неподалеку теплохода «Абхазия». Связи не было ни телефонной, ни по радио, и, следовательно, арсенальцы не могли получить приказ о том, как быть со штольнями. Они решили держаться до последнего.

К исходу 25 июня, как пишет Манштейн, два батальона противника и саперная рота начали штурмовать штольни. Казалось, что схватка кончится очень быстро, потому что защитников оставалось мало. Штурмующим удалось прорваться к первой штольне. Здесь у входа находился заведующий хранилищем краснофлотец А. К. Чикаренко. Он отстреливался от наседавших фашистов до последней возможности, после чего взорвал штольню. Обрушившийся грунт уничтожил до двух сотен фашистов.

Видя, что штольни неизбежно будут взяты одна за другой, Федосеев разрешил всем плыть ночью через бухту, а сам остался с небольшой группой бойцов. Он держался, пока мог, а в критический момент подорвал все, что находилось в штольнях, и сам погиб.

Так что не просто произошел взрыв, который погубил немецких саперов, как пишет Манштейн, а десять дней шли бои в этих штольнях и фашисты потеряли здесь несколько сот своих солдат и офицеров.

После того как части противника вышли к берегу бухты Северной, Петров создает новый четвертый сектор, уже на южном берегу этой бухты. В него входят: остатки 138-й стрелковой бригады (их объединили в один полк), остатки 95-й стрелковой дивизии, сводный полк из остатков 79-й бригады и сводный полк 345-й стрелковой дивизии. Петров поставил задачу этому новому сектору: не допустить высадку противника с северной стороны и прорыва его вдоль Симферопольского шоссе.

Остатки, остатки... От всего были теперь только остатки. Измученные, оглушенные непрерывными бомбежками и артобстрелом, голодные, страдающие от жары и жажды защитники Севастополя продолжали стоять насмерть. Они стойко выполняли все приказы

генерала Петрова и своих командиров, верили в них, ни на одном участке не возникло ни растерянности, ни паники. Величайшая организованность и дисциплина в такой труднейшей безвыходной обстановке были, конечно же, результатом воспитательной работы, ранее проделанной Петровым, командирами и политработниками армии и флота.

С рассветом 25 июня противник предпринял особенно сильные атаки на участке третьего сектора. Опять бесконечные бомбардировки и артобстрелы. А нашим частям уже практически невозможно было отвечать артиллерийским огнем — снаряды кончились. Только в этот день и только на этом участке третьего сектора фашистская авиация сбросила 3000 бомб.

27 июня танки противника ворвались в расположение частей 25-й стрелковой дивизии и в упор расстреливали наших бойцов. К исходу дня, прорвав оборону на участке 8-й бригады морской пехоты, противник овладел высотой Сахарная головка. Остатки частей 25-й стрелковой дивизии и 3-го полка морской пехоты отошли к станции Инкерман.

В этот день в районе Инкермана произошел взрыв огромной силы, который слышали и Петров и Манштейн на своих командных пунктах. Взрыв нанес гитлеровцам большие потери, завалив землей и камнями колонну танков и мотопехоты. До некоторого времени оставалось неизвестным, что там произошло. Петров помнил этот взрыв и после войны, в разговоре со мной, узнав, что я стал писать на военные темы, просил меня разузнать и рассказать, что там произошло. Он был уверен, с взрывом связан какой-то героический поступок. Я выполнил эту просьбу Ивана Ефимовича; позже я познакомлю читателей с подробностями этого дела.

Ночью 29 июня гитлеровцы под прикрытием дымовой завесы начали переправу на шлюпках и катерах через Северную бухту. Бойцы 79-й бригады и остатки экипажа бронепоезда «Железняк» открыли по этому десанту ружейно-пулеметный огонь. Но не было уже артиллерии и нечем было бороться с переправляющимся десантом.

А в эти же минуты артиллерия и авиация гитлеровцев просто свирепствовали над полем боя, подавляя тех, кто пытался отразить десант.

К середине дня частям 24-й пехотной дивизии немцев удалось переправиться через Северную бухту. Одновременно противник при поддержке сильнейшего артиллерийского огня и бомбардировок авиации перешел в наступление в направлении Федюхиных высот и Сапун-горы.

В 6 часов противнику удалось ворваться в окопы 386-й стрелковой дивизии. Произошел жаркий рукопашный бой. Бойцы сражались в своих траншеях героически, погибали, но не отступали.

Пытаясь хоть чем-то помочь защитникам на этом участке, Петров ввел в бой остатки 25-й стрелковой дивизии, 9-й бригады морской пехоты и 142-й стрелковой бригады, поставив им задачу приостановить продвижение противника в этом районе. Однако изменить что-либо эти совсем обессилевшие части уже не могли.

8-я бригада почти полностью погибла, получил тяжелые ранения ее командир полковник П. Ф. Горпищенко. Уцелевшие из 386-й дивизии отошли на хутор Дергачи, и их командир полковник Скутельник пытался здесь организовать оборону.

В течение второй половины дня 29 июня немецкая авиация продолжала яростно бомбить последние очаги обороны Севастополя. Она совершила 1213 налетов и сбросила более десяти тысяч бомб!

Утром 30 июня противник продолжал удары с воздуха и наступал по всему фронту, сосредоточив теперь усилия главным образом вдоль Ялтинского и Балаклавского шоссе. Манштейн рассчитывал: всех, кто еще способен держать оружие в руках, Петров направляет в район Северной бухты, поэтому удар с юга, на новом направлении, будет не

только неожиданным, но и неотразимым: нечем его тут отражать. Но находившиеся тут части держались мужественно и хотя отходили, но делали это организованно, с боями и без паники.

Фронт наших частей сузился, у противника оставалось все то же количество артиллерии, и поэтому, вполне естественно, поражающая мощь огня этой артиллерии усилилась еще больше.

Казалось, что на обожженной и изрытой снарядами и бомбами севастопольской земле уже не осталось ничего живого. Но на подступах к городу ее защитники все же еще стояли. Измученные, раненые, обгоревшие, забывшие о сне, отдыхе и пище бойцы и командиры продолжали оказывать сопротивление противнику. На правом фланге все еще держались 189-я стрелковая дивизия генерал-майора П. Г. Новикова и подразделения 9-й бригады морской пехоты полковника Н. В. Благовещенского. С тяжелыми боями они постепенно отходили, нанося при этом врагу большие потери.

На левом фланге две немецкие дивизии — 50-я и 132-я — теснили остатки наших частей. А на Малахов курган от берега Северной бухты наступали еще две дивизии гитлеровцев: 24-я и 22-я. Их сдерживали остатки 79-й стрелковой бригады, остатки артиллерийских и тыловых подразделений.

Малахов курган непрерывно подвергался сильнейшему артиллерийско-минометному обстрелу и ударам с воздуха. Капитан-лейтенант А. П. Матюхин, командир 701-й береговой батареи, которая находилась здесь, бил уже прямой наводкой из единственного уцелевшего орудия. И вот умолкло последнее орудие 701-й батареи. Но и на следующий день небольшая группа защитников Малахова кургана все еще продолжала сражаться.

Овладев этими последними позициями, фашисты вплотную подошли к городу Севастополю. Город пылал от не прекращавшихся в эти дни бомбардировок и весь был окутан черным дымом.

Вот какой подсчет приводит в своей книге «Военная история второй мировой войны» французский генерал Л. Шассен:

«За последние 25 дней осады Севастополя немецкая артиллерия послала на город 30 тысяч тонн снарядов, а авиация Рихтофена (поддерживавшая Манштейна.— *В. К.*) совершила 25 тысяч вылетов и сбросила 125 тысяч тяжелых бомб — почти столько, сколько английский воздушный флот сбросил к этому времени на Германию с начала войны».

Фронт не линия на карте, а люди

Я поставил перед собой задачу рассказать о жизни Ивана Ефимовича Петрова, поэтому не имею возможности подробно говорить о многих достойных людях, которые совершали подвиги в ходе этих боев. Петров обо всех героях знал. Он высоко ценил мужество и стойкость своих подчиненных и сам черпал силы в их стойкости и в своей вере в них. Это была одна из важных черт характера Петрова. Вот свидетельство Крылова, человека, очень хорошо знавшего Ивана Ефимовича:

«В самые трудные дни Севастопольской обороны Иван Ефимович возвращался из частей воодушевленным. Стойкость, мужество бойцов и командиров заряжали его новой энергией. И, должно быть, часто помогали как бы иными глазами взглянуть на оперативную карту, когда обстановка на ней сама по себе выглядела малоутешительно. Фронт для него всегда был не линией на карте, а прежде всего сплошной массой живых людей. В командарме, которого под Севастополем редкий солдат не знал в лицо, как бы концентрировалась их воля, твердость духа, общая решимость одолеть врага».

В 1954 году я окончил московский Литературный институт имени А. М. Горького. И в один из осенних дней навестил Петрова. Он тогда жил в Москве и занимал должность начальника одного из управлений Министерства обороны.

Хочу обратить внимание читателей на эту должность и на то, что именно Петров на нее был назначен. В послевоенные годы я работал в Генеральном штабе и знаю — шло обобщение опыта Великой Отечественной войны, создавались новые уставы Советской Армии. Не успели их создать и внедрить в боевую подготовку, появилось атомное оружие. Не было ни теории, ни практики его применения. Необходимо было создавать совершенно новые стратегию, оперативное искусство и тактику.

Об этой огромной и ответственной его работе я расскажу позднее, а сейчас возвращаюсь к намерению показать, что источник силы и вдохновения для Петрова был в солдатах и офицерах, которыми он командовал.

Петров в тот день расспросил меня об учебе в институте. Я рассказал о науках, которые мы изучали, о том, что в первый год моим творческим руководителем был Константин Федин, затем три года Константин Паустовский, а на выпускном курсе — Александр Чаковский, что защищал я диплом перед комиссией, возглавляемой Леонидом Соболевым.

Петров слушал меня не только внимательно, а с какой-то нескрываемой восторженностью, я чувствовал: имена писателей, которые называю, студенческая жизнь в стенах Литературного института звучали для него прямо как музыка. И это действительно было так. Иван Ефимович очень много читал, знал литературу глубоко, любил ее. Он сказал мне тогда искренно:

— Как я тебе завидую, Володя! Ты молодой и уже прошел большой путь, одна война чего стоит! Такой запас наблюдений и впечатлений очень полезен для писателя. Я вот не сумел реализовать в своей жизни небольшой, правда, но все же отпущенный мне природой дар — дар живописца. Пишу для отдыха, для души. Живопись — мое увлечение, отдохновение и радость. Жаль, что для этого приятнейшего дела у меня совсем нет времени.

Я видел картины Ивана Ефимовича, они написаны маслом, больше пейзажи. Написаны умело, почти профессионально. Умелость Петрова даже породила легенду о том, что он учился в Строгановском училище. Однако это не подтверждается ни разговорами, которые мне довелось с ним вести, ни его автобиографией.

Тогда, в том разговоре, Петров и высказал запомнившееся мне соображение, из-за чего я, собственно, и забегаю в 1954 год:

— Не помню точно слова Льва Толстого, но смысл их в том, что русский человек особенно ярко проявляется в обстоятельствах критических, он не падает духом даже в безвыходных ситуациях, находя в себе силы преодолеть их. В боях за Одессу и Севастополь, да и в других боях, я убедился в справедливости этого наблюдения Толстого. Обрати, Володя, внимание на эту очень важную, на мой взгляд, особенность нашего национального характера. Именно в труднейших испытаниях, когда у других опускаются руки и смертная обреченность сковывает способность действовать и мыслить, у русского, а теперь советского воина словно второе дыхание открывается, он бьется до последнего вздоха и, даже погибая, своим бесстрашием наносит поражение врагу, потому что, видя эту несгибаемость, враг теряет уверенность в себе в дальнейших боях. Если ты когда-нибудь будешь писать про севастопольцев, то найдешь сотни ярких примеров, подтверждающих это. Вот хотя бы история защитников одиннадцатого дзота, или батареи Пьянзина, которая била из зениток по танкам, или вот загадочный взрыв складов, который погубил много фашистов и техники. Об этом взрыве до сих пор еще подробно не рассказано. — Иван Ефимович тепло и добро посмотрел на меня.— Я всегда помнил, фронт — это не линия на карте, а живые люди, каждый со своими особенностями, мечтами и судьбой. Тебя, Володя, на войне смерть не

коснулась, но погибших не забывай, пиши о наших замечательных солдатах и офицерах, они должны навсегда остаться живыми в памяти нашего народа.

Работая над этой книгой, я разыскал слова Толстого, о которых вспоминал Иван Ефимович. Любопытно, что запомнившееся Петрову суждение содержится не в художественных текстах, а в дневнике Льва Толстого, значит, Петров знакомился с творчеством великого писателя не только по широко известным произведениям, но читал и дневники его.

В тот день генерал Петров в разговоре со мной привел три примера героизма севастопольцев. Я понимаю — он мог бы назвать еще многие другие, но поскольку он упомянул эти, я решил разыскать живые свидетельства именно о них.

Работая в Севастополе, собирая материалы, общаясь с людьми, я постоянно ощущал «быстрое обращение крови в жилах», которое, как сказал Лев Толстой, охватывает каждого ступившего на эту священную землю. И действительно, имел я дело с людьми необыкновенными, с подвигами — прекрасными.

Легендарный 11-й дзот находился на высоте западнее деревни Камышлы. Теперь от дзота осталось только основание — котлован, облицованный камнями. Рядом стоит белый обелиск, на который нанесены имена защитников этого дзота. Одно имя стерто — Григорий Доля оказался жив. Вот его я и разыскал. Мы с ним приехали на это место, и я стал расспрашивать Долю о бое, который тут шел, его товарищах. Сначала я попросил его обрисовать, как выглядел дзот.

— Дзот был деревянным, сложенным из бревен, с перекрытием, имел три амбразуры — левую, центральную и правую. В центральной стоял станковый пулемет, а через боковые амбразуры мы наблюдали и вели огонь из автоматов. Нас было семь матросов: командир дзота Сергей Раенко, Дмитрий Погорелов — пулеметчик, Алексей Калюжный — тоже пулеметчик, Володя Радченко, Василий Мудрик, Иван Четвертаков, ну и я.

— Вы единственный, кто знает не только их фамилии, но и видел их живыми. Расскажите, пожалуйста, как они выглядели, опишите их внешность.

— Сергей Раенко был среднего роста, волосы светлые, голубоглазый, веселый такой парень. Очень ему морская форма шла. Дмитрий Погорелов — плотный, здоровый. Он и до войны еще был связан с морем, строил корабли в Николаеве. Алексей Калюжный был высокого роста. Он кировоградский, отец его и сейчас живет в Кировограде, а сам Алексей до войны работал трактористом в колхозе. Василий Мудрик был совсем молодой, тоже высокого роста, симпатичный паренек, украинец из Горловки. Иван Четвертаков оттуда же, с Украины, приветливый, открытый, душевный парень. Радченко — веселый, подвижный, неугомонный, очень энергичный. Глаза, помню, у него были голубые. Он шахтер по профессии. Мы очень сдружились в боях, полюбили друг друга, хотя, конечно, об этом не говорили. Называли друг друга братишка. «Братишка, сделай то! Братишка, помоги, пожалуйста!» Вот так мы в этом дзоте и жили одной семьей.

— А кто был ваш самый близкий друг?

— Самым близким был Дмитрий Погорелов. Он был старше меня на год. Мы с ним особенно сошлись, никуда друг без друга. Существовал у нас такой порядок: каждый по очереди на сутки назначался бочковым. Бочковой — это тот, кто должен был в эти сутки обеспечивать дзот водой. Дело в том, что здесь, на сопке, воды-то не было и надо было ходить вниз, к ручью. А идти вниз — это, значит, и на засаду можно напороться и обстреляют тебя. Поэтому нужно

было прикрывать друг друга. И вот когда я был бочковым, то всегда со мной ходил Дмитрий Погорелов. И я знал, он прикроет меня так, как это нужно. И он меня ни разу не подвел. Так же как и я его.

— Расскажите, пожалуйста, о том, как вы отбивали генеральное наступление фашистов семнадцатого декабря.

— Мы знали, нас предупредили, что оно должно начаться в эти дни. Все подготовили заранее: воду для пулеметов, для себя, продукты НЗ пополнили. В общем, ждали. И вот началась артиллерийская и авиационная обработка. Били беспощадно. Я начал было считать, сколько снарядов поблизости от нас разорвалось. Насчитал четыреста пятьдесят разрывов самых близких и бросил. А вообще тут все гудело, и земля не успевала осыпаться вниз после того, как ее вскидывали разрывы вверх. Ну, мы вели наблюдение через амбразуры. Ждали, что вот-вот кинутся гитлеровцы. Так оно и случилось. Мы-то не очень их боялись, поэтому подпустили поближе, чтобы бить наверняка. И когда уже их было отчетливо видно, тут и чесанули из пулемета и автоматов. Они лезли отчаянно. И вот в то время, когда мы отбивали их с фронта, они где-то справа от нас просочились по кустам и подошли вплотную. Близко подошли, стали забрасывать нас гранатами. Выскочили из блиндажа Раенко, Мудрик, Калюжный и я. Из автоматов начали отбивать наседающих фашистов. А Погорелов остался у пулемета. Он отбивал тех, которые спереди на нас лезли. Когда мы отбивались в траншее, нас все время гранатами забрасывали, мы успевали некоторые назад выбросить, а некоторые не успевали. И вот разрывами ранило Васю Мудрика в голову, потом Погорелов высунулся, хотел узнать, как у нас дела,— и его ранило. Калюжного ранило. Видим, много в кустах накопилось гитлеровцев. Погорелов вынес пулемет «максим» на открытую площадку. Ну и как следует мы из «максима» все эти кусты прочистили. В общем, удержались до ночи. По сути дела, из всего нашего отделения остались только я да Погорелов более или менее здоровыми, остальные все были ранены. Ночью мы все время прочесывали местность, и я бросал гранаты. Я здорово бросал — на пятьдесят — шестьдесят метров мог забросить. Я еще ходил по траншее и из разных мест стрелял из винтовки, чтобы показать, вроде нас много. Несмотря на ранения, никто из ребят из дзота не ушел. Так мы продержались до девятнадцатого декабря. Были уже не по одному разу ранены. Фашисты кричали нам из кустов: «Рус, сдавайся!» Но мы ж моряки, у нас закон боя — никто живым не сдается! Мы уже и ориентировку потеряли, то ли день, то ли ночь, все время взрывы, треск стрельбы. Казалось, что все время было темно. Когда подошло к тому, что мы уже понимали — наверное, нам отсюда не уйти, Алексей Калюжный вот тогда и написал записку. Теперь эта записка известна всей стране. А тогда он так в стороночке в блиндаже примостился и на обрывке бумаги своей кровью написал.

— Вы помните слова этой записки?

— Конечно, я никогда их не забуду: «Родина моя, земля русская, я сын Ленинского комсомола, его воспитанник, дрался так, как подсказывало мое сердце... Моряки-черноморцы, держитесь крепче, уничтожайте фашистских бешеных собак. Клятву воина я сдержал». И подписал: «Калюжный». В общем, мы не отошли с одиннадцатого дзота ни шагу. Все ребята погибли. Вот теперь их имена на обелиске, а они сами здесь, под этим обелиском, похоронены.

— А как вам удалось уцелеть?

— Случайно, просто чудом, можно сказать. В один из часов наш дзот опять обложили со всех сторон гитлеровцы и забрасывали гранатами. Некоторые гранаты попадали и в амбразуру. Ну, я и Погорелов, мы еще более или менее держались на ногах, выбрасывали назад в амбразуру эти гранаты. Но вот я одну выбросил, и вдруг влетает еще одна, такая, знаете, с длинной деревянной ручкой, она ударилась

о колесо пулемета и закрутилась. Я кинулся к ней, а в это время еще одна влетела в амбразуру — и прямо на пол. Вот эту-то я схватить не успел — рвануло! Мне руку здорово повредило. Погорелов, помню, только спросил: «Что, брат, крепко тебя?» Я говорю: «Да, крепко». Быстро, как смогли, сделали мне перевязку, а кровь шла очень сильно. Многие уже к тому времени умерли. Скоро и друг мой Дмитрий скончался, я сам его и похоронил здесь вот, неподалеку. Вот в это самое время и пришли на помощь матросы из Семьдесят девятой бригады Потапова, которая прибыла десантом, на кораблях. Очень вовремя! Ну, отправили меня в госпиталь, лечился я. После излечения опять в Севастополь попал. Сам просился. Прибыл сюда в апреле месяце. Друзей своих уже никого в живых, конечно, не нашел. Теперь я часто прихожу сюда, к моим братьям. Я буду их помнить всю жизнь, и народ наш их никогда не забудет.

В те минуты, когда Доля, участник и свидетель тех легендарных дел, рассказывал мне о них, я испытывал особое волнение. Есть выражение «прикосновение к истории» — вот это и был тот случай.

...На одной из высот, уже в непосредственной близости к городу, стоит еще один обелиск. Это память о подвиге людей, которые здесь сражались. Сделан он из зенитных пушек батареи старшего лейтенанта Ивана Семеновича Пьянзина. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Я разыскал командира дивизиона, в который входила его батарея, ныне полковника запаса Евгения Андреевича Игнатовича. В те далекие дни он был очевидцем подвига батареи. Мы приехали с Игнатовичем на огневые позиции, обошли их, осмотрели. На большой плоской высоте, поросшей кустарником и травой, темнеют остатки блиндажей, огневых позиций — все это оплыло от дождей и теперь не похоже на грозный для врагов бастион.

— Здесь стояла артиллерийская батарея Ивана Семеновича до третьего, решающего штурма Севастополя. Восьмого июня батарея со всех сторон была окружена фашистами.

— А как располагалась батарея? — спросил я.

— Вот видите остатки окопов — это огневые позиции: одна, вторая, третья, четвертая. Это места, где находились орудия.— Евгений Андреевич показал на сохранившие очертания круглые площадки для зенитных пушек.— А вот большой котлован — здесь находился командный пункт, в котором располагался старший лейтенант Пьянзин. Вход был вот отсюда: вот в этот проем. Надо сказать, что до восьмого июня, до того момента, как батарея была окружена, Пьянзин еще не был командиром батареи. Ею командовал тоже очень смелый и храбрый офицер Герой Советского Союза Николай Андреевич Воробьев. Восьмого июня он был смертельно ранен осколком снаряда. Вот тогда-то я как командир дивизиона и назначил Пьянзина командиром батареи. Назначить-то назначил, но он находился рядом со мной, а батарея его в окружении. Так я ему и сказал: «Вот ты, командир, здесь, а батарея твоя там, давай пробивайся к своим подчиненным». Дал ему двух матросов для помощи. В ночь на одиннадцатое июня он туда пробился и по радио мне доложил: «На батарею прибыл, в командование вступил. Пьянзин». На рассвете их сильно бомбила авиация, обстреливала артиллерия, потом гитлеровцы пошли в атаку — примерно батальон. Они эту атаку отразили. У Пьянзина были хорошие, смелые помощники: командир орудия Иван Стрельцов, пулеметчик Пустынцев, пулеметчик Танич, старшина батареи Шкода. В общем, до двенадцати часов они отражали атаки, и немцы остановились, стали окапываться на скатах высоты метрах в трехстах — четырехстах отсюда. Воспользовавшись небольшой передышкой, Пьянзин и политрук этой батареи Уваров, его называли комиссаром бата-

реи, провели партийно-комсомольское собрание. Тогда уже были большие потери на батарее, поэтому собрались вместе коммунисты и комсомольцы. Они, как это было в то время во многих подразделениях Севастополя, приняли решение-клятву. Я и сейчас помню слова этого решения-клятвы: «Будем держаться до последнего снаряда, до последнего патрона, не будет патронов — будем уничтожать фашистов в рукопашном бою. Погибнем все, но защитим Родину и не пустим фашистов в родной Севастополь».

Тринадцатого июня фашисты, подтянув новые силы, бросили на эту высоту десять танков, свежий батальон и остатки того, который наступал здесь прежде. А в батарее осталось около тридцати человек, израненных, обессилевших. И все же они сдержали превосходящего врага. Из зенитных орудий артиллеристы били по танкам прямой наводкой довольно успешно. Было подожжено несколько вражеских машин. Однако в середине дня фашистам удалось ворваться сюда, на огневую позицию. Завязалась рукопашная. Вот тогда я получил по радио от Пьянзина такую радиограмму: «На батарее полно фашистов и фашистские танки. Веду огонь по танкам из противотанкового ружья. Отбиваться нечем и некем. Открывайте огонь по нашей батарее. Вызываем огонь на себя».

— Это был ваш последний разговор с Пьянзиным?

— Нет, это был мой предпоследний с ним разговор. Я спросил его по радио: «Не спешишь ли ты, Ваня?» Он ответил: «Нет, не спешу, открывайте огонь немедленно!» Трудно было решиться на это — стрелять туда, где свои, но мы понимали, какое у них безвыходное положение, и открыли огонь двумя батареями по этой высоте. Мы уничтожили этим огнем много фашистов, но, конечно же, нас не покидала мысль и о том, что наши снаряды могут попасть и по умирающим боевым товарищам. Мы считали, что они погибли. И вот через тридцать минут я вдруг опять слышу голос Пьянзина по радио, это уже были его последние слова: «Прощайте, товарищи. Добывайте победу без нас. Погибаем за Родину, за партию. Пьянзин». Было ему тогда всего двадцать два года. Родился он на Урале, окончил Севастопольское зенитно-артиллерийское училище. Сбил огнем из своего орудия один из первых фашистских самолетов, появившихся над Севастополем утром двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года. Высокий, стройный, русоволосый, хороший спортсмен. Человек отзывчивый и добрый к своим боевым друзьям, беспощадный и несгибаемый по отношению к врагам. Таким навсегда он останется в моей памяти.

Помнил его, как я уже говорил, и генерал Петров.

...Я разыскал в Севастополе еще одного удивительного человека, упомянутого Иваном Ефимовичем. Он совершил свой подвиг в последние часы обороны Севастополя. Теперь все экскурсоводы рассказывают о нем туристам, приезжающим в Севастополь.

По дороге от города к Инкерману есть гора, осевшая будто от сильнейшего землетрясения, ее называют скала Саенко. Обычно имя, которое носит корабль, или институт, или вот эта скала, воспринимается нами как имя человека, уже ушедшего в прошлое, ставшего историей. И вдруг я узнаю — Саенко жив! Живет здесь, на окраине Севастополя. Добыв его адрес, еду знакомиться.

Через Северную бухту я переправился на небольшом катере. Он здесь вроде трамвайчика, перевозит жителей Северной стороны в Севастополь и обратно. Бухта эта та самая, к которой многие месяцы рвался Манштейн, не считаясь с потерями. На Северной стороне я сел в автобус и поехал в поселок Бартеньевка, нашел нужный дом с садиком и открыл калитку. За калиткой я сразу же остановился от неожиданности. Под оплетенным виноградом навесом, освещенный солнцем,

стоял и смотрел на меня живой Лев Толстой: седая борода до пояса, белые усы, кустистые брови. Только этот Толстой был в майке без рукавов и телом покрепче, помощнее и глаза у него были не суровые, а голубые, добрые. Так мы познакомились с Прокофием Павловичем Саенко.

Я рассказал ему, зачем приехал. Тут же, в винограднике, мы присели к столу. Прокофий Павлович срезал с кустов крупные гроздья спелого винограда и положил на блюдо. Я смотрел на него, и мне все не верилось, что это тот самый человек, о котором в сорок втором году уже ходили легенды. Помнят Саенко не только соотечественники, даже много повидавший и повоевавший фельдмаршал Манштейн написал позже в своих воспоминаниях такие слова:

«Здесь произошла трагедия, показавшая, с каким фанатизмом боролись большевики... Когда наши войска ворвались в населенный пункт Инкерман, вся скала за населенным пунктом задрожала от чудовищной силы взрыва. Стена высотой примерно 30 метров обрушилась на протяжении примерно 300 метров».

Да, в том далеком теперь 1942 году даже до Манштейна (а мы знаем, как далеко находился его КП!) донесся гром этого взрыва. Только Манштейн не написал правду, что же именно тогда произошло. А случилось вот что. От взрыва колоссальной силы погибло несколько сот фашистов и несколько сот танков, орудий, автомобилей, которые были завалены огромной рухнувшей стеной на протяжении более трехсот метров.

И сделал это Саенко.

Прокофий Павлович, как многие сильные люди, человек обстоятельный, неторопливый. Он и разговор повел не спеша, издалека, с самого начала:

— В годы гражданской войны, как вы знаете, косил народ сыпной тиф, вот и мои мать и отец почти разом один за другим умерли от тифа. Было мне тогда одиннадцать лет. С той поры я стал самостоятельным, сам пахал, косил, молотил. Жил я на Херсонщине и, как только стали создаваться первые колхозы, сразу же вступил в колхоз, стал колхозным конюхом. В тысяча девятьсот двадцать девятом году пришло мне время идти служить в армию. Попал я на флот. Служил краснофлотцем на крейсере «Красный Кавказ». Служилось мне хорошо, радостно. Для сироты дружная семья матросов стала настоящим домом. И когда я закончил свою срочную службу, а служили в те годы на флоте долго, семь лет, мне не захотелось увольняться. Остался я на сверхсрочную. Грамотешка у меня была небольшая, но в армии кое-чему научился. А тут наш командир, желая помочь, послал меня учиться на курсы командиров. В тысяча девятьсот тридцать девятом году я закончил эти курсы, и мне было присвоено звание техника-лейтенанта. Получил я назначение в Севастополь, в артиллерийское управление, стал начальником отдела хранения артиллерийских боеприпасов. Склады были в Сухарной балке. Находились боеприпасы не только в подземных хранилищах, но штабелями лежали на площадках на поверхности. Когда произошло нападение фашистов на нашу страну, начались налеты фашистской авиации, надо было боеприпасы, которые хранились открыто, куда-то спрятать. Стали искать место. Наиболее подходящими оказались штольни. Это недалеко от Инкермана. Штольни давние. Здесь добывали белый камень. Из такого камня построены очень многие красивые дома в Константинополе, Афинах, Риме, Неаполе. Да и наш Севастополь почти весь выстроен из этого камня. Вот в эти пустые штольни и стали свозить боеприпасы. А потом, когда уже фашисты подступали к Севастополю и было ясно, что будет долгая битва за город, нам привозили запасы, и мы их тоже складывали в штольни. Я был начальником хранилища. Свезли сюда очень много — больше пятисот вагонов. Машины с боеприпасами заходили прямо в штольню, и мы их

тут же разгружали. Работа была адская, ящики с боеприпасами, сами знаете, какие тяжелые. Работали мы день и ночь, до полного изнеможения.

— Вам надо было, наверное, не только разгружать и складывать, но и охранять? Ведь фашисты знали, наверное, о таком большом складе боеприпасов? — спросил я Прокофия Павловича.

— Конечно же, знали, они пытались даже нас захватить. Я вам об этом еще расскажу. Так вот, в июне бои приблизились к нам уже вплотную. Фашисты подступили к Инкерману. Меня вызвал контр-адмирал Заяц, мой бывший командир на крейсере «Красный Кавказ», а в ту пору он был уже контр-адмиралом и начальником тыла флота. Он сказал: «По решению Военного совета, товарищ Саенко, придется ваше хранилище и боеприпасы взорвать. У тебя почти пятьсот вагонов боеприпасов и пороха. И если они попадут в руки фашистов, все это будет обращено против нас же. Понимаешь?» Я, конечно, понимал. И сказал, что ни в коем случае не допущу, чтобы боезапасы попали в руки противника. Адмирал посмотрел на меня очень участливо. Мы же с ним старые знакомые, он всегда меня хорошо помнил. И он стал мне подсказывать: «Взорвать такое количество боезапасов не так просто — ты же и сам можешь погибнуть. Нужно все как следует рассчитать. Взрыв будет очень большой силы — успеешь ли ты унести ноги, Прокофий Павлович?» Ну, я заверил адмирала, что дело не во мне, а в том, чтобы не допустить захвата такого огромного количества боезапасов. На прощание адмирал обнял меня, попрощался.

— Скажите, Прокофий Павлович, а почему обязательно нужно было взорвать боезапасы с таким риском, разве нельзя было все подготовить к взрыву и уйти, чтобы взрыв произошел, когда уже ни вас, ни всех, кто обслуживал этот склад, не будет в штольнях и поблизости?

— Дело в том, что нельзя было сразу взрывать, к нам все время приходили и подъезжали на машинах грузчики, офицеры, команды из воинских частей. Они брали боеприпасы, которые им необходимы были для ведения боя. Вот в том-то и была трудность, что нельзя было взорвать раньше: свои же останутся без патронов! А опоздаешь подорвать — могут оказаться поблизости фашисты и не допустить взрыва. Я все время прислушивался к бою: где он происходит. И вот взрывы и треск автоматов и пулеметов постепенно приближались. И настал день, когда мы уже стали слышать стрельбу позади нас. Связи телефонной с частями уже не было. Послал я красноармейца узнать: есть ли еще кто впереди нас? Но красноармеец не вернулся, видно, погиб, а может быть, и попал в лапы фашистов. Послал я другого разведчика, он вернулся не один и говорит, что впереди никого нет, вот встретил только этого бойца, который отбился от своей части. И что-то мне он стал подозрительным, тот боец. А когда заговорил, мне показалось, что и по-русски он говорит нечисто. Мы его обыскали и обнаружили у него под красноармейской одеждой немецкое обмундирование. Мы допросили этого лазутчика, и он сказал, что послана специальная группа для того, чтобы не допустить взрыва и захватить арсенал. Вместе с нашим контрразведчиком капитаном Зудиным мы проверили весь личный состав, который работал в штольнях, прочесали окрестности и изловили еще нескольких переодетых немцев из этой группы.

После этого я сам пошел в Инкерман, где находился, как я знал, штаб Двадцать пятой дивизии, командовал ею Коломиец. Когда я зашел в блиндаж, командир дивизии сидел за столом, держась руками за голову. Я спросил его: «Как обстоят дела?» Он сказал коротко: «Все погибли, в живых почти никого не осталось, но будем держаться сколько сможем». Дивизия держалась еще четыре дня. До этого, зажигая определенные отрезки бикфордова шнура, я проверил,

сколько времени они горят. Уже все было подготовлено к взрыву, во все штольни проведен бикфордов шнур, присоединен к толовым шашкам и ящикам с порохом. Если по какой-то случайности шнуры погаснут, я, чтобы взрыв произошел наверняка, заложил в боеприпасы мины с часовым механизмом. И вот настал момент, когда мы уже сами увидели фашистов. Большая их колонна остановилась вдоль речки Черной, и солдаты выпрыгнули из автомобилей и танков, пили воду, умывались, плескались. А справа от нашей высоты вдоль ската стояла колонна танков.

Я не хотел рисковать всем личным составом и поэтому спросил: «Кто остается со мной добровольно?» Из тех, кто вышел вперед, я оставил старшего техника-лейтенанта Палея и рядовых Кондрашова, Брюшко и Гаврилюка. Вот впятером мы и остались, чтобы произвести взрыв, а весь остальной личный состав с капитаном Зудиным стал пробиваться к своим. Я говорю «пробиваться» потому, что к тому времени нас уже со всех сторон окружили немцы. Когда все ушли, я посмотрел на оставшихся товарищей и спросил, понимают ли они, что при взрыве мы можем погибнуть, не успеем далеко убежать. Они были согласны на такой крайний исход и ответили: «Погибнем все, но боеприпасы фашистам не дадим!» «Ну, тогда давайте начинать». Мы подожгли шнуры и побежали прочь от штолен через балку, на другую сторону. Шнуры были рассчитаны на восемнадцать минут горения. За эти восемнадцать минут мы успели отбежать метров на триста — четыреста. И вдруг раздался такой ужасный взрыв и так задрожала земля, что мне показалось, что она вообще перевернулась. Я упал и потерял сознание. Не знаю, сколько я пролежал, но очнулся оттого, что меня трясли за плечи и Кондрашов спрашивал: «Товарищ начальник, вы живы?» Я посмотрел вокруг и сначала не понял, что же произошло: все было вокруг бело, как будто выпал снег. И только потом я осознал, что это взрывом выбросило на поверхность белый камень, который превратился в пыль, и вот он осел и все стало белым.

Помогая друг другу, потому что все были контужены, мы побрели в сторону города и там стали пробираться к морю. Город был разрушен, всюду валялись убитые. Около одной из развалин я обнаружил знакомого мне директора завода шампанских вин Петренко, он был ранен. Я его взвалил на себя и вынес. В одном месте нас свои приняли за немцев и чуть не обстреляли. Ну, в общем, с большим трудом мы добрались до берега моря. Здесь отходили последние катера, баржи. Брали главным образом раненых. Я прыгнул на один из последних отходящих катеров, но не достал до борта и упал между катером и набережной. Меня выловили матросы и втащили на катер. Как потом выяснилось, я ушел вовремя: гитлеровцы объявили розыск меня... Да, после ущерба, который принес взрыв гитлеровцам, они с ног сбились в поисках виновника. Гестаповцы осматривали всех, кто оказался у них в плену. Они даже нашли похожего на меня человека...

Надо сказать, что Порфирий Павлович был рыжий, и вот они нашли похожего на него здоровяка, одели его во флотскую форму и привозили в места, где были сосредоточены наши пленные и гражданское население, показывали этого двойника и спрашивали: «Не видел ли кто-нибудь морского лейтенанта, похожего на этого человека?» Была обещана награда тому, кто его обнаружит. Но Саенко обнаружить, конечно же, не удалось, потому что в это время он уже был далеко.

— Как дальше сложилась ваша судьба, Прокофий Павлович?

— Я служил в других частях по своей специальности, по хранению и выдаче боеприпасов. Когда Севастополь был освобожден, я тут же вернулся в родной город.

Но на этом не кончаются испытания в жизни Прокофия Павловича Саенко. Судьба его сложилась трудно не только в годы войны. Вот уж, казалось, после увольнения настала пора отдохнуть от всего пережитого. Но не получилось так у Прокофия Павловича. В 1957 году он тяжело заболел, стало отказывать сердце. Может быть, это началось со стресса, когда он считал секунды над горящим бикфордовым шнуром, эти секунды тогда отсчитывало и его замиравшее сердце. В общем, случилось так, что он слег в постель и пять лет пролежал без движения. Иногда он по двое суток не приходил в сознание. Сердце делало очень мало ударов в минуту. Он задыхался, и никто ничем не мог ему помочь. Нет лекарств от этой болезни. Однажды, когда он находился в госпитале, начальник отделения показал ему свежий номер журнала «Огонек», в нем была статья о работах академика Бакулева. Врач сказал: «Вот единственный человек, который может тебе помочь. Но он далеко, в Москве. Пока у него все это экспериментальная работа». В госпитале Прокофия Павловича окружали больные-военнослужащие, которые знали о совершенном им подвиге в годы войны, они относились к нему с большим уважением, хотели помочь. И вот у кого-то возникла мысль: давайте напишем академику Бакулеву. И они написали коллективное письмо, рассказали о подвиге Саенко, о том, каким уважением он пользуется среди жителей Севастополя.

В декабре 1962 года, когда Саенко лежал уже шестой год в постели, вдруг пришел вызов из Москвы. Прокофия Павловича на носилках повезли в Москву брат и жена. Привезли в Москву, в 1-ю Градскую больницу. Пришел Бакулев, весело приветствовал Саенко: «А, севастополец прибыл? Нигде не застрял, как и в штольнях тогда не застрял». Саенко с грустной улыбкой ответил: «Ну, вот теперь-то уж, видно, я застрял окончательно». Академик подбодрил его: «Ничего, вызволим, не дадим тебе умереть, теперь медицина сильнее стала. Выберешься!»

В больнице Саенко тщательно обследовали. Не раз с ним беседовали и Бакулев и профессор Савельев. Они разъяснили ему, что с ним происходит. Александр Николаевич Бакулев сказал ему примерно так: «В сердце, как и в моторе, есть зажигание, которое дает ритм, подхлестывает, заставляет работать сердце. Это так называемый синусовый узел. И вот если этот узел ослаб, то восстановить его нельзя никакими лекарствами. Есть только одна возможность: создать дополнительную искусственную систему зажигания. У нас однажды был такой больной, и мы сделали ему операцию. Так что не беспокойтесь, Прокофий Павлович, мы и вам поможем».

Академик подбодрил моряка, но помочь ему было, конечно же, не так просто. Начались разработка и усовершенствование специального электростимулятора. Над ним работали и сам Бакулев, и Савельев, и специалисты-электронщики. И вот этот прибор, стимулятор, был создан. Он был небольшого размера, но внутри — целая электростанция, состоящая из нескольких батареек и генератора. Весил он 120 граммов и рассчитан был на три с половиной года работы. Саенко сделали сложную операцию и подсоединили датчики к его сердцу. Операцию делали Бакулев и Савельев.

— Как вы себя чувствовали во время операции? Ощущали какие-то изменения после операции? — спросил я Прокофия Павловича.

— К операции готовили меня три месяца. Бакулеву все не нравился прибор, что-то в нем, по его мнению, было еще ненадежно. Ну, вот пришел срок, когда все отрегулировали. Меня привезли в операционную, дали наркоз. Уснул я одним человеком, а проснулся совсем другим. Я просто не верил тому, что произошло. У меня было нормальное дыхание, я не задыхался, чувствовал прилив сил и даже боли в швах, которые остались от вскрытия грудной клетки, я не ощущал — до того мне было хорошо. Сердце мое билось ровно, дышал я

равномерно. Пришел меня навестить Бакулев, спрашивает: «Ну как?» Я говорю: «Я бы тех, кто сделал этот стимулятор, на руках носил, дорогой Александр Николаевич!» Все трудные дни после операции меня выхаживала моя жена, дорогая Вера Павловна. И вообще, если бы не она, я давно бы уже, конечно, помер. Ведь шесть лет, пока я лежал в постели, она от меня не отходила.

Я попросил Прокофия Павловича рассказать подробнее о Вере Павловне. Он немного подумал. В глазах его появилось не только какое-то особое тепло, но, как мне показалось, даже слезы. Бывает такое у пожилых людей.

— Познакомились мы в тысяча девятьсот тридцать пятом году. Пошел я как-то на берег в увольнение. Вот и встретились, разговорились. Хорошая она была девушка, но беда у нее случилась. Работала она в госпитале, в прачечной. И вот попала у нее рука в машину, и оторвало несколько пальцев. В общем, случилось так, что сначала я пожалел девушку, а потом и полюбил ее всей душой. И вот с тех пор мы вместе, не расстаемся. Не знаю, много ль я ей помог, но мне без нее не жить бы, она меня выхаживала не раз.

Слушал я Прокофия Павловича, смотрел на этого и сейчас еще большого и сильного человека, на его седую бороду, и казался он мне каким-то былинным героем.

Вот уже 16 лет живет Прокофий Павлович с батарейкой-стимулятором. После первой операции он с женой вернулся в Севастополь, и жизнь у них пошла веселее. Прокофий Павлович работал в саду, окапывал деревья, возился с огородом, обрезал виноград. Но счастье это длилось недолго: через полтора года стимулятор ослаб и снова надо было делать операцию. Саенко поехал в Москву, там его ожидали. Они уже знали, что пора менять батарейки. Сделали ему еще операцию, заменили стимулятор. И вот опять началась спокойная жизнь дома.

— В тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году я последний раз видел Бакулева,—грустно сказал Прокофий Павлович.— И в этот раз он меня осмотрел. Ну что же, говорит, моряк, очень хорошо, в понедельник я займусь тобой. А ночью его самого привезли с инфарктом! Это у него уже был, оказывается, не первый. А через несколько месяцев Александра Николаевича Бакулева не стало. Вот я, видите, живу, а какое у меня было положение? Абсолютно безнадежное. Меня он вытащил, спас, а его никто вызволить не смог. Профессор Савельев тогда сделал мне еще одну операцию. Поставил новую батарейку. С ней я дожил до тысяча девятьсот семьдесят первого года, а в семьдесят первом году еще одна операция и опять — новая батарейка, с которой я живу вот и посегодня.

У академика Бакулева в его рабочем кабинете под стеклом на столе лежало то самое письмо, которое когда-то написали моряки-севастопольцы с просьбой помочь Прокофию Павловичу Саенко. Бакулев всегда с гордостью показывал это письмо многочисленным гостям, и особенно зарубежным. Он гордился этим письмом и говорил: «Вот, смотрите, без печати, не служебный бланк, а простое обращение людей, в котором выразилась живущая в народе любовь к герою Отечественной войны, ветерану. Вот эта народная любовь помогла нам бороться за жизнь Саенко».

В Севастополе «кровь быстрее обращалась в жилах» не только от чувства гордости и ощущения близости к героической земле. Волнение охватывало и оттого, что в удивительное, счастливое время довелось мне быть на этой земле, когда еще живы герои, вершившие здесь подвиги! Очень памятное знакомство произошло на Сапун-горе. Только в наши дни можно встретить такого необыкновенного экскурсовода! Здесь работает в экскурсионном бюро Николай Евдокимович Ехлаков. Он бывший кадровый офицер, член партии с 1932 года. В Красной Армии служил с 1934 года, участвовал в боях на озере

Хасан, где был награжден орденом Красного Знамени. В период обороны Севастополя с августа 1941 года был комиссаром 7-й бригады морской пехоты, которую по фамилии командира называли жидиловской. Это он, когда ранило командира бригады, принял на себя командование, а Петров сказал, узнав об этом: «Не надо подбирать комбрига. Ехлаков справится». Знал и уважал боевого комиссара командарм! И Николай Евдокимович оправдал его доверие: четыре раза был он ранен в тех боях, но не ушел с передовой, оставаясь со своими бойцами до последнего. Только когда он в пятый раз был тяжело ранен, его вывезли из Севастополя на подводной лодке и отправили в госпиталь. После излечения он участвовал в боях до победы над фашистами и закончил войну штурмом Кенигсберга. Он и сегодня полон сил и энергии — хоть сейчас в строй!

Я видел, с каким вниманием слушают его люди — и стар и млад, приезжающие сюда на экскурсии. Ехлаков рассказывает им такие подробности и так описывает участников боев, как никто другой этого не сделает. Слушал и я его рассказ, смотрел прекрасную диораму «Штурм Сапун-горы». Ехлаков говорил о тех, кто был здесь изображен, как о хорошо ему известных, близких боевых товарищах. Показывая на картину, он говорил не только о том моменте, который был запечатлен здесь; он знал жизнь этих людей, их привычки, увлечения — в общем, из его повествования вставали перед нами живые люди. Это и Двигубский, закрывающий собой амбразуру дзота, и старший лейтенант Жуков, который ведет в атаку свою роту, и рядовой Якуненок, водрузивший штурмовой флаг на вершине Сапун-горы, и Илья Поликахин, поднявший через два года советский флаг над освобожденным Севастополем.

Вот такие или похожие на них прекрасные, мужественные люди окружали Петрова в те дни, и он любил их искренне, всей душой. Замышляя любую операцию, Иван Ефимович всегда думал, как бы поменьше потерять людей при ее осуществлении, а теряя их, что на войне неизбежно, тяжело переживал эти утраты. И переживания эти были всегда для него дополнительным грузом к тем тяготам, которые приносит война. Слава генерала, который ищет пути к победе с наименьшими потерями, шла за Петровым всю войну и сохранилась по сей день. Все, кто воевал под его командованием, единодушно подчеркивают это. Некоторые, не понимая бережности Петрова по отношению к людям, называли его мастером обороны. Это неверно, Петров умел и наступать. Это особенно наглядно проявится в боях за Кавказ и на Карпатах. Только наступал он, всегда думая о том, чтобы побольше сохранить людей. Линия фронта для него всегда состояла из живых людей, многих из которых он знал в лицо.

Последние дни...

Полководец не может своими усилиями, своим талантом придумать и осуществить такое, для чего нет соответствующих предпосылок в виде материально-технических возможностей и духовных способностей соотечественников, одетых в военную форму. Поэтому, говоря о больших заслугах генерала Петрова, я не забываю о том, что он не мог бы провести в жизнь самые блестящие решения, если бы не стоял во главе частей именно Советской Армии. Правда, наш промышленный потенциал проявился в севастопольской обороне — из-за того, что город был отрезан от Большой земли,— не в полную силу, но зато духовная, моральная прочность советских воинов была для Петрова надежной опорой. Это подтверждают завершающие бои за Севастополь.

Иссякли силы армии — не было боеприпасов, танков, самолетов, не приходили больше корабли со всем необходимым для обороны, все меньше оставалось людей, все уже становилась полоска земли между нажимающим врагом и морем. Вот уже и этот лоскуток земли

разорван в клочья и остатки защитников Севастополя бьются в последних очагах сопротивления. Командующий армией остался без армии. Она выполнила приказ: «Ни шагу назад!» Отдельная Приморская армия не отступила, не ушла из Севастополя. Многие его героические защитники, начиная с тех, кто встретил выстрелами группу Циглера в первые дни обороны, и кончая теми, кто оставил последний патрон для себя на двухсотпятидесятый день сражения, навсегда остались в севастопольской священной земле.

Уцелели немногие. Но борьба продолжалась на других фронтах, опыт и мужество севастопольцев были очень нужны. Не зря же сказал Верховный Главнокомандующий в своем приказе: «Самоотверженная борьба севастопольцев служит примером героизма для всей Красной Армии и советского народа».

30 июня на объединенном заседании Военных советов Черноморского флота и Приморской армии вице-адмирал Октябрьский прочитал телеграмму из Москвы, в которой разрешалось оставить Севастополь ввиду того, что исчерпаны все возможности для его обороны. Было принято решение вывезти из Севастополя хотя бы несколько сот человек командного состава. Для руководства войсками, еще ведущими бои, оставался генерал П. Г. Новиков.

Придя на свой командный пункт, Петров сказал Крылову:

— Вызовите весь командный состав дивизий и полков. Будем эвакуироваться.

Крылов не понял командующего. Петров добавил:

— Подробнее скажу на совещании. Мы уходим из Севастополя. Вы — со мной, на подводной лодке.

Крылов все еще не понимал:

— Как же так?..

— Мы с вами военные люди, Николай Иванович. Где мы нужнее, решать не нам. Поймите — это приказ. Пришлите ко мне Безгинова. Я продиктую ему последние мои распоряжения.

Дальше я передаю слово полковнику запаса Безгинову. Рассказывая о последних часах Севастополя, он сидел напротив меня, седой, строгий, подтянутый. Иногда он надолго замолкал, а рассказывая, глядел порой не на меня, а будто вглядывался в прошлое.

— Меня вызвал вечером Крылов, сказал: «Иди к командующему». Я вошел в комнату генерала, он говорит: «Пойдем прогуляемся».

Мы направились к выходу из нашего подземного убежища. Петров был мрачен и сосредоточен. Шли молча. У выхода стояла охрана. Был теплый вечер, неподалеку шла перестрелка, это наши части перекрывали немцам путь к Херсонесу.

Мы остановились на высоте, Петров послушал бой, голова его дергалась.

— Садитесь, будем писать приказ.

Я сел, развернул планшетку, приготовил бумагу.

— Пишите. «Приказ. Противник овладел Севастополем. Приказываю: командиру Сто девятой стрелковой дивизии генерал-майору Новикову возглавить остатки частей и сражаться до последней возможности, после чего бойцам и командирам пробиваться в горы, к партизанам».— Петров долго молчал. Больше ничего в приказ не добавил.— Идите отпечатайте, в восемнадцать ноль-ноль будет созвано совещание, вручим командирам дивизий.

Так я записал последний в обороне Севастополя приказ Петрова. Я отпечатал приказ, подписали его командарм Петров, член Военного совета Чухнов, начальник штаба Крылов. Приказ раздали командирам. Тут же были выданы пропуска, кому на самолет, кому на подводную лодку. Улететь могли немногие, было всего несколько самолетов. Кораблей не было. Командование флота считало бессмысленным посылать корабли, господство противника в воздухе было полное.

Безгинов умолк, ему явно нелегко было рассказывать об этих последних трагических часах...

Отдав последний приказ, Петров ушел в свой отсек. Он находился там один довольно долго. Член Военного совета Иван Филиппович Чухнов стал беспокоиться и, подойдя к двери, приоткрыл ее и заглянул. И вовремя! Если бы не чуткость этого человека, мы лишились бы Петрова. В тот момент, когда Чухнов приоткрывал дверь, Петров, лежа на кровати лицом к стене, расстегивал кобуру. Чухнов быстро вошел в комнату и положил руку на плечо Петрова.

Некоторое время они оба молчали. Потом Чухнов спросил:

— Фашистам решили помочь? Они вас не убили, так вы им помогаете? Не дело вы задумали, Иван Ефимович. Нехорошо. Насовсем, значит, из Севастополя хотели уйти? А кто же его освобождать будет? Не подумали об этом? Вы и никто другой должны вернуться сюда и освободить наш Севастополь.

Петров сел. Глаза его блуждали. Он поискал пенсне, чтобы лучше видеть Чухнова, но не нашел, порывисто встал, одернул гимнастерку, поправил ремни и застегнул кобуру.

В 2 часа ночи 1 июля Петров с членами Военного совета Чухновым и Кузнецовым, начальником штаба Крыловым, своим заместителем Моргуновым, сыном Юрием и другими работниками управления армии пошел на подводную лодку. Иван Ефимович сказал шагавшему рядом Моргунову:

— Разве мы думали, что так завершится оборона Севастополя!

Моргунов промолчал.

Когда вышли из подземного хода, их встретило ясное ночное небо с яркой луной, золотая дорожка на море. А город пылал огнями и чадил черным дымом. Неподалеку слышалась ружейно-пулеметная стрельба, это дивизия Новикова билась на последнем рубеже.

На берегу моря молча стояли командиры и красноармейцы. Они медленно сторонились, давая дорогу старшим по званию. У Петрова чаще обычного вздрагивала голова. Он смотрел себе под ноги, наверное, боялся узнать среди расступающихся хорошо знакомых ему людей. Он ни с кем не заговорил. Прошел как по углям. Взгляды людей были сейчас страшнее огня пулеметов и автоматов.

Подводная лодка виднелась метрах в двухстах от причала. У берега стоял рейдовый буксир, стали быстро перепрыгивать с причала на его борт. Моряки торопили: лодку мог на плаву накрыть артналет или повредить даже отдельный снаряд. Крылов и Юра приотстали. Буксир отвалил. Доставив пассажиров на подводную лодку, буксир ушел к причалу и, взяв оставшихся, вновь вернулся к подводной лодке. Ее командир не разрешил принять новых пассажиров:

— Я больше двадцати пяти человек взять не могу. Лодка уже перегружена!

Петров гневно сказал:

— Тогда высаживайте меня на берег, я без Крылова не поплыву!

Буксир находился метрах в четырех от подводной лодки, волны качали и лодку и буксир. Крылов был еще слаб после ранения и не мог перескочить на подводную лодку. Моряки быстро нашлись — расстелили шинель, уложили Крылова, раскачали и перебросили на лодку. Юра замешкался, не решался перемахнуть через вздымающуюся воду. Петров прикрикнул на сына:

— Юра, прыгай немедленно!

Юра прыгнул и едва не сорвался в воду, но успел ухватиться за поручни. Ему помогли взобраться наверх. Лодка сразу же стала готовиться к погружению. В ней оказалось 63 человека!

Переход от Севастополя до Новороссийска продолжался с 1 до 4 июля!

Нелегкое это было плавание. Если вы во время отпуска посмотрите в каком-нибудь черноморском порту расписание движения кораб-

лей, то увидите: путь от Севастополя до Новороссийска — всего несколько часов. Почему же Петров и его спутники шли почти четверо суток?

Вот что мне удалось узнать об этом.

Подводной лодкой «Щ-209» командовал капитан-лейтенант Иванов, она доставляла боеприпасы для защитников Севастополя; разгрузившись после очередного, ставшего последним рейса, эта лодка и приняла по указанию штаба фронта командование Приморской армии.

Вот выписка из донесения командира подводной лодки:

«...в 02 часа 30 минут 1 июля закончили погрузку. Вышли в подводном положении из Севастополя в Новороссийск. Прошли фарватер № 3. С 08 часов 30 минут до темноты подвергались бомбежкам катерами и самолетами противника. Шли на предельной глубине. Периодически стопорили ход и переходили на ручное управление...»

Я прерываю текст донесения, чтобы вы представили, что скрывается за этими скупыми официальными строками: «...до темноты подвергались бомбежкам». Это значит, что за лодкой гонялись самолеты и катера противника. Они сбрасывали глубинные бомбы, от которых трясло и кидало перегруженную подлодку, готовую развалиться. Взрывы бомб оглушали людей. Гас свет. Сыпались краска и грунтовка со стен. Принятые на борт разместились всюду, где можно было втиснуться между механизмами и приборами, а таких мест в подводной лодке немного. Не хватало кислорода, люди задыхались, обливались липким потом. Температура поднялась до 45 градусов. Непривычные к таким перегрузкам сухопутные командиры теряли сознание. Экипаж, испытывавший те же мучения, вел себя очень мужественно — они моряки, им вроде бы полагалось все это преодолевать и выполнять свою работу.

Вот что пишет об этих нескольких днях, проведенных в море, Моргунов:

«Вследствие большой перегрузки управлять лодкой было трудно. Она могла проскочить предельную глубину. Новая беда: в трюмах появилась вода. Стали принимать экстренные меры к ее откачке.

Свет несколько раз помигал и наконец загорелся. Вскоре стало тихо. Катера ушли. Видимо, они бомбили по площади на основе данных фашистской авиации. Дышать стало еще труднее, регенераторы не помогали. Нам дали какие-то патроны, через которые мы стали дышать. Вроде полегчало...

В этот день катера появлялись еще раза два и нещадно бомбили, но, к счастью, безрезультатно. Наступила ночь. К нам в каюту зашел командир лодки и сказал: «Будем всплывать. Необходимо зарядить аккумуляторы и провентилировать лодку. Прошу подняться в рубку и, если сможете, выйти на мостик, чтобы подышать свежим воздухом».

Акустик доложил, что тихо, катеров не слышно. Состояние наше было скверным.

Лодка стала всплывать. Мы поднялись в рубку, вскоре открыли люк. На мостик вышел командир, а вскоре поднялись и мы. Появилось головокружение, но чувствовать себя мы стали гораздо лучше.

Было тихо, почти штиль. Слышался стук дизелей. Лодка плавно шла по намеченному курсу, заряжая аккумуляторы. Звездная ночь. Мы молча стояли, завороженные великолепием бескрайнего неба и моря. Сколько так прошло времени, сказать трудно.

Вдруг справа взлетели осветительные ракеты, выпущенные с вражеских торпедных катеров. Командир лодки скомандовал: «Срочное погружение!» Мы быстро опустились в рубку, а оттуда еще глубже в свой отсек. Лодка начала погружаться, как нам показалось, с большим дифферентом на нос.

Вскоре мы услышали шум винтов и взрывы глубинных бомб вокруг нашей лодки. Погас свет. Лодку стало бросать, как во время шторма. Пока пробоин не было. Все слушали, затаив дыхание, не начнут ли врываться в лодку потоки воды. Взрывные волны резко ударяли по бортам лодки, но пока все было благополучно.

Акустик доложил командиру, что катера стопорят ход вблизи лодки, и вскоре мы перестали их слышать. Они заглушили моторы. Тягостная для нас охота катеров за под-

водной лодкой продолжалась. Лодка сразу тоже остановилась, выключив все электромоторы и даже гирокомпас, чтобы противник не мог услышать какой-либо шум и определить место лодки. В лодке стояла зловещая тишина. Не разрешалось вставать, шевелиться, чтобы не допустить малейшего стука, который мог бы засечь противник. Все решало — у кого крепче нервы! Мучительно тянулись нескончаемые минуты... Вот когда мы воочию почувствовали, насколько тяжела служба наших подводников.

Но вот снова зашумели винты катеров... Несколько отдельных взрывов... Наша лодка снова начала движение по курсу на Новороссийск. Нервы командира лодки Иванова и его экипажа оказались крепче».

Три дня и три ночи продолжалась непрерывная охота фашистских самолетов и катеров за подлодкой «Щ-209», она то отлеживалась на грунте, то тихо ускользала от преследователей. Только 4 июля лодка пришла в Новороссийск.

Петров вместе со всеми перенес эти страдания, ему, конечно же, было труднее многих, потому что он был старше по возрасту, имел давнюю контузию. Но он ни разу не подал виду, как ему тяжело. А может быть, моральная тяжесть перекрывала все.

Это позднее исследователи и историки подсчитают, какой огромный вклад в общую победу внесли севастопольцы, на 250 дней приковав к себе одну из сильнейших гитлеровских армий. Подсчитают, какой урон нанесли врагу и как ослабили дальнейшие удары 11-й армии. Какой беспримерный героизм проявили в боях за исторический город, повторив и умножив славу доблестных предков.

Но в тяжкие часы подводного плавания тяжелее горячего воздуха, отравленного дыханием дизелей и кислотными парами аккумуляторов, генерала угнетало сознание, что там, в Севастополе, остались его красноармейцы и командиры. И хоть Петров ушел, выполняя приказ, всю жизнь он не мог заглушить душевной боли оттого, что вот он здесь, а они остались там, оттого, что не все было сделано для спасения защитников Севастополя.

Прибыв в Новороссийск, измученный генерал Петров сразу же пошел к командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Октябрьскому и высказал ему много горького прямо в лицо. Октябрьский будет его недолюбливать за это. Из статей и выступлений адмирала об этих героических днях будет выпадать имя Петрова.

Позднее было много написано и сказано о трагических последних днях Севастополя, но мне думается, наиболее убедительными, доказательными и точными свидетелями будут некоторые документы тех дней. Читателю, знающему детали севастопольской обороны, нетрудно будет уяснить истину из текста этих документов, понять, что происходило в действительности.

Из последнего донесения, отправленного вице-адмиралом Октябрьским в Москву — Сталину и в Краснодар — Буденному:

«Исходя из сложившейся обстановки на 24-00 30-06-42 г. и состояния войск считаю, что остатки войск СОРа могут продержаться на ограниченном рубеже один, максимум два дня, и поэтому решил:

1. 109-й стр. дивизии, 142-й стр. бригаде и сводным батальонам в ночь на 1 июля занять и удерживать рубеж на западном берегу Стрелецкой бухты...

2. Старшим начальником в Севастополе оставлен комдивизии 109-й генерал-майор Новиков П. Г., помощником ему по морской части капитан III ранга Ильичев с морской оперативной группой...

3. Новикову поставлена задача продолжать уничтожать живую силу противника на последнем рубеже и обеспечить отход и эвакуацию возможно большего числа людей. Для этого ему направлено 5 подлодок, 5 БТЩ и 10 катеров МО. Кроме того, если позволит обстановка, 1 июля будут посланы самолеты.

Одновременно докладываю:

1. Вместе со мной в ночь на 1 июля на всех имеющихся средствах из Севастополя вывезено около 600 человек руководящего состава армии и флота и гражданских организаций...

3. Захватив Севастополь, противник никаких трофеев не получил. Город как таковой уничтожен и представляет груду развалин.

4. Отрезанные и окруженные бойцы продолжают ожесточенную борьбу с врагом и, как правило, в плен не сдаются. Примером чему является то, что до сих пор продолжается борьба в районе Мекензиевы Горы и Любимовка.

5. Все защитники Севастополя с достоинством и честью выполнили свой долг перед Родиной.

6. 19 час. 30 мин. В донесении генерал-майора Новикова указано: наши части под натиском противника отошли на рубеж Камышовая бухта... При данном положении ночь с 1 на 2 июля является последним этапом эвакуации и организованной борьбы за Севастополь.

Новороссийск Октябрьский, Кулаков».

4 июля Военный совет флота получил телеграмму с резолюциями С. М. Буденного и И. С. Исакова о срочном исполнении:

«На побережье СОРа есть еще много отдельных групп бойцов и командиров, продолжающих оказывать сопротивление врагу. Необходимо принять все меры для их эвакуации, посылая для этой цели мелкие суда и морские самолеты. Мотивировка моряков и летчиков невозможности подхода к берегу из-за волн неверная, можно подобрать людей, не подходя к берегу, принять их на борт в 500—1000 м от берега. Прошу приказания не прекращать эвакуацию, а сделать все возможное для вывоза героев Севастополя.

Ватутин, Рыжков».

Командующий флотом так ответил на эту телеграмму:

«Москва. Генштаб. Ватутину, Буденному, Исакову, Алафузову.

Операции по съемке и вывозу отдельных групп начсостава, бойцов СОРа не прекращаются, не прекращались, хотя это связано с очень большими трудностями и потерями корабельного состава.

Подводные лодки пробиться в Севастополь не могут. Все фарватеры противник закрыл своими катерами. О трех подлодках еще не получены сведения, где они, хотя все сроки их возвращения прошли. Вернувшиеся лодки весь путь преследовались авиацией, катерами-охотниками, на каждую лодку сброшены сотни бомб.

Еще не вернулись два катера МО. Сегодня посылал еще шесть катеров МО, которые вернулись. Каждый доставил больше сотни человек. Буду продолжать операции.

Докладываю, что сопротивление врагу оказывается нормально.

Октябрьский».

Объективно оценивая обстановку, нарком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов впоследствии писал:

«Об эвакуации войск, конечно, следовало подумать нам, в Наркомате ВМФ, подумать, не ожидая телеграммы из Севастополя... И меньше всего следует упрекать в непредусмотрительности местное командование, которому была дана директива драться до последней возможности. Военные советы ЧФ и Приморской армии со своими штабами в обстановке напряженных боев не могли заранее заниматься разработкой плана эвакуации».

Официальным итоговым документом о севастопольской обороне является сообщение Совинформбюро:

«По приказу Верховного командования Красной Армии 3 июля советские войска оставили город Севастополь. В течение 250 дней героический советский народ с беспримерным мужеством и стойкостью отбивал бесчисленные атаки немецких войск. Последние 25 дней противник ожесточенно и беспрерывно штурмовал город с суши и с воздуха.

Отрезанные от сухопутных связей с тылом, испытывая трудности с подвозом боеприпасов и продовольствия, не имея в своем распоряжении аэродромов, а стало быть, и достаточного прикрытия с воздуха, советские пехотинцы, моряки, командиры и политработники совершали чудеса воинской доблести и геройства в деле обороны Севастополя.

Немцы в июле бросили против отважных защитников Севастополя до 300 тыс. своих солдат, свыше 400 танков и до 900 самолетов.

Основная задача защитников Севастополя сводилась к тому, чтобы как можно больше приковать на Севастопольском участке фронта немецко-фашистских войск и как можно больше уничтожить живой силы и техники противника.

Сколь успешно выполнил Севастопольский гарнизон свою задачу, это лучше всего видно из следующих фактических данных. Только за последние 25 дней штурма Севастопольской обороны полностью разгромлены 22, 24, 28, 50, 132 и 170-я немецкие пехотные дивизии и четыре отдельные полка, 22-я танковая дивизия и отдельная мехбригада, 1-я, 4-я и 18-я румынские дивизии и большое количество частей из других соединений.

За этот короткий период немцы потеряли под Севастополем до 150 тыс. солдат и офицеров, из них не менее 60 тыс. убитыми, более 250 танков, до 250 орудий. В воздушных боях над городом сбито более 300 немецких самолетов. За все 8 месяцев обороны Севастополя враг потерял до 300 тыс. солдат убитыми и ранеными. В боях за Севастополь немецкие войска понесли огромные потери, приобрели же — руины. Немецкая авиация, в течение многих дней производившая массовые налеты на город, почти разрушила его...

...Военное и политическое значение Севастопольской обороны в Отечественной войне советского народа огромно. Сковывая большое количество немецко-румынских войск, защитники города спутали и расстроили планы немецкого командования.

Железная стойкость севастопольцев явилась одной из важнейших причин, сорвавших пресловутое «весеннее наступление» немцев. Гитлеровцы проиграли во времени, в темпах, понесли огромные потери людьми.

Севастополь оставлен советскими войсками, но оборона Севастополя войдет в историю Отечественной войны Советского Союза как одна из самых ярких ее страниц. Севастопольцы обогатили славные боевые традиции народов СССР.

Беззаветное мужество, ярость в борьбе с врагом и самоотверженность защитников Севастополя вдохновляют советских патриотов на дальнейшие героические подвиги в борьбе против ненавистных оккупантов.

Слава о главных организаторах героической обороны Севастополя — вице-адмирале Октябрьском, генерал-майоре Петрове, дивизионном комиссаре Кулакове, дивизионном комиссаре Чухнове, генерал-майоре Рыжи, генерал-майоре Моргунове, генерал-майоре авиации Ермаченкове, генерал-майоре авиации Острякове, генерал-майоре Новикове, генерал-майоре Коломийце, генерал-майоре Крылове, полковнике Капитохине — войдет в историю Отечественной войны против немецко-фашистских мерзавцев как одна из самых блестящих страниц».

В тот день, когда генерал Петров и другие командиры покинули Севастополь, немецкое радио объявило о взятии крепости. Марши и славословия в адрес доблестной германской армии звучали весь день. А вечером была объявлена телеграмма, которой Гитлер выражал благодарность Манштейну и присваивал ему звание генерал-фельдмаршала.

Так, в боях с советскими войсками, которыми командовал Иван Ефимович Петров, появился — после Антонеску — еще один маршал! Причем оба маршала, находясь в несравнимо более выгодных условиях, чем Петров, имея подавляющее превосходство в силах, не одержали, как видно из предыдущего описания боев, такой победы, которая давала бы право на столь высокое звание. Антонеску ввел войска в пустой город Одессу. Что касается Манштейна, то бои за Севастополь не прибавляют лавров в венок фельдмаршала.

Вспомните широко известную картину Верещагина «Апофеоз войны» — большая куча человеческих черепов на травянистом поле брани. Мороз проходит по коже, когда смотришь на эти человеческие головы, сложенные в пирамиду. Теперь представим себе картину, которая показала бы цену победы Манштейна. Для этого произведем некоторые арифметические действия. Протяженность линии фронта, окаймляющей Севастополь, в разные периоды боев была 40, 20 и меньше километров. Возьмем для подсчета среднюю — тридцать километ-

ров, или 30 тысяч метров. Чтобы овладеть Севастополем, Манштейн уложил в боях 300 тысяч человек. Каждый солдат, обутый в сапоги, с каской на голове, был ростом около двух метров. Это значит, если линию фронта протяженностью в 30 километров выложить убитыми— один за другим,— получится сплошная стена трупов, и высота этой стены будет около пяти-шести метров. Вдоль этой стены идти пешком надо почти целый день!

Таков «апофеоз победы», такова цена маршальского жезла Манштейна в боях за Севастополь. И у каждого погибшего немецкого солдата были отец, мать, жена или любимая, дети, братья или сестры. И каждый из них вправе спросить: что, кроме своих маршальских погон, дал немецкому народу Манштейн взамен этих 300 тысяч смертей?

В Севастополе много кладбищ, отмечающих печальные вехи истории,— Английское, Французское, Итальянское, Греческое, Русское, Братское. Но нет и не будет немецкого, потому что, несмотря на то, что количество погибших гитлеровцев превышает число всех прежних интервентов, вместе взятых, история отвернулась от фашистов, настолько подлы и бесчеловечны были их дела.

Редко случается в истории такая метаморфоза, которая произошла потом, в конце войны, в Севастополе. Пожалуй, это единственный случай, когда обороняющиеся и наступающие поменялись местами и ролями.

В апреле 1944 года, почти через два года после описанных боев, вновь начались оборона и штурм Севастополя, только теперь гитлеровцы оборонялись, а Приморская, 2-я гвардейская и 51-я армии наступали. Приморской уже командовал генерал К. С. Мельников. Петров в августе 1944 года был назначен командующим 4-м Украинским фронтом, в который входила и Приморская армия.

Гитлеровское командование еще в июне 1943 года сделало заявление иностранным корреспондентам:

«Севастополь вновь начинает принимать прежний вид. На месте развалин возникает грозная крепость. Немецкое командование приняло все меры для того, чтобы превратить Севастополь в такую твердыню и с таким расчетом, чтобы никто не мог даже приблизиться к ней. Если бы русские вздумали атаковать Севастополь, их попытки были бы обречены на неудачу. В Севастополе нет ни одного вершка земли, который не был бы укреплен и на котором не стояло бы тяжелое орудие».

Это заявление гитлеровского командования не было лишь пропагандистской акцией, желанием запугать противника. В Севастополе нашими войсками в свое время была создана мощная система обороны, выдержавшая штурм в течение 250 дней, а к ней еще добавились сооружения и огневые средства, построенные и установленные гитлеровцами в течение почти двух лет пребывания в Севастополе.

И вот после освобождения Крыма наши войска вышли к оборонительным полосам, окаймлявшим Севастополь. 5 мая 1944 года начался штурм. Сотни подвигов были совершены в этих тяжелых и кровопролитных боях. 9 мая Севастополь был освобожден от фашистских захватчиков. Всего пять дней понадобилось нашим чудо-богатырям, чтобы вернуть родине любимый город Севастополь!

В деятельности генерала Петрова как командарма Севастополь был вторым городом, где он руководил сухопутной обороной. Мастерство этого руководства подтверждается высокой оценкой Советского правительства, присвоившего Севастополю, как и Одессе, звание города-героя с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина. А в декабре 1942 года была учреждена медаль «За оборону Севастополя», ею награждено около 40 тысяч человек. Одним из первых был награжден этой медалью генерал Петров. И еще: в Севастополе есть

улицы, названные именами генерала Петрова, Нины Ониловой и многих других героев обороны.

Оборона Севастополя вошла в историю военного искусства как классический пример оборонительной операции, ее изучают в военных академиях всего мира.

28 июля 1942 года, через несколько дней после ухода из Севастополя, Петров написал предисловие к книге журналиста А. Хамадана, с которым познакомился еще в Одессе. Поскольку это один из немногих документов, написанных лично Иваном Ефимовичем, приведу его как итог и оценку всей севастопольской эпопеи, данные самим генералом Петровым:

«Историю делали люди. Севастополь обороняли простые, скромные советские русские люди, горячо любящие свое отечество и глубоко ненавидящие врага. Эпически, просто и величаво, без показного геройства выполнили свой долг, свою присягу севастопольцы — красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, служащие, рабочие, домохозяйки, дети. Каждый нашел свое место в бою с ненавистным врагом. Все мы горячо любим жизнь, но каждый в обстановке напряженных боев привык к смертельной опасности. И когда приходилось погибать, люди умирали сурово и просто. Друзья и боевые товарищи убитых, скорбя о погибшем друге, занимали его место, продолжая драться и делать свое дело.

Сурова и тяжела обстановка войны. Суровы, но горды были севастопольцы. Их великолепное мужество, высокий моральный дух не сломила обстановка тяжелых боев.

Севастополь пал, но дорогой ценой достался врагу разрушенный, искалеченный город. Сотни тысяч убитых и раненых, сотни самолетов, танков, орудий потерял враг на подступах к Севастополю.

Севастополь — морская крепость, но с суши он не был защищен. Сухопутную оборону Севастополя в ходе боев создали севастопольцы. В этой огромной, полной боевого энтузиазма и смертельной опасности работе принимали участие все, кто был и жил в Севастополе,— и войска, и население.

Будет время — севастопольскую эпопею напишут историки и писатели. Документы сохранились, но не пришло время их публикации. В то же время есть насущная нужда хотя бы в небольшом человеческом документе отобразить эпическую простоту и великолепное мужество севастопольцев».

Мы расстаемся с Иваном Ефимовичем Петровым, когда он, выйдя из подводной лодки на кавказскую землю, глотнул не прохладной воды, как это было после прихода из Одессы, а вдохнул полной грудью чистый воздух и через некоторое время отправился в Краснодар к маршалу Буденному. Впереди его ожидали труднейшие сражения за Кавказ.

Конец первой книги

ИЗ ПОЭЗИИ УЗБЕКИСТАНА

★

ДЖУМАНИЯЗ ДЖАББАРОВ

Горжусь я хлопком

Где б ни был я, мгновенно поневоле,
Услышав про родной Узбекистан,
Я представляю хлопковое поле —
Цветущий дол, что солнцем осиян.
Цвет абрикоса сызмала, бывало,
Мне цветом хлопка мнился по весне.
Вершиной серебристого Чаткала
Хирман зимой вставал навстречу мне.
Увижу снег я — мне и нынче впору
Узнать в нем хлопок — так он чист и бел.
Найдется ль человек у нас, который
Назваться б хлопкоробом не хотел?
Я морем плыл — и становилось знобко,
Когда вскипал высокий пенный вал.
Но даже в нем я видел кипень хлопка
И песню хлопкоробам посвящал.
Внизу под самолетом, как сугробы,
Белели густо облака вдали.
А мне казалось — это хлопкоробы
Поднять хирманы до небес смогли.
Огнепоклонников, сказать по чести,
На свете не пересчитать, но тот,
Кто сеял хлопок, пусть со мною вместе
Себя хлопкопоклонником сочтет.
Горжусь я хлопком. Чуть весна проснется,
Взгляни вокруг — ростки его взошли.
Он — зрелость края моего, он — солнце,
Поднявшееся к нам из-под земли.
Когда б, весы отладив к урожаю,
На чашу бросить знойный небосклон,
А на другую — хлопок, обещаю,
Что даже солнце перетянет он.

Признанье сердца

На всех устах у нас в селенье
Звучало имя Дильшода.
В нем — нежность вешнего
цветенья
И зноя летнего беда.
Красавицы не раз воспеты:
И стан, и взгляд, и взлет бровей.
Но все окрестные поэты
Бледнели молча перед ней.
Когда ее змеились косы,
Цвела улыбка и печаль,
В ночных глазах мерцали грозы
Иль звездная иная даль.
Смотрели мы завороженно,
Вослед шептали:
— Дильшода...—

Мужей одергивали жены:
— Глядите что-то не туда! —
С подружками зальется смехом,
Поет в саду среди цветов.
Готовы мы бежать за эхом
Ее лукавых, дивных слов.
Сверкнет плясунья ханатласом,
Промчится в туфельках простых,
И сто сердец зажгутся разом
Джигитов самых удалых.
Невысока как будто ростом
И даже вроде бы худа.
А юноши считали звезды,
Их называя:
— Дильшода!..—
В сердца красавцев именитых
Внесла она раздор, разор.
И старики, ее увидев,
Смущенно отводили взор...
А ей, глядишь, и горя мало,
Что мы за ней брели как тень,
И о свиданьях не мечтала,
Читала книги целый день.
Горда, заносчива, сурова.
Но как превратно бытие:
Парнишка из села другого,
Представьте, покорил ее!
Робели... Смелости занять бы —
Мы тоже были хороши...
И нам осталось лишь на свадьбе
Ей послужить от всей души!
Уехала... Мы провожали
Всем кишлаком ее тогда.
И горы в горе повторяли
В то утро с нами:
— Дильшода!..—
Лишь вспыхнут вишни
нежным цветом,
Кой-кто вздохнет протяжно так...
И я еще в стихах об этом
Пытаюсь рассказать, чудак!

Перевел РАИМ ФАРХАДИ.

ТУРАБ ТУЛА

ИЗ ЦИКЛА «РАЗДУМЬЯ»

1

Мечта

— Чего желаешь ты? — меня Мечта спросила,
Светясь передо мной, как чистая звезда.
— Хоть песнею одной правдивой и красивой
В народной памяти остаться навсегда!..

2

Моему сердцу

Со мной ты делишь все — дни радости и горя,
Как самый близкий друг живешь в моей груди.
Но знай: пока дышу, творя, мечтая, споря,
Покоя не проси и отдыха не жди.

3

Прошлое и будущее

Хорошо, если честь своей родины любишь,
Вспоминаешь о всей ее славной судьбе.
Если ж прошлое знать и ценить ты не будешь,
Не захочет грядущее знать о тебе.

4

Правда — одна!

Величав тот народ, что за правое дело
Поднялся, отдавая все силы сполна, —
Даже время подвластно правдивым и смелым,
Правды хватит на всех, хоть она и одна.

5

Сыну

Твой мозг пока еще — как чистая страница,
Все, что диктует жизнь, записывай на ней,
И пусть ничем дурным она не загрязнится —
Чернила на нее случайно не пролей.

6

О знании

С чистейшим зеркалом мы сравниваем знанье,
Могуч и прозорлив любой, кто им владеет.
А тот, кто знание оставил без вниманья,
Похож на простака, что пашет, да не сеет.

7

Об ошибках

Трудно душу нам разгадать чужую,
Трудно юным себе выбирать любимых.
Без ошибок жизнь не прожить большую,
Бойся только ошибок непоправимых.

8

Мучаюсь...

Не мучаюсь больше, что ты меня не любила
И только смеялась, любовь мою не ценя,
А мучаюсь, видя, как та, что была мне милой,
Мучится ныне, что мучила слишком меня.

Перевел С. СЕВЕРЦЕВ.

ГУЛЬЧЕХРА ДЖУРАЕВА

***

В коробочке хлопка
Проснулся рассвет —
Осеннего солнца
Горячий привет.
На плечи мои, теплым снегом
пыля,
Пушинки
Отряхивают тополя.
Подобен дыханью ребенка
Рассвет.
И в сердце печали и горечи нет.
И хлопок,
Что первому солнцу открыт,
Жемчужиной
В коконе шелка
Горит.

Он вам
не цветок
и не просто
трава...
В небрежном поклоне
Его голова.
Зеленые листья
Украсили грудь...
С какого же ряда
Начать мне свой путь?
Как звезды на небе, коробочки
все
Прекрасны
В своей обнаженной красе!
Склонившись к их ликам
Луною лица,
Начну от начала —
Дойду до конца...

Перевела РИММА КАЗАКОВА.

АБДУЛЛА АРИПОВ

Лисья философия

Как-то мучил вопросом лисенок лису:
— Почему так относятся к лисам в лесу?
Даже лев, даже волк часто — вот чудеса! —
обвиняют друг дружку: «Ну ты и лиса!»
Это нам, молодым, непонятно совсем...
Может, лисами быть захотелось им всем?..—
Отвечала лиса: — Мой неопытный друг!
Посмотри повнимательней только вокруг:
если звери к делам нерадивы своим,
то лукавить по-лисьи приходится им.
Лжет, как лис, лев, забывший про львиный свой долг.
И по-лисьи юлит изолгавшийся волк.
Ну а дразнятся лисом они потому,
что быть лисом из них не дано никому!
Если кто-то кого-то лисой назовет
при тебе и лесной засмеется народ,
смейся весело вместе со всеми, не злись:
ты ведь — лис и живи в этом мире как лис!..

Перевела РИММА КАЗАКОВА.

АМАН МАТЧАН

Журавли

На берегу Джайхуна,
только весна настала,
Я любовался миром
тонких весенних ростков,
А журавлей цепочка
вылетела устало,
Неумолимо снижаясь,
прямо из облаков.
Ранней весны посланцы,
полные тайным свеченьем,
Были они невесомы,
будто бы чей-то вздох,
И нерушимо летели
в древнем ряду священном,
В том, что разбить не сумели
все потрясенья эпох.
Может, они летели
с первого дня сотворенья
Вестью крылатой трубной,
вечные журавли,
И рассекали крылами
сверхзвуковое время,
Грустно ища хоть кусочек
неперерытой земли.
Нынче земли нехватка
в тесном для птиц Хорезме.
Век наш двадцатый, будто
железная борона,
Корни всех диких тукаев
безжалостно перерезал,
И от Джайхуна осталась
только легенда одна.

Крылатые кони из сказок,
серебряные озера,
Я спрашиваю безмолвно —
где вы сегодня, где?
Где первобытность мира,
прячущаяся от взора,
Где вы, огромные рыбы,
играющие в воде?
Неужто уже не услышать
поющие вольные воды,
Поющие вольные травы
от черного дыма вдали?
Неужто уже не осталось
такого клочка природы,
Где мы бы сказали со вздохом:
«Так было в начале земли...»?
Боялись нарушить когда-то
вакуфных земель и мазаров
Покой целомудренно-строгий,
таинственный древний покой.
Поверженная, как мамонт,
природа лежит среди зарев
И даже рассвет с закатом
путает с тайной тоской.
Стремителен темп эпохи,
когда пропускают сквозь сито
Каждую горсточку почвы
и делают землю золой.
Земля моя, сколько столетий
тебя разрыхляют копыта,
А ты возрождаешься снова
и снова ты пахнешь землей.
Но мало земли, так мало,
где дышит нетронуто зелень...
Ау, журавли, снижайтесь!
А я постараюсь для вас
Найти, чтоб не пачкали крыльев,
священные чистые земли,
Вы спросите — где? Не важно!
Найду в глубине своих глаз.
Ау, журавли! Подлетайте!
Садитесь ко мне на плечи.
Я вас понимаю, ибо
я в чем-то журавль и сам.
Пусть мокрые ваши крылья
не в страхе, а в счастье от встречи
Меня по щекам колотят
и хлопают по глазам.
Присаживайтесь! Не пугайтесь!
Я каждым ударом сердца,
Как ласковой колыбельной,
хочу вам навеять сон.
Напутствуя к новым далям,
я всею душой хорезмца
Хочу колыбельной напомнить
Хорезм отошедших времен.
Когда мы, узбеки, строим
дома не чужими руками,
То мы оставляем в них место
для каждого из сыновей.

Строители, не забывайте
о птицах под облаками!
Оставьте хоть чуточку места
для каждого из журавлей!

Перевел ЕВГ. ЕВТУШЕНКО.

ШУХРАТ

Время наше таково...

Что?.. Заметил белый волосок?
Дернешь — седины как не бывало!
Если ж побелеет весь висок —
Весь его не выщиплешь, пожалуй...
Лучше уж не тронь!..
За седину
Девушки разлюбят нас едва ли...
Все мы поседели за войну...
И поздней — чего мы не видали?!
Седина-то не всегда одна,
У нее различные причины.
Всякая бывает седина,
Не стыдитесь седины, мужчины!
В кудри хлопкороба-удальца
Белизна пробилась как-то робко...
Разве ж это — седина?..
Пыльца!
Белые цветы. Пушинки хлопка.

Старого Ташкента больше нет —
Где слепые домики, дувалы?..
Чтоб в дома проникнул белый свет,
Множество голов белее стало.
Время наше, видно, таково:
Что ни год — то целое столетье.
Все ж трудом дается торжество,
Белыми значками всех нас метя.
Будит каждый час иной запрос,
Намечает новую дорогу...
Если пожилой черноволос,
Это не к лицу ему, ей-богу!..
Пламя жизни раздувай, спеша,
Чтоб душа в бездействии не слепла.
Пусть горьмя горит твоя душа,
Волос осыпая слоем пепла...
Путь далек. Невелика беда,
Если станет голова седа.

Перевела ЮЛИЯ НЕЙМАН.

ШУКРУЛЛО

Благодарность

Лепечет дождь в листве еще густой.
Земля увлажнена тепло и нежно.
Какая осень!.. На полях — покой,
И сердце, словно в детстве, безмятежно.
Задумались над рощей облака.
Сбегает капля, как слеза с ресницы...
У виноградников стоят стога,
Над золотом стогов ликуют птицы.
Залетный ветер теребит айву,
Листочки крыльями трепещут, рея...
Былое возвратилось наяву,
Я снова с детством, с юностью моею...
Внезапно перепел запел вдали,
Заслышав звуки беглые зурная...
О счастье отдыхающей земли!..
Где это все?.. В садах какого рая?..
Катятся капли по плодам тугим.
И сад — не сад, плоды на дастархане,
И дождь — не дождь, а благодарный гимн
Во славу вас, друзья мои дехкане!
Когда он скажет: «У меня беда!» —
Ты, просияв, поздравь его с удачей.

На свадьбу позовет... Приди тогда
В глубоком трауре, вздыхая, плача...
Душе твоей заказан этот путь?..
Не хочешь применять такого средства!..
Тогда расстанься с ним!
О нем забудь!
Прочь изгони из памяти, из сердца!

***

О чем тебе напомнил листопад?
Желтеющие листья на дороге?..
О том, что время подводить итоги
Иль о друзьях, что не придут назад?..
О них — ушедших — забывать не надо,
Неплохо жизнь пересмотреть сполна...
И все ж, вздыхая в пору листопада,
Не забывай, что вновь придет весна.

Перевела ЮЛИЯ НЕЙМАН.

МИРМУХСИН

Твой лик

Может, в тебе воплотилась природа
Наших Гиссарских причудливых гор?
Ясен твой лик, словно лик небосвода.
Черен, как камни Гиссара, твой взор.
Сколь ни прекрасна природа Гиссара,
Все ж совершенней, прекраснее ты:
Смуглые щеки горят от загара,
Голоса звуки нежны и чисты.
Ум твой глубок и слова полновесны.
Гордость движений и стройная стать.
Перед твоей красотою чудесной
Радостно мне побежденным стоять.
Черною молнией черного взгляда
Ты обожгла изумленный мой взгляд —
И зашумели с вершин водопады,
Ветер завыл, загремел камнепад.
Я тебе вздохом ответил несмелым,
Кровь закипела в сердце моем.
Что тебе толку в таком неумелом,
Милая, что тебе в робком таком?
Только одно ты мне слово сказала,
Слово «люблю» — и вздохнул я сильней.
Стонущей каплею, каплею малой
Я растворился в любови твоей.

Перевела Н. ГАБРИЭЛЯН.

ХИКМЕТУЛЛА АИМБЕТОВ

Слепой

Мир для него окрашен черным цветом,
Но зорок он душой — и потому
К нему идут джигиты за советом,
За сказкой малыши спешат к нему.
Сосед ли соберется свадьбу справить,
Товарищ ли отстроит новый дом —
Он говорит:
— Я должен их поздравить,
Чтоб от стыда не прятать глаз потом!

Перевел с каракалпакского АЛЬБЕРТ НАЛБАНДЯН

МУХАММАД РАХМАНОВ

Лицо

Великие актеры, мастера
Скрывать и прятать чувства — наши лица.
Их тонкая, лукавая игра
Расчетливо и бесконечно длится.
Сто раз на дню отбрасывают тень
На них интриги, замыслы, идеи.
Они в спектакле под названьем «День»
Порою то герои, то злодеи.
Им ведомо в тоске ли, в суете
Искусство резких перевоплощений.
Актеры древнеримские и те
Так долго не могли б играть на сцене.
Но отдышись, постой, лицо мое!
В антракте меж превратностями быта
Дай испытать покой и забытье,
Пока ты есть и мною не забыто.

Перевел АЛЬБЕРТ НАЛБАНДЯН.

САМАРИДДИН СИРОЖИДДИНОВ

Горы

Горы — пояс бесценный на теле земли, говорят,
Не одно украшенье — стремленье для тех, кто крылат.
Седина ледников ниспадает на головы гор,
Но в глубинах сердца их тепло вековое хранят.
Если б не было той теплоты, вряд ли горная цепь
Столь была бы прекрасна и так же ласкала бы взгляд.
Окружают долину они монолитным кольцом,
И в объятиях гор расцветает долина, как сад.
Ты прославишь свой род, вознесешься превыше вершин,
Только будь, как они, добротою и мощью богат.
Не забудь, что и горы — питомцы священной земли,
Лишь на прочном подножье громады камней устоят.

Сердце и слово

Есть закон в моем народе — сердце к сердцу льнет.
Пусть не тронет сердце холод, пусть оно цветет.
Сердце можно глупым словом, как стекло, разбить,
Если слово неуместно — запечатай рот.
Клевета порой повсюду разливает яд,
Сплетня с языков сорвется, и беда придет.
Но от добрых слов на сердце ясно и легко —
Кто откажется от меда, если сладок мед?
Если у кого-то в сердце мир прекрасных чувств —
Пусть на слово не скупится, щедро раздает.
Слово правды в твоем сердце твердым быть должно,
Боевых слонов сильнее, ярче, чем восход.
Сироджи, словам сердечным дай простор в стихах,
Крепко держишь серну слова — серна не уйдет.

Перевел Г. РЕЗНИКОВСКИЙ.

Х. ДАВРОН

Баллада о фронтовике

Еще не исцелился от недуга,
еще на ближних стон наводит страх,
когда ночами раненого друга
выносит с поля боя на плечах.
Потом он засыпает, чтоб опять
сквозь зубы бросить: «Батальон, за мной!»
Всю ночь кого-то продолжает звать,
как умирающий больной.
Сжимая пальцы слабые в кулак,
лежит он, обессилев, у стены.
Стоит в глазах огонь ночных атак
и бесконечность долгих дней войны.
А по утрам жена не прячет слез,
когда лежит он погруженный в дрему,
рукою нервно пачку папирос
сжимая, как последнюю обойму.

Перевел САБИТ МАДАЛИЕВ.

ШУКУР КУРБАНОВ

Пейзаж

Пестрым оперением сверкая,
Меж огромных черных туч
мелькая,
Птица песней разгоняет мрак.
Видно, радость у нее такая,
Что в груди не удержать никак.
Машет крыльями. При каждом
взмахе
Туч громады вздрагивают
в страхе,
Будто их подстерегла беда,
Будто могут крылья этой птахи
Их и впрямь развеять без следа.

Перевел АЛЬБЕРТ НАЛБАНДЯН.

ШАВКАТ РАХМАНОВ

***

Говорят —
раскрываются робко
цветы без меня прибрежные,
по тропинкам текут одиноко
их прозрачные запахи
нежные.
Говорят —
тяжело вздыхает
в поздних сумерках карагач
и безмолвно в горах витает
родников позабытых плач.
И в глубокую полночь одну
старики исчезают столетние.
Без меня
журавли последние
покидают спящую Фергану.

Перевел САБИТ МАДАЛИЕВ.

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН

★

ПОТОП*

Роман

В июне того самого года Калвин Фидлер получил медицинский диплом в институте Джонса Гопкинса. Поработав интерном в Нашвилле, он собирался заняться врачебной практикой в Фидлерсборо. Это единственное место в мире, говорил он, где может жить Фидлер. Во всех остальных будут думать, что это у тебя не фамилия, а прозвище. И, может, сам не понимал, что вовсе не шутит. Он всегда страдал, если ему казалось, что кто-то находит его смешным.

Внешность у Калвина Фидлера между тем была прекрасная. Широкие плечи, красивое лицо, правда немного худое. Выражение этого лица было обычно серьезное, но немного смягчалось по-мальчишески взъерошенными темными волосами и улыбкой застенчивой, но выразительной, как у мальчика, который хочет с вами подружиться.

Эта улыбка вызывала какое-то материнское участие в душе Мэгги Толливер. При этом она считала, что со стороны Калвина Фидлера благородно и романтично вернуться в Фидлерсборо и стать врачом тут, где в нем нуждаются, хотя он мог бы получить практику в Нашвилле или Мемфисе и стать крупным специалистом. Она была влюблена в Фидлерсборо или в то, каким этим летом город ей казался; влюблена в то обещание, что таил для нее Фидлерсборо тем летом и в том доме, как таит его первый бутон, раскрывающийся в теплой тьме. К тому же улыбка Калвина чем-то глубоко ее трогала.

Они поженились в августе, венчались в церкви. Свадьбу отпраздновали в саду, куда пришел весь город. Молодая чета съездила в короткое свадебное путешествие на мексиканское побережье, а потом Фидлеру пришлось возвратиться в Нашвилл и снова приступить к работе в качестве интерна.

Однажды утром, вскоре после отъезда Калвина и Мэгги, Летиция вошла к Бреду в кабинет и протянула ему ««Нашвилл баннер».

— На погляди,— сказала она.

Он взял газету. Заголовки сообщали о пакте между Берлином и Москвой. Он вернул ей газету, словно она его не касалась.

— Я же тебе говорил, что все политики — жулье.

— Да. Но у меня все же чувство какой-то утраты. Словно снова что-то потеряла, хоть и знала, что это давно уже потеряно.

— Все поголовно жулье.

Он сел за стол и почти беззвучно свистнул сквозь зубы.

— А мне хотелось бы, чтобы все было по-другому,— сказала она.

— Чего нет, того нет.

Он снова принялся беззвучно насвистывать сквозь зубы. Пальцы правой руки беззвучно барабанили по столу возле машинки.

— Нечего хамить,— сказала она с натянутой улыбкой.— Я и так вижу, что ты ждешь не дождешься, чтобы девушка убралась восвояси и дала тебе работать.

Она шагнула к двери.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 4, 5 с. г.

— Нет.— Он встал.— Я хочу, чтобы эта девица была здесь и я мог бы поработать. Над ней. У меня есть идея совершенно нового подхода к этой работе. Он может произвести революцию в промышленности.

«Нашвилл баннер» валялась на полу заголовком кверху — черные буквы были отчетливо видны.

Вдалеке прозвучала сирена тюремной паросиловой установки, возвещая полдень. Верхние листья каталпы за окном мохнатились в золотых августовских лучах. Возле стула у письменного стола на полу лежали джинсы, рядом с ними грязные туфли. Полосатое зеленое платье было кинуто на спинку стула вместе с еще какими-то воздушными вещицами. На железной кровати у стены, покрытой простыней, растянулся Бредуэлл Толливер, держа в правой руке сигарету и уставившись в потолок. Голова женщины — рыжие спутанные влажные волосы и закрытые глаза — лежала у него на левой руке.

— Господи,— тихо произнес он, глядя в потолок.

— А?— спросила она, открыв глаза.

— Я что думаю: а ведь если бы меня подстрелили в Испании, я бы не мог спать с тобой в Фидлерсборо.

Она ничего не сказала.

— И подумать только, что те парни, которых перестреляли в Испании, сделали это ради всего этого европейского жулья!

Она беззвучно заплакала.

— Чего ты ревешь?— сердито спросил Бред.

— Потому что люблю тебя и, что бы там ни творилось на свете, я просто помру, если такой замечательный человек пропадет ни за что ни про что.

Глава восемнадцатая

Бред вывел «ягуар» из боковой улочки, которая тянулась от корта старой средней школы, где они играли в теннис, и медленно поехал по Ривер-стрит. И она была тут как тут.

— Леди из Шалотта,— сказал Бред.

Яша Джонс поглядел на женскую фигуру, мерцавшую в ослепительном солнечном мареве почти в двух кварталах от них, обряженную в нечто светло-голубое с короткими рукавами. Она стояла на обочине против почты.

— Вот именно,— сказал он и продекламировал:

Собою леди всех прелестней.
К ней милостив отец небесный.

— Ваше сравнение очень точно,— сказал он.— Леди сидела в своей башне и не могла видеть того, что творится в мире, а Леонтина Партл — слепая. Леди могла, лишь глядя в зеркало, узнавать жизнь. Слепая Леонтина тоже во что-то вглядывается, скажем в свою светящуюся темноту! А вы кто тогда? Ланселот?

— Да он же нацеливался на королеву.

— Но ведь это Ланселот ехал мимо по ржаным и ячменным полям, и Леди увидела его в своем зеркале, «вскочила, прялку поломала и три шага прошла вдоль залы», а потом умерла, потому что отражения ей обрыдли, а реальная жизнь была недоступна.

— Давайте покатаем Леди,— сказал Бред.— Угостим ее еще одной прогулкой на «ягуаре-150». Настолько мы можем приблизить ее к реальности.

Бред двинул машину влево, против несуществующего движения, и подъехал к обочине, где стояла женщина, зажав под мышкой плоский пакет, и шарила в черной лакированной сумочке.

— Поглядите,— шепнул Бред,— она наклонила голову, будто видит, что там, в сумке. Как самая обыкновенная женщина, ведь они вечно роются в своих чертовых сумках!

— Да,— сказал Яша Джонс, запоминая ее позу.

Но машина уже почти поравнялась с ней, и спокойное, ясное лицо с глубокой умиротворенной синевой глаз под светлыми волосами и с полуоткрытыми словно в ожидании чего-то влажными губами обратилось к ним.

— Привет, Леонтина,— окликнул ее Бред.— Это Бред. Бред и Яша.

— Я догадалась, что это вы. По машине.— Она помолчала, довольно улыбаясь.— По тому, как машина шумит.

— Да ну?— сказал Бред.— Замечательно!

— Ничего особенного,— сказала она, чуть покачав головой, и яркий румянец залил белизну лица.

— Ладно, садитесь, мы вас покатаем. Мы больше не хотим играть в теннис, уж очень жарко, лучше проветрим вас по бетонке со скоростью девяносто миль в час.

Яша Джонс вылез и подошел к обочине, чтобы подсадить девушку в машину. Она изящно протянула ему правую руку. Он ее взял, обвел Леонтину кругом и устроил на сиденье. Сам он сел сзади и перегнулся вперед, чтобы закрыть дверцу, которая быстро, надежно защелкнулась.

— Мне нравится, как закрывается эта дверь,— сказала Леонтина.

Голову она откинула на подушку. Глаза, очень синие, были обращены к небу, они словно отражали это небо, но были синее, чем оно.

— Да, дверь — хорошая, солидная работа каретника.— Бред медленно поехал по улице.— Когда ее закрываешь, такое чувство, будто совершил важное дело. Ощущаешь себя человеком решительным, который безо всякой суеты проворачивает большие дела. Всего-навсего дверь закрыл, но в мире, где так мало можно совершить, даже иллюзия этого чего-то стоит.

Внезапно он замолчал и поглядел на нее.

Глаза у нее были закрыты. Губы по привычке приоткрылись, словно что-то предвкушая. Голова откинулась, шея чуть изогнулась. Горло было белое, хорошо вылепленное, без тоненьких поперечных складок, в которых, как он не раз замечал, серым пушком скапливается пудра. Под белизной кожи ощущались нежные суставы, облеченные в мягкую плоть, и дыхание, которое беззвучно колыхало гортань в темноте. А где гортань уходила в глубину, у ключицы были две впадины, будто вмятые скульптором. На виске, повернутом к нему, он заметил капельки пота; видно, они выступили и на другом виске, как раз у границы этой удивительной, прекрасной копны зачесанных кверху волос. Крошечные бусинки пота — какая это прелесть, подумал он. Благодаря им все действительно становится живым. Он представил себе, как ветер подхватит эти волосы, когда они выедут на шоссе со скоростью девяносто миль.

Они перевалили через горы и отъехали от реки.

— Еще минут десять,— сказал Бред,— и мы доберемся до Билтауна, до милого нашего Билтауна.— И пояснил Яше Джонсу:— Помните то место, где мы свернули с бетонки по дороге сюда? Домов там нет, лишь нечто вроде аптеки и распивочной, танцплощадки величиной с носовой платок, кегельбана и официантов, которые подают слабосильным прямо в машины, если те любят не вылезая заправляться при луне. Теперь там шик-блеск! Но в мое время никакого шика не было. Сосновые доски, китайский бильярд, свинина на костре и самогон, а вместо кегельбана — заднее сиденье какой-нибудь колымаги. Я почему об этом рассказываю: там по субботам собирались местные малолетние преступники. В золотые невозвратные дни. А теперь, надо думать, клиенты — преступники средних лет. И не из Фидлерсборо.— Он помолчал.— Вот мы и приехали.

Он машинально свернул на шоссе, не сводя глаз с желтого кирпича, никеля и зеркального стекла Билтауна, расположенного посреди поля, поросшего прибитой за зиму охристой прошлогодней полынью. На край поля вывалили несколько тонн известковой крошки, чтобы сделать стоянку для машин. В этот знойный майский полдень все здания казались притихшими, безлюдными.

Бред обернулся к Леонтине.

— Местные молокососы еще ездят в Билтаун?— спросил он вдруг недовольно.

— Не знаю,— кротко ответила она.

Он выжал акселератор до конца.

— Держите шляпы!

«Ягуар» рванулся вперед, мотор запел ровно, слегка подвывая, стрелка поползла к девяноста и там замерла.

— Хватит,— сказал Бред.— Нечего форсить. Можно проветриться и при девяноста.

Девушка, не поднимая головы, схватилась обеими руками за волосы.

— Ох, мои волосы!— вскрикнула она.

— Простите, на меня, как на малолетнего преступника, напала дурь,— сказал Бред и снял ногу с акселератора.

— Нет, не надо! Мне нравится, это так замечательно! Я еще никогда так быстро не ездила!

— Ну и пусть ветер треплет ваши волосы! — сказал Бред и снова выжал педаль.— Потом их подберете.

Леонтина стала покорно вынимать шпильки и, вынимая, придерживала одну за другой губами. Глаза у нее были открыты и ярко блестели. Она махнула головой, и ветер взметнул ее волосы.

— Ух! — воскликнула она, выпрямившись на сиденье и смеясь каким-то новым, грудным смехом.— Ух!

— Молодчина!— кивнул Бред.— Вы чудно выглядите, когда волосы развевает ветер на скорости в девяносто миль в час. Похожи на рекламу высокооктанового горючего. В сущности, вы оба на нее похожи. Знаменитый кинорежиссер и Леди из Шалотта пользуются...

Но Яша Джонс смотрел прямо перед собой на белую ленту дороги, которая неслась на них из сверкающей пустоты.

Бред замолчал и тоже стал смотреть вперед.

— О ней-то,— произнесла девушка,— о ней я знаю.

— О ком?— спросил Бред.

— О Леди из Шалотта. Она из одной поэмы, мы ее учили в школе. Ее написал Альфред, лорд Теннисон. Я часто просила маму мне ее прочитать.— Она замолчала, голова ее снова опустилась на подушку. Но ветер относил назад светлые волосы, взметая их облаком. Время от времени она слегка вертела головой.— Мама, если вы помните, была учительница. До того как вышла замуж за папу. Но еще она очень хорошо умела читать. С выражением. Она мне много читала.

— Вам нравилась эта поэма?— спросил Бред.

— Да. Я даже плакала из-за того, что было с этой Леди из Шалотта и что он сказал, когда увидел, как она лежит мертвая. Его как звали?

— Ланселот. Вот уж кто был настоящий каналья, как выразились бы французы.

— Мне нравилась и «Гибель Геспера» [1]. Я тоже плакала.— Помолчав: — Мама так давно умерла. Когда мне было тринадцать. Но потом я достала книги для слепых. Правда, для слепых не всегда издают то, что хочется. «Леди из Шалотта» так мне и не попалась.

Она приподняла голову, и ветер с силой рванул светлые волосы. Бред посмотрел на нее, потом уставился в знойное сияние за стеклом. Они неслись вперед, и все трое молчали.

Они перевалили подъем и на скорости в девяносто миль чуть не врезались во встречный фургон, запряженный мулами, ехавший с жалкой скоростью полторы мили в час. И несмотря на то, что перед ними был еще и переживший свой век «шевроле», набитый светловолосыми детишками, где за рулем сидела не слишком умелая толстая фермерша с вытаращенными от ужаса глазами, Бреду удалось проскочить в щель между задним левым колесом фургона и задним левым колесом «шевроле». Когда они проносились мимо, старый негр на передке фургона, в комбинезоне и ветхой черной шляпе, натянутой на седую голову, как детский чепчик, поглядел на них с превеликим равнодушием.

— Только не думайте, будто черный никогда не мстит своим угнетателям,— сказал Бред.— Дайте дяде Тому фургон и упряжку мулов, он рванет на шоссе и рано или поздно укокошит какого-нибудь южанина. Клаузевиц об этом не писал, и подобная тактика не изучается на семинарах в военной академии, но она вполне эффективна. Дядя Том со своим незамысловатым снаряжением доконал больше южан, чем все войска генерала Гранта и генерала Шермана, вместе взятые. А сейчас он чуть было не угробил и нас с вами.

Леонтина ощупывала квадратный пакет у себя на коленях.

— У меня тут книги для слепых,— сказала она.— Только сегодня пришли по почте.

[1] Имеется в виду стихотворение А. Теннисона «Гесперида».

Бред, все еще глядя на дорогу, спросил, что это за книги.

— Не скажу.— Она опять засмеялась незнакомым грудным смехом. Слегка передвинула голову на задней подушке сиденья, и ветер взметнул ее волосы.

Но Бредуэлл Толливер на нее не смотрел. Он смотрел на известковый взгорок, распушенный кедрами, который в этот миг показался впереди. Потом поглядел на мотель «Семь гномов».

При скорости в девяносто миль не заметишь, как проскочишь сорок, — думал он. — Не успеешь оглянуться — и ты уже здесь. Не успеешь оглянуться — и ты уже где угодно.

Он снизил скорость, готовясь въехать на стоянку мотеля «Семь гномов», но, веером расшвыривая гравий, тут же выехал обратно и двинулся на запад. Педаль была выжата почти до отказа.

У бензоколонки стоял Бубенчик в шутовских штанах и причудливом камзоле и смотрел вслед «ягуару».

Когда они снова проехали Билтаун и свернули по боковой дороге в Фидлерсборо, девушка села прямо и начала приводить волосы в порядок. Шпильки она держала во рту и сосредоточенно закалывала волосы узлом, словно сидела одна в своей похожей на сосновый ящик комнате в белом, деревянном, как ящик, доме на тонких кирпичных подпорках над черной землей.

Когда они остановились у ворот дома Партлов, Бред вышел из машины и открыл ей дверцу. Но она вышла не сразу.

— А знаете...— заговорила она смущенно.

— Что? — спросил Бред.

— Я бы так хотела, чтобы вы оба к нам зашли. Знаю, вы ужасно заняты, но хотя бы на минутку...

Бред посмотрел на Яшу.

— Мне бы тоже хотелось,— сказал тот, когда она обратила на него свой глубокий синий взгляд.— Честное слово. Но мне непременно надо сегодня отправить письма. Вы меня как-нибудь еще пригласите?

Девушка выжидательно повернулась к Бреду, лицо ее слегка омрачилось. Она выжидала с какой-то особой покорностью, в которой, однако, сквозила вера, что если достаточно долго ждать и покорность достаточно покорна, то своего дождешься.

— Оставайтесь,— сказал Бреду Яша Джонс,— а я пойду пешком. Говоря по правде, я бы даже предпочел пройтись, если не возражаете.

— Идет,— поколебавшись, сказал Бред.

Яша Джонс пошел по дороге не оглядываясь. Руки у него повисли, а пальцы были прижаты к потным ладоням.

Он закрыл на ходу глаза и увидел белое до слепоты шоссе. Такая поездка — прекрасное лечение, думал он. Если попросить доктора Толливера прописать мне каждодневную процедуру по девяносто миль в час, я, может, и выздоровлю. Если не разобьюсь. Но и это, в общем, своего рода излечение.

Солнце стояло еще высоко и палило вовсю. Оно заливало небо и весь земной простор. Оно заливало Яшу Джонса как потоп. Шагая в послеполуденном безлюдье по шоссе мимо пустырей, Яша Джонс вдруг зримо представил себе, как он идет по дороге прямой, простоволосый, сверкая на солнце лысиной.

Он словно увидел себя в фильме — как он идет по дороге под знойной пустотой неба. Словно сам снял этот фильм и в то же время в нем участвует. Словно Яша Джонс, который снял этот фильм, смотрит, как беззвучно прокручивают фильм, лишь слегка жужжит проекционный аппарат, а он смотрит, как тот, другой Яша Джонс идет по дороге. И когда смотрит фильм, понимает, что, снимая его, он потерял смысл, который в фильме должен быть, поэтому фильм будет крутиться вечно, и он вынужден весь век смотреть, как человек идет по дороге, прижимая пальцы к потным ладоням.

Леонтина, все так же не выпуская пакета из рук, провела его в дом — мимо

сломанной доски на втором порожке, мимо груды иссохшей плоти и еще не иссохших старых костей в кресле на колесах, мимо поданной ему руки, обтянутой сухой кожей, мимо вида на дорогу, ведущую к декоративному фасаду скобяной лавки Лортона, где тринадцать лет назад жарким днем в полутемном помещении горько пахло бездымным порохом. Она ввела его в маленькую комнату рядом с гостиной, которую, по ее словам, мать звала своей швейной мастерской. Вот тут мама ей и читала.

Посреди жаркой каморки, в которой плавал зеленый свет от опущенных над открытыми окнами жалюзи, стоял шаткий ломберный столик. На нем лежала довольно выгоревшая красновато-синяя ковровая скатерка с замысловатыми кистями. На скатерке было изображено что-то средневековое — линялые дамы, кавалеры и борзые. Бредуэлл Толливер мысленно отметил этот коврик. Посреди стола стоял проигрыватель пластинок для слепых.

— Присядьте, пожалуйста,— чопорно предложила Леонтина.— Прошу вас, сядьте в кресло, будьте как дома.

Она точно указала ему на довольно ветхое мягкое кресло, обтянутое поддельной черной кожей в коричневых трещинах, из которых вылезала серая набивка.

— Спасибо,— сказал он.

— Откиньтесь, так вам будет уютнее.

Он откинулся на спинку.

— Я люблю слово «уютный». Оно и звучит как-то уютно. А вы любите такие слова?

— Да,— сказал он.

— Закройте глаза,— негромко приказала она грудным голосом,— и я вам что-то покажу. Такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать.— Она хихикнула.— Так говорят дети. Помните?

— Да,— сказал он.— Вы закрываете глаза, открываете рот — и вам суют туда здоровенную горсть рыболовных червей.

— Не бойтесь, я этого не сделаю.— И она опять захихикала.

Жаль, что она хихикает.

— Глаза закрыты?

— Да.

— Честно?

Он лежал в кресле, закрыв глаза. И услышал какой-то щелчок, потом осторожное шуршание. Он думал о том, каково это быть слепым. Он услышал, как малиновка нехотя издала несколько трелей с куста гортензии за окном и замолчала. Он стал раздумывать о Дигби, который здесь живет. Интересно, когда Дигби лежит по ночам в постели в своем сосновом ящичке наверху, за который платит двадцать пять долларов в месяц, думает ли он, что значит быть слепым?

Сам он удобно разлегся в кресле и раздумывал, каково это быть слепым, мысленно представляя себе, как в темноте, среди ночи, которая для нее светла как день, Леонтина Партл в белом халате, мерцающем в темноте, с распущенными светлыми волосами, тоже мерцающими в темноте, бесшумно ступает босиком по верхней площадке и берется за ручку двери.

Господи! — подумал он.— Только не Дигби!

В нем вспыхнула злость.

Убить мало этого головастого, носастого, зубастого ублюдка!

— Вы открыли глаза,—сказала Леонтина.— А обещали не открывать!

Он растерянно вскочил.

— Но...

— Открыли! — перебила она его.— Знаю, что открыли.

— Разве у меня заскрипели веки? Если вы это услышали, значит, пора их смазать.— Он осекся.— Ох, простите...

— Нечего извиняться. По-моему, это смешно. Вы думаете, что мне неприятно, когда намекают на мою... на мой физический недостаток? Когда вы сказали, что я должна услышать, как вы открыли глаза, раз не могу этого видеть? Но вы же пошутили.

Он не знал, что ответить.

— А теперь опять откиньтесь и закройте глаза,— сказала она строго.— И больше не жульничайте!

Он откинулся и закрыл глаза.

Он услышал легкий щелчок, слабое потрескивание, скрипучий «писк-писк». Потом услышал голос:

«В погожие весенние вечера, когда дни становятся долгими, Абрахам Голдберг, старый Аби, сутулый, с бледным лицом, тонким, как бумажный лист, носом и темными страдальческими глазами выходил из своей портняжной мастерской на Ривер-стрит и усаживался на плетеный стул читать. Но смотрел он не в книгу, а на огромную излучину реки, которая текла, как расплавленная медь, красная от весеннего намыва глины из Алабамы и отражения багрового заката. О чем думает старый еврей, когда глядит на багровый закат, сидя один перед своей портняжной мастерской, в заброшенном городе у медной, тучной от ила реки?

Не знаю. И теперь уже не узнаю никогда.

Знаю только одно: когда для меня настало время уехать из того города, от той брюхатой реки, я с вами не попрощался. А теперь попрощаюсь. Вот что я вам скажу...

И поэтому, Аби, если вы...»

— Выключите! — крикнул Бредуэлл Толливер, дернувшись в кресле.— Выключите эту чертовщину!

Пластинка остановилась. Последние, уже неразличимые слова растянулись вздохом и оборвались.

Он повернулся. Она сидела на стуле по другую сторону стола, как всегда неподвижно. Но ее неподвижность не была тяжеловесной, она выражала ожидание; синий взгляд был устремлен прямо на него, словно она все видела и все прощала.

— Ну и ловко же у вас это вышло,— сказал он, засмеявшись.— Поставили эту штуку так, что она сразу пошла без заголовка.

— Я хотела сделать вам сюрприз.

— Сделали.— Он помолчал.— Еще какой! Набили мне полон рот рыболовных червей.

— То есть почему?

— Да ладно, замнем.

— Вы не хотите дальше слушать?

— Нет, не хочу!

— Но почему? — печально спросила она.

— Черт, это же было так давно,— сказал он.

Он увидел, как лицо ее затуманилось от огорчения.

— Знаете, я все же не пойму, как вы сразу наладили эту чертовщину,— воскликнул он с притворным восхищением,— с ходу, без заголовка и прочего! Чтобы сделать мне сюрприз.

Она была польщена и, сев попрямее, заулыбалась.

— Да это же так просто. Я могу пустить эту пластинку чуть ли не с любого места.

— Почему?

— А потому, что я столько раз ее проигрывала.

— Вы же эту дрянь получили только сегодня.

— Да. Но эта пластинка у меня не первая. Даже сказать не могу, сколько раз я ее проигрывала. Могу ее остановить и сама рассказывать то, что идет дальше.

— Не надо!

Но голос зазвучал, теперь уже не из проигрывателя, а ее собственный: «Поэтому, Аби, если вы сейчас там, где можете меня...»

— Я же сказал, что не хочу этого слушать.

— По-моему, я могу прочесть весь рассказ наизусть. Так много раз ставила эту пластинку. А в том месте, где вы приходите на могилу, мне хочется плакать. И первое время, когда я ее слушала, я плакала.

— Я вам расскажу кое-что,— сказал он.— И вы больше не будете плакать.

Я так на его могилу и не пришел. Все это я выдумал. Надо же мне было как-то кончить этот проклятый рассказ.

Она помолчала, глядя на него широко открытыми глазами. У него появилось идиотское желание ей подмигнуть. Подмигнуть, потому что это была шутка... Что-то тут и правда было шуткой. А она подмигнет ему в ответ, потому что это и правда шутка.

Но она сказала:

— Ну и все равно. Пусть вы это выдумали. Важно, что было у вас на душе, раз вы такое выдумали.

Он почувствовал, что его загнали в угол. У него даже дыхание сперло.

— Слушайте, Леонтина,— сказал он.— Это же все мура. Вы где-то эту муру вычитали. Я давным-давно занимаюсь этим делом и знаю, что, когда пишешь рассказ или делаешь сценарий, всегда находишь какую-то логику развития, и вот эта логика, а вовсе не душевный порыв ведет тебя к определенному финалу. Ну как в шахматах и...

— Старый мистер Гольдфарб оставил вам свои шахматы,— тихо сказала она,— ну да, эта часть рассказа...

— Да ну его, этого Гольдфарба! Я же вам объясняю...

Но она смотрела на него из безмятежного синего всепрощающего далека.

Он заткнулся.

— А вы знаете, почему я столько раз заводила эту пластинку? — наконец спросила она.

— Нет.

— Это началось после того, как умерла мама. Года через два. Я была еще маленькая, чувствовала себя ужасно одинокой и заброшенной. Тогда мне достали книги для слепых. Мне, правда, было уже около шестнадцати. И когда я поставила вашу пластинку, я почему-то перестала чувствовать себя потерянной. Будто раньше не знала, где я,— понимаете, не знала, что я — в Фидлерсборо. Ваша пластинка сказала мне, где я нахожусь. Знаю, вы даже по-другому назвали наш город и старому мистеру Гольдфарбу дали другое имя, но это был именно Фидлерсборо, и я в первый раз поняла, где я живу. И тогда все для меня переменилось. Голоса на улице стали другими. Будто я почувствовала, что все эти люди живые и внутри у них что-то происходит. И у меня внутри тоже. Я ведь раньше чувствовала, что внутри у меня что-то заледенело или что-то засорилось, ну, как кран у раковины. И вдруг это прошло. Этого больше не стало, это уже не так, понимаете? Пластинка, рассказ — из-за них мне захотелось вытянуть руку и потрогать весь мир. Я, наверное, тысячу раз заводила эту пластинку и...

Он рывком встал с кресла. Пухлая, топкая мягкость сиденья показалась ему нестерпимой. Он обернулся к ней, и собственный голос, хоть и негромкий, прозвучал скрипучим, возмущенным и злым.

— Что значит быть слепым, а? — требовательно прозвучал его голос.

Задав вопрос, он так и остался стоять посреди комнаты в зеленоватом свете от опущенных жалюзи, чувствуя, что ему сдавило грудь. Он боялся, что она услышит, как ему трудно дышать.

— Не знаю,— ответила она наконец.

Он повернулся к ней.

— Ну да, я слепая,— сказала она.— Но, понимаете, я не могу объяснить, что это такое. Когда ты слеп — это, это просто значит, что ты такой, и все.— Она помолчала, не сводя с него глаз. Потом продолжала: — Предположим, я бы вас попросила сказать, какой вы. Уверена, что вы не смогли бы ответить. Понимаете, это просто быть таким, как вы есть. Быть собой — это все равно что быть слепым.

Он не мог отвести от нее глаз. Она спокойно сидела на стуле у стола, сложив руки на коленях и устремив на него взгляд.

— Мне надо идти,— сказал Бред.

Он сделал шаг к двери. Она поднялась.

— Скажите...

— Что?

— Вы не сердитесь? — спросила она робко.

— Нет.

— Я сделала что-нибудь не так? — шагнув к нему, настаивала она.— С этой пластинкой... с рассказами? Но они мне очень нравятся.

— Нет, все в порядке,— сказал он. Потом у него вырвалось:— Просто я...— И замолчал.

— Что?

— Ничего... я рад, что вы меня пригласили зайти. Но теперь мне пора.

Он подошел к двери, взялся за ручку.

— Спасибо, что вы меня покатали,— сказала она.— Я еще никогда не каталась так быстро.

Бредуэлл Толливер постоял на шоссе, держась правой рукой за дверцу «ягуара». Он сел в машину не сразу. Он стоял и думал о том, что она сказала.

Как это она сказала?

Она сказала: Быть собой — это все равно что быть слепым.

Глава девятнадцатая

Бред тихо положил на рычаг телефонную трубку и вышел в темный сад. С полдороги он крикнул:

— Эй, Яша! Брат Потс хочет зайти с вами поговорить.

— Очень хорошо!— откликнулся Яша из дальнего конца сада.

Минуту спустя Бред подошел к ним; его сандалии сухо шаркали в темноте по старым кирпичам.

— Он чем-то здорово взвинчен,— сказал он. Отпил глоток кофе, потом глоток коньяка и продолжал: — По голосу слышно.

— Бедняга,— пробормотала Мэгги.— Уж не сообщили ли ему что-нибудь неприятное...— Она осеклась.

— О том, что его рак первым придет к финишу? — закончил фразу Бред.

— О том, что он не сможет провести прощальное молебствие,— поправила она.

— Нам надо на него пойти,— сказал Бред.— У нас не будет другой возможности проверить, была ли наша жизнь благодатью.

— Помолчи,— сказала Мэгги.— Это совсем не смешно.

Сидя в тени у полуразвалившегося бельведера, Бред долго молчал. Потом, когда луна уже стала подниматься над крышей, высветив телевизионную антенну, он тихо заметил:

— Ты, сестричка, права. Это было не очень смешно.

И снова погрузился в молчание.

Яша Джонс смотрел на луну.

— Поглядите,— сказал он.— Когда я приехал, луна была в той же фазе. Я прожил здесь целый лунный цикл.— Он продолжал наблюдать за луной.— А может, время вообще остановилось и мы просидели здесь всего одно мгновение?

— Ах, Яша! — засмеялась Мэгги.— Ведь судья Котсхилл вам сказал, что в Фидлерсборо времени не существует.

Он ничего не ответил и продолжал глядеть на луну.

Когда послышался шум подъезжающей машины, Бред молча встал, пошел по дорожке к дому и привел оттуда брата Потса.

Его усадили у ограды, где лунный свет падал на его бледное, страдальческое лицо. От коньяка он отказался, но согласился выпить кофе. Он отвечал на каждое сказанное ему слово клюющим движением головы, как подбирающий корм тонкошеий куренок, особенно нелепый в лунном свете. Он попросил извинения, что им помешал.

— Надеюсь, вы кончили свою поэму? — спросил Яша Джонс.

Да, кое-что у него уже готово, сказал брат Потс, но он не уверен, хорошо ли это.

— Прочтите,— попросила Мэгги.— Мы будем ужасно рады послушать.

— Будем польщены,— пробормотал Яша Джонс.

Брат Потс с мольбой поворачивал свое страдальческое лицо то к одному, то к другому.

— Все было так странно,— сказал он.— Я старался изо всех сил, но ничего не выходило. А сегодня ночью — бах! Словно во мне что-то прорвалось, как лопается у детишек бумажный кулек с водой. Поэтому я и решился вам помешать.

— Пожалуйста, прочтите,— шепнул Яша Джонс.

— Да,— сказал брат Потс,— но вот как получилось...— Он помолчал, проглотил слюну, словно собираясь с духом.— Вы же знаете Красавчика... нигера... я хочу сказать, того цветного, которого казнят?

Яша Джонс еле слышно запел:

Ты куда идешь ужо?
И пришел откуда?
Где ты народился, Джо,
Хлопковое чудо?

— Того, который не хочет молиться,— сказал Бред.

— Да-да,— клюнул носом брат Потс,— у меня сердце надрывается оттого, что люди превратили это в какую-то забаву. Добрые, богобоязненные прихожане держат пари, помолится он или нет. Я их увещевал и так и этак, но кое-кто из них только смеется и говорит: ну да, он из этих упрямых, как осел, черномазых душегубцев, но в положенный час, когда его заставят сесть на то самое, тут уж он спасует, будьте уверены! И не просто болтают, а бьются об заклад на деньги. Но если бы дело было бы только в этом, тогда еще ладно. Они останавливают на улице брата Леона Пинкни и спрашивают, смирился уже его парень или нет. Есть и такие, кто спрашивает, не зазнался ли он сам, не задрал ли нос оттого, что его парень не желает смириться? Что-то на людей нашло, даже на хороших людей. Видно, это ожидание потопа действует так на хороших людей. Стали сами на себя непохожи. Некоторые, например, даже говорят, что, попадись им этот парень в руки, они бы уж заставили его молиться! Один — правда, он не из наших прихожан — побился об заклад, что заставит его покориться, но уж никак не при помощи молитвы, я даже слушать его не стал и ушел. Я живу в этом городе больше двадцати пяти лет, и за эти годы многих казнили в тюрьме, но привыкнуть к этому я так и не смог. И со многими из них я молился. Видел, как некоторые из них с легкой душой шли на небеса. Но все равно к тому, как они ждут электрического стула, привыкнуть не могу. Знаю, что на все воля Божья, а вот привыкнуть к таким вещам никак не могу.

Он повертел головой на тонкой шее и с мольбой остановил страдальческий взгляд на каждом из них поочередно.

— Понимаете меня? — спросил он.

— Да,— сказал Яша Джонс.

— Но я отклонился! — чуть ли не со стоном воскликнул брат Потс.— А хотел рассказать, что со мной произошло.— Он неотрывно смотрел на Яшу Джонса.— Я пошел к брату Пинкни и спросил его, не могу ли я помолиться с Красавчиком. Он держался со мной как-то странно, не так, как всегда. Говорит: «Разве мы молимся не одному и тому же Богу?» Я говорю: «Одному». А он говорит: «Разве в вашей Библии не сказано, что все в руках Божьих?» И смотрит на меня. Я ему говорю, что вовсе не надеюсь, будто именно моя молитва сотворит что-то особенное. Но мне тяжко думать, как этот парень сидит там и не знает, что один из белых хочет с ним помолиться. Я ему рассказал, что вчера вечером после молитвенной сходки — ведь вчера была среда — восемь человек остались, чтобы встать вместе со мной на колени и помолиться за этого беднягу. Вот я и говорю брату Пинкни, что хотел бы к нему пойти, но не могу без его благословения.

Брат Потс умолк. И уставился, мигая, на лунный свет.

— Он долго на меня глядел, и лицо у него было как из гипса, покрытого желтовато-коричневым лаком.— Он пояснил Яше Джонсу: — Понимаете, брат Пинкни мулат, но он светлый мулат.— Он вдруг смутился.— О чем это я говорил?

— Вы сказали, что хотели получить благословение брата Пинкни на то, чтобы помолиться с Красавчиком,— тихо подсказал ему Яша Джонс.

— Ах да... а брат Пинкни все смотрит на меня. А потом, знаете, что он сказал?

— Нет,— признался Яша Джонс.

— Он сказал: «А кто я такой, чтобы налагать запрет или снимать его?» И прямо тут же на улице, против почты, в три часа пополудни, при всем честном народе закрыл руками лицо. Так, будто глаза бы его не смотрели на то, что тут творится. Я стоял с ним рядом и не знал, что мне делать. Такое чувство бывает, когда кто-то болен и ты на цыпочках выходишь из комнаты. Вот я на цыпочках и отошел. Прямо там, на улице, против почты. Было три часа или около этого.

Он замолчал. Пустой левый рукав был подвернут и аккуратно приколот к левой поле пиджака, возле грудного карманчика. Голова на тонкой шее опустилась, он, казалось, разглядывал кофейную чашку, которую держал на коленях. Потом осторожно, но так, что ложечка все же звякнула о блюдце, протянул руку и поставил чашку на кирпичную ограду над рекой.

— Я пошел в тюрьму,— наконец заговорил он снова.— Надзиратель провел меня к этому парню и встал поблизости, за дверью. Я опустился на колени, поднял руку и начал молиться. Вот тут это и случилось.— Он снова уронил голову на грудь и помолчал. Потом поднял голову и посмотрел на них.— Послушайте,— спросил он, придвинув к ним худое лицо и вывернув шею так, что на лицо упал лунный свет,— послушайте, вам плевал когда-нибудь нигер в глаза?

Они молчали, а он с мольбой вглядывался то в одного, то в другого.

— Человек никогда не должен произносить этого слова. Слова нигер. Я считаю, что человека нельзя так звать только потому, что Бог наделил его темным цветом лица. Но я должен был назвать его именно нигером — потому что такие чувства я испытывал. Глаза у меня вылезли на лоб, а его лицо было от меня совсем рядом, чуть ли не в шести дюймах от моего, и глаза у него тоже вылезли, и налились кровью, и были так близко, что я даже видел в них красные жилки; я внутренне сжался и вот-вот готов был вскочить, в душе у меня все так и кипело, но тут я услышал, как подходит надзиратель, услышал, как он говорит: «Ах ты, черная сволочь» — и я...— Он умолк.— Простите, миссис Фидлер, что я неприлично выразился. У меня просто с языка сорвалось, ведь это все так и было.

— Ничего, брат Потс,— сказала она.— Ведь это все так и было.

— Но я остался стоять на коленях. Что-то меня удерживало — я назову это благодатью. Я вдруг почувствовал плевок на щеке — на левой щеке — по ней что-то текло. Видно, плюнул он как следует. И когда я это почувствовал, почувствовал вполне, я остался стоять на коленях, не нарочно, а так уж получилось. Я не стал даже утираться. Пусть его течет. И снова стал молиться, уже вслух. А раз я молюсь, надзиратель остался стоять, где стоял. Знаете, о чем я молился? — Он обвел их взглядом.— Я молился,— сказал он чуть погодя,— чтобы Бог внушил мне, что все было правильно, ибо на то его святая воля. Я благодарил Господа за то, что мне плюнули в лицо, и не хотел этот плевок стирать. Пусть его высушит солнце или ветер, как на то будет его святая воля. Потом я поднялся на ноги. Воздел руки, то есть руку, я хочу сказать, и попросил Господа благословить этого юношу. Он сидел на койке и глядел в пол. Потом я вышел. Плевка так и не вытер. Шел по Фидлерсборо с плевком на щеке. Я вошел к себе и лег на кровать. Окна были занавешены.

Брат Потс уронил голову. Взгляд его не отрывался от руки, лежавшей на колене.

Спустя какое-то время Яша Джонс спросил:

— А ваше стихотворение?

— Я лежал на кровати. Не спал, но и не бодрствовал. И вдруг услышал отчетливо, как звон колокола. Услышал слова. Тогда я соскочил с кровати, достал карандаш и попытался их записать.

— Вы можете их повторить? — спросил Яша.— Или лучше прочесть?

Брат Потс, нахмурив брови, склонил голову набок.

— Могу прочесть наизусть. Те слова, что запомнились.

— Прошу вас,— сказал Яша Джонс.

Брат Потс поднял вверх освещенное луной лицо — оно внезапно разгладилось — и закрыл глаза.

Когда любимый город мой
Уйдет в пучину вод,
Молясь, я буду вспоминать,
Как нас любил Господь.
И захлестнет всю жизнь мою,
Всех нас один потоп.
Он смоет злобу и обиду,
И мир придет потом.
Все то, чего мне не дал Бог,
Все — дар его, не долг.
Молюсь, чтоб, глядя на потоп,
Узнать я счастье мог.

Он выжидательно замолчал.

— Брат Потс,— сказала Мэгги.— Это так красиво. Право же, брат Потс, это так красиво, даже за сердце берет.

— Спасибо вам.— Но глаза его были по-прежнему устремлены на Яшу Джонса.

— Да,— не спеша проронил Яша Джонс.— Стихи явно вызваны искренним чувством.

Лицо брата Потса снова сморщилось. Он мелко, словно дрожа, помотал головой.

— Но ведь так оно и получилось! Я слышал эти слова ясно, как колокольный звон, и записал их, как только нашел карандаш. Но услышал я их всего раз, и теперь мне кажется, что, когда я их записывал, получилось не совсем то, что я слышал. Словно из них что-то ушло. Как вам кажется, мистер Джонс?

Яша Джонс задумался, а потом пробормотал: «...c'ha l'abito dell'arte e man che trema».

— Простите? — спросил брат Потс.

— Это я вас прошу меня извинить,— сказал Яша Джонс.— Мне просто вспомнилась строка итальянского поэта Данте. Она всегда мне казалась трагичной. Есть мысль, или, скажем, было видение, но рука дрожит.

— Я вас понял,— уныло кивнул брат Потс.— Верно, рука моя дрожала.

— Разве это не всегда так бывает? — спросил Яша.— Со всеми, кто пытается жить духовной жизнью. Вот оно, видение, а глядишь...

Он развел руками.

Брат Потс покачал головой.

— Но если бы я посмел попросить вас об одолжении,— он вытянул вперед свое худое, встревоженное лицо,— если бы вы самую малость помогли мне доделать стих, чтобы он больше походил на то, что я слышал там, на кровати.

— Брат Потс, никто не может запечатлеть видение. Но если мы с вами об этом поговорим, быть может, что-нибудь к вам и вернется.

Он стремительно поднялся, причем ноги у него не сдвинулись с места, а руки свободно повисли вдоль тела; поднялся легким, пружинистым движением, как танцор или фехтовальщик, и весело произнес:

— Но размер стиха всегда можно исправить! Давайте пойдем в дом, к свету?

Они вместе зашагали по дорожке.

Бред проводил их взглядом.

— Вот черт! Ты бы видела, как он играет в теннис!

— Что, плохо? — спросила Мэгги, глядя на мужчин, уходивших по темной дорожке.

— Да нет,— сказал Бред.— Еще как хорошо. Прекрасно. Но душегуб. Он из меня сегодня все кишки вымотал. Я так выдохся, что пришлось бросить игру.

В гостиной зажегся свет — как видно, одна из настольных ламп.

— Я тысячи две истратил на побережье, обучаясь подаче. А он, наверное, миллион, судя по тому, как меня сегодня гонял.— Бред поглядел на реку.— Но я не очень-то в форме. Брюхо большое. И дыхание могло быть получше. И не

оттого, что я много пью. Одно время в Голливуде я и правда стал здорово закладывать. Но потом завязал.

Он продолжал смотреть на залитое луной заречье.

Чуть погодя Мэгги дотронулась до его колена:

— Я рада, что ты завязал.

— Спасибо, сестричка.— Он похлопал ее по руке. И, не обернувшись к ней, сказал: — А вот с этим никак не справлюсь.

— С чем?

— С этой работой. Я овладел вершинами познания Фидлерсборо и на этом застрял, попал в загон.

— Не понимаю.

— Так в старину выражались те, кто охотился на горных козлов в Скалистых горах. Лезешь вверх, все выше, рискуешь как дурак сломать шею и вот вышел наконец на вершину, и вон он стоит — великан, с рогами, как у бога, но далеко, пулей не возьмешь и так не доберешься: кругом скалы, пропасти, а у тебя головокружение. Крышка. Ты пропал. И тебе ничего не остается как мотать вниз, откуда пришел.— Он мрачно помолчал.— Может, и мне лучше мотать вниз. Откуда пришел.

— Не торопись, есть же время.

— Нет, я отдавал все, что у меня было,— сказал он.— И время и все остальное. Работал каждое утро, а чуть не каждую ночь варил кофе и сидел допоздна. Ты же слышишь, как я хожу за кофе. Смешно, знаешь...— Он умолк.

— Что смешно, Бред?

— Я уже много лет работаю по утрам. И баста. Если к полудню не вытанцовывается, тут уж будь уверен, как выражается Яша, что видение тебя не посетило. Боженька отвернул от тебя свой лик, и день пошел насмарку. Но когда я писал свои первые рассказы там, в Дартхерсте, это бывало всегда поздно ночью. Занимаюсь или играю в бридж — и вдруг нападает беспокойство. Тогда вот полночи сижу в старом шерстяном халате и свитере, радиатор остыл, на окнах ледяные узоры, а я склоняюсь над своим старым «оливером», и в мою хибару течет Ривер-стрит. Я и тут попробовал посидеть ночью. Понимаешь, воссоздать то состояние. Поколдовать, что ли.— Он невесело засмеялся.— Может, дать объявление о покупке старого «оливера»? — сказал он чуть погодя.

— Не надо тебе этого, Бред.

— Что-то же мне надо.

— Тебе надо просто успокоиться,— сказала Мэгги.— И стать самим собой.

— Ха,— буркнул он.— А знаешь, что мне сегодня сказала Леди из Шалотта, прекрасная Леонтина, когда я спросил у нее, что такое быть слепой?

— Не знаю, что сказала она, но вот ты, надо заметить, затронул странную тему.

— Пожалуй, еще более странную, чем ты думаешь. Может, когда-нибудь я тебе расскажу... Но знаешь, что она сказала?

— Нет.

— Она сказала: «Быть собой, то есть мной — это все равно что быть слепым».

— Не важно, что говорит Леонтина. А я говорю, что тебе только надо успокоиться и снова стать самим собой.

— Мне надо взять урок у брата Потса,— сказал Бред.— Надо, чтобы и на меня плюнул нигер, тогда и я услышу голоса.

— Не смей называть его нигером! — закричала Мэгги.— Бедняга разбил старухе голову новым гвоздодером, а все, что он мог сказать на суде,— будто она сама его вынудила, и теперь он не может молиться и должен умереть...

— Слова «нигер» я никогда не употребляю и с трудом приемлю. Но в данном случае цитирую брата Потса. Он говорит, что употребил это слово, чтобы прочувствовать плевок. А если бы не прочувствовал, не услышал бы голосов и...

Мэгги его не слушала.

Он встал и угрюмо на нее воззрился.

— Ничего ты не понимаешь.

— Чего я не понимаю? — спросила она.— Чего я не понимаю, дорогой?

— Что он совсем другой, этот фильм. Я ведь правда в тупике. Парализован. Но мне надо поставить на него все, до последнего цента. Тут пан или пропал. Если он выйдет, все, что было до сих пор, ничего не стоит. А если не выйдет...— Он умолк. Пожал плечами.

— Сядь,— сказала она ласково.

— Шут его побери! Я же работаю, но ничего не складывается. Мне надо, чтобы нигер плюнул мне в лицо.

— Сядь,— повторила она. И хотя он так и не сел, продолжала: — Ты же добился больших успехов, Бред. Я читала в газетах, что ты там один из самых преуспевающих писателей. Если ты только успокоишься и...

— И будешь самим собой.— закончил он за нее и захохотал.— Ага, вот я и вернулся в Фидлерсборо. Вернулся, чтобы прикоснуться к корням. И неведомым, таинственным образом обретаю покой и рождаюсь заново. Так?

— Сядь, Бред,— повторила она еще ласковее.

Он сел. Она взяла его за руку и подержала немного.

— Послушай, я ничего в этом не понимаю, но почему бы тебе не сделать брата Потса главным героем вашей картины? Я, конечно, ничего не понимаю...— Голос ее замер, но она все еще держала его за руку.

Наконец он ответил:

— Я подумаю. Спасибо, сестренка.

Он смотрел за реку. Немного погодя она похлопала его по руке и отпустила ее.

— Да, все, конечно, меняется,— сказал он.

— Что меняется, Бред?

— Мне что-то припомнилось, о чем я, наверно, не думал тысячу лет. А может, никогда. То, что, вероятно, было до того, как ты родилась. До того, как умерла мама.

— Что?

— Я стою и смотрю, как отец бреется,— сказал Бред.— Ты же помнишь, какие жесткие, черные были у него волосы и баки. И вот он бреется, а я слышу, как скребет бритва, большая старомодная бритва. И говорю ему: «Папа, ты когда-нибудь умрешь?» А он смотрит на меня сверху вниз и ухмыляется — да-да, ухмыляется, это одна из самых смешных вещей, какие я помню, ты же знаешь, что это был за железобетонный неулыбчивый старый негодяй...

— Бред! — прервала она.— Он же не всегда был таким...

— С тобой — нет. Да, видно, и со мной тоже, если я вспоминаю эту сцену. Бог знает как давно это было. Словом, бреет он эти свои проволочные баки, а я спрашиваю, умрет ли он когда-нибудь, и он ухмыляется мне и говорит: «Надо думать, сынок, когда-нибудь помру». А я говорю: «Разве отцы не всегда помирают раньше своих сыновей?» И он говорит: «Надо думать, это так». А я говорю: «Что ж, когда умру я, первое, что я сделаю, когда попаду на небо и получу свои крылышки, это буду летать до тех пор, пока не найду тебя».

Он задумался и помолчал. Потом засмеялся и тут же оборвал смех.

— Да,— сказал он,— подумай только, как давно это было, если я хотел лететь по небу, чтобы иметь возможность насладиться его обществом.— Он снова помолчал.— При всем том я мысленно вижу, как этот обросший черной щетиной старый хрен держит в воздухе бритву, смотрит на меня сверху вниз, но уже не ухмыляется и...

— По-моему, я сейчас заплачу,— деловито сообщила Мэгги.

— Погоди, когда я кончу, у тебя будет повод поплакать.— Он снова помолчал.— И вот смотрит он на меня сверху, на своего милого малыша, держит на весу громадную бритву, а я говорю: «Но помни, ты меня тоже ищи. Когда я там буду летать и тебя разыскивать».

Она промолчала, не глядя на него и опустив глаза на свои стиснутые на коленях руки.

— Ну вот, черт возьми, теперь можешь поплакать. Только я надеюсь, что ты этого не сделаешь. Потому что, хоть я и не привык плакать на публике, я и сам могу заплакать.— Он хмуро ждал, не скажет ли она что-нибудь. А потом продолжал: — Вот эта сцена, хороша она или плоха, не выходит у меня из головы. Дарю ее тебе, как локон волос или засушенную фиалку из семейной Библии. Она

просто, помимо всякой логики, застряла у меня в памяти. Теоретически я не могу этого обосновать. Особенно в свете моих дальнейших отношений с этим старым мерзавцем.

Он встал.

— Пойду работать, — объявил он.— По дартхерстскому расписанию видению пора появиться. Если оно вообще появится. Ку-ку.

Он успел сделать несколько шагов, но она подняла голову и окликнула его:

— Постой.

Он остановился.

— Помнишь, та книга, которую ты начал... твой роман... до отъезда в Голливуд?

Он кивнул.

— Ну вот, если хочешь это использовать...

— Насчет тебя и Калвина... суд и прочее?

— Да. Теперь мне уже все равно, даже если ты об этом напишешь. Если тебе это поможет. Сейчас мне это уже все равно.— Она помедлила.— Мне и тогда это должно было быть все равно.

Он уперся в нее тяжелым взглядом, разглядывая ее поднятое к нему лицо. Она сидела очень прямо.

— Спасибо, сестренка. Но видишь ли... видишь ли, я, пожалуй, сперва попытаю счастья с другой твоей задумкой. Ну, насчет брата Потса и все такое...

Он направился к дому.

Она глядела, как он поднимается по дорожке, и сердце ее было полно нежности. Когда он исчез из виду, она обвела взглядом сад, готовый обвалиться бельведер, реку, дали. Где-то там мерцал огонек. В каком-то доме, в чьей-то хижине. Где-то там что-то было.

Она смотрела туда, и весь мир казался ей хрупким, прекрасным в неверном свете луны, в тумане над равниной и с темнеющими вдали лесами. Ей захотелось обнять все это с материнской нежностью.

Она подумала: Если бы можно было так чувствовать всегда...

...и когда мы вернулись в Нашвилл после свадебного путешествия, мы сняли квартиру на Большой авеню, кстати не такую уж большую— мезонин, разделенный на гостиную, спаленку, маленькую кухню и нечто вроде ванной. Дом принадлежал учителю одного из здешних колледжей, не знаю, правда, которого,— учитель в свободное время плотничал сам, поэтому получилось то, что только и могло получиться из вагонки и шпалерных дощечек, набитых на стояки, зато жена его постаралась прикрыть это убожество, выкрасив полы в десять разных колеров и наклеив переводные картинки с изображением цветов на двери лимонного цвета. Только на двери ванной посредине красовалась большая картинка с голым ребенком на горшочке. Жена учителя была с юга Миссисипи — крупная улыбчивая женщина, которая никак не могла согнать улыбки с широкого лица, покрытого прекрасной кожей; у нее всегда потели подмышки, что бы она на себя ни надела, и она вечно подстерегала меня на лестнице или забегала в квартиру и, приблизив улыбающееся лицо, дышала прямо на меня и шепотом, то и дело облизывая губы, выспрашивала, хорошо ли нам с Калвином в постели, советовала, как избежать беременности или как добиться того, что она звала «совместным экстазом, то есть музыкой богов», чего они с Арчибальдом — учителем — наконец добились и во что она теперь хочет посвятить других. Это была самая красивая фраза в ее лексиконе, насчет музыки богов, меня интересовало, откуда она ее почерпнула, из какого справочника по половой гигиене. Вообще-то все ее разговоры, когда она дышала на меня с этой широкой, слюнявой улыбкой, велись тем сопливым, сладким, как раскисший зефир, языком, каким написаны сексуальные руководства. По крайней мере, та книга о любви и браке, которую я в конце концов отважилась заказать по объявлению, где ее обещали прислать без обложки (и так и прислали), а я ее прятала в кухонном шкафчике под раковиной, за половыми тряпками, щетками и бумажными мешками для мусора, чтобы Калвин ее не нашел. Мне было стыдно ему ее показать, я боялась, что он сочтет меня дурындой, подумает, что я его не люблю или сомневаюсь в его опыт-

ности. И в его медицинских познаниях. Хотя он настоящий врач, и окончил институт Джонса Гопкинса, и должен все знать, а следовательно, сам расскажет или покажет мне все, что полагалось рассказать или показать.

А покуда меня мучило чувство вины, сознание измены, когда я сидела на кухне — а иногда даже в ванной,— читала эту книгу и боялась услышать его шаги на лестнице. Правда, я знала, что интерн — это вроде арестанта: он не может вдруг забежать домой, даже если ему очень приспичит. Но это чувство вины было детской игрой по сравнению с тем, что началось весной.

Как-то раз жена учителя зашла ко мне с большим конвертом в руке. Она долго на меня дышала, выливая поток приторной болтовни, которую я не очень-то хорошо понимала, хотя, признаюсь, старалась вникнуть в то, что крылось за всем ее нашептыванием, за всей ее самодовольной, потливой сладостью. Наконец она вытащила что-то из конверта. Это была книга Фанни Хилл, ну, та самая знаменитая грязная книжонка. Она мне ее отдала. Я так и осталась стоять, держа книгу в руке, а она чуть не на цыпочках поплыла к двери, как большой резиновый шар в розовом платье, но остановилась в проеме, держась за ручку и подглядывая за мной со своей влажной, шепотливой улыбкой до ушей, которая, казалось, говорила, что она-то прекрасно знает, как я сейчас буду себя вести.

И она не ошиблась. Как только она ушла, я отворила дверь, чтобы проверить, не присела ли она за ней и не подглядывает ли в замочную скважину. В сущности говоря, мои подозрения на ее счет были недалеки от истины. Она вполне могла подглядывать. Несколько лет спустя в Нашвилле разразился колоссальный скандал: обнаружили нечто вроде сексуального кружка, члены которого обменивались друг с другом партнерами и даже давали небольшие представления при свечах — о господи! при свечах! — в нем участвовали и учитель с женой. Вот тогда-то я и стала подозревать задним числом, что она собиралась завербовать туда и нас с Калвином. Это вполне могло быть. Во всяком случае, вмешалась полиция, учителя уволили, запретив ему учить, чему уж он там учил, и обоим пришлось покинуть город. Ну разве не жалкий конец после всего этого шушуканья, слюнявой приторности и совместного экстаза, трескотни из пособия по гигиене половой жизни, шаровидных телес, покрытых прекраснейшей кожей, влажных губ и Фанни Хилл с иллюстрациями, и что бы там ни заставляло ее делать то, что она делала, и, боже ты мой, еще при свечах! — чтобы потом все это кончилось в замызганном полицейском суде Нашвилла? Уж не знаю, плакать тут или смеяться.

Но вернемся ко мне. Я могла бы поплакать и над собой, если бы это не было так смешно: едва сексуальный шар выкатился, я заперла дверь, улеглась ничком на диван-кровать и читала про забавы Фанни Хилл, пока мне не стало стыдно и я не вышла на середину комнаты, с трудом унимая тошноту, и не поглядела в окно, где на подоконник осела угольная сажа, как это всегда бывает в Нашвилле, и не увидела верхушку клена с набухшими золотыми и розовыми почками, которые от закатных лучей казались еще ярче, и не услышала городского шума, гудков автомобилей, снующих по Хилсборо-авеню, шагов людей, возвращавшихся домой с работы, словно шел самый обычный день. Я стояла, зная, что мне надо поскорее сбегать в лавку, пока ее не закрыли, чтобы купить что-нибудь на ужин: на ужин себе, потому что Калвин в ту ночь дежурил. Но двинуться я не могла. Мысль о том, чтобы что-то варить, вызвала у меня тошноту. Есть я не хотела. Я ничего не хотела. Я стояла и хотела умереть.

В ту весну со мной так бывало раз сорок — в конце концов я, двигаясь, как сомнамбула, и стараясь не думать о том, что делаю, все же доставала книгу, плюхалась на диван или вставала возле кухонной раковины, чтобы побыстрее закинуть книгу в потайное место, если услышу шаги, хотя дверь была заперта, либо же пряталась в ванной с этой игривой наклейкой на двери — ребенок на горшочке. Да, именно в ванной, до того я чувствовала себя гадкой, грязной и виноватой.

Кончилось это тем, что я швыряла книгу, вставала посреди комнаты, почему-то обычно под вечер, и глядела на корку прошлогодней сажи на подоконнике, на кленовые почки за окном, которые уже распустились в твердые кленовые листья, на стайку скворцов, поднимавших адский гзалт на дереве и усеявших серым пометом все его листья, а надо всем этим лился закатный свет.

И да, я еще слушала городской шум на Хилсборо и автомобильные гудки. Эти звуки, как вся жизнь, как все на свете — прошлое и будущее, все-все,— уходили от меня, пропадали, и казалось, что скоро во всем мире уже не будет ни звука и наступит непроглядная тьма, а я буду стоять в этой тьме не в силах двинуться с места.

Но я двигалась с места. Поднимала книгу и шла прятать ее под раковину.

Смешно сказать, но ведь не всегда было так. Словно у меня было два «я», или я жила двумя жизнями,— одна была нормальная, легкая, Калвин был со мной нежен, и я его любила. Сейчас это странно звучит, но это правда, и нам с ним бывало хорошо. Если бы он не был так занят. Или так отчаянно не надрывался бы на работе. Или если бы у нас было хоть немного денег, а у нас были гроши, и мать Калвина едва сводила концы с концами в Фидлерсборо. Или если бы мы имели возможность хоть иногда выходить, видеть каких-то людей. Ох, тысяча этих «если бы». Порою, когда оглядываюсь на свою жизнь, мне кажется, что она — стебель со множеством «если бы», возможностями, которые опадают одна за другой, как листики с приходом холодов, и уже ничего не остается от того, что могло быть, кроме голого стебля, никаких «если бы», только голое ничто.

Может быть, я просто скучала: мне приходилось подолгу сидеть одной в этой квартире. Во время рождественского наплыва покупателей меня брали на работу в местный универмаг, но постоянной работы я получить не могла, только случайную или временную. Я пыталась самоучкой изучить стенографию и машинопись, но дело шло медленно. Кое-какие подружки по Ворд-Бельмонту меня не забывали, они в тот год начинали выезжать в свет и приглашали нас с Калвином на свои первые балы, но Калвин только раз смог уйти из больницы, а когда он уговорил меня пойти одну, я чувствовала себя там неловко. Время от времени я ходила поиграть с девочками в бридж, но с каждым разом все больше ощущала, что теперь между нами мало общего. Я надеялась, что все изменится, когда мы вернемся в Фидлерсборо. Я только об этом и мечтала.

Думала я и о Летиции с Бредом. О том, как они жили с ощущением полнейшей свободы, словно птицы в воздухе или дельфины, играющие в волнах. О том, как прошлым летом по вечерам они сидели на террасе в качалке и держались за руки, и мне чудилось, что руки их светятся в темноте. Я была уверена, что, когда мы с Калвином вернемся в Фидлерсборо, эти чары могут перейти и на меня. Я протяну в темноте ему руку, и наши руки тоже будут светиться. Когда мы вернемся в Фидлерсборо.

Но когда мы приехали туда на пасху, там все уже было по-другому. Не то чтобы Бред и Летиция плохо нас приняли или не любили друг друга. Просто они как-то иначе это проявляли, нет, я сейчас понимаю, что Бред просто щеголял перед нами тем, как он то и дело хватает Летицию. Она-то вела себя молодцом, почти все умела превратить в шутку. Но я заметила, что и Калвин стал там не таким, как всегда. Будто сам не свой — все пытался подражать Бреду. Мне это не нравилось. Меня это смущало. Но я решила, что это потому, что он пьет, раньше он никогда не пил, разве что рюмочку-другую, когда не работает.

Да, выпивка,— они тут много пили. Бред работал, ничего не скажешь. Он написал повесть, получил за нее кучу денег и писал другую. Но ночи напролет они играли в покер. Бред завел новую компанию — молодых инженеров из Административного совета долины Теннесси, работавших на плотинах в Кентукки и строивших там заводы, а также всяких проходимцев вроде этого красавца Джибби Джексона, который появился неведомо откуда и женился на порядочной девушке с приданым в миллион акров орошаемой земли. Он вечно щеголял в дорогих сапогах для верховой езды, бриджах и белом шелковом шарфе, как летчики в первую мировую войну, раскатывал на роскошной спортивной машине и проводил почти все свое время, соблазняя школьниц в разных городах западного Теннесси. Ужасный негодяй. Бред смеялся и говорил, что он негодяй, и тут же добавлял: «Но мне он принесет двадцать пять тысяч долларов, дайте только изобразить его на бумаге!»

Кстати, я думаю, что Бред заработал на Джибби еще больше. Но не на книге. Ведь это он Джибби вывел в своем последнем фильме. Я его видела, тот, что

называется «Сон Иакова». Там тип вроде Джибби приезжает и женится на девушке вроде Риты Джексон, дурно с ней обращается, и его убивает старый негр из их имения, который предан Рите и не хочет сказать, за что он убил ее мужа. Фильм такой, что хуже не бывает! Я сидела в темноте, и меня так и передергивало от стыда за Бреда, честное слово. Но потом я подумала, что, может, он не виноват, может быть, его сценарий испортили.

Но настоящего Джибби никто не убивал. Он просто разорился в пух и прах. В сельском хозяйстве он ровно ничего не понимал. Швырялся деньгами, заложил землю Риты и даже, несмотря на высокие военные цены, потерял все, и пришлось им уехать. Рита к тому времени выглядела старухой.

Но я-то хочу сказать, что в Фидлерсборо все уже было по-другому — там пили и до утра играли в покер.

А Летиция играла с Бредом наравне, она была там единственной женщиной, пока я не приехала. Иногда она для смеха надевала зеленый козырек, а однажды шутки ради даже закурила сигару. Видно, надеялась, что юмор не даст им распускаться. И, наверное, была права. Потому что как-то раз, уже летом, когда она была нездорова и не пошла с ними играть, разразился скандал, произошло что-то очень гадкое, а что, я так толком и не знаю.

Да, там все изменилось. И перемены, как видно, происходили постепенно, всю зиму. Казалось, что и Летиции и Бреду нечего делать в Фидлерсборо. Они просто тут живут, а к ним откуда-то приезжают люди, пьют и играют в покер. Или в бридж. Приезжают даже из Нашвилла и Мемфиса, иногда с девушками.

Но у Бреда все еще оставались его болотные друзья — товарищи по охоте и по рыбалке. Он с ними уходил в лес. А иногда брал с собой и Летицию. Она рисовала то, что видела там, на болотах. Говорила, что напишет портрет Лупоглазого.

И написала. Вы видели его в той комнате, где чучела птиц и зверей. Он хорошо получился — такой, как был, спокойный, будто чего-то ждет, и зрячий глаз пристально смотрит, словно все видит. Летиция и Лупоглазый — они отлично ладили. Бывало, она его дразнит, а он...

Глава двадцатая

Бредуэлл Толливер встал из-за стола и посмотрел на часы. Было без десяти минут два часа ночи, как раз то время, когда давным-давно, в Дартхерсте, радиатор издавал свой последний отчаянный лязг, серая изморозь, как бельмо на глазу старика, затягивала окно, отгораживая беспросветную темноту ночи, и когда он поднимал глаза от старенького «оливера», перед ним в мистическом облаке табачного дыма возникало видение Ривер-стрит. Но там, вспомнил он, было восточное стандартное время. А тут центральное стандартное время.

Он выключил свет и ощупью вышел из темного дома. Стоя на шоссе, на которое где-то там выходила Ривер-стрит, он посмотрел на приземистые очертания дома. Потом повернул на север, к городу, и зашагал. Луна опускалась на запад. Там свет ее выбелил громаду тюрьмы. Он сделал невидимыми лучи прожекторов на угловых башнях. Лунный свет наводнял землю. В этом свете Ривер-стрит плыла как видение.

Глядя перед собой, он упорно шел к ней.

Перед домом Партлов он остановился. Посмотрел на его белую тесовую обшивку, темные окна, на скромную пряничную резьбу крыльца, на высокие, тонкие кирпичные столбики, так ненадежно державшие дом над черной землей и густыми пятнами тени, а над всем этим — на черную, крытую толем крышу, где зернистая поверхность то там, то сям ловила мерцающие отблески луны.

Фасад был в тени. Дом был замкнут в себе, огражден от внешнего мира, погружен в свою дремоту; покойно сложив руки, он спал. Бред подумал о Леонтине Партл, спящей в этом доме. Он подумал о комнате с плотно задернутыми занавесками, темнее самой тьмы, и в этой тьме ее обнаженное тело поразительной белизны. Она спала и светилась в темноте. Он закрыл глаза и вдруг вжался лицом в душистую мягкость ее живота. В этой мягкой, душистой, абсолютной тьме он не мог ничего видеть. Но знал, что ее белизна светится вокруг него, вокруг его уткнувшегося вниз, ослепшего лица.

— Господи,— произнес он вслух.

Губы у него пересохли. Луна катилась на запад. Где-то в горах за его спиной закричала сова. Потом закричала снова своим низким, как выдох, гуком уже где-то вдалеке.

Он свернул на дорогу и пошел дальше.

Прошел мимо поваленного дерева на обочине, мимо заброшенного дома Томбитов с выбитыми стеклами, мимо пустырей, где сухие стебли лаконоса торчали над вылезающей из земли полынью, и светлая зелень полыни серебрилась в бледном свете луны, мимо церкви. Постоял на дороге, поглядел на кладбище, где плиты в этом свете белели, как кости, а трава на немногих могилах, где ее скосили, белела от росы.

Никто не станет косить траву на могиле Израиля Гольдфарба. Интересно, где же его могила? Он придет опять. Снова попытается ее найти. Он вдруг решил, что непременно ее найдет.

Он двинулся к городу по Ривер-стрит. Загляделся на галантерейный магазин Перкинса, где над тротуаром навис железный козырек, и увидел, что из витрины ему преданно улыбается восковой манекен. Загляделся на почту; на кафе «Вовек не пожалеешь», на старую бильярдную с разбитой стеклянной дверью; на окно пустого магазина, где покоробленная ветхая картонка сообщала о былых баскетбольных баталиях; на кинотеатр «Лицей», где обрывки выцветшего плаката, рекламировавшего последнюю новинку, все еще висели на доске возле билетного киоска. Подошел поближе, чтобы разглядеть эти слинявшие обрывки, но так и не разобрал, что там написано. Ему удалось прочесть только:

АМЕР... В... ПАРИ...

Остальные буквы выцвели, стерлись или были оборваны. Но он догадался: «Американец в Париже». Этот фильм вышел сто лет назад. В 1951 году. Отхватил четыре «Оскара». Что же, он тоже как-то раз отхватил «Оскара».

Он протянул руку, подцепил край дырявого плаката и дернул. Обрывок остался у него в руке.

Он глядел на реку, залитую лунным светом. Подумал о том, как будет подниматься вода. Она зальет Ривер-стрит. И Ривер-стрит больше не будет. Спросил себя, что останется от него, от Бредуэлла Толливера, здесь или где бы то ни было, когда больше не будет Фидлерсборо.

Пошел дальше. Впереди стоял памятник южанам. Высокая бронзовая фигура на каменном постаменте, в широкополой шляпе с опущенными полями, приставив ружье к ноге, смотрела на север, вниз по течению реки. Он подошел к памятнику. У подножия его в тени кто-то сидел.

Это был Яша Джонс.

— Простите меня,— сказал он.— Я всего-навсего за вами шпионил. Смотрел на Фидлерсборо при беспощадном лунном свете. А потом увидел, что ко мне издали приближается человек.

— Ага. Я и есть тот человек.

— И думал о человеке, который ночью, перед самым началом потопа встанет, чтобы еще раз поглядеть на Фидлерсборо при лунном свете.

— Верно,— сказал Бред.— Именно это я и делал.

— Но я думал о человеке из нашего, как вы выражаетесь, распрекрасного фильма. Я думал о че-ло-ве-ке, о любом человеке, который встает ночью перед потопом. Сначала на пленке будет только ночное небо. Потом только ноги в залитой лунным светом летней пыли. Лица его мы так и не покажем. Он останется неузнанным. Мы так и не будем знать, кто из всего Фидлерсборо ночью встал. Мы просто будем видеть его фигуру. Человек будет смотреть вверх, на старую отметку подъема воды на стене скобяной лавки Лортона, объектив будет наведен на уже почти стершуюся надпись: «12 апреля 1924 года» — и мы сможем разглядеть поры старого выкрошенного кирпича. Потом человек уставится на манекен в витрине. Потрогает разбитое стекло в дверях бильярдной. Сорвет остаток плаката со стены заброшенного кинотеатра.

Бред протянул ему обрывок плаката.

— Это был «Американец в Париже»,— сказал он.— Четыре «Оскара».

Яша Джонс, казалось, его не слушает.

— Держа обрывок плаката в руке, человек сядет на постамент памятника южанам,— продолжал он.— Сядет в тени. Мы так и не увидим его лица. Аппарат, я думаю, снимет вертикальную панораму статуи, потом сфокусирует...

— А почему вы сели на постамент? — спросил Бред.

— По чистой случайности. Но случай часто наполняется для нас глубочайшим смыслом.— Яша Джонс впал в задумчивость.— Нет,— возразил он себе.— Это не было случайностью. Что бы там слово «случайность» ни означало. Ведь как определить, что это такое? — Он помолчал.— Если не считать, что мы это уже определили.

— Как?

— Да как событие, которое открывает нам свой глубочайший смысл! — воскликнул Яша Джонс с какой-то необузданной веселостью.

Он смотрел на Бреда, и глаза его в темноте блестели.

— Нет,— сказал он уже серьезно.— Все куда прозаичнее. Я сидел здесь не случайно. Поразмыслив, могу сказать, что сидел я на этом постаменте потому, что это была та точка, которая мне нужна для съемки.

— И выбрали ее правильно. Это — духовный центр Фидлерсборо. Я тоже тут приземлюсь.

Он сел на выступ гранитного куба. Ткнул большим пальцем через плечо и сказал:

— Интересно, а его переселят?

— Кого?

— Джонни Реба,— сказал Бред. И помолчав: — Он ведь уже давно здесь стоит, преграждая путь канонеркам, янки с капиталами и всяким новшествам. Правда, с канонерками он не совладал, зато отыгрался в двух других случаях.— Он снова помолчал.— В нем все, что делает Фидлерсборо неотъемлемой частью Юга. В нем все, что придает достоинство нашим недостаткам. В нем все, что превращает психоз насилия в положительную этическую категорию. Уберите его, и от Фидлерсборо останется лишь отжившая свой век свора деревенщины и остепенившихся болотных крыс, которые выползли на сушу, а суша эта — всего-навсего несколько акров никудышной землицы. Уберите Джонни Реба, и Фидлерсборо превратится в еще одну закостенелую дыру в той славной derrière [2], которую мы величаем американской глубинкой. Фидлерсборо ничем не будет отличаться от Айовы. Но пока что его кровь освящает нашу неразбериху, его отвага...— Он умолк.— Чушь,— признался он.

— Памятники Гражданской войны есть и в Айове,— заметил Яша Джонс.— Так мне, по крайней мере, говорили.

— Ага,— сказал Бред.— Эти статуи с осиными талиями натыканы по всем землям янки. Опираются на ружье, а зад женственно выпячен, как турнир в «Дамском журнале» Годэ [3]. Но те северные памятники ничего не символизируют. Там это просто дорогая голубятня и сортир для усталых воробьев. А здесь — это символ.

— Чего?

— Ответ очень прост. Липы.

— Липы?

— Нет, не липы вообще. Вернее говоря, одной определенной лжи.

— Какой?

— Лжи, которая для меня является истиной.

Он согнулся, упершись локтями в колени, безвольно свесив большие руки, и уставился на Ривер-стрит, залитую луной.

— Надо сказать, что Ривер-стрит всегда была мне ближе, чем мои собственные руки или ноги. Надо сказать, что я всегда брал Ривер-стрит с собой в постель.— Он помолчал и пересел поудобнее.— Ну да, в постель. Ну да. Несколько лет назад я был влюблен в одну северяночку. Я говорю не о моей первой жене, Летиции. Та тоже была из этих, с «Мэйфлауэра», но выросла в Нью-Йорке, и деньги ее были добыты не у государства, а на Уолл-стрит. Я употребляю понятие «янки» более ограничительно. Поселенцы в бухте Массачусетс, но

[2] Заднице *(франц.)*.

[3] Первый дамский журнал в Америке, издавался Антуаном Годэ в Филадельфии с 1830 по 1898 год.

никакой шушеры с Плимутской скалы[4], коренные бостонцы, кальвинизм и торговля с Китаем, а в дальнейшем уклон в епископальную веру и самые что ни на есть выгодные облигации; просторные костюмы из твида, чтобы скрыть фигуру, низкие каблуки, а для развлечения латынь; темные, стянутые в пучок волосы, очки в роговой оправе, в которых нет особой нужды, а когда она их снимает, тебя так и пронзает льдисто-голубой взгляд; лихо ездит на лошади, но поистине расцветает она в темноте. Все остальное было призрачно, а тут начиналась настоящая жизнь. Расцветающий ночью кактус — вот что это было такое. Расцветающий ночью кактус, битком набитый учеными поговорками, несуразным хихиканьем, дерзким весельем и тогдашней поэзией, где дух и нутро шли рука об руку в так называемой трансцендентной самораскрытости. Да, я был в нее влюблен, влюблен по уши.

Он смотрел на Ривер-стрит.

— И она была в меня влюблена,— сказал он. И, помолчав, продолжал: — Да, и она была в меня влюблена; мы лежали с ней там, в Калифорнии, при свете луны, который, заливая Тихий океан призрачным огнем, лился в окно, и слушали прибой. Хотите знать, как это прелестное существо очутилось в таком свинарнике, как Калифорния?

— Да, если вам хочется это рассказать.

— Хочется. Очень хочется, потому что я подлец. Она была прекраснейшим цветком Севера, но нарушила заповедь и вышла замуж за еврея, за гарвардского summa еврея с дипломом отличника. Осталась при нем, даже когда он, наплевав на свою summa, уехал в Голливуд, но кто когда богател на дипломе с отличием? Он наплевал и на пышные рецензии на свою первую книгу стихов, но кто когда разбогател на стихах? Он написал два замечательных сценария: «Ни гроша за любовь» и «Пески Кил-я-пу».

— Брендовиц,— раздумчиво произнес Яша Джонс.— Мерл Брендовиц.

— Точно. Видите, какой я подлец, я ведь намекаю на то, что лежал именно с миссис Брендовиц, когда призрачный свет тихоокеанской луны лился в мое окно. Но к тому времени Мерл, написав два выдающихся сценария, стал выдающимся алкашом, и она его бросила, а я, сидя здесь у подножия памятника южанам, который только и делает Фидлерсборо Югом, выражая ту ложь, которая ему кажется истиной, чувствую насущную потребность поведать вам, как мы с Пруденс Брендовиц, урожденной Леверелл, лежали при прославленном свете калифорнийской луны, уже вкусив, как говорится, блаженства, и она вдруг заговорила о своей встрече с одной нашей знакомой — крупной, красивой, невежественной, но богатой дурой из Алабамы — со всеми южными ужимками и заносчивостью и, хихикая, стала изображать ее южный говор, еще и вдвое сгущенный, как я думаю, для калифорнийского восприятия; а потом вдруг замолчала, напряглась — я не мог не почувствовать этого напряжения, потому что лежала она у меня на плече и я ее обнимал, положив руку ей на грудь, чью пышность едва скрывал облекавший ее в обычное время тзид,— уставилась в потолок и воскликнула: «Ну и вульгарны же эти южане, просто кошмар, терпеть их не могу!» Надо сказать, что до той смехотворной южанки мне было все равно что до лампочки. По правде говоря, я сам ее не выносил. Она меня шокировала и с человеческой и с исторической точки зрения. И Пруденс Брендовиц была права по всем статьям: она была кошмарна, она была типичной южанкой, она была вульгарна. Но тут и начинается загадка. Когда Пруденс Брендовиц, в которую я, как известно, был по уши влюблен и которая томно лежала со мною рядом при свете калифорнийской луны, произнесла эти слова, сердце мое вдруг сжалось в кулак, и я явственно услышал, как внутренний голос из самых глубин моего «я» вещает: Милка, с тобой всё!

Он все еще сидел согнувшись, упираясь локтями в колени и свесив тяжелые руки, глядел на Ривер-стрит, освещенную луной.

Помолчав, он продолжал:

— Если говорить точно, то не совсем все. Сердце мое сжалось в кулак, а

[4] Скала в гавани Плимут в штате Массачусетс, где, по преданию, в 1620 году высадились пилигримы.

если ты сжал кулак хотя бы ненароком, ты словно включил ток и кулак дергается, ему надо по чему-то стукнуть. Когда миссис Брендовиц произнесла свои слова, сердце у меня сжалось и бешено заскакало. Словно с визгом и улюлюканьем сюда ворвались все те волосатые, блохастые, полуголодные, дубленые, сухопарые злосчастные ублюдки верхом на костлявых, как ходячая смерть, кобылах, которые ехали за генералом Форрестом, а за ними следом полыхнули пожары, и пошло насилие и неисчислимые бедствия — вплоть до самой канадской границы.

Он помолчал, уставившись на Ривер-стрит.

— Ей я не сказал ни слова.— И опять, помолчав: — Уж я ее мял, мял, пока не намял досыта...— Он сделал паузу подольше.— А потом я лежал, уставившись в потолок, но его не видел, а Брендовиц, урожденная Леверелл, уткнулась мне в правый бок ниже подмышки, цепляясь за меня, словно я спасательный круг в бурном море. А им-то я как раз и не был. Я сам был бурным морем. В сердце моем, как говорится, бушевали ярость и самое черное отчаяние. О, сладостная тайна жизни! Но с милкой действительно было все. Я встал, надел штаны, вышел за дверь и больше не вернулся. А она, будучи честной, простодушной северянкой, написала мне потом простодушное письмо о том, что она меня любит, думала, что и я ее люблю и как все это понимать? Но что я мог на это ответить? — Он молчал, не сводя глаз с Ривер-стрит, омытой лунным светом.— Главным образом,— наконец сказал он,— потому что и сам не знал ответа. Во всяком случае...— Он не стал продолжать.

— Во всяком случае, что? — не дождавшись, спросил Яша.

— Мне пришло в голову,— сказал Бред и передвинулся на постаменте,— что если бы я и вернулся к Брендовиц, урожденной Леверелл, после всех этих зверств и пожаров, полыхавших до самой канадской границы, я бы с ней не смог.— Он уселся поудобнее.

— А-а,— пробормотал Яша,— lex talionis души!

— Что?

— Закон, который назначает наказание в соответствии с преступлением,— нравоучительно произнес Яша Джонс, пародируя лектора: — Если «сверх-я» действительно, как это утверждают, заключает в себе глубинную тягу к насилию, тогда это «сверх-я» отлично знает, как подвергнуть наказанию бедное маленькое «я» — зеркало его агрессии, и таким образом...

— Вы что, увлекаетесь этой белибердой? — спросил Бред.

Яша Джонс засмеялся:

— Довольно дико звучит при лунном свете, а? Но разве это не старая истина в новой упаковке? Что касается lex talionis души, то уже Данте все это знал — читайте «Ад». А Софокл, он...

— Ага, и я тоже. Может, и я тоже что-то узнаю насчет вашего lex talionis. За мои грехи я, уроженец Фидлерсборо, послан назад в Фидлерсборо, чтобы создать прекрасный кинофильм о Фидлерсборо.— Он сердито повернулся к спутнику, сидевшему в тени памятника.— Черт бы его побрал! Может, я не могу написать этот ваш проклятый сценарий!

— Напишете,— спокойно произнес Яша.— И это будет прекрасный сценарий.

Бред вдруг тяжело встал.

— Может, тут происходило чересчур много всякой чертовщины,— сказал он.— Знаете, что здесь произошло? — спросил он, сердито глядя на собеседника.

— Не все, но кое-что знаю.

— Мэгги... она вам рассказывала? — Он взмахом руки показал на громаду тюрьмы. Свет прожекторов на угловых башнях размывало луной.

— Да,— невозмутимо подтвердил Яша,— кое-что она мне рассказывала.

— Так я и знал.

Вдалеке, на темной гряде холмов, гукнула сова.

— Слышите эту проклятую сову?

— Да,— сказал Яша.

Бредуэлл Толливер молчал. Он ожидал, ухнет ли снова сова. Но она тоже молчала. Тогда он сказал:

— Так я и знал, что она расскажет. Решит, что должна сделать это сама.

Яша Джонс внимательно на него посмотрел, потом негромко заметил:

— Да, она не из тех, кто сваливает свои обязанности на других, правда?

— Слушайте, видели бы вы ее тогда. Я хочу сказать, на суде. Сидит невероятно спокойная и глядит прямо перед собой на зал, набитый слюнявыми брехунами,— кто из них в мыслях своих не задирал ей юбку под кустом гортензии? И да будет вам известно — это те самые гортензии, что и сейчас растут у застекленной веранды. И вот уже двадцать лет, как она сидит летом на этой веранде ночи напролет, глядит, как цветут эти гортензии при лунном свете.— Он помолчал и зло взглянул на собеседника.— Представляете, как она там сидит? Наверно, и сейчас там сидит, в эту самую минуту.

— Да,— сказал Яша.

— Правда, я не знаю, сколько лет живет гортензия,— угрюмо признался Бред.— Но можете быть уверены, если какой-нибудь куст и засох, Мэгги Фидлер посадила на его место новый. Такая уж она, эта Мэгги Фидлер.

— Да,— кивнул Яша.

Бред помолчал. Потом, мотнув головой, как конь, отгоняющий слепня, или как пес, цапнувший докучливую муху, объяснил:

— Кажется, эта история доконала и нас с Летицией. После суда мы продержались недолго.— Он погрузился в свои мысли.— Я ведь вернулся, намереваясь остаться здесь навсегда. С Летицией, любить ее. Думал, это единственное место, где я могу жить и быть самим собой. То есть писать.— Он хрипло хохотнул: — Да не вышло.— И замолчал снова.— Да-а... Потом там, в Калифорнии, я десять раз собирался сюда вернуться. Найти тут женщину. Подходящую. Осесть.— Снова помолчав: — И вот я здесь. Для чего? — спросил он. И тут же ответил себе: — Чтобы написать этот проклятый сценарий.

Яша Джонс поднялся с постамента все тем же гибким, скупым рывком всего тела. Он встал против Толливера, положил ему правую руку на правое плечо.

— Но вы здесь и напишете то, для чего приехали. А все, что здесь произошло, придаст вашей работе глубину и силу. Как масло, питающее фитиль, чтобы огонь горел. В конце концов вы достигнете того состояния, которое Стендаль называл le silence du bonheur [5]. И в той тишине создадите прекрасное произведение.

— Нашли бы вы лучше себе кого-нибудь другого.

— В том, что вы напишете, не будет экзотики,— продолжал Яша.— Вот где опасность — вы и не представляете, как экзотичен Фидлерсборо! Но тут есть и другое. Исконно человечное, исконно простое и потому бесценное. Нет, я не беру на себя смелость рассказывать вам о Фидлерсборо. Но закройте глаза и представьте себе лица. Лица — да тут поистине средневековые лица! Подумайте...

— Не лица тут средневековые, а головы,—сказал Бред.

— ...подумайте о вытесанной из одного куска антиэкзотической простоте. Так и слышится, как вгрызается резец в камень. В этом и есть сюжет.— Он снял руку с его плеча и отступил назад. Махнув рукой на ближайшую сторожевую башню тюрьмы, он спросил: — Как звали того надзирателя? Того, кому мистер Бадд приказал подстрелить воробья?

— Лем.

— Вот образ, который стоит передо мной. Закрою глаза и в сотый раз его вижу. Но что это значит, сам не пойму.

— Ну и что? — спросил Бред.

— Мы видим, как поднимается вода — общий план, ловим луч, который тянется к западу. Потом аппарат панорамирует на башню и на облака, плывущие за ней. Фокусируем с расстояния примерно ярдов в пятнадцать. На башне видим Лема с ружьем, он смотрит вниз, на тюремный двор. Кадр тюремного

[5] Счастливой тишиной *(франц.)*.

двора с маленькими заключенными внизу. В кадре Лем. Видим, как он медленно работает челюстями, жуя табак. Помните этот ритм?

— Да,— сказал Бред.

— Помните, как челюсти застыли, когда он поднес ружье к плечу?

— Да.

— Ну вот, мы видим Лема, который смотрит вниз, на тюремный двор, сонную медлительность и смертоносную настороженность его взгляда. Челюсти работают в этом ритме. Но он не спеша отрывает взгляд от двора. Кадр — небо, движутся облака. Кадр — Лем, но с расстояния футов шестьдесят, и мы видим, как поворачивается его голова, снятая на фоне движущихся облаков; взгляд с тюремного двора он перевел на запад, за реку. Фиксируем. Голова и плечи. Челюсти работают. Замирают. Неподвижная голова на фоне неба. За его профилем небо.

Бред мрачно на него уставился.

— Знаете, что сказала Мэгги? — спросил он.— Сегодня вечером?

— Нет.

— Когда вы увели Потса в дом, чтобы помочь ему с метрикой его стиха, Мэгги сказала, что центром нашего распрекрасного фильма должен стать Потс.

Яша всматривался в лицо своего спутника, как доктор, который, впервые посетив больного, ищет признаки его болезни.

— Господи! — вдруг воскликнул он и повторил еще возбужденнее: — Господи!

Потом посмотрел за реку.

— Но я не знаю, где вы найдете такого актера. Его придется создать.— Он смотрел вдаль, погруженный в свои мысли. Потом резко обернулся к Бреду и поглядел на него блестящими глазами.— Вы подумайте, какое у него лицо! Сведенный судорогой рот, взгляд, полный смиренного, недоумевающего страдания. Нет, вы только подумайте — а момент, когда негр плюет в него и плевок блестит на щеке? Подумайте, как на лице начинает проступать осознание того, что произошло, как...

— Я работал над темой Потса всю ночь,— сказал Бред. Он плюнул в залитую луною пыль.— Ничего у меня не получилось.

— Господи! — не слушая его, продолжал Яша.— Это может выйти великолепно!

— Может. Но я не сумел написать ни одной приличной строчки.

Яша Джонс молча на него глядел.

— Ну разве не смешно, что у меня ничего не вышло?

— Помните? — весело воскликнул Яша.

— Что?

— Что все придет,— сказал Яша Джонс.— Придет dans le silence du bonheur.

Глава двадцать первая

Яша Джонс так и остался у подножия памятника — этого духовного центра Фидлерсборо. И сидел, как сказал он себе, в счастливой тишине.

Яша Джонс уже несколько лет жил в счастливой отрешенности, что означало участие во всем, что не было твоим, ибо ты уже пережил все, что было твоим. Не обладая ничем, он обладал всем. Он знал, как свет падает на лист дерева. Знал, как рука поворачивается в запястье. Знал, как сердце наполняется томлением. Но это было не его сердце.

Ибо, сказал он себе, он был уже неспособен томиться по чему бы то ни было.

7 августа 1945 года Яша Джонс (секретная служба США), получив отпуск, шел по поляне в четырех километрах от маленького приморского городка Кергло на южном берегу Бретани. Его поражало, что он еще жив, потому что если мсье Дюваль, болезненный pharmacien du village[6], небогатый notaire[7], затур-

[6] Деревенский аптекарь *(франц.)*.

[7] Нотариус *(франц.)*.

канный деревенский учитель в нищенском черном пиджаке, обтрепанной, но старательно подштопанной рубашке и пенсне, был мертв, как же мог остаться в живых Яша Джонс? Он, в сущности, и не понимал, кто такой Яша Джонс, этот незнакомец в белой рубашке, каскетке яхтсмена, синих шортах, выгоревших веревочных сандалиях на босу ногу, ну настоящий турист.

Полянка лежала в глубокой котловине; густая, живая изгородь выше человеческого роста росла по обеим ее сторонам. Светлая земля была утоптана ногами, проходившими здесь неведомо сколько веков. И кельты ходили по этой поляне, и римляне, и франки.

Желтые цветы gênet давно увяли, так же как и белые цветы ежевики и скромное разноцветье на кустах изгороди, но жимолость еще цвела, и ее удушливый аромат стоял в зеленой долине. Небо в необозримой дали было ярко-голубым, в нем пел жаворонок, невидимый в этой сверкающей высоте. Вокруг на поляне воздух звенел от летнего гудения бесчисленных насекомых. Сквозь дыру в изгороди виднелась песчаная площадка, неровно поросшая можжевельником, а за ней грубые приземистые серые немецкие блокпосты на фоне мерцающей синевы моря. На самой высокой дюне над блокпостом лениво шевелилось французское трехцветное знамя.

По поляне приближался человек на велосипеде. Он остановился и спросил по-французски, слышал ли капитан Джонс последнюю новость. Потрясающую новость, сказал он. Она несомненно предвещает конец войны. Другой войны, войны на Тихом океане, поправился он. Яша Джонс посмотрел на дату в правом углу газетного листа, стараясь не смотреть на кричащие черные заголовки. Он выяснил, что дата — Mardi 7 Août 1945 [8].

Потом он сел в проломе изгороди под нестерпимо голубым и таким высоким небом, вдыхая приторно-сладкий запах жимолости, и прочел заголовок, напечатанный черными буквами:

LA PREMIÈRE BOMBE ATOMIQUE
A FAIT SON APPARITION
LA VILLE D'HIROSHIMA EST ENVELOPPEE DANS
UN NUAGE IMPENETRABLE

Lé Président Truman a annoncé la mise en action de la bombe dont la force est...[9]

Взгляд его пробежал колонку черных смазанных букв и снова задержался на фразе:

Le Président Truman a ajouté que la force de la bombe relève de la force élémentaire de l'univers, de celle qui alimente le soleil dans sa puissance[10].

В ту же ночь Яша Джонс написал заявление с просьбой его отчислить так лаконично, как это допускала вежливость, и адресовал его декану Чикагского университета, Чикаго, штат Иллинойс.

Позже Яша с удивлением обнаружил, что не переносит запаха жимолости. Он решил, что запах напоминает ему тошнотворно-сладкую вонь, которая стояла в просеке, где весной 1944 года он наткнулся на труп какого-то maquis [11], лежавший там уже давно. В те годы, когда он приписывал свое отвращение к жимолости вони в просеке, где лежал maquis, он совсем забыл о запахе жимолости в Бретани.

В 1946 году Яша Джонс, будучи человеком богатым, поддался уговорам знакомых по военной службе и вложил деньги в производство документального фильма об исследованиях в области рака. В то время он надеялся, что еще займется биофизикой. Но хотел начать с изучения медицины. Его приняли в Гарвард на медицинский факультет.

Но он так туда и не пошел. Летом того же года он присутствовал на съемках документальной ленты и, сидя в полутемной монтажной голливудской

---

[8] Вторник, 7 августа 1945 *(франц.)*.

[9] Первая атомная бомба сброшена. Город Хиросима окутан непроницаемым туманом. Президент Трумэн объявил о запуске бомбы, чья мощность... *(франц.)*.

[10] Президент Трумэн добавил, что мощь бомбы почерпнута из первозданной мощи вселенной, той, которая питает солнце во всем его могуществе *(франц.)*.

[11] Партизана *(франц.)*.

студии, арендованной для этой работы, открыл для себя человеческое лицо. Вернее, открыл образ человеческого лица.

Он со всей страстью кинулся в изучение режиссуры. В 1949 году вышла его первая самостоятельная картина. Ему она была отвратительна, но имела успех. И вторая картина, выпущенная через десять месяцев, тоже имела успех. Ему она тоже была отвратительна. Но мысли его уже были заняты третьей. Она снилась ему наяву, когда он шел по улице.

Он шел по Сансет-бульвару в четверть шестого вечера, в час пик, машинально отстраняясь от текущего на него потока людских тел, и тут увидел ее. Она сидела на корточках посреди улицы, футах в пяти от тротуара, и держала на руках собаку. Задняя левая нога собаки судорожно дергалась, изо рта животного на ее желтое платье текла кровь; расстегнутая сумочка лежала на мостовой, оттуда высыпалась всякая всячина, а ее лицо, обращенное к куче зевак на обочине, было залито слезами. Яша Джонс стоял на краю тротуара и смотрел на это лицо, без утайки выражавшее горе.

Рядом с ним стоял ражий молодец в рабочем комбинезоне. Он хохотал. Переставал он хохотать, только чтобы сказать окружающим:

— Нет, ты подумай, реветь из-за пса паршивого!

И снова повторял эту фразу.

К своему изумлению, Яша Джонс услышал свой голос:

— Я попросил бы вас не смеяться.

— Иди ты к такой-то матери...— выругался верзила.

И к еще большему своему изумлению, Яша Джонс обнаружил, что его кулак нацелился на подбородок верзилы.

Кулак едва мазанул по подбородку, как верзила сбил Яшу Джонса с ног. И продолжал смеяться.

Яша медленно встал, держась правой рукой за ушибленную голову. Он внимательно пригляделся к тому, как стоит противник. Сержант говорил им: Нет на свете такого человека, каким бы здоровенным этот сукин сын ни был, пусть даже у него пистолет, которого нельзя взять голыми руками, если только он стоит к тебе боком и опирается на всю стопу. И притом еще не знает, что ты хочешь с ним сделать.

Верзила стоял, опираясь на всю стопу, именно так, как описывал сержант, и смеялся. Яша Джонс очень бы хотел, чтобы он перестал смеяться. Если он не перестанет, все может случиться.

— Прошу вас,— произнес он очень тихо,— прошу вас, уйдите.

— Иди ты сам к такой-то матери,— выругался тот, продолжая смеяться.

Яша Джонс, держась за голову, подумал, что вот сейчас это произойдет. Однажды так уже было, но тогда это было неизбежно, потому что немецкий часовой застукал его в темном переулке, сразу за углом улицы Сент-Пер в Париже. Он мгновенно и отчетливо вспомнил, словно тьму прорезал луч света, чтобы показать эту сцену, как в тот давний вечер он стоял в темном переулке, как все было сразу кончено и он поднялся над черневшей и во тьме кучей. Он припомнил ту пугающую дрожь восторга, которая пробрала его, когда он стоял над этой темной кучей. Но он вспомнил и то, как, осознав этот восторг, он вдруг стал себе противен, как противна ему стала жизнь. И теперь на Сансет-бульваре, глядя на разинутую от смеха пасть верзилы, он почувствовал приступ того же пугающего восторга. Он почувствовал, как руки у него чуть-чуть потянулись вверх.

И вдруг он увидел лицо этого человека. Он перевел взгляд на другие лица, на одно лицо за другим, все они, глядя на него, ухмылялись, освещенные предвечерним светом летнего Голливуда, штат Калифорния, и прилив восторга в душе его сразу схлынул. Под ложечкой давил холодный сгусток тошноты. Он медленно отвернулся, подумав: Мы живем среди лиц, вот и все, что у нас есть. Только лица, которые нас окружают. И слыша смех за спиной, но уже как бы издалека, сделал два шага к тому месту, где

девушка, сидя на корточках, держала в руках собаку. Задняя левая нога у пса больше не дергалась.

— Она уже мертвая,— сказал Яша Джонс.

Он взял девушку под руку и поднял. Не выпуская из рук собаку — неказистый комок окровавленной шерсти,— она покорно дала довести себя до стоянки и усадить в его видавший виды черный «форд».

— Куда вам ехать? — спросил он.

— Надо его похоронить,— сказала она. Она уже больше не плакала.

— Вы будете очень по нему скучать? — спросил он.

— Нет... нет... Он ведь не мой. Я никогда его раньше не видела. Смотрите,— и она положила палец на шею животного,— у него даже ошейника нет.

Яша посмотрел.

— Да, это бездомная собака,— сказал он.

— В том-то и дело, поэтому я должна его похоронить.

— Да,— сказал он, глядя не на нее, а на заходящее солнце, пока он обгонял машины.

— Не могу видеть, когда мучаются,— сказала она.

Глаза его были прикованы к солнечному свету, зажигавшему мириады бликов на хроме встречных машин.

— Наверное, и я не могу,— сказал он и добавил: — Уже не могу.

Когда они проехали несколько кварталов, она сказала:

— Простите, что доставляю вам столько хлопот.

— Ерунда,— сказал он.

— Простите и за того человека. За то, что он вам сделал.

— Ерунда,— сказал он.

Это была ерунда, которая стала для него всем на свете. Через три недели после того, как они похоронили собаку в дюнах и положили на это место груду камней, он женился на Люси Спенс. Она была скорее маленькая, но плотная, с широковатым лицом, небольшим круглым волевым подбородком, скуластая, с веснушчатым носиком, каштановыми косами коронкой и глубоким, ласковым прямым взглядом карих глаз. Ей было двадцать три года, она родилась в городе Морнинг Стар, штат Айова, три года посещала Гринелл-колледж в своем штате, потом перевезла вдового отца — его страшно мучил ревматизм — в Калифорнию, в прошлом году его похоронила и теперь работала секретарем в кинофирме «Колумбия», где ей платили девяносто долларов в неделю. Она не была девушкой — в колледже у нее был возлюбленный. Но в Голливуде после смерти отца она жила в общежитии и с мужчинами не встречалась.

О Яше Джонсе она ничего не знала, кроме того, что он работает в кино, что он человек спокойный, внимательный, очень образованный, носит мятый полотняный костюм, ездит на видавшем виды «форде», живет на маленькой дачке в Вествуд-вилледже среди хаоса книг и бумаг; он пригласил ее туда однажды что-нибудь выпить и поцеловал, после чего она ожидала, что вот сейчас ее начнут лапать и ей надо будет решать, как к этому отнестись, но он вдруг отошел, оставив ее на диване среди наваленных книг и бумаг, и, мрачно шагая по комнате, сказал, что сейчас отвезет ее домой. Рано утром, до того как она пошла на работу, он по телефону сделал ей предложение.

Она целую минуту так и стояла, прижимая трубку к уху, и слушала, как он тяжело, медленно дышит там, в Вествуд-вилледже. Потом услышала свой голос — тонкий, слабый, словно он тоже шел издалека, гораздо дальше, чем из Вествуд-вилледжа, который повторял: «Да. Да». На миг ей показалось, что он ее не слышит. Но он произнес: «Я счастлив». А потом, помолчав: «Мне, наверное, кое о чем надо вам сказать...»

У нее замерло сердце: она ждала какого-нибудь страшного признания. Но он сказал ей, теперь уже незнакомым, сухим, отчужденным голосом, что он довольно хорошо обеспечен и, если она выходит за него замуж, ей лучше это знать. Она, по правде говоря, слов этих не расслышала, или, вернее, услышала только слова. У нее вырвалось: «Ах, ну какая разница! Теперь же это все равно, дорогой!»

Потому что она полюбила его безоглядно с самого начала.

Его предостережения оказалось мало, она все равно не поверила своим глазам, когда ее сначала примчали в апартаменты отеля «Ройял Гавайен» в Гонолулу, а потом — назад, в дом на Биверли-хиллз, совсем не похожий на ту дачку. Постепенно ее недоверие прошло. Но гораздо труднее было поверить в то, что и он ее безоглядно любит.

Люси Спенс осталась сама собой и в этом большом доме, окруженная неслышно ступающими людьми, которым платили за то, что они отворяют двери и прислуживают ей. Яша Джонс спрашивал себя, не переселил ли он ее в этот дом и в эту жизнь из какой-то сложной душевной потребности ее испытать,— а может, испытать и себя. Не хотел ли он увериться в том, что она действительно та Люси Спенс, которая сидела на мостовой и под смех толпы держала на руках умирающую собаку, подняв к нему свое милое, но не очень красивое лицо, одухотворенное неприкрытым горем. Закрыв глаза, он мог видеть это лицо во всей красоте его чистосердечия. Он мог открыть глаза и видеть это лицо, но не в горе, а во всей неприкрытой красоте тех искренних чувств — больших и малых,— которые изо дня в день наполняли ее жизнь.

Он никогда раньше не был влюблен. Он знал женщин и по-своему, умозрительно, почти научно получал от них удовольствие. Но со страстью он отдавался тому, что происходило в лаборатории в Кембридже или в маленькой комнате с большой грифельной доской в Чикаго; потом, в те времена, когда Яша Джонс считал себя уже мертвецом, зная, что мсье Дюваль должен умереть, и, надо надеяться, не слишком мучительной смертью, страсть была отдана каждодневным делам; потом страсть растрачивалась на процесс переноса человеческого лица на пленку. А вот теперь он испытывал страсть к совершенно особому человеческому лицу, которое он никогда не перенесет на пленку, и это, говорил он себе, и есть любовь.

Его жадный интерес к ее жизни не имел границ. Он хотел знать все оттенки ее душевного состояния, все его перемены в настоящем и каждую подробность ее жизни в прошлом. Все в ней было для него необычным. И города, подобного городу Морнинг Стар в Айове, который постепенно возник в его воображении, он никогда не видел. Но в своем воображении он знал каждый уголок белого каркасного домика, где она родилась, высокие вязы, и где росли желтые нарциссы, и где тек ручей, и где стоял памятник солдатам Гражданской войны, и в какой цвет была выкрашена аптека ее отца на Осейдж-стрит, знал имена соседей, их чудачества.

И теперь, после обеда на террасе в Биверли-хиллз, где вдали пенился Тихий океан, он, обнимая ее, попросил:

— Расскажи мне о мистере Виглзвейте.

Он чувствовал, как вздрогнули ее плечи, когда она пыталась подавить хихиканье. Но потом все равно начинала хихикать. И рассказывать о мистере Виглзвейте. Или об Эстелле Джарвин, толстухе весом в триста фунтов, которая проломила сиденье в отхожем месте после сытного обеда и застряла там чуть не на весь праздник благодарения, пока ее там не обнаружили, а потом еще пришлось разыскивать мистера Каску, чтобы он пригнал свой тягач с тросом. Люси Спенс, хихикая, все это ему рассказывала.

И еще рассказала, где росли ариземы.

Они были без памяти влюблены друг в друга и никогда не ссорились. А вот ночью 4 мая 1952 года по дороге домой с вечеринки они поссорились. Позже он так и не мог припомнить, с чего началась их ссора и даже по какому поводу, помнил только, что из-за денег. Иногда ему казалось, что они ее душат в этом доме и в этой жизни. Но он не был в этом уверен; ведь деньги, которых у него было так много, ничего для него не значили, и он не мог себе представить, что они так много значат для нее.

Позже он стал думать, что она задыхалась от любви.

Она вела машину. Она всегда пила умеренно и сегодня выпила очень мало, но ехала все быстрее и быстрее, сидя на самом краешке сиденья и пригнувшись к рулю. На повороте они врезались в дерево. Так как машина была открытая и верх спущен, Яшу Джонса выбросило наружу. Он упал в кусты, которые самор-

тизировали его падение. Но когда он опомнился и выбрался из кустов, он увидел, что машина горит. Он пополз туда, зовя ее по имени, и пытался ее вытащить. Потом он почувствовал, как чьи-то руки оттаскивают его назад. Видеть он ничего не мог, потому что вокруг головы у него были пламя и дым. Потом, пока кто-то поливал обломки из огнетушителя, он вырывался из рук двух мужчин, выкрикивал ее имя; ему казалось, что он слышит, как она его зовет, поэтому он изо всех сил старался высвободиться и кинуться в огонь.

Но сделал ли он все, что было в его силах?

В больнице, где он пролежал три с половиной месяца, пока ему лечили обгоревший череп и руки, этот вопрос не выходил у него из головы. Позже, стоило ему задать себе этот вопрос, как ладони начинали потеть. Еще позже все стало происходить в обратном порядке: как только у него начинали потеть ладони, в голове у него возникал тот же вопрос. Еще позднее ладони начинали потеть, но вопрос больше его не донимал, и миг страшной растерянности в предчувствии того, что сейчас он возникнет, а вместе с ним и нестерпимое ощущение вины были тяжелее всего. Ему все больше казалось, что вопрос этот нарочно медлит, что он живет самостоятельной жизнью, волен в себе, что он так и будет увертываться, заигрывать и дразнить его, чтобы потом, возникнув, заставить его почувствовать облегчение. В такие минуты ему казалось, что в жизни осталось только одно — мысленно задавать себе этот вопрос.

Этот вопрос и работа.

Потому что теперь, когда он утратил смысл своей жизни, ему стал понятен смысл жизни других. С тех пор, как от него ушло лицо Люси Спенс, чья обнаженная искренность открыла ему, что такое жизнь, он почувствовал, что способен разглядеть на других лицах, под наносной грязью опыта, отблеск утраченной невинности; умеет ее возродить, запечатлеть ее образ. С этого началось его величие как художника.

Он за него заплатил. Потеряв все, он мог всем владеть. Но нет, думал он, ведь платил-то не он. Заплатила Люси Спенс. Она умерла. Она позвала его из огня, вручила ему дар и умерла.

Поздно ночью в той комнате, где он спал с Люси Спенс, ибо он понимал, нет, не умом, а инстинктом, что судьба требует, чтобы он продолжал жить в этом большом доме, Яша Джонс отпирал маленький секретер, который он поставил рядом с кроватью, и вынимал судебное заключение о смерти Люси Спенс Джонс. Там было сказано то же, что ему снова и снова твердили врачи. Она погибла в момент удара машины о дерево. Она не звала его из огня. Он все равно не мог бы ее спасти.

А теперь он мог только лежать, ожидая, когда у него вспотеют ладони. И лучше было знать, почему это происходит, и ждать этого, чем терзаться, когда это случалось, не зная, отчего это с ним.

Вот с какой жизнью Яше Джонсу пришлось примириться. У нее были свои законы, своя логика, своя глубокая необходимость, свое вознаграждение. Даже когда ему удавалось сбежать от нее в объятия какой-нибудь красивой, очаровательной и даже искренней женщины, он знал, что его бегство только подтверждает эту глубокую необходимость. Он знал, что рано или поздно он, проснувшись рядом с этой прелестной, но чужой ему женщиной, почувствует, как у него потеют ладони.

Вот так и жил Яша Джонс, пока однажды утром калифорнийское солнце не заблестело на белой скатерти его стола, легкий парок не поднялся из разбитого яйца, а он, взяв местную газету, не прочел заметку о том, что маленький городок, затерянный в Теннесси, после полутора веков ничем не примечательной жизни будет затоплен водой. Он прочел заметку, закрыл глаза, мысленно увидел, как мимо него медленно проплывает Морнинг Стар в штате Айова; как маленькая Люси Спенс жарким летним днем идет по улице, засаженной вязами, в отцовскую аптеку, чтобы съесть там мороженое. Яша Джонс, который никогда нигде не жил, а вернее, где только не жил, почувствовал, что на глаза его навернулись слезы.

И вот теперь ночью, сидя у подножия памятника южанам, Яша Джонс глядел на освещенную лунным светом Ривер-стрит.

Несколько лет назад в Калифорнии, недалеко от Сант-Круса, он видел часто посещаемый туристами аттракцион под названием «Таинственный уголок». На небольшом покатом участке земли, кое-где поросшем деревьями, у посетителей — как видно, благодаря магнитным явлениям от упавшего здесь метеорита — начиналась полная сумятица в ощущениях. Спутник, ступивший на определенное место, вдруг словно сжимался, а перейдя на другое место, вырастал до небывалых размеров. Перспективы смещались, равновесие было нарушено, внутри все холодело.

Воздействие на зрителя напоминало грубую пародию на то, что испытываешь в ярмарочной комнате смеха. Там платишь двадцать пять центов за искаженное представление о действительности и себе самом и, выходя оттуда, со вздохом облегчения находишь убежище в старых унылых представлениях как о мире, так и о собственной персоне. Комната смеха оборудована людьми для того, чтобы снабдить человека этим глубоко желанным уходом от привычного, а потом и возвращением к нему. «Таинственный уголок», созданный природой, дает тот же результат, но достигается он более естественным путем, а потому и больше озадачивает.

Яша Джонс, сидя на постаменте памятника, вспомнил «Таинственный уголок» и подумал, что Фидлерсборо — тоже «таинственный уголок». И комната смеха.

Интересно, когда он уйдет из этой комнаты смеха и вернется к привычной жизни, которая дана ему судьбой и может подарить ему, как он с отчаянием себя уверял, нечто похожее на le silence du bonheur?

Он сидел, наблюдая, как в лунном свете здания на Ривер-стрит словно вздымаются и парят. Он подумал, что когда смотришь на какой-то предмет, уже то, что ты на него смотришь, его изменяет. Он подумал, что если думаешь о себе, уже это тебя меняет. Он боялся, что если пошевелится, то услышит не тишину, а страшный вой над головой, словно вой ветра. Он боялся, что если будет думать о себе, то что-нибудь непременно случится.

Перевела с английского Е. ГОЛЫШЕВА.

(Продолжение следует)

ПУБЛИЦИСТИКА

ЮРИЙ АЗАРОВ,
доктор педагогических наук

★

САМОЕ ЧЕЛОВЕЧНОЕ

Записки о нравственном воспитании

Я, наверно, так и сдохну в суете.

У меня никогда в жизни не было времени, чтобы все спокойно взвесить и обдумать. Не было времени для внутреннего покоя, без которого и не мечтай о трезвом анализе, а он так нужен, ибо та материя, с какой я имею дело, особенная: это область становления человеческой души. Тридцать лет прошло, и не было времени! Странно? А так ли это? Может быть, это моя неспособность остановиться, углубиться?! Звонок. Снимаю трубку. Это племянник Виктор.

— Ну что же ты, обещал приехать и обманул,— говорит он.— А у меня внучка родилась. Ты слышишь, внучка! Ты слышишь меня?!

Я слышу. Молчу.

— Что же ты меня не поздравляешь?

— Поздравляю,— отвечаю я, а сам думаю о том, как хорошо было бы действительно приехать и посидеть с ним, вспомнить события тридцатилетней давности. Вот и Парфенов письмо прислал, немножко натянутое, как-никак был конфликт: «Прошло четверть столетия как вы уехали из Солинги. Много событий прошло за это время. Не следует вам забывать наши края: здесь вы начали свой трудовой путь в педагогике, здесь вы оставили своих первых питомцев, они-то и обратились ко мне организовать встречу. Вы их классный руководитель. Многие из них педагоги, отцы и матери... В какое время удобнее для вас? Мы планируем встречу на первую субботу 1982 года... Как вы? Как ваш племянник?»

Я достаю пачку ребячьих писем. Многие написаны еще фиолетовыми чернилами: не было тогда шариковых ручек. Читаю письма Иры, Ани, Вани, Аллы, Оли, Марьи Ивановны, Александра Васильевича. Есть жуткие строчки в этих письмах. Иринея уже нет! Хомуськов пал на границе, а Шаурин Витя добровольно ушел из жизни! Трудно сложилась жизнь у Ани...

Вспомнился разговор с одним талантливым ветераном педагогического труда.

— Почему бы вам не написать мемуары? — спросил я.

— Если бы я стал писать мемуары, то непременно проанализировал все свои неудачи.

— А почему именно неудачи?

— Только таким способом можно раскрыть все трудности нашего дела и предостеречь других от возможных ошибок.

Мне понравилась эта мысль. Я тоже хочу рассказать о своих неудачах, о своих промахах, о тех противоречиях, через которые проходит и каждый педагог и всякий нормальный педагогический коллектив.

А что считать неудачей в педагогике? Как важно это знать именно сегодня, когда идут повсеместно споры и о том, каким должен быть эксперимент в школе, и о том,

как преподавать литературу и математику, и о том, как воспитывать гражданственность и человечность. И не менее острая всегдашняя проблема — сам учитель. Откуда берется его гражданственность, его человечность, его педагогическое искусство.

— А почему так много и так остро говорится в директивных документах об учителе, о школе? — часто спрашивают у меня.— Что, очень плохо сейчас со школой?

— Дело не в этом,— спешу я ответить.— Воспитание — самое трудное из всех человеческих дел. Самое тонкое и самое глубинное. Наверное, когда Макаренко говорил о том, что нет и не может быть раз и навсегда данных воспитательных систем, он имел в виду и ту формулу, без которой нет творчества: истина всегда в пути, а духовная смерть учителя начинается с того момента, когда прекращается им нравственный поиск.

Учитель — особая профессия. Он воспитывает всей своей жизнью. От его культуры, общего и профессионального развития, бытовых условий зависит то, каким будет новое поколение. Не случайно в «Материалах XXVI съезда КПСС» прямо говорится об учителе: «Не следует скупиться на внимание к его труду, быту, повышению квалификации».

Охватывая свой тридцатилетний опыт в педагогике, я готов еще и еще раз проследить и сверить то самоценное, что родилось во мне, когда двадцати одного года от роду я оказался по доброй воле в далеком селе в Архангельской области, где стал учительствовать под началом замечательного педагога и человека Михаила Федоровича Парфенова. Я убежден в том, что мое приобщение к педагогике началось не с уроков, а с более глубинных вещей — здесь и самое широкое общение с людьми, с природой, с которой я буквально сросся (всегда так и считал, что она многое перевернула во мне), и, конечно же, знакомство с северной деревней, с удивительными по своей чистоте детьми, их родителями, мамами, папами, дедушками и бабушками. Ко всему этому доброму и новому для меня миру был причастен Парфенов. Оттого я и любил его. Любил за подвижничество, за искренность и честность. Оттого, что Парфенов был незаурядным человеком, творческой личностью, и конфликт у меня с ним получился особенный. Собственно, как такового вроде бы и не существовало. Было что-то иное, столкновение различных подходов к воспитанию, различных интонаций, настроений. Потом я сам анализировал десятки подобных случаев, всякий раз вычленяя «дурную повторяемость», повторяемость без развития, регрессирующую, когда сталкивались не только творческие силы, но и иные, основанные на самовлюбленности, фанатизме, радикальном педантизме. Однажды мне довелось наблюдать за общением двух талантливых педагогов. Каждый из них пел свою песню, не слушая другого. Принцип тетерева на току. Это ужасно. И вместе с тем всякий раз, когда в одиночестве остается талантливый педагог, до боли обидно.

Я всегда хотел проследить психологический процесс развития конфликтов в педагогической сфере. Если бы я стал писать про солингинский период мемуары, то, возможно, назвал бы их так: «История развития одного жизненного противоречия». Я непременно бы настоял на слове «жизненное», потому что любой конфликт учителя социален по своей природе, ибо непременно захватывает многие стороны человеческих отношений.

Меня беспокоит такая мысль. С одной стороны, я понимаю, что образование педагогической души происходит за счет того, что учитель вбирает в себя все из окружающей жизни, не замыкаясь в рамки чистой педагогики, а с другой стороны, сугубо личностное как бы отделено от педагогики, так как считается, что метод живет сам по себе, не зависит от субъективности.

Это противоречие для себя я решил в пользу такого вывода: без личности нет метода. Все, что есть в педагогике, трансформируется через личность, через всю конкретную систему отношений учителя. Все влияет на развитие способности педагога: и то, как он живет, и то, как он проводит свой досуг, и то, как складываются его отношения в неформальной сфере. Точнее, я бы вычленил четыре вида отношений, формирующих его душу. Первое — это отношение к предметному миру, к науке, технике, культуре и самой педагогике, к ее средствам. Второе — отношение к людям, к детям и их родителям, к педагогам, к руководству школы, к окружающим, в первую очередь к тем, кто в беде, кому трудно живется. Третье — отношение к природе: к полям, деревьям, травам, воде, земле, небу, к звездам, солнцу, луне, к животным, птицам, пчелам, шмелям, стрекозам, муравьям, к природным началам в людях. И четвертое — отношение к самому себе (самосознание).

Очевидно, самосознание и рождается в развитии трех видов вышеназванных отношений. Естественно, что на первом месте здесь дети. И учитель со всем богатством или

убогостью своей души несет детям именно свой мир отношений — и этим самым воспитывает.

Я убежден и в следующем. Наша педагогика в погоне за объективистскими методиками неправомерно проигнорировала личностный мир учителя. Этими записками я не берусь восполнить названный пробел. У меня более скромная цель — приблизиться к пониманию некоторых духовных состояний учителя.

Помню, как я впервые увидел этот поселочек.

Из узкого коридора узкоколейки мы вырвались на простор. Все, что было рассыпано в пестрой теплоте — деревья, кустарники, поля на горе, и за полями снова лес, и где-то справа за лесом снова дома и поля,— все это оказалось залитым солнцем, неожиданным многоцветьем, где речная синь поблескивала чистым небом, а в дощатых тротуарах, заборах (все свежеспиленное, свежеоструганное) стоял жар, и от всего этого стало радостно.

Поселок, куда я приехал, еще названия не имел. Он примыкал к деревне Фаддеево и назывался ДСК — домостроительным комбинатом. «Агашка» (так называли дрезину) остановилась, и я стал рассматривать горы опилок и — желтым кадмием по зелени — дома за рекой.

К «агашке» подошли двое: Михаил Федорович Парфенов, директор школы, и Фаик Булатович Самедов, завуч.

С первой минуты я включился в ритм солингинской жизни. Ночевал у Фаика. А уже в шестом часу меня поднял Парфенов: договорились за грибами идти. Я впервые тогда столкнулся с этим занятием. И кто знает, может быть, то, что это «впервые» произошло при Парфенове, и сыграло определенную роль в моем отношении к нему. Уже там, в лесу, мне в Парфенове приметилось не внешнее (подтянутость, гибкость и прочее), а изысканное внутреннее, идущее из глубин души, не щедро идущее, а скупо. И то, как он вдумчиво и тихо говорил, и как прикасался к грибам, и как показывал мне волнушку, рыжик, сырой груздь, и как принимал мой восторг — во всем этом была какая-то особенная бережность, располагающая к сближению.

Если каждому человеку присуща своя цветовая гамма (мне так всегда казалось), то Парфенов представлялся мне в серой интенсивной однотонности. Не просто серость как синоним ординарности, а изысканная чернобелость, подчеркивающая сдержанность цветовой гаммы. В этой нашей грибной охоте я как бы обретал способность видеть ярче и стереофоничнее, во мне точно зарождались силы, которые фиксировали и вбирали теперь ранее неведомые ощущения. И волнушка воспринималась не только как крохотное совершенство природы, но и как человеческое чудо. Как нечто связывающее меня с живым миром, требующее особой бережности. Бережности как всеобщего человеческого свойства.

Много позднее я сформулировал для себя принцип бережности в воспитании. От способности педагога к тончайшим духовным прикосновениям к детям зависит многое. Эти прикосновения — и взглядом, и улыбкой, и едва заметным движением, и поэтической строчкой, и игрой, и приказом, взрывом гнева, и доброй увлеченностью,— все эти прикосновения в основе своей нравственны и первозданны.

Я стоял тогда ошеломленный красотой. Парфенов то и дело оставлял меня, убегая бог знает куда. А я и радуюсь грибам и огорчаюсь, что оставил он меня. Мне так с ним поговорить хочется. Выяснить кое-что. Только один Парфенов из местных и знает о моем нелепом конфликте в отделе учебных заведений. Знает и молчит. А случилось у меня вот что.

Мы сидели в общей комнате. Крошутинский, заместитель начальника отдела, ласковенький, в рыженьких веснушечках, инспектор Киреев и директриса не то из Салехарда, не то из Каджерома — приехала перезаключить договор. Меня оформляли на работу.

Все тихо было в то утречко. И вдруг все сидящие повскакали. Ухоженное тело Павла Антоновича Нечаева, начальника отдела, пересекало комнату, направляясь в свой кабинет. Крошутинский стоял как-то боком, опустив беленькие реснички. Киреев вытянулся совсем по-военному, директриса нежно улыбалась, провожая начальника подобострастным взглядом.

Не встал один я.

Я даже объяснить не могу, по какой причине не встал. Просто что-то заело, что-то прищемилось во мне. Жалел потом об этой нелепости, а в тот момент точно прирос к скамье. Стыдно мне было сидеть, когда все навытяжку рядом. Никто из стоящих не смотрел в мою сторону, хотя каждый, я это кожей ощущал, был возмущен мною. И как только начальник скрылся за дверью, все набросились на меня. И мне от этой разрешенности мгновения стало легче.

— Вы почему не встали? — тихо сказало белесое лицо, Крошутинский.

— А зачем вставать?

— Есть порядок,— сказал Киреев.— У нас школы железнодорожные. Дисциплина.

— Разве в этом вставании дисциплина?

— Да как он разговаривает! — вскинулась директриса то ли из Каджерома, то ли из Салехарда.

Крошутинский мигал белесыми глазами и ждал, когда выдохнется дама, а она не выдыхалась. Тогда он ее остановил:

— Вы уж слишком. Человек он молодой, исправится. Сколько вам лет? — обратился он ко мне ласково...

Рассказывая Парфенову об этом случае, я искал в нем единомышленника. Парфенов молчал. Вообще он был сплошное молчание. Может быть, боялся, как все заикающиеся люди, много говорить, а может, жизнь научила. Однотонно молчал. По-доброму. И за это ему огромное спасибо.

Иногда мне казалось, что Парфенов, застыв в своей праведности, будто тяготился ею, мучился оттого, что его идеальность зажата в узком пенале его школярства. Вместе с тем была и широта. О нем говорили трепетно: «Всю войну с томиком Тютчева» (это Крошутинский по секрету), «Честнее человека нет на Печорской!» (это физрук Сердельников), «Он наша совесть» (это Марья Ивановна, парторг).

Парфенов школу складывал по бревнышку, копил досочки для деревянных панелей, об оформлении таком помышлял, какое видел в Прибалтике, об оснащении кабинетов думал, чтобы достиглась техническая завершенность, чтобы все работало, как хороший механизм. И в школе чтобы отношения складывались строгие, уважительные.

Нет, Парфенов был скроен из другого материала, чем те, его начальники,— Крошутинский, Нечаев, Киреев. И в этом мне основательно повезло.

Память вырвала именно этот ряд отношений: учитель — школьный администратор — инспектор. Не случайно. Инспектор в сегодняшнем школьном деле — фигура номер один. От его культуры зависит то, как чувствуют себя учитель и школьный администратор (директор и завуч). Приходят на ум исторические параллели: Ушинский, Ульянов — инспекторы, на них лежала ответственность за все устройство вверенных им учебных заведений.

За четверть века работы с детьми я встречал талантливых директоров и учителей. И не встретился мне талантливый инспектор (роно, гороно, облоно), который выдвигал бы свою методику или пробивал методику учителя-новатора.

Зато встречались среди инспекторов различные категории: здесь были и эрудированные придиры, и заносчивые дидакты, и безразличные добряки, и умелые мастера писать справки, и великолепные краснобаи, и коварные педанты, и снисходительные милые инспектрисы, случайно оказавшиеся на этой должности — просто других мест не оказалось в районе. Они были разными людьми и одинаково неважными инспекторами. В них было что-то посредническое, унифицированное, вспомогательное. Они заискивали перед директорами (все же их статус был ниже директорского), покрикивали на учителей, почти никогда не общались с детьми, разве что-нибудь уточнить для составленной справки. Не думаю, что в инспекторы специально кто-нибудь отбирал усредненных, неярких людей. Просто так складывалось. Творческий педагог не шел в инспекторы. Он становился либо завучем, либо директором. Если творческий педагог и попадал в инспекторы, то через какое-то время приобретал те всеобщие черты казенного инспектора, от которого за версту несло канцелярщиной, педантизмом.

Они, инспекторы (районные, городские), при всех своих разных характерологических свойствах, в общем-то, прекрасные, наверное, в общежитии люди, на моих глазах, как правило, дружно объединялись, когда на горизонте показывался педагог-новатор. Как часто мне приходилось слышать от инспектора:

— А знаете, неправильно себя повел новатор. Резко. Все дело испортил себе сам. Против коллектива пошел.

— Может быть, не против коллектива, а против дурной методики, которой пользуются члены коллектива?

— Какая разница?

И инспектор рассказывает о том, как все-таки пришлось укротить новатора, как всячески он, инспектор, хотел помочь, но ничего не получилось. Грустно это. Инспектор в школе — представитель государства. Направляющая и контролирующая сила. Ему бы в первую очередь научиться отличать подлинное новаторство от мнимого, авторитет от авторитарности, творческую методику от догматической. Тогда бы он через завуча, возможно, и сумел бы творчески помогать школе.

Завуч. Еще одна педагогическая проблема. Много лет, как известно, спорят на страницах газет о процентомании, о методах преподавания, о перегрузке, о факультативах, о здоровье детей, о чрезмерном переутомлении к пятому и шестому уроку и т. д. И я не помню, чтобы в связи с названными вопросами была поставлена проблема завуча. Именно завуч в современной школе несет прямую ответственность за дозировку домашних заданий, за документацию, связанную с учетом качества знаний, и за методику преподавания. Завучи, как правило, трудолюбивые, предельно ответственные и исполнительные работники. Но их положение не из легких. Они чистые исполнители: нужна успеваемость — пожалуйста, нужно проверить методику — готовы экспериментировать, нужно закрыть методику — тоже пожалуйста.

Конечно, все не совсем так. Но учитывая, что нет все-таки у нас завучей, которые разрабатывали бы свою собственную инженерию учебного процесса, в которую мог бы вписаться любой творческий метод, любой творческий учитель, я склонен предположить, что с подготовкой к творческой работе завуча дело обстоит не совсем благополучно. У нас нередко ищут проблемы в глобальных вещах. А между тем в микрозависимостях зачастую таится ответ. Приведу факты. Я работал с завучами над проблемой учебной перегрузки учащихся. По данным обследования получалось, что дети перегружены зряшной работой, которая дурно сказывается на их здоровье. Потом с завучами мы анализировали результаты обследования. Получалось: хороший, требовательный учитель перегружает домашними заданиями, и завуч, как правило, почти поощряет такого рода требовательность. На одном из семинарских занятий с завучами мы сделали попытку упорядочить объем домашних заданий — и перегрузки почти не стало.

Следующий этап нашего опытничества был направлен на обучение без домашних заданий или с минимальными заданиями на дом. И сразу изменился критерий мастерства — хороший учитель тот, кто хорошо учит без домашних заданий. Естественно, что такая направленность нашего опытничества привела к тому, чтобы на следующем этапе рационально реализовать освободившееся у детей время. Снова завуч вместе с классными руководителями разрабатывает систему загрузки детей трудом, искусством, спортом. Таким образом, он включается в решение проблем всестороннего и гармонического развития школьников.

Завуч не диспетчер (у вас завтра контрольная, а у вас окно, а вы, будьте добры, заполните журнал), он генератор технологии учебного процесса, педагогической культуры.

Первый завуч в моей жизни, с которым довелось мне близко общаться, был Фаик. Пока мама не приехала, я спал в его комнате. Выданный мне матрац я приспособил в уголочке. Кусок пола служил мне письменным столом, а моим одежным шкафом — вбитые Фаиком два дополнительных гвоздя.

Фаик — прямая противоположность Парфенову. Весь из овальных линий скроен. Из крепкой овальности, надо сказать. Своя у Фаика цветовая гамма и свои счеты с цивилизацией. В лес его не затащишь. Не против он и красоты, если от нее какая-то польза есть. Книжек Фаик не читал, но глубоко уважал сам факт, что такое большое количество книг написано. Это уважение соединялось у него с природным благоразумием, что, конечно же, в солингинских условиях вполне сходило за высокую образованность.

Фаик дружил с географом. Географ Иван Алексеевич Хоряков небескорыстно увлекался фотоделом: разъезжал по отдаленным деревням и восполнял недостаток своей зарплаты с помощью объектива. Уже в первой четверти у меня случился конфликт с Фаиком и Хоряковым.

Все диктанты и сочинения, которые я провел с ребятами, пестрели ошибками. И по предварительным подсчетам двоек набегало примерно половина на класс.

— Что это такое? — сказал Фаик, показывая мне ведомость.

— Отметки.

— Здесь надо кое-что исправить.

— Что именно?

— Вот здесь можно, я смотрел, поставить три, а не два. И здесь.

— Как это?

— Резиночкой стереть, бритвочкой зачистить и поставить другую отметку,— улыбнулся Фаик.

— Но там никак не получается тройки! — доказывал я.— Давайте посмотрим.

— Зачем смотреть? Исправьте — и все.

Обстановка была дружеской. Фаик похлопывал меня по плечу, в его голосе звучали предобрые интонации: в следующей четверти подгонишь, подтянешь.

И Хоряков вмешивался уже с другой стороны:

— Понимаете, мы здесь новые люди. Получается так: Зинаида Ивановна, которая выпустила этих ребят из восьмого, допустила брак — ничему не научила. А между тем она лучшая учительница дороги. Несколько комиссий это подтвердило. Ах, какие она уроки дает, советую посетить, и тогда вам станет понятно, что не были правы.

— Но это же обман получится?

— Никакого обмана здесь нет. Наоборот, вы вселите в ребят надежду. У меня по географии почти все учатся на четыре и пять. А я бы тоже мог наставить ой-ой сколько двоек.

— Вы еще не знаете, что такое школа,— сказал вдруг откровенно Фаик.— Стоит вам выставить эти оценки, как тут же приедет комиссия, станут вас таскать и докажут, что вы испортили ребят. Ведь скажите честно, что методикой вы еще не владеете в совершенстве. Не владеете?

— Не владею,— согласился я.

Фаик резиночкой стал стирать оценки, подчищать бритвочкой — и все получилось почти незаметно, и я ушел из кабинета чуть-чуть придавленный. Но тут же выбросил из головы всю эту муть, ибо у меня были другие заботы, другие дела. Приехала моя мама. Привезла с собой племянника Виктора.

Так состоялось мое первое приобщение к очковтирательству. Потом я имел дело с десятками завучей и сам работал завучем и директором и совершенно машинально относился к формулам типа «три в журнале — два в уме». Больше того, логика Фаика, которую не он сам придумал, а которая была подсказана ему жизнью, запала мне в душу — и стала выполнять руководящую функцию в моем сознании. И сейчас я спрашиваю у знакомых завучей:

— А что, можно как-то покончить с процентоманией?

— Невозможно,— отвечают мне.— Система школьного дела так крутится...

Когда я доказывал, что мастерство педагога определяется расстоянием между учителем и учеником, мне нередко замечали:

— Неверно.— И поясняли: — Макаренко делал ставку не на личность, а на коллектив.

Действительно, Макаренко выступал против «парной педагогики». Известно и другое: его опыт свидетельствует о том, что он сам был мастером индивидуального действия.

Действительно, у советской педагогики нет дилеммы: коллектив или индивидуальность. И то и другое. Любая коллективность складывается из индивидуальных движений. Личность ученика неповторима. И неповторимым должно быть в чем-то и приближение учителя к ребенку. Каждый раз учитель применяет метод как бы в новой тональности. Я тогда этого не знал.

Волей случая, а точнее моих родственников я стал реальным воспитателем живого ученика, моего племянника Виктора. Я стал автором «парной педагогики», стал сразу и отцом, и учителем, и детской комнатой милиции. Впрочем, стал ли? Это потом я уж

точно сформулировал для себя, что моей педагогике, да и не только моей, недоставало, если можно так сказать, мудрого отцовства и мудрого материнства.

Конфликты с Виктором у меня начались в первые дни.

— Вставай! — кричал я уже в десятый раз, срывая с моего воспитанника одеяло.

— Ой-ой! — орал Виктор, примитивно разыгрывая испуганного дурачка. Он клацал зубами, корчился, поджав коленки и обняв меня.

— Не балагань! — говорил я твердо.

— Та темно еще, та куды ты меня тащишь: холод собачий, а я простуженный весь! — вопил Виктор, прибегая почему-то вдруг к украинскому наречию.

— Миленький, мы же новую жизнь начали,— скрипел я.

— Та мне не нужна новая жизнь. Мне и в старой хорошо,— отбрыкивался Виктор.

— Дай ты ему поспать. Еще же есть время.— Это мама моя вмешалась, нарушая единство требований.

— Ну скажите же ему, чтобы он оставил меня в покое,— просило дитя.

Я обнял Виктора и приподнял с постели. Поставил на ножки.

— Мой дорогой, иметь такое богатое тело. И так заплыть жиром! Ну проснитесь же, сэр!

Я пытался все обратить в шутку. Витька плелся за мной в лес — каких-нибудь тридцать метров. В руках у меня было полотенце и ведро с водой.

— А это для чего? — испуганно спросил он, открывая один глаз, поскольку досыпал на ходу.

— Обливаться, дорогой! Неслыханное удовольствие!

— Ты с ума сошел. Какой дурак обливается в такую холодину!

Витька, бедный мой мальчик, путался в штанах, которые сползли — пуговица отлетела,— семенил, крякал, сморкался, спотыкался, чертыхался и бубнил что-то о концлагере, где так не гоняют мирных людей.

— Выше ноги,— говорил я весело, пытаясь вселить в моего питомца бодрый дух,— смотри, как интересно! Теперь перешли на приседания.

Витька симулировал. Он не хотел приседать. Он хотел доспать здесь же, во время зарядки, положенные ему минуты, а потом вернуться домой и влезть под одеяло — пропади она пропадом, вся ваша новая жизнь!

Приближалось самое жуткое — водные процедуры. Витька попробовал водичку: ужас. Я показал, как получить максимум удовольствия: стал растираться. Виктор вылил из кружки воду в траву. И тоже стал растираться.

— Так не пойдет,— сказал я, приближаясь к племяннику.— Нагнись. Так. Отлично.— Я вылил остатки воды ему на шею.

Он бросился на меня с кулаками. Я смеялся. Мой смех сбивал Виктора с толку. Он снова смирился. Все это, наверное, было похоже на первое взнуздание лошади. Виктор смяк. Он растирался теперь по-настоящему. И я помогал ему в этом.

Конечно же, как я и предполагал, зайдя в дом, мой племянник, улучив момент, забрался на топчан и накрылся с головой.

Снова уговоры, увещевания — и выдохся я.

— Слушай, мне надоело,— сказал я ему.

— Дай ребенку подремать, еще есть время,— снова вмешалась мама, разрушая мою гувернерскую педагогику.

— Какой еще подремать, ему надо повторять немецкий, алгебру...

— Что? — умоляюще и жалостливо пролепетал Витька.

— Да-да,— подтвердил я.— Мы сейчас вместе поработаем: мне тетради надо просмотреть, а ты поучи немецкий.

Снова кинокадр: Витька пристроил учебник к глазам, которые тут же закрыл. Снова я бужу его...

Так прошла первая неделя.

Конечно же, я в той моей индивидуальной педагогике вижу в себе изверга. Гувернеры прошлых времен были на несколько рангов ниже в своем социальном статусе в сравнении со своими воспитанниками. И эта социальная разница в системе «бедный — богатый» работала четко: репетитор благоговел перед питомцем, он изощрялся, чтобы

не оскорбить маленького человека. Он мог не научить, мог что-то упустить в обучении. Но он не мог унизить. Если ребенок говорил: «Я этого не желаю», гувернер терпеливо ждал. Нет, он не спускал ребенку, особенно в английском или немецком воспитании, не позволял ему нежиться в кровати, не снимал напряжение, напротив, его задача состояла в том, чтобы, всячески изощряясь, заставить ребенка учиться и трудиться и получать при этом удовольствие: теперь ты настоящий джентльмен.

Я же стоял над Виктором, он был моей собственностью, которую судьба выдала мне на шлифовку, обработку, формовку. Но он не был глиной. Я набросился на него, одержимый и озабоченный собственным престижем. Я не соизмерял свои возможности, даже физические, с возможностями мальчика. За моей спиной стояли долгие годы занятий спортом. Я получал удовольствие от движения мышц, от нагрузок, от чистоты дыхания, от той легкости, которая случается после упражнений. Мне казалось, что именно эти чувства должен немедленно испытать и Виктор. И в этом была моя главная педагогическая ошибка, о которой я тогда не думал.

Я впервые по-настоящему задумался о воспитании, приметив, как коллектив ребятишек, с которыми я занимался, основательно повлиял на Виктора. Когда Виктор увидел, как хорошо относятся ко мне его сверстники, он стал охотнее выполнять мои требования. И мне показалось, что в моих руках точный механизм, который должен помочь мне управлять коллективом и любой личностью. Я не понимал тогда самого главного — что появлению этого механизма я обязан тем добрым детским симпатиям. Их щедрая любовь, их искренние чувства и привязанности что-то во мне переиначили, поставили меня в необходимость быть честнее, справедливее, доверчивее. Я сдружился с ними, и эта дружба повлияла на Виктора, наверное, больше, чем мои наставления.

Особенно многое изменилось в наших отношениях весной.

...Занятия спортом мы перенесли на воздух: нашли площадку на зеленом косогоре. Ребятишки за зиму окрепли, и уже трудно было с ними состязаться — так налились они силой. И Виктор мой — какой контраст с тем ужасным утром, когда я его обливал водой,— просыпался бодро, не спрашиваясь выбегал на улицу (мы вставали с ребятами за полтора часа до занятий и ежедневно по часу занимались спортом — полчаса разминка, а затем индивидуально по группам,— и Виктор шел в числе самых сильных и крепких ребят).

Я и теперь, если бы у меня спросили, что считаю самым главным в воспитании, ответил бы: здоровье нравственное и здоровье физическое. Совершенствование тела — это та первая зацепка, которая гармонично может решить, вытянуть многие проблемы воспитания. Ребенок растет, а человечность и здоровье — это условие, и цель, и самое существо роста. Не стану сейчас приводить банальные сравнения о яблоке и садовнике, но суть как раз и состоит в том, что садовник на первых порах не думает о величине красного яблока, он заботится о сегодняшнем росте дерева, поэтому и окучивает, и удобряет, и перевязывает раны, и утепляет — и всем этим закладывает будущий результат. Так и человек растущий. Мы думаем о результате, а забываем главное — тело, как раз то, что является оболочкой результата.

Здоровье — это не только будущие здоровый мужчина и здоровая женщина, способные воспроизвести здоровое поколение, это еще и мера человеческой радости.

Дети тянутся к борьбе, к состязаниям не потому, что в них заложены разрушительные инстинкты, а потому, что это их естественное состояние роста. Если маленький котенок не возится с другим котенком, не наскакивает на него, не трогает его лапой, давая понять, что он намерен с ним состязаться, то такой котенок нездоров, ненормален. Так и ребенок — его естественное состояние заключается в постоянном испытании себя, своих физических возможностей. Этот великий принцип природосообразности таит в себе экологическую тайну детского развития, тайну взросления.

Ребенок является частью природы, поэтому и воспитание его должно быть предельно приближено к природе, воздуху, траве, движениям.

Наши педагогические усилия часто направляются на крохотную часть человеческого тела — на мозг. Мы пичкаем ребенка книжками, музыкальными звуками, красками, прививаем манеры — и все это в отрыве от здорового физического роста способно уродовать человеческую личность, высушить ее жизненные силы, уничтожить сопротивляемость организма и ликвидировать те экологические свойства, которые заложены в самой природе детскости. Мы нередко физические состязания детей связываем

с нарушением нравственных норм. А уж если во время стычки ребятишки носы расквасили, выносим более суровый приговор — хулиганство.

Употребляют термин нравственное воспитание. А оно не может быть осуществлено в отрыве от воспитания воли. Основание личности и есть ее свобода воли, проявляющаяся в «производстве развитых форм общения», в творении своего воспитания. Нравственная свобода основывается, если можно так сказать, и на свободе физической раскованности. Для педагогики и психологии это положение является крайне важным, поскольку здесь первостепенную роль играет дистанция, мера приближения к личности ребенка.

Вот я беру Виктора за руки, расправляю его плечи, приподнимаю подбородок, похлопываю по плечу (расправь, меньше скованности), потом трогаю его щиколотку (так, хорошо, устойчивее, еще правее) — и он воспринимает не только мои технические указания, но еще совершается и иной процесс, что-то фиксирует подсознание: теплоту моих прикосновений, мою заинтересованность в росте мальчишки. Я буквально своими руками придаю ему ту форму самочувствия, которая ему позволяет совсем по-иному держаться в этом мире. Я воспитываю прикосновением, гармонизирую его рост, смягчаю какие-то важнейшие линии его становления. А потом в боксе, скажем, я слежу, как он держится. Вот удар, еще удар — и злость вспыхнула у мальчишки, вроде бы хорошо, это и есть первооснова воли, но это и плохо, поскольку злость ослепляет, может убить нравственное начало.

— Это ни к чему,— говорю я.— Спокойнее. Хладнокровнее. Больше выдержки. Так, бокс! — И снова я слежу за тем, что происходит в его «я».

А потом я даю ему возможность сразиться со мной — мы равны сейчас, он знает, я не стану злоупотреблять своей силой, я сделаю все, чтобы он ощутил мое человеческое уважение к нему, а от этого моего уважения прямая ниточка тянется к его человеческому достоинству.

Проблема так называемых трудных детей — это проблема дистанции. Если удастся сократить дистанцию, значит, в большей мере можно рассчитывать на положительный результат, чем в отчужденно-отстраненных ситуациях.

Всего этого я тогда не знал. Меня втягивало в общение с детьми нечто другое. Экология детства. Дети были таким же прекрасным и светлым миром, как мир леса, волнушек, звездного неба, звонких весенних ручьев. В этом мире я растворялся и получал несказанное удовольствие. Я был совершенно поражен, когда это мое общение мои коллеги назвали воспитательной работой.

За тридцать лет общения с детьми и педагогами я пришел к выводу: только тот педагогический труд по-настоящему полезен и нужен школе, который доставляет радость и взрослым и детям. Труд, соединенный с развитыми формами человеческого наслаждения,— основа профессионального педагогического творчества, искусства. Я общался с Виктором Николаевичем Терским, которого Макаренко назвал гением внеклассной работы. И направленность труда Терского выражалась в формуле труд — творчество — радость — красота — жизнь. Он не мыслил свой труд без удовольствия. Такой же логики общения с детьми придерживался и другой замечательный педагог, с которым мне пришлось общаться, тоже сподвижник Макаренко,— Семен Афанасьевич Калабалин. Именно эта идея соединения удовольствия с высокой культурой труда, игрой физических и интеллектуальных сил развивается и современными замечательными педагогами — Ш. А. Амонашвили, А. И. Шевченко, А. Б. Владимирской, И. П. Волковым, В. Ф. Шаталовым, М. П. Щетининым, Т. А. Тамбиевой, Б. П. и Л. А. Никитиными и многими другими.

Общаясь с педагогами, всматриваясь в свой опыт, я постоянно ощущал некоторую ограниченность своего анализа.

Я не перестаю удивляться моему Виктору. Перед ним меркнут мои педагогические решения. Я редко вижусь с ним, но постоянно испытываю его любовь ко мне. Он точно хочет мне подчеркнуть: смотри, какой я! не то что твои разные там благополучненькие!

И действительно, Виктору есть чем похвастаться. И дело не в том, что он в достатке живет: квартира, машина, дачный участок, дети успешно учатся. Дело в другом: все как-то крепко сбито у него в этой жизни — и мать в покое, и жена постоянно улыбается, и соседи будто гордятся Виктором.

Его трудовая жизнь сложилась так: вернулся из армии, стал работать крановщиком на металлургическом заводе. И вот уже больше двадцати лет не расстается со своей горячей, трудной работой.

Есть в Викторе самое ценное, может быть, качество, присущее мужчине,— все делать основательно. Я думаю, каким образом сформировалось в нем это трудолюбие, эта способность решать с радостным задором многочисленные житейские задачи. Я не нахожу связи между нынешним Виктором и тем трудным Виктором, с которым я столкнулся в северном поселке. А Виктор (он мне сказал об этом) эту связь находит. Оказывается, ему тогда пришлось по-настоящему поработать и в школе и дома.

Формирует человека вся жизнь, вся система отношений. И главные из них те, которые связаны с преодолением препятствий, с личным участием в благоустройстве своей жизни.

Я во многом ошибался в педагогике. И в чем я не упрекаю себя никогда, так это в том, что иной раз и перегибал палку, категорически настаивая на том, чтобы воспитываемая личность трудилась, трудилась и еще раз трудилась. Здесь я был непреклонен, ибо больше всего в воспитании я ненавидел и ненавижу паразитизм, готовность жить за счет другого. В трудовом усилии я видел залог нравственного преобразования.

И еще одна мысль. Так называемые трудные 50—60-х годов отставали в учебе, учение нередко было для них сущим адом, но зато они, как правило, были великолепны в труде физическом, в походах, в делах, где нужны были выносливость, сила, способность к длительным напряжениям.

Иного рода нынешние трудные. Они совершенно не выносят физического труда и нередко склонны пребывать в атмосфере интеллектуальных занятий. Они лелеют свою расслабленность, говорливы, много читают, философствуют на разные темы, излюбленной темой разговоров являются ценности гуманистического плана (о справедливости, о возможностях «я», о мире), и единственно чего не заставишь таких — это трудиться, помогать родителям, дедушкам, бабушкам, соблюдать режим, ограничивать себя.

Я рассказываю Виктору о нескольких неработающих хиппи. Виктор отвечает однозначно:

— Лечить, как алкоголиков. В принудительном порядке.

Я согласен с Виктором: безделие, паразитизм если не болезнь, то такое искажение личности, которое может привести к серьезным психическим отклонениям. Эти отклонения способны порождать новые, более жуткие отклонения, на перекрестьях которых могут возникать различные антиобщественные явления. Так, совершеннолетний «ребенок», уклоняющийся от труда, нередко пребывает в состоянии скрытого страха, спрятанного под маской ложного бесстрашия: я ничего не боюсь. И окружающие, родители в первую очередь, нередко повергнуты в страх перед возможным крайним поступком «ребенка». На столкновениях этих двух видов страха возникают человеческие драмы — рушатся надежды, судьбы людские.

Трудовое воспитание, нацеленное на оздоровление души человеческой, способно избавить человека от многих дурных страстей и пороков, способно сделать личность счастливой. «Труд — не игра и не забава,— писал К. Д. Ушинский,— он всегда серьезен и тяжел; только полное сознание необходимости достичь той или другой цели в жизни может заставить человека взять на себя ту тяжесть, которая составляет необходимую принадлежность всякого истинного труда. Труд истинный и непременно свободный, потому что другого труда нет и быть не может, имеет такое значение для жизни человека, что без него она теряет всю свою цену и все свое достоинство. Он составляет необходимое условие не только для развития человека, но даже и для поддержки в нем той степени достоинства, которой он уже достиг. Без личного труда человек не может идти вперед; не может оставаться на одном месте, но должен идти назад... труд — личный, свободный труд — и есть жизнь» [1].

Я недавно получил письмо от моей солингинской ученицы. Она рассказывала о своей подруге: «Вы не представляете, какая героическая женщина наша Аня Клейменова. Мы и тогда поражались ее трудолюбию. На ней весь дом держался. Она росла без матери. Каждый день она вставала в четыре утра, наводила порядок в доме, кормила

---

[1] К. Д. Ушинский. Избранные педагогические сочинения. М. «Педагогика». 1974, т. 1, стр. 128—129.

семью и успевала в школу... И сейчас она живет так же трудно, а вот когда бываешь у нее — отдыхаешь душой...»

Я вчитываюсь и вчитываюсь в эти строчки. Вспоминаю Аню Клейменову, ее отца, сестричек, ее путь по этой жизни: раннее замужество, заочный институт, дети, а теперь уже и внуки. И видится мне главное: какое-то особенное ощущение нравственной чистоты, покоя и доброй праведности нисходит на меня — всего этого было в Ане с избытком, она притягивала к себе взрослых и детей, притягивала доброй, могучей и удивительно изящной силой, достоинством, смиренной и светлой радостью. Неожиданно я открываю для себя, сейчас открываю главный пробел, может быть, и сегодняшней педагогики — отрыв труда от природы, от народных нравственных начал, от организации трудовой жизни в семье и школе.

Была осень, и мы рвали лен.

Еще три месяца назад этот кусок земли в черном лесу ошеломил меня сверкающей голубизной: дух захватило. Живое дыхание до боли яркой бирюзы не воспринималось как совершенство природы. Жаркая струящаяся лазурь жила скорее законами искусства. Казалось, всю нежность, какая есть в мире, вобрала в себя эта небесная синь.

А теперь всего этого и в помине не было. Моросил не то дождь, не то крупа путано швырялась со всех сторон. Мне показывают, как лучше рвать лен. Я впервые замечаю, как упруго-ловка Аня Клейменова: такая ладная стремительность скользящих рук. Совсем узкая розовая кисть. Щеки горят. Губы горят, хотя и сомкнуты, впрочем, то и дело вздрагивают тонкой улыбкой, точно стряхивают чужие взгляды: мне очень нравится, когда любуются мной, но зачем же так откровенно? И не устает. Не останавливается, чтобы расправить плечи. А снопики растут крохотными гномиками, головками друг к дружке прислонились: шепчутся. Аня чуть-чуть бровью в нашу сторону: она все слышит, со всем согласна, только ей некогда сейчас. Она лен рвет. Как рвали лен бабушки и прабабушки. Вот так же крепко в одно мгновение скручивали снопик — и эта вековая ловкость будто генетически отлилась в ее крепкой гибкости, в ритме, одухотворенности.

Нет, ничто в этом мире не исчезает бесследно. Что-то от того совершенства голубизны, когда лен цвел, присутствует и радует душу. Ко мне и к Анечке подбежал Парфенов, совсем юный, в черном плаще, раскрапленном морозными точками. Глаз не сводит с Анечкиной виртуозности. Просит он Аню, чтобы она всем показала, как рвать лен надо. Но Аня (я так и знал) уклонилась от показа, не приспособлена она к такому, ни теперь, ни потом не будет приспособлена. Молчит Аня Клейменова, не слушает директора — это сейчас позволительно: она лен рвет.

И Ваня Золотых рвет лен так же, как и Аня, быстро и радостно, точно играя, только Ваня как-то кругло перекатывается колобком: и коленки круглые и спина круглая.

Аня молчит и не смотрит в мою сторону, хотя я и спрашиваю, как надо этот чертов лен рвать, как вязать надо, а Аня не отвечает (это дозволено сейчас), и мне хорошо, что она не отвечает, а только тихо про себя смеется. Где-то Лекарев, мой юный Меркурий, рассказывает очередную байку, как он на маночек поймал новичка-охотника, и хохот Оли Самойловой, раскатистый и сильный. И солнце вдруг пригрело, отчего пышность лесного приюта всколыхнулась, сверкнув багряным одиноким листом, пришпиленным к красной ветке, и россыпи брусничных бус, вплетенных в гирлянды будто металлических листочков, оживились на обочине, куда вдруг швырнула Аня свою фуфаечку и платок сбросила. Рву лен, и перевязываю, и складываю, и юных меркуриев не вижу, и не слышу, как говорит мне Парфенов:

— Получается?

Аню я не замечал целый год. Я осознал потом: ее можно было приметить, лишь сосредоточившись. Надо было приблизиться к ее тишине, чтобы нужный отзвук получился. Это я потом осознал, когда впервые увидел ее в другой обстановке...

Однажды во время охоты Ириней сказал:

— Сейчас увидишь чудо.

И я ждал чуда, потому что всегда верил Иринею.

Был вечер, и чудо не замедлило явиться. Длинный лесной коридор с черной тропинкой вдруг оборвался, и багровый пламень в последней мятежности вечернего жара блеснул красными стволами сосен и примирительно заиграл в половине окна, словно

за окном кто факел зажег. И теплота, смешанная с запахом перегретого навоза, ржи, раскаленной древесины, обдала душу, будто вступили в другую землю, обжитую и приветливую.

И оттого, что так весело умирал день, и от пахнувшего тепла, смешанного с таким знакомым запахом парного молока, и от ухоженной крепости колодца, погребов, двора, и от лошади, и от коровы с дощечкой на рогах, бодливой, должно быть, с сумасшедшим, иссиня-мазутным глазным яблоком,— от всего этого усилилось ожидание: еще что-то должно быть.

— Что же это? — невольно вырвалось у меня.

Ириней рассказал мне историю о том, как Матвей Клейменов поселился на берегу реки. Срубил дом, развел скотину, стал выращивать такие овощи, каких здесь сроду никто не видывал. Живет с детьми, жена умерла.

К нам вышел навстречу бородатый человек лет пятидесяти. Молча подал руку Иринею, потом мне. Тут же он попросил Иринея помочь ему в сарае. И пока они возились, я сидел на лавке и смотрел вокруг. Аня с ведром в огород кинулась, ей отец из сарая успел крикнуть:

— Нюрка, гляди с краю копай!

Аня, я видел, копала с сестричкой картошку (бум-бум в пустое ведро первые картошины), потом бегом сестричка с полным ведром, вся перекосилась (давай помогу), нет, увернулась от меня, побежала перекособоченная с ведром, а поди ей и шести лет нет. И снова из сарая команда отца:

— Нюрка, не пугай овец!

А потом Аня снова мчится с кастрюлей — и снова голос отца:

— Нюрка, гляди не ошпарь!

Я вошел в сарай. Тут приспособлены были два круглых камня: мельница. Ее-то и чинили Матвей с Иринеем. И когда починили, снова Матвей позвал:

— Нюрка, неси пшено...

Мы ужинали, и я боялся, как бы отец не вошел в свою привычную крикливость: Нюрка, неси то, убери это. Нет, не стал он покрикивать, Зинку обнял; нет, иная здесь, в хате, раскладка отношений, это там, во дворе, беготня-суетня, там все колесом да ходуном, а здесь, в комнате, отдых, здесь Аня больше хозяйка, чем он, Матвей, потому Аня и будто приказывает: а ну отодвинься, батя, а ну убери руки, я скатерть постелю, так, а теперь хлеб нарежь, принеси сыру-то, подай, Зин, кувшин с молоком — хозяйка!

А утром мы бегом-бегом собрались: машина должна подойти к лежневке, а до лежневки целых десять километров. Мы уходим молча. Нас никто не провожает, не принято почему-то здесь провожать: побывал в гостях — ну и бог с тобой.

Не успели мы за ограду выйти, как нас догнала Анечка.

— Возьмите.— И глаза ее смотрят прямо, а кончики губ чуть вздрагивают.

— Что это?

Аня молчит.

Я разворачиваю сверток, там лежат наш хлеб, луковица и кусок сахара. Ириней молча берет сверток и запихивает в рюкзак:

— Мало ли чего...

Анечка убегает, придерживая подол белого ситца. Я смотрю ей вслед, у самой ограды она совсем мельком оборачивается, совсем мельком, так что вряд ли можно понять, обернулась она или нет, а потом совсем исчезает. Я почему-то подавленно плетусь за Иринеем, который уже набрал скорость и почти бежит по темному лесному коридору. А мне не хочется бежать, потому что когда идешь быстрым шагом, то думаешь не о чем-то важном, а только о том, куда бы лучше ступню поставить да удобнее рюкзак пристроить.

Мне хочется думать об Анечке, хочется понять ее.

Господи, как она слушала мои рассказы о Толстом и Достоевском! Как светились ее глаза! Видел ли я раньше такие глаза? Такой свет в глазах? Будто и сияния нет, а светло вокруг становится, потому как свет тот невидимый сразу глубоко в душе ласкает... Нет же, не придумал я это: все учителя и сам Парфенов не перестают восхищаться Анечкой. А отвечает как! А где, поди, найдешь такую милую и светлую добросовестность, покорность такую.

И снова хочу подчеркнуть, что моя память работает целенаправленно: она высвечивает то, чем я живу сейчас, что волнует меня сегодня.

Одна из бед нынешней педагогики состоит в том, что она не может порой сойти с пути схоластического теоретизирования. Эта схоластика нередко оснащена новейшими европейскими методиками — социально-психологическими, психологическими, этическими. Эта оснащенность создает видимость культуры, видимость разрешения противоречий. Но по своей сути этот род научного знания почти не затрагивает коренных проблем воспитания.

И еще один существенный недостаток педагогики: она пытается замкнуться на школе, между тем как школьное воспитание не составляет всего воспитания. Вспоминаются мудрые мысли, сформулированные Ушинским в статье «О народности в общественном воспитании». Вот они:

«Воспитание, построенное на абстрактных или иностранных началах... будет действовать на развитие характера гораздо слабее, чем система, созданная самим народом...

Не педагогика и не педагоги, но сам народ и его великие люди прокладывают дорогу в будущее: воспитание только идет по этой дороге и, действуя заодно с другими общественными силами, помогает идти по ней отдельным личностям и новым поколениям...

Общественное воспитание только тогда оказывается действительным, когда его вопросы становятся общественными вопросами для всех и семейными вопросами для каждого. Система общественного воспитания, вышедшая не из общественного убеждения, как бы хитро она ни была обдумана, окажется бессильной и не будет действовать ни на личный характер человека, ни на характер общества...

Возбуждение общественного мнения в деле воспитания есть единственно прочная основа всяких улучшений по этой части: где нет общественного мнения о воспитании, там нет и общественного воспитания, хотя может быть множество общественных учебных заведений» [2].

Школа 50-х годов была не то чтобы более строгой, она была более скованной, более авторитарной. И подготовка ребят сейчас к жизни, труду, непрерывному образованию более высокая, чем в те годы. За тридцать лет в значительной мере усложнились формы внутришкольных отношений, видоизменились и содержание образования, методы воспитания и обучения. Помню такие явления: в школе запрещалось проводить соревнование, развивать ученическое самоуправление, а такие средства, как игра и индивидуальная работа, просто находились в загоне, принижалась роль труда, физического и эстетического воспитания, недостаточно уделялось внимания воспитанию инициативы и самостоятельности детей.

Процесс демократизации внутришкольных отношений сложен и многогранен, ибо связан с творчеством учителя, детских организаций, всего педагогического коллектива. В «Материалах XXVI съезда КПСС» специально подчеркивается необходимость изжить формализм в оценке результатов труда учителей и учащихся, на деле укрепить связь школы с жизнью.

А что считать формализмом в школьном деле? Вопрос далеко не простой. С одной стороны, необходимо укреплять авторитет учителя, авторитет школы, а с другой стороны, изживать разные виды авторитарности — формы злоупотребления педагогической властью. А для этого крайне важно знать психологические истоки зарождения формализма. Требуется особое внимание к таким проблемам, как всестороннее развитие личности ученика и личности учителя.

Одной из центральных проблем сегодняшней педагогики является (думаю, не ошибусь в этом) проблема индивидуализации в школьном деле. Конечно же, процесс школьного обучения унифицирован. И все же у советского учителя нет выбора — исходным в его работе должно стать предельное внимание к личности ученика, к его дарованию, его способностям, его внутреннему миру. Эту задачу может осуществить талантливый педагог-мастер. Мне могут возразить (и очень часто возражали!):

— Нельзя рассчитывать на талант! Где это наберешься мастеров?

На это я могу ответить только так:

---

[2] К. Д. Ушинский. Избранные педагогические сочинения, т. 1, стр. 110—111, 123.

— Мы не можем делать ставку на серость! Каждый педагог, если он не дебил, может развить свои способности до уровня мастерства.

И я приводил примеры из собственного опыта и из опыта других педагогов, когда учителя (даже без должного образования) становились мастерами педагогического труда.

Итак, две силы — ориентация на мастерство и ориентация на личность ученика.

В последние годы я проводил семинары-практикумы с педагогами разных школ.

— Чтобы стать гениальным учителем,— говорил я полушутя-полусерьезно,— надо знать две вещи: понимать детство как особое психическое состояние, основанное на неуемной энергии, на потребности к самореализации, и уметь в своем творчестве соединять игру и труд.

Я ссылался на парадоксальную мысль одного английского педагога, который говорил: чтобы научиться воспитывать, надо выбросить всю педагогику, заменив ее игрой. Я не разделяю мысли этого педагога, хотя и убежден, что игра (ролевая, неролевая, игра — импровизация, драматизация, игра спортивная, игра-сочинительство) может всю жизнь и учеников и взрослых сделать по-настоящему интересной и увлекательно-творческой.

В своей удивительной книжке «Грамматика фантазии» Джанни Родари показал, как сочинительство сказок способно решить с детьми наиважнейшие проблемы творческого воспитания. Я согласен с Родари. Но мне думается, существуют и более глубокие, неформальные связи между психологическим состоянием ребенка и педагогом, который стремится использовать фантазию как метод развития физических и интеллектуальных сил детей. Для меня впрямь было открытием, когда я увидел, что такие великие писатели, как Толстой и Достоевский, как Фолкнер, рассказывая детям различные, в том числе и фантастические, истории, фактически рассказывали детям в доступной им форме про свои самые заветные мысли, про ту жизнь, о какой они мечтали, про те мучительные раздумья, какие не давали им покоя. Я на каком-то этапе своего педагогического общения понял, что можно заниматься с детьми на очень высоком, но как бы формальном уровне творчества, то есть не подключать при этом свои щемящие и самые главные струны, то есть общаться с детьми на уровне техники, а не на уровне сокровенного чувства. И такое техническое общение имеет свое место в педагогическом творчестве. Больше того, без такого общения не обойтись, поскольку оно способно заменить подлинное страдание педагога как личности (не всегда же можно и нужно демонстрировать детям свои истинные мучения) игрой, очень похожей на мучения, на истинное переживание.

Но помимо этого технического игрового общения должно быть еще и такое, которое действительно основывается на истинном переживании. Больше того, сама игра должна стоять на таких китах, как гражданское чувство педагога, его стремление найти *истину, добро и красоту* в этой жизни, в самом себе, в детях, глубокая гуманистическая направленность труда педагога. Если этих трех китов нет, то всякая самая наилучшая игра, самое наипрекраснейшее сочинительство способны обернуться ненужным формализмом, псевдоискусством, квазитворчеством.

Я много думал над тем, откуда же берется то самоценное творческое начало, которое, с одной стороны, рождается в общении с детьми, а с другой — питается самой *жизнью* со всеми ее трудностями, сложностями, с накопленным духовным и культурным потенциалом, со всеми ее надеждами и отчаяниями. Один из ведущих принципов воспитания, который нередко предается забвению, звучит так: единство жизни и воспитания. Занимаясь поиском истоков развития педагогической увлеченности, я всегда мучительно думал и над тем, откуда берется и как утверждается педагогический формализм, как в самом себе преодолеть догматический подход к воспитанию детей.

Первый же год работы в школе на сто процентов переиначил весь строй моей души, всю манеру поведения, весь склад характера. Я оказался в бурлящем потоке, который был сильнее меня. Он и нес меня вопреки моему желанию.

Школа для начинающего — это тот конвейер, где личность проходит строгую и моментальную обработку в соответствии с тем стандартом, который сложился в данном заведении. Оказавшись в поточной струе обработки, ты не всегда в состоянии сопротивляться.

Когда-то Гегель говорил о том, что школе положено унифицировать учащихся: у нее нет времени нянчиться с самобытностью личности. Потом Макаренко развивал мысль о том, что он предпочел бы средних учителей, совсем серых, но работающих одним стилем, чем талантливых, но работающих каждый своим методом. Я не разделяю ни гегелевской, ни макаренковской позиции. Школа должна бороться за талантливость и за самобытность как учителя, так и ученика. Школа, унифицирующая всех, становится неизбежно казармой. Конечно же, в идеале, если школой руководит такой человек, как Гегель или Макаренко, тогда, может быть, и допустима унификация.

Школьный учитель — это власть в маленьком детском обществе. Она может развиваться либо по линии демократизации отношений, предполагающей усиление авторитета культуры, знаний, духовности, либо по линии злоупотребления властью, предполагающей принижение авторитета демократичности, культуры, подлинно духовных форм общения. Подобные мысли были у Макаренко.

Школьный, профессиональный педагогический педантизм возникает не сразу; во всяком случае, человек не рождается с профессиональным педантизмом. Мелочная придирчивость, вытесняющая фундаментальность педагогических требований, вырастает по своим законам.

Я переступаю школьный порог, и постепенно меня охватывает, как заметил Толстой, школьное состояние души. Слышу, нянечка у входа рядом с дежурными занимается своим правопорядком, вот она прикрикнула: «Ты у меня в следующий раз!» — вижу, как она одернула малыша, кому-то пригрозила веником. И мое переключенное на школу состояние санкционирует ее действия. Я, правда, ее будто бы и не замечаю, но, в общем-то, одобрительно отношусь и к ее угрозам и к шлепкам мимоходом: так надо для порядка — школа начинается, как и театр, с вешалки. Два девятиклассника стоят с повязкой: девочка и мальчик. Девочка с особенной тщательностью уложила волосы: как же, у всех на виду. Весело бросает она своим однокашникам: «Привет, привет!» — и чуть кокетливо учителям (в особенности молодым): «Здрасте»; и глаза либо преданно-добры, либо с потупленным взором: дескать, пожалуйста, проходите, рады вам; и глаз ее косит в сторону протискивающегося малыша, стремящегося все же проскочить без второй обуви, и ему резко: «Ничего у тебя не выйдет, беги домой, пока время есть». «У меня нет второй обуви дома!» — клянчит малыш. «Такого не бывает»,— отвечает старшеклассница. «Бывает! — орет сорванец.— Чего ты ставишь из себя!» «Как ты разговариваешь?!» — повышает голос старшеклассница, и ее глаза округлились, точно она исполняет роль родительницы в игре «дочки-матери». Ее поддерживает совсем важный юноша-дежурный. С ним шутки плохи. «А ну двигай отсюда!» — выдавливает он, и его рука поплыла в сторону малыша. Не доплыла: малыш увернулся, отлетел в сторонку. Моя педагогическая душа все слышит, но никак не реагирует на происходящее: это уже вошло в мое «я» как необходимость, как эти стены, как эта дверь, как эти часы со звонком. Сначала, в первые дни, мне казалось это странным, несколько жестким, но потом я даже радовался тому, что эти два юных цербера так лихо наладили пропускную способность с четким отбором, с четкими заключениями: «А это что у тебя болтается, марш домой!», «А ну покажи руки! Не умывался, наверное». «Умывался!» — оправдывается второклассник. «А ну покажи уши. Ну да, так и знала — уши грязные. Записываю тебя». Я слышу все это. Чем больше будет таких замечаний, тем спокойнее в школе, тем сильнее педагогический авторитет, тем лучше дисциплина. Это уже педагогические формулы, которые повторяются изо дня в день. Эти формулочки вытеснили что-то из моей прежней души и заняли свое место надежно и прочно. Комочек из этих образований растет с каждым днем, и всячески его рост поддерживается школьным укладом. Вот подошел дежурный учитель, спрашивает у своей гвардии: «Ну что там у вас?» «Посмотрите,— показывает ему ученик список,— в пятом «а» два человека, во втором опять Миронов без обуви пришел. В третьем грязные уши». «Хорошо,— говорит учитель.— Сегодня надо повнимательнее и построже». Это говорится каждый раз, но эта фраза действует магически — и вскоре список у дежурных увеличится втрое, а то и вчетверо.

Потом начинается галоп. До звонка на урок минут пять—семь, надо успеть. Учительская. У дверей нарушители порядка. Быстро собираются учителя, приходит директор. Директор молчит, слушает. Он так серьезен, будто ничего на свете более серьезного не знает. «В третьем грязные уши, Миронов без второй обуви опять, систематические нарушения в пятом классе...» — докладывает дежурный. Как провинившиеся стоят

классные руководители этих классов. Они потупили взор: никуда не денешься против объективной реальности. Тот самый педантический комочек в их душе разрастается, «ну погодите» — созревает угроза своим питомцам. Я принимаю все эти явления как должное, знаю, что в пятый класс надо прийти несколько позже (у меня там первый урок), потому что классный руководитель опередит меня и, пока я подойду к дверям, успеет выдать гору наставлений, угроз, внушений.

Если этот механизм действует четко, то, говорят, педагогам работать легко. Надо только вот так ежедневно потихоньку подкручивать пружину, чтобы весь завод не вышел, а точнее, чтобы никогда он не кончился.

В парфеновской школе этот механизм был отработан до предела. Этот механизм обеспечивал развитие всех сцеплений. Магическим словом было слово «урок». Урок, мне представлялось, это какая-то зарешеченность линий, острых непонятных сочетаний, скобок, цифр, давящих принуждений. Урок, так мне показалось, был выше и учителя и писателя, которого я должен был преподать детям, и духовных ценностей, которыми я должен был пропитать детское сердце. Урок — это части: оргмомент (дети, встали, ровнее, ровнее! так, сложили учебники, прекратите шуметь! сколько раз вам говорить можно! и леденящий взгляд мой — ожидание, пока не погаснут искры в глазах детей! так, все погашено, теперь можно приступать!), потом опрос; слова-то какие, черт побери, «опрос» звучит как дознание, что-то выхолощенное, без влаги, без плотности, соедините два слова — «опрос» и «ребенок»: какой разительный контраст, разве не ощущаешь запыленную пустоту в этом «опросе», хлещущую по детским лицам, по безмятежному, но пытливому сознанию,— этот полупопугайный пересказ учебника, топтание на месте, замороченность, невероятная скука и ухищрения учителя: так, а теперь кто добавит, так, прекрасное дополнение, ставлю пять! Есть, подачка сработала, на лицах других тайная зависть (за что же пятерка? — вот повезло ему, меня спросите! меня спросите!) и руки до потолка, вот-вот выскочат из суставов, улетят в невесомость. Нет, я не даю воображению разгореться — не хочу видеть эти плавающие ручонки, кричу: «Руки!» — это значит, чтобы у всех руки были опущены, точнее чтобы локоток не отрывался от парты; кое-кто подставляет кулачок под локоть, такую малость я допускаю — меня всему этому учат, наставляют, я молодой, самый молодой, необкатанный, неоформленный, не доведенный до кондиции, поэтому меня шпыняют, поправляют, даже физкультурник: что же, если каждый будет тянуть руку до потолка, делает он мне замечание, единство требований нарушится; и я слежу за этим единством, я должен солидаризоваться со всем этим нелепым сложившимся уставом, и этот устав должен ощетиниться из моей живой основы, я должен превратиться в механизм, служить четкости урока, я стараюсь подражать увиденному, опросить не больше и не меньше (лучше больше — потому я двоих заставляю писать планы на доске, а двоих отвечать по карточкам) — один у доски, двое дополняют, итак, семь человек за двенадцать минут: так, не тяните время, если кто замешкался, говорю я, так, кто продолжит? прекрасно, что у вас получилось, так, ответы никуда не годятся! кто исправит? И крутится колесо урока, а я думаю, с чего бы начать объяснение, ага, надо же цель урока сформулировать, я формулирую цель, а дети после опроса совсем размагниченные (черт с ним, с объяснением, выучим по учебнику), сидят сонные, а я завожусь точно по схеме, которую в меня втиснули: положительные черты Печорина, отрицательные, пишем план, дети: а) эпоха, б) Лермонтов — выразитель... в) Печорин — представитель; и от моего личного Лермонтова, которого я знал наизусть — проза целыми страницами оседала в моей голове, с лермонтовскими настроениями, с моим миропониманием,— все это в сплаве, любимое, дорогое, гаснет и тонет: это, дескать, не по делу, а по делу эти вот а), б), в) — и потом разбор урока и главное замечание директора: домашнее задание дали после звонка, а остальное ничего. Ах, мой милый Парфенов, тонкий, чуткий, все в тебе есть, а человеческое между тем утонуло в проклятой якобы методике, в разъятии живого.

Педагогика как любовь. Она и есть любовь. Как любить нельзя по команде, так и общаться нельзя по схеме. Другая педагогика сидела во мне. Где-то были ее роднички намечены: крохотные чистые ключики, льющиеся из души моей. Это я потом понял, что они были, что уже после я их замусорил тысячами уроков, всеми этими опросами, оргмоментами, закреплениями, всеми этими а), б), в).

Важнейшая проблема сегодняшней педагогики — проблема авторитета. Без авторитета учителя, знаний, коллектива нельзя воспитывать. Авторитет, как отмечал в свое

время А. С. Макаренко, может быть истинным и ложным. Мнимый авторитет или авторитарность чаще всего связаны со злоупотреблением педагогической властью. Борьба за подлинный авторитет в воспитании — это борьба за душу каждого учителя, каждого ученика. Борьба за нравственную чистоту отношений.

Всматриваясь в сегодняшний опыт даже самых талантливых педагогов, я невольно ловлю себя на том, что более увлекаюсь их методами, формами и приемами работы и перестаю думать об учениках. А ведь талантливый педагог — это прежде всего пристальное внимание к моральному и физическому здоровью детей, их психологическому состоянию.

Мир ученика — это не только его интеллект, не только его хорошие и плохие отметки. Это вся его жизнь, его семья, его товарищи, его тайные радости, его открытые и скрытые притязания, его уважение к взрослым или презрение к ним, его вера в свои силы или неверие.

Подлинный авторитет и подлинная коллективность рождаются только в одном случае — если учитель духовно близок к ученику. Вглядываясь в свой опыт, я анализировал ошибки, из которых складывалась ненавистная мне авторитарность...

Среди моих девятиклассников, в общем-то низкорослых ребят, Ваня Золотых совсем крошечный. И эту крошечность подчеркивает вся его одежда, вся манера держаться.

Сидит он обособленно, на первой парте. Рубашечка на нем салатненькая, в цветочек синенький. Пуговички на рубашке застегнуты доверху, и оттого, что воротничок мал, задираются его уголочки к самому подбородку. И пиджачок, серенький, старенький, тоже мал, и рукава салатненькой рубашки торчат из-под пиджака, и, может быть, потому Ваня прячет свои руки, красные и широкие. И весь Ваня Золотых коренастенький, плотный, в подшитых валенках, старательный, в глаза мне глядит, и не пойму я, что в этих глазах, чего больше — преданности или понимания. Ваня говорит тихо, медленно, будто озираясь после каждого слова, то ли он сказал. А я требую громкости, ибо громкость по сложившемуся школьному прейскуранту высоко котируется: означает уверенные знания, их прочность. Потому я и настаиваю бестактно, работая на класс: «Звук, громче», а Ваня смотрит на меня своими чистыми, совсем салатными и тоже, как ни странно, в синюю крапинку глазами, чуть-чуть расширяет их, и его полные губы начинают двигаться еще медленнее...

— В обратную сторону,— еще пошлее и обиднее острю я, будто у Вани в кармане регулятор, который можно крутить в какую хошь сторону.

Дети знают, что означает это «в обратную сторону», в тон мне кивают, улыбаются: как же смешно говорит учитель. А Ваня топчется на месте в своих подшитых валеночках, и руки у него становятся еще краснее, и щеки покрываются алыми акварелями, и на них, на этих акварелях, как на волнушках, проступают отчетливее белые пушистые волосики. Он продолжает говорить о Болконском, вот упал князь смертельно раненный, небо перед глазами голубое, бесконечно прекрасное, и по нему облака плывут. Ваня в дословности цитирует Толстого тихо и проникновенно. И я улавливаю, что Ваня чувствует, что-то от мучительности князя Андрея запало ему в душу, но я не могу смириться с тем, что Ваня говорит об этом тихо. Ибо в данном случае это «тихо» все портит. Мне нужна пулеметная очередь, как у других, когда я был на уроках: та-та-та-та-та-та-та-та. Садись, пять! И этот пулеметный стандарт держит меня в цепких лапах, и я уже забываю о том, что в голосе Ванином были проникновенные нотки, и начинаю раскручивать в себе те инерционные разобщающие силы, которые должны, как мне кажется, взбодрить и класс и Ваню. Я говорю о том, что надо тренировать голос, речь, что есть грудной резонатор и горловой (показываю, как надо орать, не срывая голоса), вклиниваю пример с Демосфеном, который камешками набивал рот и ораторствовал в таких «трудных условиях», и что, конечно, я не рекомендую ребятам засовывать в рот кирпичи или чернильницы, но распорки из спичек можно поставить с двух сторон между зубами. И дети смеются: страсть как любят эти разобщающие отступления. А Ваня стоит, не обижается, робко смотрит на меня, ему вроде бы и нравится, как я издеваюсь над ним, и глаза его становятся еще преданнее. И, может быть, от этого я отношусь к нему еще лучше, ставлю ему четыре с плюсом, говорю, что у него была глубина, вспоминаю о проникновенности при чтении Толстого. Ваня сияет. Он смотрит на меня влюбленными глазами, и когда я после уроков решаюсь специально поработать с ним, он удовлетворенно кивает.

— Вот почему-то уверенности у тебя нет, Золотых. (Я с детьми только по фамилии, так было принято в школе: назвать по имени считалось фамильярностью, панибратством, заигрыванием с учащимися, расценивалось как способ завоевания дешевого авторитета.)

Ваня молчит. Опустил длинные, совсем белые ресницы. Тихо гладит рукой свою руку. Незыблемо спокоен, и это меня раздражает. Мои внутренние экстремистские силы протестуют против Ваниного покоя, и я говорю:

— Может быть, эта неуверенность от незнания, может быть, ты Болконского не представляешь себе? (А откуда Ване знать, каким был Болконский, Ваня никогда и в городе не был и, кроме Солинги, ничего в жизни не видел.) Вот представь себе, что Болконский — это знакомый тебе человек, и ты любишь его за те доблести, которые в нем есть, и ты должен рассказать о нем. Как ты представляешь себе Болконского, на кого он похож?

Ваня распахивает свои беленькие реснички, они серебрятся и золотятся на солнышке, в глазах зажглись синие искорки, и салатность зрачков заблестела робким повиновением.

— На вас похож князь Болконский,— говорит Ваня.

От неожиданности ответа я приседаю. Мое авторитарное чутье, конечно, удовлетворено, польщено, а моя экстремистская справедливость наотмашь лупит по Ваниным алым щекам, хлещет по его невинным ресничкам:

— Ну, Золотых, ты и загнул...— Потом смягчаюсь и добавляю: — Ну ладно, иди, в следующий раз тебя обязательно спрошу.

Вроде бы ничего и не произошло, а стыд жжет оттого, что моему общению с детьми недоставало ни мудрости, ни долготерпения, ни бережного стремления вникнуть в их сложную жизнь.

И как я благодарен был Иринею, который помог мне увидеть тот мир, в котором рос Иван Золотых, формировался как человек.

...Ваня встретил нас у крыльца своего дома. В общем, внутри, хотя дом снаружи и казался преогромным, было так, как у многих: одна огромная комната с русской печью, деревянные лавки, в углу старая икона, на стене в единой раме штук двадцать фотографий. У печки на полу, свернувшись клубочком, спал человек, подложив под голову рукав фуфайки. Человек был крохотный, маленький, лицо морщинистое, красно-черное, а руки тоже красно-черные, со свежими ссадинами на тыльной стороне.

— Напився с вечера ишо! — крикнула Анастасия, мать Вани.— А ну просыпайся, Петька, гости!

— Эк куды ему,— пропела тихим голосом старуха из угла — она сидела и распутывала нитки. Старуха была древней. Очень древней. И очень похожей на Ваню: такой же покой шел от ее лица, такая же неторопливость движений.

Пока мы сидели, грелись да перебрасывались по слову с бабкой, Ваня с матерью суетились у плиты. И когда обед был готов, проснулся и Петя. Он поднялся, осмотрелся, сбегал куда-то.

За обедом Петя рассказывал, как он рыбу ловил, какое сено нынче привез и что снова ему надо ехать по насту за сеном. И Ваня точно вслушивался в слова отца, и глаза его в беззащитном обнажении, застигнутые словно врасплох, признающие свою вину, свой стыд. Ваня сидит в напряженной красноте, точно в жар его бросило, точно стынет этот жар на виду у всех, переходя в озноб и снова в жар, и глаза несуетливые будто говорят: «Вот так мы и живем. Я вон на той лавке сплю на матраце иногда, а иногда и без матраца, а простынь у нас никогда не было, а едим мы хорошо: всегда хлеб свежий, и треска, и картошка с грибами, груздь и рыжик в основном, а уроки я делаю тоже за этим столом, и сестра за этим столом делает уроки и меньшой брат Вася, и я им помогаю делать уроки, и бабушке нравится, когда я помогаю им, а отец всегда говорит одно и то же: «Вчись, Ванька, все равно дураком помрешь», нет, сейчас отец этого не скажет, присматривается, не отошел еще после вчерашнего...»

Я изредка бросаю взгляд на Петю: он силится не икнуть, что-то жестом пытается выразить — и как траву он косил, и как дров навез, и как хариуса поймал,— и руки его отмеривают, какой был хариус и какой рыбный пирог получился. А Ваня смотрит на меня, будто просит: не судите моего отца, пожалейте моего отца, и бабушку пожалейте, и мамку пожалейте...

А во мне вдруг всплеснулось нечто и так захотелось приобщиться к Ваниной совестливости, слиться с нею, сказать что-то хорошее Ване. А из меня лезет какая-то

препротивная болтливость, и не могу я остановиться, потому что эта болтливость сильнее того крохотного чувства, которое затаилось где-то в глубине моей нешкольной души, я говорю о том, как Ваня учится говорить красиво, и еще какую-то ерунду о том, что северный говор очень в чем-то похож на украинский, потому что северные слова «напився», «найився» и «робишь» звучат как украинизмы.

И Ириней мне поддакивает, а я за этим столом кажусь себе таким «интеллигентным», ну прямо-таки очаг культуры, потому и не могу остановиться, потому и все замолкают, когда я говорю. И мне нравится это мое проповедничество магическое.

Ваня Золотых обладал удивительным свойством, если можно так сказать, молчаливого говорения. Он концентрировал в себе какое-то особое совестливое чувство, и это чувство — тогда я не понимал этого — намного нравственнее моего проповедничества. Наверное, прав был Толстой, когда призывал к тому, что многому можно научиться у крестьянских детей. Могу признаться: мое педагогическое мастерство только выросло оттого, что я стал учитывать достоинства и преимущества школьников, стал откровенно учиться у них.

...К обеду солнце разошлось, и снег растопило, и переиначился он в крупные стеклянные зерна (наступишь — оседает до самой земли), а местами, там, где проталины, красная брусника выглядывает. Ваня срывает бруснику, угощает меня:

— Вкусная, мороженая, а сейчас и клюкву найдем.

Красные крохотные рубины рассыпаны на розовой зернистой тяжести, холодная влага спорит с жарким солнечным теплом, и дышит земля свежестью, приятной и бесконечно живой. Только вот идти стало совсем невозможно. Слово «наст» звучит как пропуск в жизнь: «Да, нет наста!», «Переждать бы здесь до наста!». А наст будет, только когда морозом прихватит корку и застынет эта простоквашно-зернистая синева.

Я выбиваюсь из сил. И мне стыдно перед Ваней. Он смотрит на меня глазами сочувствующими. Ни тени улыбки, ни тени превосходства на его лице. А у меня и ноги натертыми оказались, и спина мокрая, и шарф и свитер я уже забросил в рюкзак, и чертов патронташ готов выбросить, и ружье фугануть в кусты. А Ваня все в том же сереньком пиджачке, все в той же салатненькой рубашечке в синюю крапинку, с такими же алыми акварелями на щеках: «Дайте мне ружье, дайте мне ружье, дайте мне ружье». И предлагает мне лыжи свои широченные — две выскобленные доски с чуть загнутыми концами, с двумя широкими кожаными креплениями, с бантиками из кожаных шнурков посредине. И я соглашаюсь «попробовать», и мне становится легче и все равно стыдно. Стыдно и за свою слабость, и за то, что Баню там, на уроках, обижал, и за мою болтливость всезнающую стыдно. И Ваня мне прощает все, ибо видит в глазах мою стыдливость. И он потихоньку вдруг расправляется, будто бы успокаивает: вот сейчас еще немножечко, а там легче будет.

И Ириней тоже весь красный, молчит, потому что, наверное, злится на меня, говорили же, что наста не будет, так нет же... И он устал, не разговаривает: бережет силы. Но иногда приостанавливается, поджидает меня, показывает на Ваню:

— А ему хоть бы хны.

А на следующий день я еле волоку в школу свои негнущиеся ноги, встречаю Ваню, а он от меня отходит в сторонку, потому что он снова не просто Ваня, а ученик Золотых, и я уже влез в маску своего учительского превосходства, и глаз прежних моих не видно, однако я все же снисхожу и говорю ему:

— Сегодня кружок будет, Золотых.

И на том кружке снова понесло меня в длинные самозабвенные периоды с именами и проблемами: эстетическое отношение искусства к действительности, и Шеллинг, и Лессинг, и Белинский, и Чернышевский. Я размахиваю этими словами как оглоблями, и все ниже опускаются детские головы: непонятно, о чем говорит этот приезжий. И Ваня сидит снова на первой парте, поглаживает ладонью свою руку, смотрит в сторонку, а я чувствую, что погас свет в детских глазенках, а сам переключиться на другую волну не могу, и голос мой, украшенный изощренными фиоритурами, бьется между созданными мной завышенными ограничениями, стынет в отчужденной эрудиции,

так некстати обнаруженной в этом щедро-доверчивом детском обществе. И я устраиваю перерыв, и все разбегаются, и остаются только Ваня Золотых да Зина Шугаева.

И снова Ваня сидит на первой парте, точно ничего не произошло. Ждет моего рассказа, а как я могу рассказывать, когда все разбежались: значит, никому не интересно было. И стыд захлестывает меня, и мне еще горше оттого, что все это мое состояние понятно Ване Золотых, и мне хочется остаться одному, и я говорю:

— Тебя ребята ждут.

— Нет, они давно ушли.

— А как же ты сам пойдешь домой?

— А я часто сам хожу.

— Не боишься?

— Нет.

Я вижу, как Ваня исчезает в лесной черноте: коротенькая фуфаечка, портфельчик старенький на веревочке плотно прижат к спине; и Зина уходит с поджидавшими ее подружками, а я остаюсь один со своими педагогическими поражениями. И Парфенов подходит ко мне. Спрашивает:

— Как первое занятие?

Одна из центральных проблем сегодняшней школы, в частности преподавания литературы,— преодоление вульгаризации. Школа не имеет права отказываться от классического наследия или быть субъективно-конъюнктурной в трактовке прошлого. Скажем, Толстой и Достоевский — равнозначные величины и о них надо говорить в школе как о гениях нашей отечественной культуры. Патриотизм можно и нужно воспитывать не только на гражданской лирике Некрасова, но и на прекрасных стихах Фета, Тютчева, Майкова. И снова на первом месте отношение учителя к жизни, к родной природе, к деревне, городу, к детям, к их папам и мамам, к сложностям повседневной драматичности, к коллективу педагогов, к программам, ко всему, что есть в нашем многомерном общении...

На следующий день Парфенов попросился ко мне на урок. Конечно же, он директор, мог и не просить разрешения. Впрочем, это не совсем так, поскольку некоторая вольность была: Парфенов расширял максимально рамки свободы, но обязательно в пределах той зарешеченности, какую он считал необходимой. Я мог сказать Парфенову: «Нет, приходите не завтра, а через две недели. Я еще с духом не собрался». Собственно, он сам за меня сформулировал такое возражение. Но я отклонил подобную возможность и, напротив, сказал:

— Рад буду. Приходите.

Некоторые нелады с программой у меня сразу обозначились. Раскололось на части мое знание. Оно смешалось с незнанием. Профессиональное, так называемое методическое, вступило в спор с моими пристрастиями.

— Главное, чтобы по формальному признаку все сошлось с государственной программой,— поучал меня завуч Фаик, размахивая волосатыми руками.

Посаженный в мое нутро цензор стал вдруг сильнее меня. Он корректировал мои действия. Он шел против моей воли, против моих вкусов. Он не просто требовал выполнения программы, он еще настаивал на том, чтобы я искренне предавал себя прежнего. Он диктовал готовые формулировки, ненавистные фразы вытаскивал, над которыми я раньше потешался, а теперь должен был произносить на уроках. Этот цензор добивался, чтобы я убежденно и страстно говорил: Толстой не понимал, Достоевский оклеветал, а Чернышевский все увидел, во все проник, общаясь с проницательным читателем, обманул пресловутое самодержавие, а этот крепостник Фет, когда к топору надо было звать Русь, писал:

Какая грусть! Конец аллеи
Опять с утра исчез в пыли,
Опять серебряные змеи
Через сугробы поползли...
Где бури пролетают мимо,
Где дума страстная чиста —
И посвященным только зримо
Цветет весна и красота.

И Зина Шугаева (будет, конечно, меня слегка коробить, но я смолчу: все выверено с программой) захлебнется горячей остротой, глаза ее жесткой уверенностью нальются, когда она наотмашь как свое собственное убеждение подаст:

— Любить — это значит ненавидеть! Это значит — уничтожать! А этого не могли понять представители чистого искусства.

И попытается еще раз дополнить Коля Лекарев:

— Они отлично понимали. Они прикрывались, потому что на службе у самодержавия находились, о чем свидетельствует...

И этот ладный сговор будет принят Парфеновым, который чуть-чуть улыбнется, учует его честное ухо некоторую передержку, но, в общем-то, одобрительно учует, потому как все выверено. И я ловлю ласковый глаз Парфенова.

— Так-так,— говорю я.— Ну кто еще добавит?

Я совершенно точно вижу созревшее решение выступить у Аллы Дочерняевой, но мне не очень-то хочется ей слово давать, поскольку знает мое сердце: не в ту степь пойдет она, всегда вразрез с Фаиковой программностью у нее получается.

И Парфенов видит, что конфликтность зреет в классе, поскольку взглядом своим пылающей щеки Аллы Дочерняевой коснулся, притронулся, и мигом его вихры приподнялись, даже тетрадку закрыл на минуту: что же дальше-то?

Алла — антипод класса, страдающая от своего антиподства. Она встанет сейчас и скажет то, что противостоит программе, и мне, и Зиночке Шугаевой, комсоргу школы.

— Мы любим Пушкина и Некрасова,— сказала Алла,— за то, что они воспели родную природу. Фет продолжил лучшие пушкинские традиции. Его искусство, как и искусство Тютчева, которого очень любил Ленин, прекрасно. Надо отметить, что в стихах Фета тоже мы ощущаем протесты: так, в этом же стихотворении «Какая грусть!» Фет пишет далее:

На небе ни клочка лазури,
В степи все гладко, все бело,
Один лишь ворон против бури
Крылами машет тяжело.

Не все чистое искусство антинародно...

Я застыл у учительского пульта. Дети настороженно следят за мной: что же будет? Алла Дочерняева так смело выступила против учителя. Парфенов приподнял голову: как педагог выйдет из этого положения? Как же, похвалили крепостника Фета! Нашли в нем зерно положительное! Алла с достоинством садится — этот жест у нее, когда, поправляя юбку, она садится, чтобы не измять, и чтобы фартук ровненько лег на коленки, и чтобы платье прямехонько откинулось, и сдует со лба она при этом прядь вьющихся волос, этак небрежно-стандартно сдует, и ресницы опустит вначале (на бледно-белом, будто никогда не знающем солнца лице — все дни за книжками проводит — черные, упругие, будто приклеенные ресницы, совсем цвета влажно-черной синевы), а подымет ресницы — глаза коричневые с зеленью, пытливые: что там еще? Вот так села она и ждет. И ее напряжение по классу волной прошло и стукнулось упруго о мою школьную душу.

Возможно, не будь бы здесь Парфенова, все бы по-другому пошло. Ведь в классе знают-то ребята, как я отношусь к Фету и Тютчеву, мало ли что в учебнике там написано, и знают, что я всегда поощряю всякие споры по разным вопросам, и еще знают, что в постоянном конфликте находятся Зина и Алла, и что полкласса за Зиной идет, а только меньшая часть за ее соперницей. А Парфенов и не то чтобы мне мешает, и не то чтобы я его боюсь, а вот против моей воли мой внутренний цензор очень уж настаивает, чтобы все согласно с программой шло, и все меня в этом поучали, и Клавдия Ивановна поучала, и Парфенов поучал, и Марья Ивановна поучала, что, конечно же, можно и некоторые вольности допускать, когда ты один на один с классом, что отступления от программы допустимы, а вот при постороннем глазе, при инспекторе, при присутствующем на уроке, тут уж надо чтобы все совпадало полностью, потому как все на карандаш берется и мало ли как там дальше все пойдет. И еще я знаю, как очень быстро и как очень четко сделать самую высокую активность. И я это делаю:

— Что ж, Дочерняева молодец. Она прочла дополнительную литературу. И то, что она обратила внимание на развитие пушкинских традиций, это прекрасно.

Итак, я воздал должное знанию. И теперь мне оставалось решить конфликт, так сказать, идеологический:

— Представьте себе такую ситуацию: деревня русская прошлого века, избы чер-

ные, в избе пусто, дети голодные кричат, их отец пьяный на полу валяется, а рядом, конечно же, природа прекрасная — лес, небо, река, листочки клейкие, весна в полном разгаре. Представьте себе поэта, безразличного к этой голодной семье, в поэтическом экстазе любующегося и описывающего красоту природы. И представьте себе другого поэта, поэта-гражданина, который непременно заступится за униженных и оскорбленных. Кому мы отдадим предпочтение? Кто скажет?

Ребята медленно поднимают руки. Говорят: «Конечно, поэту-гражданину».

— А ты как думаешь, Золотых?

Ваня молчит. Я думаю, ему очень нравится Алла Дочерняева, красивая и недоступная.

— Так что же, Золотых?

— Не знаю,— говорит он.

— Как же ты не знаешь, Ваня Золотых? — говорю я.

А другие тянут руки, и на кончиках пальцев этих рук будто транспарантами: поэту-гражданину!

— Так как же, Золотых? — повторяю я, будто заело мою бездумную грамзапись.

— Природа тоже красивая,— говорит Ваня тихо.

— Так что важнее, природа или человек? — ввинчиваю я в грамзапись новую строчку.

Ваня молчит. А класс снова лесом рук (поразительная активность — знаю, эта штука ценится превыше всего, то будет отмечено при разборе урока, всегда и у всех отмечается),— так вот класс лесом рук вышвыривает новый транспарант: человек, а не природа!

И я ухожу, совсем ухожу от эстетических начал, от поэзии ухожу, ухожу в область сугубо программную, которая в моих устах сейчас звучит как высшая поэзия, впрочем, я так и думал, когда говорил:

— Представьте себе страну, где нет прав, нет свободы, нет никаких гарантий защищенности, где остроги и тюрьмы переполнены, где, как писал Пушкин, «в наш гнусный век на всех стихиях человек — тиран, предатель или узник». Так вот, вопрос однозначно стоит: что должно стать содержанием поэзии? Поэтический идиотизм — стихи о трелях соловья, как выразился Чернышевский, или же судьба народа...— И я заканчиваю раздвоение класса и обе половинки свожу в одну цельность. И это будет высоко оценено потом, ибо я уже научился и распознал, что почем в этих стенах, все расценки знаю, и самые завышенные знаю. И я повышаю курс этих расценок и обрастаю новыми расценками, новыми, ранее неведомыми для меня критериями. И шаблон, как снежный ком, катится по моим замшелым внутренностям, разрастается, утрамбовывает, выравнивает, соскабливает все лишнее.

Потом, много позднее, я назову для себя эту психологию моего поведения психологией алиби. Эта психология требует на всякий случай выставления оправдательных аргументов, на всякий случай...

И потом Парфенов мне должен был сказать: «С Дочерняевой вы правильно поступили, а вот Золотых надо было еще разъяснить...» Во всяком случае, я именно такого замечания и ждал при разборе урока. Но Парфенов в этот пасмурный февральский день пятьдесят второго года ничего не сказал при разборе урока. Он только заметил, что я домашнее задание дал после урока.

Может быть, все было не точно так. Я даже ловлю себя на том, что склонен отойти от достоверности факта, чтобы передать мое состояние глухоты. И, замечу, меньше всего меня волнует в данном случае строгая достоверность факта, меня интересуют психологические мотивы былого. Меня интересует процесс образования глухоты, процесс молчания. Того молчания, когда есть тайный подтекст человеческого «я», который сам по себе живет, развивается, опираясь на свои внутренние законы и свою внутреннюю логику.

Конечно же, я и о Тютчеве и о Достоевском рассказывал детям, потому что любил их, потому что жил ими, и то, что дети меня будто подстегивали иной раз к самораскрытию, оценивалось мной как величайший результат моей работы.

Конечно же, все мои рассказы сопровождались необходимыми оговорками, продиктованными логикой глухоты, логикой атрофии некоторых моих гражданских центров. Дело вовсе не в этом сейчас. Дело в другом: в психологическом нюансе раздвоения. Одна часть моей души как-то жила, билась, а другая, поощряемая кодом программ, вложенным в меня всеми моими новыми ролевыми предписаниями, отрекалась от

всего самоценного в мысли. Я отсекал все ненужное, а на самом деле это ненужное и было самым главным, ибо составляло тайный пласт самых важных человеческих побуждений других, ученических «я».

Оставаясь наедине с собой, что так редко было на новом месте (дома занятия с Виктором, на охоте с Иринеем, в школе — водоворот),— и все же, оставаясь в той редкости наедине, я успевал прихватывать из тайных своих кладезей, чуточку из этого сокровенного брал и прикладывал, примеряя к той же Алле, которая вдруг перед сном в такой чистоте являлась мне, что боязно было пошевельнуться, чтобы не спугнуть видение. И это видение было со мной всегда, потому как оно было осколком моей юности, потому как в ней праведность сидела, острая чистая мысль билась. Она была своего рода колоколом моей школьной души: я знал, что стоит мне солгать, а того требовала Фаикова программа, Фаикова метода, вся Фаикова черная суть, как Алла выразит справедливое презрение.

Школа 80-х годов. По-новому решаются проблемы гражданского воспитания. Изменилась жизнь в стране. Изменилась она и в Солинге: здесь и новая школа, и новые многоэтажные блочные дома, и кинотеатр, и стадион, и бассейн. Создаются благоприятные условия для всестороннего, гармонического развития личности.

Встретился я и с Парфеновым. Он обо всем мне охотно рассказывал, а когда я спрашивал об Иринее, молчал.

— Так как же он умер? — допытывался я.

— Замерз он,— тихо сказал Парфенов и снова замолчал.

— Как замерз? — снова спрашивал я.

— Пил он много в последние годы. Жена от него ушла. Дети ушли. Сам жил в доме. Я ему говорил, чтобы он не пил, а он: «Вы не знаете, что у меня на душе...»

И Парфенов снова замолчал.

— Ну а последние его дни, минуты?

— Вечером Иринея видели пьяным. Потом, говорят, он пошел домой и метрах в десяти от дома остановился, снял ватник, шапку, валенки, потом ватник расстелил, в голову шапку и шарф положил, валенки аккуратно поставил у ног и заснул навсегда. Говорят, в такие минуты человека в жар бросает, тепло ему делается...

Теперь мы молчим оба. Я пытаюсь представить жизнь оставшейся семьи Иринея: сыновья работают, их дети ходят в новую школу, посещают художественную и музыкальную студии... и, должно быть, думаю я, носят тяжесть в душе.

О чем размышляет Парфенов, я не знаю, но ему, я чувствую, неприятен разговор об Иринее. Он убежден, наверное, в том, что смерть Иринея никакого отношения к воспитанию не имеет. От одной мысли, что он, может быть, так думает, меня бросает в дрожь.

Изумительный человек Парфенов, мелькает у меня в голове, а все же всю жизнь какие-то главные вопросы загонял внутрь, точно нет их, этих главных вопросов, в жизни, точно боится он этого самого основного.

Сплошь и рядом я вижу у педагогов: на первом месте проблемы второго плана (и как задавать задания на дом, и как физику преподавать, и сколько минут урок должен длиться, и как соединять физкультуру с музыкой да с русским языком), а вот главные — смысл жизни и народные начала в воспитании, самосознание человека и гармоническое становление, способы разрешения ведущих противоречий — все это мы нередко гоним от себя, дескать, это нерешаемо или само собой разумеющееся. А это не так. Если цель воспитания превращается, говоря словами Макаренко, «в категорию почти забытую», то и поиск средств будет неверным.

Гармоническое развитие не есть, как это часто сейчас доказывается в педагогике, некое суммирование художественного, музыкального, технического и другого воспитания — это прежде всего внутренний покой и внутренняя цельность, какие я ощущал, может быть, и в Викторе, и в Иринее, и в Ване Золотых, и у его матери Анастасии, и у его бабушки, и в Анечке Клейменовой, и в ее отце, и во многих других, кто поражал меня щедрой добротой и кому я обязан своим духовным развитием.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Д. ТЕВЕКЕЛЯН

★

СОТРИ СЛУЧАЙНЫЕ ЧЕРТЫ *

Обратившись к характеру нашего делового современника, литература все чаще не довольствуется восторгами от его напористости и решимости, практичности. Она все более углубляется в цели этой напористости и решимости, отчетливее видит сознательный нравственный путь своего героя, рационализм представляется все более однобоким проявлением активной жизненной позиции. Литература начала свой зрелый поиск, не фиксируя научные и технические достижения, но открывая мир своего героя, прямо причастного к этим достижениям, его соотнесенность с другими людьми, его ответственность — через свое дело — за жизнь на земле. За планету людей, как писал Сент-Экзюпери. К этой мысли повернута сейчас вся существенная наша литература независимо от жанров и стилевых манер авторов. В том числе и бытовая литература.

Когда лет восемь назад, задолго до нынешних дискуссий о бытовой литературе, мне довелось работать над статьей «О некоторых возможностях бытовой литературы», приходилось отстаивать сам принцип подхода к жизни через детальную обрисовку будней, психологии, тесно слитой с бытом, впрямую зависящей от него. Теперь нет необходимости защищать этот принцип, все, кажется, согласны в том, что изображение героя в быту — непременное качество реалистического письма, и если это изображение не самоцельно, то не возникает вовсе мысль о бездуховном бытовизме, заземленности, унылом скоплении подробностей и прочем.

В связи с этим еще раз хочется напомнить читателю «Планету людей» Экзюпери, это поле поразительной силы духовного напряжения. Начинается повествование с бытовых зарисовок, картинок — старенький автобус, дождливая дорога на аэродром, к началу удивительной жизни — в первый самостоятельный полет. В автобусе идет обычный разговор, дела житейские, мелочные заботы, беседы о болезнях и смертях, скука, унылые нескончаемые подробности. Подробности эти накапливаются, сгущаются и вдруг выливаются в авторский страстный монолог: «Старый чиновник, сосед мой по автобусу, никто никогда не помог тебе спастись бегством, и не твоя в том вина. Ты построил свой тихий мирок, замуровал наглухо все выходы к свету, как делают термиты. Ты свернулся клубком, укрылся в своем обывательском благополучии, в косных привычках, в затхлом провинциальном укладе; ты воздвиг этот убогий оплот и спрятался от ветра, от морского прибоя и звезд. Ты не желаешь утруждать себя великими задачами, тебе и так немалого труда стоило забыть, что ты — человек. Нет, ты не житель планеты, несущейся в пространстве, ты не задаешься вопросами, на которые нет ответа: ты просто-напросто обыватель города Тулузы. Никто вовремя не схватил тебя и не удержал, а теперь уже слишком поздно. Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, или астронома, который, быть может, жил в тебе когда-то».

Только тот — житель планеты людей, кто вырвался из замкнутого обывательского мирка.

Из быта — в бытие.

Помните рассказанную в «Планете людей» историю выкупленного у арабов раба Барка? Ему дали денег и позволили идти на все четыре стороны. Но он чувствовал себя по-прежнему рабом, не мог ощутить себя человеком — ведь он никому не был нужен. «Он был свободен, да — слишком свободен, слишком легко он ходил по земле. Ему не хватало груза человеческих от-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 5 с. г.

ношений, от которого тяжелеет поступь, не хватало слез, прощаний, упреков, радостей — всего, что человек лелеет или обрывает каждым своим движением, несчетных уз, что связуют каждого с другими людьми и придают ему весомость».

Связывает с другими людьми, заставляет нести ответственность за них, за себя, за планету людей — этим бытие отличается от быта. В «Планете людей» любой обычный бытовой эпизод воспринимается как развернутая метафора, ведет читателя к пониманию его, человека, предназначения на земле, делает его частью некой общности, объединяет людей. Потому что «хоть человеческая жизнь и дороже всего, но мы всегда поступаем так, словно в мире существует нечто еще более ценное, чем человеческая жизнь...». Эти слова летчика Жана Ривьера из повести «Ночной полет», пожалуй, наиболее четко характеризуют то, чем бытие отличается от быта.

Маленький совсем свежий пример.

Почти одновременно летом восемьдесят первого года в двух журналах — «Нева» и «Юность» — были напечатаны два произведения одного автора, Семена Ласкина,— повесть «Евдокия Леонтьевна» и рассказ «Гороховый суп с корейкой».

И в повести и в рассказе — дела житейские.

Молоденькая девушка, приехавшая в довоенные еще времена из деревни в город искать счастья, прилепилась сердцем к семье, куда поступила домработницей, отказалась ради осиротевших малышей и их ставшего на фронте инвалидом отца от своей, отдельной от них жизни, работы, любви, и эта добровольная жертва, бессчетные дни и часы искреннего материнства позволяют героине ощутить полноту прожитой жизни. Это мы узнаем из самой первой главы повести. Все же остальное — неустроенные судьбы дочери и сына, подруги Клавдии и Сони, дочери другой подруги, бесконечное томление и суета вокруг единственной проблемы: что лучше — доброта, человечность, совестливость (и человек остается с искалеченной судьбой, потому что «с добротой человека легче съесть, он мягонький») или эгоистическая сосредоточенность на себе («...чужого не надо, но и своего не отдам»),— все это решено первой главой, судьбой героини. Остальные утомительные, подробнейшие, однообразные описания любовей и нелюбовей, свиданий состоявшихся и несостоявшихся, жилищного устройства той или иной героини — все это не уклад жизни, а лишь подробности ее элементарно-бытовых условий. В повести есть и точность отдельных подробностей, и верность разнообразных житейских ситуаций, то есть внешнее жизнеподобие, но вся эта уныло и тускло освещенная сфера домашнего быта, распадающегося на картинки,— еще, еще одна (вот Галина обсуждает с соседкой брачные планы этой соседки, а вот томится от неразделенной любви сорокалетняя Соня и готовит свою комнату для свидания Галины с мужем Таисьи...) и т. д. и т. п., картинки накапливаются, потому что автор хочет рассказать «о незащищенности интеллигентного человека перед хамством... О любви... и безнравственности», а, как мы знаем, говорить о странностях и капризах любви можно бесконечно, только картинки эти так и не складываются в картину современной жизни. Иллюстрации отдельно, бытие отдельно.

В небольшом рассказе «Гороховый суп с корейкой» автор тоже не скупится на подробности бытового устройства своего героя хирурга Евгения Даниловича: работать ему приходится на две ставки (внезапно семья прибавилась, девятнадцатилетний сын женился на девочке старше себя, без специальности, да еще с ребенком), и снова оказались в коммуналке — две семьи вместе, с дежурства приходит измочаленный хозяин — отдохнуть негде... Но все эти подробности не самоцельны. Они — детали к характеристике человека скромного, живущего по законам высокой нравственности, способного забыть, но не простить низость. И в этом рассказе речь идет о незащищенности интеллигентного человека перед хамством, но незащищенность эта такого свойства, что на ней — честности, открытости, совестливости, готовности помочь — держится мир. В этом рассказе есть не только проблематика, но атмосфера современной жизни, через быт показано бытие нашего современника.

Настоятельная потребность рассказать будничную жизнь человека, рассказать о сложностях этой жизни так же подробно и серьезно, как это привыкло делать наше искусство, с особой чуткостью отзываясь на все значительное, что происходило в общественной жизни,— не каприз, не мода. Как писал в своих дневниках Л. Н. Толстой, «нужно знание всех подробностей жизни, нужно искусство — дар художественности, нужна любовь. Кроме того, при величайшем искусстве нужно много и много написать, чтобы вполне мы поняли одного человека».

Может быть, из этой настоятельной потребности и явились произведения, в центре которых житейские сложности нашей

будничной личной жизни, где эпоха показана через личное время человека — его, говоря словами Чехова, субъективную эпопею, а автор нередко словно бы самоустраняется от оценок, переложив всю ответственность на героев. Один из выразительнейших примеров такого рода литературы — рассказ В. Распутина «Уроки французского».

Мы условно называем эти произведения бытовой литературой — в лучших из них переосмыслены многие непреложные законы привычно-бытовой беллетристики. Изменилось само понятие личной жизни — естественно, что для истинного художника ее изображение неизбежно связывается с обобщениями общественного, социального характера, для которых самая обыкновенная проза житейского быта тоже, оказывается, может служить материалом. Такая литература нащупывает все большие возможности, имеет она и свои несомненные слабости, но ее распространение и интерес к ней читателя не случайны. Разумеется, манерой бытовой беллетристики и в наши дни иные литераторы прикрывают свою неспособность подняться над бытописательством, почувствовать современность в ее развитии, но не о них речь. Скомпрометировать можно что угодно.

2.

Вышел на экран фильм «Москва слезам не верит». Народ валом валит. Специалисты недоумевают. Неужели дело в пресловутом ретро — хорошей памяти сценариста и режиссера (В. Черных, В. Меньшов)? Сколько подробностей быта 50-х годов нам показали, сколько популярных мелодий напомнили! Может, нынешние сорока-пятидесятилетние зрители умиляются, вспоминая молодость, самих себя тогдашних — узнаваемость персонажей не оставляет сомнения, уж как знакомы нам эти три девушки, начинающие с нуля свои поиски счастья. Но ведь были и другие фильмы, пьесы, романы, и в них герои казались не менее знакомы и быт был изображен обстоятельно и точно. А успеха не было.

Или причина успеха — твердая уверенность создателей фильма, что, будь герои архисовременными людьми, преодолей они вместе с нашим временем земное притяжение, вырвись в космос, овладей сложнейшей технологией, их счастье, как и во все эпохи, зависит от древней области человеческих чувств? И главная героиня, юная работница, оскорбленная в первом своем чувстве, униженная, предоставленная себе самой, вызывает зрительские симпатии не тем, что добродетель ее чудесным образом вознаграждается. Ничуть. Теперешняя золушка сама, недосыпая, недоедая, оставив на комендантшу общежития маленькую дочь, учится, работает, неукоснительно движется к благополучию (благополучие показано с купеческой широтой — роскошная квартира, машина, рабочий кабинет с секретаршей, селектором и проч.), однако современной этой женщине, как и ее бабушкам и прабабушкам, отнюдь не получившим высшего и какого бы то ни было другого образования, по-прежнему жизнь не в жизнь, если нет рядом любимого человека. Не любовника (этот вариант нам тоже показывают на экране) — мужа, опоры в семье, с его авторитетом моральной силы, твердости характера.

Вот оно что. Оказывается, фильм угадал тоску современного зрителя о стабильных отношениях, тоску по прочной семье. Она, эта семья, строится на иной, чем прежде, материальной основе, в ней два равноценных работника, но союз этих двоих — именно семья, где суперсовременная женщина, как и ее предки, находит нравственную опору в мужчине. И на экране героиня не борется закусив удила за лидерство (как итог эмансипации), а, не стесняясь людей, обливается слезами в ужасе, что рухнет этот союз, что не удастся ей побыть женщиной, почувствовать себя под опекой любящего человека.

Вот такую любопытную бытовую историю показали нам в кино. И не важно, что в фильме много очевидных сюжетных и психологических натяжек, в главном фильм судьбами простеньких своих героинь обратился к сохраняемой из поколения в поколение вере в семью, в стабильность и надежность расстановки сил в современной семье.

А между тем представление о семье за последние четверть века существенно изменилось не только на Западе, но и у нас.

На Западе сексуальная революция — эта жалкая пародия на идею свободы и раскрепощения — нанесла семье непоправимый удар. Вспомните роман Дж. Апдайка «Давай поженимся» и киноповесть И. Бергмана «Сцены из супружеской жизни» — в обоих этих произведениях недавние любовники пытаются найти убежище и стабильность отношений в новом браке, однако ни обладание, ни новый брак убежища этого не дают, а независимая и эмансипированная женщина (интеллектуалка Марианна у Бергмана; мечтающая о покое, о торжестве слепой веры в незыблемость семейного оча-

га Руфь у Апдайка) вынуждена принять на себя бремя ответственности за семью и не умеет справиться с этой трудной ношей. Впервые в мировой литературе жены обсуждают с мужьями их любовные связи, помогают советами, выслушивают излияния. Равноправие оборачивается поражением, женщина по-мужски меняет партнеров, свободная в выборе,— ведь и в сексе она равноправна. Мы живем на закате старой морали, словно бы говорят авторы современных романов, она еще способна мучить нас, но уже неспособна поддерживать. За брак хватаются изо всех сил: вокруг полоса отчуждения, страха, тотального одиночества. Брак расшатывают изо всех сил — соблазнов много и все они легкодоступны. Доступность освящена нынешним состоянием морали.

В нашей литературе четверть века назад или еще немного раньше только маститые поэты изредка позволяли себе обращаться к интимной лирике, которую не стесняясь называли в критике постельной. В старших классах раздельной — мужской и женской — школы, если позволяло время, изучалась, например, «любовная лирика Маяковского», а Есенин стыдливо замалчивался, и учителя только надеялись втайне, что их питомцы слышали о таких поэтах, как Ахматова или Цветаева.

Общественное самосознание, возрожденное и укрепившееся человеческое достоинство вызвали, естественно, усиленный интерес к внутреннему миру героя, и наша серьезная бытовая литература снова обратилась к психологии, к области чувств. В начале 70-х годов чуть не каждая третья книга была обращена к отношениям семьи, любви, вспомните: «Южноамериканский вариант» С. Залыгина, «Сладкая женщина» И. Велембовской, «Дождь в чужом городе» Д. Гранина...

Однако по старинке писать о современном союзе мужчины и женщины уже невозможно: изменились оба, изменились духовно, нравственно, изменились и социально. Революция, первые пятилетки, затем война сделали женщину (жену, мать) полноценным работником, ей открылись сферы производства, интеллектуального труда, общественной деятельности. И процесс этот оказался необратим.

К процессу этому наша литература присматривалась давно. Какой бедой, кровавой раной далось крушение иллюзий арбузовской Тане, с какой болью оборвалось прежнее представление о женщине — украшении дома, игрушке! Вера Панова уже в «Кружилихе» пытается нащупать грани этого социального сдвига, но жизненная его основа представляется писательнице зыбкой, умозрительной. Идет разведка, только нащупываются реальные жизненные связи, только взвешиваются возможные приобретения и потери. Панова понимала, что рождаются новые отношения в браке, равенство и взаимное уважение двух соединившихся миров кажутся ей нормой, но нормой будущего, пока же ее герои, как и она сама, живут, отчаянно держась за свои предрассудки.

Тридцать лет спустя С. Залыгин в своем «Южноамериканском варианте» попробовал представить на суд общества несколько вариантов жизни своей эмансипированной героини; Майя Ганина от повести к повести вынуждена стойко защищать от критики своих раскрепощенных женщин; в нарочито бытовом ключе рассказывает о жизни простеньких своих бабочек Ирина Велембовская, уповая на их исконно женское терпение и выносливость; губит, подобно смерчу, любое чувство волевая и целеустремленная героиня липатовской «Повести без названия, сюжета и конца...», для которой жажда лидерства — главное в человеческих отношениях... И социологи начали робко, несмело, но публиковать статьи о процессах, происходящих в сегодняшней семье, где экономический принцип перестал быть главенствующим, а ученые все решительнее объясняют, что нетрудно понять, почему женская эмансипация должна быть нетерпеливой, почему она не может быть иной, как нетрудно понять и то, что патриархальное мировосприятие, державшееся тысячелетия, не может исчезнуть за время жизни двух-трех поколений.

Когда в прошлом веке ощупью, неожиданно искусство пришло к характеру независимой, мыслящей, способной к самостоятельному действию женщины и прекрасные тургеневские барышни оказались рядом с тургеневской же Еленой, многие критики и читатели, не обнаруживая прообразов в реальной жизни, не поверили в достоверность художественного и социального открытия нового характера. Теперь наоборот — самостоятельная женщина, вышедшая из-под материальной опеки, женщина, в труде которой заинтересовано общество,— совершенная реальность, и наша литература делает одну за другой попытки исследовать этот тип, обнаружить его объективную ценность, понять внутреннее самочувствие такой героини.

Помните повесть А. Каштанова «Заводской район»? Героиня ее уже не мыслит жизни вне своей тяжелой, неженской рабо-

ты в литейном цехе; это не просто хороший, исполнительный работник, а деятельный человек с кругозором, со страстью, для Антонины Брагиной ее рабочие заботы — часть личной жизни, а возможное расставание с родным цехом она переживает куда болезненнее, чем уход из семьи мужа.

Мы с увлечением сопереживаем героине, нас радует еще одна социальная победа общества. Но пристально, неторопливо вглядываясь в собственно-личные победы и поражения героини, писатель вынужден констатировать: его Антонина глуха и нетактична в своей семейной жизни, она утратила вкус к извечным женским заботам. Даже тоски по любви не испытывает Антонина — в отличие, например, от залыгинской Ирины Викторовны с ее бесконечным томлением, исступленной жаждой любви. Обе они привыкли ощущать себя во всем вровень с мужчиной, они могут быть эрудитами, работниками, волевыми, энергичными, могут даже осознавать себя неполноценными без любви, но, инфантильные в области чувства, испытания любовью они не выдерживают.

Это серьезная забота сегодняшнего дня. Трудно только прославлять способность женщины к труду, творчеству, ее независимый, свободный ум, широту и смелость ее стремлений. Приходится все чаще задумываться над тем, что гуманность нашего непростого времени в большой степени зависит от умения женщины сохранить способность любви, сострадания, участия.

Пожалуй, С. Залыгин в своем «Южноамериканском варианте» первый в нашей литературе заговорил об этом серьезно, а по отношению к своей героине — иронично, даже зло. Его Ирина Викторовна, это дитя XX века, постоянно мечает о любви, ей так хочется быть женщиной и она так не умеет этого, настолько органично вошла в роль «хорошего парня»! Волевая, энергичная, она твердо верит, что все на свете «от существования» и, следовательно, все можно организовать, и волюнтаристски создает себе «любовь», еще не зная ее предмета. Просто под Новый год подумала, что хочет Большой Любви, а раз хочет, значит — вынь да положь, так и будет. А дальше, привыкнув чувствовать себя вровень с мужчиной, огляделась вокруг: «положила глаз» на наиболее привлекательного и перспективного кандидата, тоже по-мужски нашла материальную базу для своего романа — «жилплощадь тетушки Марины» — и, организовав таким образом себе «любовь», приготовилась вкушать ее блаженство, но возлюбленный, не выдержав ее волевого начала, сбежал.

Героиня Залыгина выступает не столько как конкретный разработанный характер, сколько как «обобщенный представитель» круга, группы интеллигентных женщин. Самые подробные описания «брикетно-спрессованного состояния» героини не в силах воссоздать художественно достоверный характер в его реальности и перспективе. В этом романе Залыгина очень ощутимо, говоря его же словами, отсутствие образа «одного-единственного человека», «той очевидности, ради которой, собственно, и пишутся все книги на свете». Однако в картине, нарисованной Залыгиным, живут тревога и правда. Тревога о судьбе современной женщины, ложно понявшей саму идею равенства с мужчиной. Его героиня, придумывая себе разнообразнейшие варианты собственной жизни, явно не выдерживает нагрузок XX века. Время играет с ней злую шутку, она оказывается несостоятельной по всем статьям: вспомогательная работница, лишенная творческого начала, плохая жена и мать, любовница, неспособная на чувство, женщина, лишенная нравственных принципов и просто человечности...

Правда нарисованной Залыгиным картины напоминала о необходимости воспитания чувств, культуры чувства, об уважении самого понятия женского в женщине.

Как во всяком споре, предмет его в романе Залыгина резко заострен, гиперболизирован. Однако серьезность и основательность тревоги писателя находят подтверждение и в книгах других писателей. Вспомним рассказ М. Ганиной «Золотое одиночество».

В дискуссии о книге Ганиной на страницах «Литературной газеты», в которой и мне довелось участвовать, критик Ю. Томашевский утверждал, что героини М. Ганиной — независимые, гордые, сильные и суровые люди, амазонки, а писательница превыше всего ставит их женскую свободу в выборе путей, занятий и поведения в жизни, и читательницы, похожие на ганинских героинь, могут спать спокойно, потому что, прочитав «Повесть о женщине», они уверятся, что живут правильно. Думается все же, что это утверждение далеко не соответствует сложному, часто мучительному, даже ущербному временами внутреннему миру ганинской женщины.

Агриппина, героиня рассказа «Золотое одиночество»,— талантливая актриса, владеющая счастливым даром оживить и очеловечить на сцене сухой рисунок роли современной деловой женщины. Секрет актрисы прост: «Она знала эту женщину через себя. Поглощенную работой, умную, сильную, неприятно-резкую, тщетно ждущую часа, ко-

гда же наконец можно будет стать незащищенной и нежной, потому что рядом кто-то есть».

Не слишком ли часто для амазонки посещает Агриппину состояние «внутреннего непокоя», «своя неудалость», «непоправимое» внутреннее «несогласие», «негармония»? Правда, она утешает себя: гармония вообще искусственна, ее «и не могло быть... в обычной, а не удобно придуманной для собственного обихода жизни», но утешения утешениями, а нервная неуверенность и раздражение свойственны Агриппине, увы, не только перед спектаклями.

Поглощенная только собой, с неослабным интересом анализирующая малейшие изменения своего настроения, героиня легко находит путь к зрительному залу — к «обобщенному» зрителю, но не умеет сблизиться с обычными людьми — товарищами по театру (она сменила семь театров и нигде не смогла стать своей), она одинока не по убеждению, не из-за действительно поглощающей ее профессии — из-за гипертрофированного интереса к себе. В ней есть воля, убежденность, она готова к риску, больше того, во многом она действительно может чувствовать себя правой перед товарищами — юность, пришедшаяся на войну, оставила в ее жизни и характере неизгладимый след, она умна и наблюдательна, но как лишает ее счастья человеческого общения гордыня, маска независимости, придуманный панцирь исключительности — «волчица не из нашей стаи...»! Презрев извечное женское желание жалеть и опекать кого-нибудь, она всю жизнь провела в заботах лишь о себе («...после нее не останется даже детей: сначала не хотела, потом уже не могла»), а теперь, в свои сорок два года, изводит себя, перебирая, словно камешки, все неудачи своей несложившейся жизни, понимая, что не состоялась как женщина, не полюбила никого, не согрела. Пожалуй, рассказ М. Ганиной подтверждает тревогу С. Залыгина.

Помните праматерь женской независимости, страстную, мятежную, полную желаний, справедливости, чуждую эгоизма «очарованную душу» — ролландовскую Аннету Ривьер? Вот пример личности, устремленной к гармонии, вышедшей из круга «мужчина и женщина», не самолюбиво — истинно независимой. Что же касается Агриппины, то ее просто не хватает ни на что, кроме работы, из-за эгоистической устремленности к себе самой она вызывает сочувствие и жалость своей неуверенностью, робостью перед самыми обычными проявлениями человеческого участия, наивной инфантильностью своей мечты: «...но будет еще жизнь начисто, настоящая, будет назначенный ей богом, вот такой нелюбезный, но муж — единственный, отец ее многих детей, и не лень, не тяжело ей рожать от него до старости лет...»

И в более поздних повестях М. Ганиной («Созвездие близнецов», «Услышь свой час») живут и действуют героини, наделенные известной долей независимости, но сломленные изматывающей позицией «круговой обороны». Их энергия, незаурядной силы напор обращены на защиту завоеванной позиции и на бесконечное внутреннее утверждение, обсуждение этой позиции. Героиня ее так изнурена своей активностью, что следующий шаг, такой простой, не приходит ей в голову. Ну хорошо, она умеет трудиться не хуже мужчины во многих областях жизни, может отвечать за себя, что же дальше? Долго ли можно существовать в напряжении постоянной борьбы, и, главное, так ли уж она вызвана необходимостью, эта позиция? Сумела ли эта «современная женщина» предложить миру качественно новую свою программу, не эгоистическую — гуманную? Ведь только это может оправдать самоутверждение героини, ее безоглядную, нередко неразборчивую в средствах напористость, то разрушение жизненных связей, которое она неизменно несет с собой...

Элизабет Матрай из повести «Три дороги к озеру» австрийской писательницы Ингеборг Бахман по духу — прямая родня ганинским женщинам. Научившаяся мужской профессии фоторепортера, она превзошла в ней многих коллег-мужчин. Храбрая, мобильная, страстная, она не пугается ни сумасшедшего напряжения своей работы, ни вечной спешки и суеты, когда все на бегу — и еда, и любовь, и едва распаковав чемоданы, нужно снова упаковывать их, а там, где приходится снимать, вовсе небезопасно, там нередко стреляют, как в Алжире, к примеру. Своей энергией, одержимостью, талантом Элизабет добилась того, что стала, как не без иронии сообщает писательница, «классной женщиной» — ибо теперь она носила только то, что было как бы создано для нее, и работала только над тем, что было интересно именно ей. Одна только беда: рискуя жизнью в Алжире или Суэце ради того, чтобы читатели ее газеты за ранним завтраком могли обсудить новости, она не задумывается над природой этих новостей. Характер войны (а Элизабет представляет французскую газету) в Алжире, причины чудовищных жертв, отраженных ее объективом,— все это спокойно проходит мимо

ее сознания. Женщину поглощает повседневность. Причем не только в работе. Мужчины (с одними Элизабет расстается легко, из-за других недолго страдает) — это тоже повседневный суетливый быт. На серьезное чувство — а оно дважды посещает героиню — у нее не хватает воображения. Да и на материнство сил не хватает — оно требует жертвенности, противостоит эгоистической жизни.

М. Ганина пишет своих женщин с тревогой, она любит их и потому чувствует, что рядом с приобретениями все очевиднее становятся и потери — в человечности, в извечной женственности (а ведь с нею связано и материнство). Ганинские героини, утвердившиеся в своем хозяйском чувстве, жадно постигают этот мир и себя в нем, они талантливы своим желанием найти себя, сделать свой выбор и одиноки не из нравственного аскетизма, а потому, что еще не справились со своим новым качеством, не нашли в нем себя полно и гармонично.

В постижении этого характера наша литература пока не сделала следующего шага. В этом убеждает и образ Нины Асташовой («Кафедра» И. Грековой). Перспективный ученый, умная, острая, честная и прямая, она безукоризненный работник, педагог, авторитетна среди коллег и студентов. Но взгляните на Асташову дома — хозяйство перепоручено старшему сыну-школьнику (а всего в семье — трое сыновей), мать выступает скорее в роли неуверенной в себе, охотно принимающей заботу и покровительство сестренки, все еще мечется в ожидании любви, но решительно отказывается от ответственности. Она готова быть возлюбленной (одной из многих) блестящего кинорежиссера, ей льстит, что он выделяет ее среди множества льнущих к нему женщин, она готова поднять его, пьяного, родит от него сына. Но Валентин после инфаркта, отяжелевший, разведшийся с женой, не приходящий любовник, а муж — такая перспектива пугает героиню. Ведь это означает общий быт, постоянную ответственность, вечные заботы...

Современная женщина пасует перед извечными женскими нагрузками. И старается, как в романе Г. Башкировой «Рай в шалаше», утвердиться в интеллектуальной сфере, доказать себе и другим право на самостоятельную напористость своего пути, пути женщины-интеллигентки в первом поколении («У Тани... в ее детстве и юности питательной культурной среды не существовало. Ей предстояло самой для себя стать Ломоносовым, выйти из своих Холмогор, плыть, переходить реки вброд, тонуть, выплывать, выдирать себя из пучин незнания... Какой огромный творческий потенциал должен быть заложен в человеке, чтобы не сгинуть в пути...»).

У автора этой книги приметливый журналистский взгляд, а также журналистская жадность на подробности. Приметы этого чуть приукрашенного быта должны подтвердить духовный взлет героини — от невежественной девочки до «основоположницы науки о том, чего не существует на самом деле, но без чего существовать невозможно». Подтверждают же они, эти подробности, стремление современной женщины соответствовать тому, что нынче в моде,— от профессии ультрамодерновой, туманно-философско-психологической, изучающей «фан-томы» («...то есть те ненаписанные тома человеческой фантазии, которые кажутся нам порой более реальными, чем сама реальность»,— разъясняет нам автор), от бесконечных, претендующих на афористичность разговоров, от стиля в одежде и косметике до взгляда на семью как на гавань, откуда удобно пускаться на поиски более престижного союза. Журналистская тяга к сенсации поразительно ощутима в этом романе, в нем все — «самое-самое»: от «прославленных» прекрасных синих глаз героини до супермена-мужа, творца НТР, ученого, выходца из потомственной интеллигентной семьи. Престижные околонаучные занятия героини и ее незаурядно широкая эрудиция легко помогают ей создать себе из работы нечто вроде салона, где беспечно восторгаются любыми предположениями, если высказаны они в мало-мальски парадоксальной форме, где строятся и рушатся репутации.

И на эту любующуюся собой активность, на это бесконечное самоутверждение тратится, оказывается, тот самый «огромный творческий потенциал», который заложен был в героине, чтобы не пропал в ней Ломоносов!

Но главные душевные затраты уходят у Тани Денисовой, как и у залыгинской Ирины Викторовны, на пестование своего чувства. Ее учитель — тоже светлая голова, как и возлюбленный Ирины Викторовны, тоже генератор идей — вот «предмет» Татьяны. Она много и страстно говорит и думает о консерватизме мышления, об употреблении готовых формул, говорит осуждающе. Но между мужчиной и женщиной иного общения, кроме любовного, не допускает. Духовная близость, взаимопонимание, сотрудничество — все звук пустой. Послушайте ее упреки несостоявшемуся возлюбленному: «...общий сборник, общий текст, вообще лю-

бая общая работа — это среда обитания, там мы друг с другом встречаемся, говорим, спорим, там наши переживания и страсти... И незаметно получается... зачем семья, если между двумя людьми произошла любовь, зачем общая постель и общие дети, зачем родственники жены, зачем ходить в прачечную и бегать за картошкой? Можно жить проще... разговаривать по телефону, готовить вместе публикации. Появляется все больше возможностей для подобного интимного общения мужчины и женщины, законные, в рабочем, так сказать, порядке, совместные радости, называй как угодно... Брак не обязателен, словом, рай в шалаше...»

Вот оно, соединение противоречий: с одной стороны, ученая дама тяготится своим Денисовым, хотя и не рвет с ним, желает свободы; с другой — не приемлет никаких иных отношений, кроме любовных, товарищество ей пока не по силам. И решительно не умеет выйти за пределы отношений мужчина — женщина... Нет, героиня Башкировой явно не дотягивает до ганинских женщин — тем доступно истинное, высшее напряжение, тоска по несовершенному, вечная надежда приблизить прекрасное.

Литература — память народа, из поколения в поколение передающая потомству извечные нравственные качества. Во все времена она обращалась к истокам женского национального характера, утверждала качества высокие и прекрасные — неустрашимость, душевную щедрость, совестливость, хлебосольство, терпение, верность,— прошедшие многовековую проверку. И в нынешней нашей литературе живут женские характеры, не растерявшие способность открытости людям, добру. Быть полезной людям, не взвешивать меры служения для таких женщин — душевная потребность, в этом их счастье, их гармония с миром. Вспомните Лизу Пряслину, героиню Ф. Абрамова, или Нюрку — городскую жительницу Н. Евдокимова. Эти характеры не поддаются нивелировке, несут в себе подлинное душевное здоровье, равновесие, постоянную потребность доверительного общения с людьми и ответственности за них. Именно на таких женщинах держится преемственность, связь поколений, они никогда — ни теперь, ни потом, в будущем — не смогут относиться к жизни по-другому, не окажутся в разладе с собой. Верные, надежные, они несут в нашу будничную суету неспешную гармонию цельной натуры. И все это — работая за пятерых.

Живет в повести Н. Евдокимова «Сказание о Нюрке — городской жительнице» старая черепаха, бесполезный в хозяйстве и вообще не нужный ни для чего зверь. «С нею нельзя было общаться, ожидая ответного чувства, она жила своей глухой, одинокой, беззвучной жизнью, как дремучий мох в холодном лесу или черный гриб на старом дереве». Эта старая черепаха, живущая по своим собственным, никого не признающим законам, вырастает в жуткий символ индивидуализма, равнодушного ко всему на свете, кроме себя. «Она была ни зла, ни добра, ни печальна, ни весела, ни тепла, ни холодна, ни умна, ни глупа — она была никакая». Все существо таких, как Лиза Пряслина или Нюрка, противостоит этому.

А вот напористая, держащая круговую оборону, самолюбивая, нервическая героиня многих произведений, о которых шла речь, пока только нащупывает свою многостороннюю связь с миром, свою роль — не только работника, но гармонической личности, вырвавшейся из круга эгоистических интересов. И трудно, с потерями, ощутимыми для общества, преодолевает некую дистрофию души, учится заново постигать простые истины.

Однако написать это преодоление оказалось куда сложнее, чем зафиксировать потери. В этом убеждает повесть А. Кима «Нефритовый пояс», героиня которой, мягкая, интеллигентная молодая женщина, лишь попав в больницу, переступает черту эгоистической отчужденности, учится понимать чужую боль.

Лучшие вещи Анатолия Кима в несколько экзотической форме тяготеют к философскому пониманию мира. В повести «Нефритовый пояс» автор выступает в несвойственной ему роли не художника, не исследователя, но проповедника, и проповедь его как раз и должна открыть глаза героине, вернуть ее из внешне полнокровной счастливой жизни («ощущение безмерного и головокружительного счастья, настигавшего где-нибудь в теплом кафе, куда забредали они с мужем», новогодний карнавал в Доме журналиста, лыжные прогулки, чтение, просмотры фильмов, обожаемый дом, вполне устраивающая героиню работа, гусевский хрусталь, гжельская посуда, дорогой японский фарфор и т. д. и т. п.) в истинную, достойную человека жизнь, озаренную заботой о ближнем, духовностью, забвением себя.

Надо отдать должное писателю: его героиня не вертится в кругу «мужчина — женщина», столь привычном, когда речь идет о современной женщине, просто она вперг

вые, тяжело заболев и попав в больницу, задумывается над смыслом собственной жизни и жизни вообще, столкнувшись со смертью (умирает внезапно самая благополучная соседка по палате), долго не может преодолеть отчаяния — ей впервые открылось, что жизнь не бесконечна, загадка другого человека видится ей только как «отдельная особенная трагедия», а отвратительный, безграничный, все губящий страх смерти заслоняет на время все живые краски бытия.

Глазами мужа героини, вполне заурядного, но добросовестного человека, искренне ее любящего, мы еще раз оцениваем жизнь Валерии Федоровны до больницы: «...он осознал, что его ясная, кроткая жена жила пугающе хрупкой, какой-то придуманной жизнью, в которой таилась, несмотря на все признаки внешнего благополучия, страшная уязвимость». И автор торопится помочь смятенной душе обрести себя. Старик профессор, потерявший сыновей (погибли на фронте) и жену (умерла от горя, причем духовно прежде, чем физически), а потому имеющий нравственное право делиться с Валерией выстраданными истинами, призывает ее: «Не отворачивайтесь от жизни!» Он только что вернулся из Америки, и больше всего ему запомнился ночной фонарь неподалеку от гостиницы и зеленая ветка возле фонаря. Оказывается, суть дела в том, что «всем нам, живем ли мы в Чикаго или в Хотькове, всем дороги и милы прежде всего именно такие простые вещи... Это и есть то главное, за что мы любим эту жизнь. Эта тихая и простая основа жизни... она бесконечна в своих воплощениях». Проповедь простой и вечной красоты жизни набирает силу, и вот уже автор не замечает, как подлинность подменяется декламацией вроде того, что жизнь есть борьба, «смерть желает быть царицей мира, а жизнь ни пяди не уступает и подымает навстречу ей новые и новые легионы», а потому надо быть участником в битве... Трудно себе представить, что эти вневременные, расхожие откровения способны уже через несколько страниц возродить героиню: «Валерия ощущала, кроме внешнего, видимого, того, что можно передать словами или изобразить красками, еще и внутреннее, непередаваемое, сокровенное и самое главное». Что же это за «сокровенное», написанное столь же пышно, сколь неопределенно? А все просто: люди, и животные, и деревья, и техника — «все эти явления, звуки и видения существуют в нерасторжимом единстве мирного торжества жизни, постичь которое, оказывается, так нелегко», но вполне возможно, и вот уже на новом витке возродилась любовь Валерии и ее мужа, или, как красиво информирует нас автор, «их общее чувство, единство их любви, пройдя над гибельной пропастью отчаяния, как бы робко зачиналось вновь — на других высотах, в разреженном воздухе, которым надо было дышать бережно... и в пространстве меж их любящих глаз уже не было реющих чудовищ».

Впрочем, оставим выспреннюю пышность этой картины, нас интересовала попытка писателя через экстремальную ситуацию заглянуть в перспективу жизни своей героини за пределами круга «мужчина — женщина», на пути к понятиям «человек», «личность». Попытка сама по себе существенная и своевременная, хотя художественно не вполне убедительная.

Наша литература в изображении современного женского характера идет за жизнью, не опережая ее, еще не обнаружив потенциальные возможности этого характера.

Мы уже принимаем как данность одно из важнейших достижений социализма: женщина вырвалась из узкой, тесной сферы домашнего быта, из семейного эгоизма, умственной ограниченности. Любопытная закономерность: героиня современных книг — нервная, самоутверждающаяся — нередко идет на разрыв семейных отношений (кстати, по статистике, разводы чаще случаются по инициативе женщин), однако вне семьи чувствует свою неполноценность, стремится к постоянству, стабильности — новому браку. В литературе же последних лет женщина в семье, жена и мать — явление редкое, и уж почти никогда дети не становятся помехой при разрушении семьи.

Активность и высвободившаяся в результате эмансипации энергия, приносящая несомненную общественную пользу, когда речь идет о деле, о работе, нередко превращаются в позицию круговой обороны, в борьбу за тщеславно понятое лидерство. И как антипод женской агрессивности и лидерства возникает характер женственного, слабовольного мужчины, охотно позволяющего руководить собою, над ним нередко издеваются героини. Этот характер ведь тоже в известной степени результат возросшей женской активности. Вспомните несчастного затюканного современного донжуана из фильма «Осенний марафон» (А. Володин, Г. Данелия). Добрый малый, неглупый, вполне порядочный, как мечется он между двумя женщинами, как лишен

своей воли, собственного желания, нравственной позиции, как озабочен одним — никого не обидеть и как в результате обижает всех. И сам несчастен в первую очередь.

Очевидно, настала для нашей литературы пора всерьез задуматься над тем, что только личность, существующая в гармонии со своим делом, с окружающими, личность, не тратящая всю отпущенную природой и обществом энергию на бесконечное самоутверждение, может стать полезной обществу и, возможно, субъективно счастливой.

3

Как часто и в нынешних критических разборах в рецензиях мы читаем небрежное: в повести, не слишком удавшейся автору, есть все же кое-что — частная правда описания, воспроизведение жизни как она есть... Но ведь в том-то и дело, что безликого, безразличного, не пропущенного через опыт, мысль, чувство, воображение художника описания жизни как она есть не существует — в этом истинный смысл понятия художественности. Старый эстонский писатель Фридеберт Туглас писал в своих «Маргиналиях»: «Кажется, не кто иной, как Бисмарк поучал своих дипломатов: «Не говорите всей правды, но пусть все, что вы говорите, будет правдой!» «Вся правда» — в литературе вещь немыслимая, но все сказанное должно быть правдой». Это тоже вечный принцип искусства, с ним опасно небрежничать.

Когда в 1965 году Виталий Семин опубликовал свою повесть «Семеро в одном доме», вызвавшую бурю в критике, он отстаивал право литературы на показ человека через его будни. Подвиг народа в Отечественной войне приучил критику к приподнятому, романтическому ключу в литературе, а позднейшие сложности нашей действительности бурно давали знать о себе через всевозможные теории бесконфликтности, борьбу хорошего с лучшим и прочее, что нередко и получало практическое воплощение в нестерпимо слащавых поделках. «Семеро в одном доме» — повесть о трудном послевоенном быте, о голоде и разрухе, о невыносимой тяжести, которая легла на плечи трудовых людей, написанная лаконично и сурово. Обстоятельства жизни, через которые прошла героиня повести Муля, Анна Стефановна, работница («Я ж видишь, какая быстрая. Я очень быстро работаю. Организм у меня такой. Я за двоих молодых работаю»),— оккупация, постоянный риск (нужно было выжить с двумя малышами да бабками), разрушенный дом и быт, и ждать помощи неоткуда, всем не легче,— обстоятельства жизни огрубили этот характер, но не сломили его, не лишили цельности, желания справедливости и умения постоять за свое понимание этой справедливости, идти против течения.

Ростовская окраина написана Семиным густо, драматично. Эти выросшие дети войны, не евшие досыта, эти характеры, искаженные войной, эти сироты, к которым с трудом приходила уверенность и надежда, которые слишком задержались в привычках оккупационного быта — приладиться, переждать,— они показаны в своей слабости, в семейных дрязгах, в выпивке.

Вот они сидят, вымытые после рабочего дня под самодельным душем в саду (а чтобы наполнить бак, надо наносить воды из водопроводной колонки, это далеко, почти целый квартал, к тому же потом по приставной лестнице надо подняться с ведрами и перелить воду в бочку, короче говоря, особенно не накупаешься), сидят, обсуждают статью о долголетии в «Известиях», лениво обдумывают, почему женщины живут дольше мужчин, и вдруг один из них, Толька, говорит: «„Поднимите руки, у кого есть отцы". И он посмотрел на сидящих за столом. На Вальку Длинного, на хозяина дома Женьку, на меня, на Валерку. Никто не поднял руки».

Или еще зарисовка, лаконичная, деловитая: «В октябре сорок пятого года вернулся домой отец Женькиного приятеля — Васи Томлина. Приехал он часов в десять утра, мать свою послал за женой на работу, а сам, даже не побрившись, сбросив на кровать шинель и мешок, пошел в школу за сыном. В школе было пусто и тихо, он шел по длинному коридору, потрясенный этой тишиной, потрясенный своим счастьем. Он собирался лишь приоткрыть классную дверь, а распахнул ее во всю ширину, и щеки его дрожали, когда он, отыскав среди тридцати ребят своего сына, позвал: «Вася!» Потом он стоял, оглушенный плачем и криком, и не понимал, почему учительница говорила ему: «Не надо было этого делать...» Какой-то мальчишка, оттолкнув его кулаками, выскочил из класса и побежал по коридору, крича «а-а»...»

Вот какие обстоятельства стояли за спиной семинских неблагополучных героев, вот какой сгусток горя определил некоторым из них их несостоявшуюся жизнь. Теперь, по прошествии лет, понимаешь: пусть даже полемически сгустил Семин картину, все-таки такого рода обстоятельства действи-

тельно могут сломать человека, если не возникнет великого чувства рабочего братства, которое живо в Муле.

В этой повести нет проблемы, как лучше устроиться. Здесь вопрос — как выжить, как отстраивать заново страну, как возродиться детям войны: страну-то предстоит отстраивать им. Критика в какой-то степени, вероятно, имела право упрекнуть писателя в переизбытке и замкнутости быта, в ощущении статичности, которое и сейчас возникает при прочтении повести, в некотором чувстве усталости, когда именно житейские невзгоды позднейших лет определяют на долгое время вперед самочувствие людей. Однако вызвано все это полемикой, желанием утвердить новую эстетику (вспомним прозу В. Пановой), показать и такую действительность, привлечь внимание к «окраине» — не только в географическом смысле.

Прошло время, появился целый пласт литературы, с поразительной достоверностью возвращающей нам времена не такие уж далекие, но ушедшие, возвращающей тенденции и характер целой эпохи в деталях личного восприятия, обогащенного более поздним жизненным опытом. Эта проза обращена прежде всего к стране детства, в ней подробность приобретает особое значение — как иначе передать обстановку, уклад жизни, запахи, вкус, тональность, движения души, теперь, по прошествии лет, ставшие такими существенными? Это «Переулки моего детства» Ю. Нагибина, «Нежный возраст» А. Рекемчука, «Безотцовщина» В. Маканина, «Земля городов» Р. Валеева, «Нескучный сад» В. Амлинского...

В лучших произведениях бытовой прозы, постоянно обращенных к будничной жизни, к ее на первый взгляд маленьким проблемам, к субъективной человеческой эпопее, как правило, не возникает самоцельного изображения быта, упоения удачной деталью (а деталь в таких вещах нередко достоверна, живописна), доверительность лирической интонации не становится навязчивой. Такое письмо емко вбирает в себя приметы современной жизни, они существуют не как фон, а как неотделимая часть самочувствия героев, писателя привлекает не внешний драматизм обстоятельств, не увлекательность сюжета, а живое пульсирование ежедневья, сложности, возникающие в самой скромной жизни, моменты нравственных взлетов, проявления не надуманной, ходульной, а истинной человечности.

Много сделал в развитии такой литературы Виль Липатов — вспомним повесть «Деревенский детектив», произведения последних лет, обсуждением которых долго была занята наша критика («Игорь Саввович», «Повесть без названия, сюжета и конца...», «Житие Ванюшки Мурзина»), вспомним, наконец, давнюю липатовскую повесть «Чужой», где впервые, пожалуй, в нашей литературе представление о мещанстве четко связалось не с канарейками и повышенным интересом к вещам, но с безразличием к социальным проблемам, с готовностью на компромиссы, с агрессивным навязыванием окружающим своего права на особенную, легкую, не обремененную обязанностями и чувствами жизнь.

От повести к повести исследовал Юрий Трифонов характер, неспособный взять верх над обстоятельствами будничной жизни, а зачастую и преувеличивающий значимость этих обстоятельств. Сумрачный герой Трифонова поддается засасывающей будничной стихии в разной степени, но поддается неизбежно. И если темпераментный Липатов, нередко опережая своего героя, яростно воюет против самой такой возможности, когда обстоятельства берут верх над человеком, то Трифонов предпочитает скрупулезное, шаг за шагом, исследование состояния инфантильности (или нерождения?) личности.

Повесть «Обмен» начала цикл бытовой трифоновской прозы. «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Другая жизнь» продолжают подробное исследование человека в быту. Каждый раз рассказывается вроде бы обычная семейная история, но, как это нередко бывает в подлинном искусстве, смысл рассказанного выходит за рамки камерной темы.

На первый взгляд ситуация в повестях примерно одна. Живут не самые плохие люди — Гриша Ребров, или Геннадий Сергеевич, или Сергей Троицкий, трудолюбивые, работающие честно, не жалея сил, и уже поэтому одни более, другие менее успешно приносящие определенную объективную пользу обществу. А на них, этих людей, изливается, как писалось в одной из статей о трифоновской прозе, как бы по двум желобам злая воля. С одной стороны, лукьяновы, климуки, смоляновы, рафики, кандауровы, с другой — жены, тещи, подруги дома. И хотя цели у этих сил зла вроде бы разные (одни заинтересованы в том, чтобы отпихнуть, другие — чтобы продвинуть), но и те и другие работают на уничтожение.

И впрямь нелегко противостоять напористой, не знающей преград, ставимых со-

вестью, энергии современных деловых кандауровых или климуков, или попробуйте разглядеть бульдожью хватку в любовной заботе синеглазой ведьмы-жены, попытайтесь не раздражаться в обволакивающем, изматывающе мелочном быте.

Трудно? Трудно.

Может быть, и впрямь, как писали исследователи творчества Трифонова, сила этой прозы в ее узнаваемости? В том, что, обнаружив в повести ситуации, в которые так или иначе, в той или иной мере попадает практически каждый, читатель станет более взыскателен к себе, более критичен, нравственно более требователен? Поэтому, по мнению части критиков, Трифонов избегает категоричности в авторских оценках, ограничиваясь общей заботой о нравственной атмосфере общества.

Или все-таки не случайно герои трифоновских повестей, как правило, люди незаурядные, даже талантливые, увлеченные собственным делом, совестливые? То есть люди, созданные для активной деятельности, для служения. Однако они предпочли все-таки роль ведомых, а не ведущих.

Душевная леность, избалованность, привычная тяга к мягкой, дружеской, но непременно руководящей (как правило, женской) руке, бессознательная тяга, образно говоря, к жизни в заповеднике, огражденном от внешних бурь, защита несуществующего для человека права на нравственное сибаритство — вот, пожалуй, главное, что отчетливо видит Трифонов в своих Ребровых, Троицких, Дмитриевых, Геннадиях Сергеевичах, вот где боль писателя.

Каждый из этих героев рассчитан на большее, чем его отдача, и почти каждый понимает это. Но у всех есть свое заветное, то, к чему лежит сердце, в чем видится предназначение,— к тем, климукам да кандауровым, такие понятия просто неприложимы. Остановим на этом внимание. Вот о Сергее («Другая жизнь»): «Неудачи из года в год добивали его, вышибали из него силу, он гнулся, слабел, но какой-то стержень внутри него оставался нетронутым — наподобие тоненького стального прута,— пружинил, но не ломался... Он не хотел меняться в своей сердцевине, и это значило, что, хотя он мучился и много терпел от неудач, терял веру в себя, увлекался нелепейшими безумствами, заставлявшими думать, что у него помутился разум, приходил в отчаянье и терзал всем этим свое бедное сердце, он все же не хотел ломать то, что было внутри него, такое стальное, не видимое никому».

Или вспомните ту сценку в «Долгом прощании», когда Гриша Ребров рассказывает в театре о Николае Васильевиче Клеточникове, рассказывает увлеченно, забыв о собственной житейской неустроенности, о бытовых неурядицах: «...ведь история Николая Васильевича была примером того, как следует жить, не заботясь о великих пустяках жизни, не думая о смерти, о бессмертии...» Сколько часов отдано трифоновским героем, чтобы восстановить историческую правду о Клеточникове, его роли в народническом движении, сколько сил потрачено на изучение личности человека, который неизвестно даже, был ли истинным революционером. Запомним — Гриша искренен в своем восхищении Клеточниковым.

И даже Геннадий Сергеевич («Предварительные итоги»), интеллектуальный поденщик, хотя и не одержим делом, но корректен и максимально добросовестен. В его исповеди (а это единственная повесть этого цикла, написанная от первого лица) есть попытка объяснить самому себе причину, по которой герой отказывает себе в уважении. «Я перевожу громадную поэму моего друга Мансура... Вдохновенья не жду: в восемь утра выпиваю пиалушку чаю, принесенного с вечера в термосе, сижу за столом до двух, в два обедаю в паршивенькой чайхане возле почты и с трех сижу до пяти или шести, когда начинает давить в затылке и мухи мелькают перед глазами. А что делать?»

Вспомните, ведь и Гриша Ребров добыл себе житейское благополучие поденщиной, только сценарной, а увлечение историей осталось лишь как прекрасное воспоминание о счастливой жизни. Счастливой — заметьте — вопреки неурядицам, нехватке денег, Лялиным изменам, тещиной постоянной придирчивой вражде...

И Гриша Ребров и Сергей Троицкий занимаются отечественной историей. Сергей и умирает за этим занятием. «Он искал нити, соединявшие прошлое с еще более далеким прошлым и с будущим... Человек есть нить, протянувшаяся сквозь время, тончайший нерв истории, который можно отщепить и выделить и — по нему определить многое. Человек, говорил он, никогда не примирится со смертью, потому что в нем заложено ощущение бесконечности нити, часть которой он сам. Не бог награждает человека бессмертием и не религия внушает ему идею, а вот это закодированное, передающееся с генами ощущение причастности к бесконечному ряду...» Словом, герой «Другой жизни» занимается своим делом с увлеченностью и постоянством,

карьерные искушения его не беспокоят, как был младшим научным сотрудником, так им и умер.

Что ж, может быть, этот человек, вроде бы всерьез относящийся к своему делу, просто немного разбросан? Увлекающаяся натура? Такой уж характер. Множество планов, разнообразная работа в архивах, даже на монографию замахнулся — «Москва в восемнадцатом году», даже на переговоры с издательством через какого-то прощелыгу решился, но дальше бесчисленных встреч, болтовни, застолий и чаепитий дело не пошло, книга не была написана, хотя кое-какие материалы из нее стали частью первого варианта диссертации, тоже оставшейся незавершенной. Семь лет работы практически впустую, и на каждом следующем витке — новые грезы, новое увлечение, мираж, лихорадочный бросок — и охлаждение, безразличие.

«Он жил так, будто впереди у него девяносто лет».

Трифонов, как всегда, подкидывает нам подробность за подробностью работы Сергея, его общения с окружающими. Мы вполне поддаемся обаянию героя, когда он в хорошем настроении, немного раздражаемся от повышенной его возбудимости, непостоянства, от частой однобокости, несправедливости к окружающим, но готовы и это отнести за счет характера — все же творческая натура. Тем более что рассказывается-то нам жизнь Ольгой Васильевной, все пропущено через ее зрение, ее восприятие.

А при всей любви к мужу Ольга Васильевна, хоть и скрывает это всячески, не может понять сути его занятий историей. Она, биолог, дипломированный, с научной степенью, руководитель лаборатории, четко знала, что всякая наука озабочена движением вперед, сооружением нового, созданием небывалого, и только то, чем занимался Сережа,— история пересооружает старое, пересоздает былое. История представлялась Ольге Васильевне «бесконечно громадной очередью, в которой стояли в затылок друг к другу эпохи, государства, великие люди, короли, полководцы, революционеры, и задачей историка было нечто похожее на задачу милиционера, который в дни премьер приходит в кассу кинотеатра «Прогресс» и наблюдает за порядком,— следить за тем, чтобы эпохи и государства не путались и не менялись местами, чтобы великие люди не забегали вперед, не ссорились и не норовили получить билет в бессмертие без очереди...».

Хотя, с другой стороны, стертость, банальность признанного искусства Георгия Максимовича, художника, отчима Ольги Васильевны, мы понимаем тоже только через нее. Это ей, а только вслед за нею нам кажется, что все эти писанные маслом прудики, рощицы, речки, овраги, все эти на больших листах сангиной старики, дети, собаки, руки и головы похожи на множество других картин и рисунков, сделанных давным-давно другими художниками, «и было непонятно, зачем повторять то, что уже существует в мире». Именно Ольга Васильевна, наблюдая, как точно оценивает художник работы товарищей, охотно и с доверием ждущих его совета, недоумевает: неужели можно, так хорошо все понимая у других, ничего не понимать у себя?

Все это нам становится известным через Ольгу Васильевну. Она хоть и «знала твердо: все начинается и кончается химией. Ничего, кроме формул, нет во вселенной и за ее пределами», но добросовестно пыталась понять суть, направление, объем занятий Сергея: «А какая мысль у тебя? Есть ли у тебя нечто всеохватное, плотящее воедино все твои тетрадочки, выписки, факты, цитаты?» И ее ли вина, что постепенно надежда, что какие-то свои мысли он оставляет при себе как неприкосновенный запас, сменилась отчаянным представлением о том, что бежит-то он по кругу впустую, что его занятия «если не блеф, то уж самоблеф точно»? Ведь разветвление интересов Сергея, разбросанность его увлечений то одним, то другим материалом, явная неспособность пройти до конца, завершить хоть одну тему, юношеские перепады его настроения, то, как пасует он перед натиском начальства, коллег или семьи, все-таки связаны не с характером. Вернее, не только с характером.

В занятиях искусством, а уж наукой тем более одного дара мало. Нужно прежде всего не общее расплывчатое понимание цели деятельности («...нити, соединяющие прошлое с будущим...»), нужны деятельная воля, энергия, мужество.

Не просто способность замечать стертость расхожих истин, но умение сознательно постоять за свою найденную истину, доказать, найти аргументы, не бежать, как только окажется, что доказательства не плывут тебе в руки сами, не сворачивать на более протоптанную тропу. Сергей, как почти все герои Трифонова, удивительно умеет переключаться. Свернуть, найти почти равноценную замену и, раздражаясь, страдая, уговорить себя, что это правильный шаг, нет нужды лезть напро-

лом, необходимо передохнуть, переключиться.

Вспомните Дмитриева («Обмен»).

Неспособный на верность, дружбу, сыновнюю преданность, он все надеется в свои тридцать семь лет на будущее, где проявятся свойства натуры, которые должны же у него быть — он видит их у матери, деда. Практически он готов даже на подлость, лишь бы она не была очевидна, чтобы «потом было хорошо». Когда жена устроила его на работу и для этого пришлось обмануть старого друга, Дмитриев «три ночи не спал, колебался и мучился, но постепенно то, о чем нельзя было и подумать, не то что сделать, превратилось в нечто незначительное, миниатюрное, хорошо упакованное, вроде облатки, которую следовало — даже необходимо для здоровья — проглотить, несмотря на гадость, содержащуюся внутри. Этой гадости никто ведь не замечает. Но все глотают облатки».

Поразительная бесхребетная готовность пойти на компромисс и умение мгновенно найти себе оправдание в общем несовершенстве мира — типичные свойства несостоявшейся личности, которая в своих глазах оправдывается собственной мнимой сложностью, хотя сложность эта, как говорил Горький, «печальный результат мелочной борьбы за выгодное и спокойное место в жизни».

Трифоновские герои, мучаясь сами и изводя окружающих своей рефлексией, хотят для себя душевного комфорта. Их неуверенность, сумрачность, их часто подавленное настроение связано прежде всего с несформулированной, неосознанной, но непременно присутствующей мыслью о своем особом праве на постоянное, тщательно оберегаемое душевное равновесие. А это несуществующее право на душевный комфорт несовместимо с деятельностью.

Разумеется, человек живет в своем времени и выбирает из него тот опыт, который ему близок. Один предпочитает духовное иждивенчество, формальную внешнюю честность, ищет лазейку, чтобы свернуть от своего дела в сторонку, неподалеку, чуть изменить курс, не высовываться, другой избирает активную жизненную позицию и, уверенный, что успех его дела — это его личный успех, не жалеет сил и энергии, торя свой путь. Сергей Троицкий не борец, он оберегает свой покой (и все равно не находит его) и несчастлив этим. Живая в памяти война, события недавнего прошлого, восстановление ленинских норм жизни нашего общества, XX съезд партии — все это, как на каждом из нас, отразилось и на героях Трифонова. Только некоторые из них, как, в частности, герой «Другой жизни», так и остаются в постоянном разладе с собой. Натура несомненно деятельная, но робкая, он мучится несовместимостью, невозможностью без риска, без твердости жизненной позиции реализовать себя.

И, накладываясь на этот пониженный гражданский, нравственный, душевный тонус, так преувеличенно возрастает в его глазах сила давления окружающих, всяких климуков и прочих. «Травили»,— скажет мать Сергея после его смерти. Но, пожалуй, права Ольга Васильевна: «Сережу не травили. Ему причиняли зло не намеренно, а просто потому, что какие-то люди преследовали свои цели». Вполне соглашаясь, что цели у климуков корыстные, ничтожные, карьерные, заметим все же, что энергичное сопротивление таких, как Сергей, наверняка сократило бы климукам аппетит. Да и Геннадий Сергеевич, дай он волю своему представлению о справедливости, не пожалей сердца для отстаивания этой самой справедливости, защитил бы несчастную больную Нюру, столько сделавшую для его семьи, а не отдал бы ее, страдая и переживая, в богадельню.

И события будничные, домашние, семейные не приобретали бы такой всесокрушающей разрушительной силы, если бы не попадали на благодатную почву.

Емкие, лаконичные повести Трифонова не просто выстроены — архитектурно выверены, писатель настаивает на своем праве рассказать каждый раз эту конкретную историю, другой мир, мир сегодняшних забот и дел, разрывающих семейно-бытовую рамку, ощущается где-то за пределами повести. Вспомните хотя бы, как выстроен сюжет повести «Обмен».

Деловое обрамление (автор сразу вводит читателя в курс дела: тяжело заболела мать Дмитриева, и Лена, его жена, всю жизнь ненавидевшая Ксению Федоровну, вдруг решает съезжаться, жить вместе, иначе после смерти свекрови пропадет ее квартира — это начало; завершается же повесть так же деловито — перечислением документов, которые необходимо представить в исполком, чтобы совершившийся за несколько дней до смерти Ксении Федоровны обмен был признан законным) — такое обрамление повести задает тон, дает читателю эмоциональную настройку. Ни словом впрямую не осудив Дмитриева, просто заявив, *какая* история будет рассказана, Трифонов словно бы уходит в сторону, давая своему Дмитриеву возмож-

ность оправдаться перед собой и читателями, найти смягчающие вину обстоятельства, и герой занудно предлагает их нам, сам понимая их неубедительность. Писатель фиксирует: да, вот так все и было, герой очень все переживал, даже гипертонический криз с ним сделался. В читателе растет раздражение, желание оглядеться по сторонам, в себя заглянуть. Обстоятельства-то, которые довели до минимума способность Дмитриева к самодеятельности,— обычные житейские, нет в них никакой экстремальности.

Но вот — «Время и место», последняя завершенная вещь Трифонова, не повесть — роман с его сложно переплетенными судьбами, с протяженностью во времени (от 30-х годов к 80-м), с иной, чем в повестях, живописью, со зрелой, изобретательной композицией.

Вчитываясь в этот последний роман Трифонова, постоянно думаешь, как опрометчиво полагать, даже зная писателя, его пристрастия, его манеру, что определен уже, ограничен его потенциал. При сдержанности трифоновских повестей (как не хватало в них порой эмоциональности, стилевой раскованности!) можно ли было предвидеть обнаженную грусть начала, дающую камертон, определяющую тональность нового романа: «Надо ли вспоминать?.. Надо ли вспоминать об августе, который давно истаял, как след самолета в синеве? Надо ли — о людях, испарившихся, как облака?.. Надо ли вспоминать? Бог ты мой, так же глупо, как: надо ли жить? Ведь вспоминать и жить — это цельно, слитно, не уничтожаемо одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет».

Уже на первых страницах мы понимаем, что в романе писатель остается верен своему главному принципу — пристальности, углубленности в будни.

Сюжет романа организован прихотливо, но при этом строго, последовательно во времени, никаких перекидок из десятилетия в десятилетие, судьбы героев складываются на наших глазах, каждая в неукоснительной последовательности, но героев — двое, и когда один в главе, ему посвященной, живет уже в 50-х годах, другой еще не пережил войну. К тому же в названии почти любой из тринадцати глав — кусочек Москвы. Все эти Тверские, Якиманка, Бронная, Центральный парк, переулок за Белорусским вокзалом, недавняя московская окраина — Аэропорт, зарисовки, пейзажи Москвы есть почти в каждой главе, и живая, полная неожиданностей, сумасшедшая и мужественная Москва каким-то неуловимым образом смягчает внутреннюю четкость архитектуры всего здания романа, готовит читателя к эмоциональности и многозначности эпизода, к раскованной образности и музыкальности фразы. Один только пример: «Все так туго сплелось, так крепко перевязано одно с другим, как будто не может существовать отдельно: доброта и безвыходность, ликование и печаль, сладчайшая радость и смерть, и прочее, прочее, что кажется таким далеким. Например, парк и больница. Там люди веселятся, здесь страдают, а граница между тем и другим — ветхий забор из тонких железных прутьев. Стоит его перелезть, и вы там. Я понял это давно. Тоска — это хлам осени под ногами, музыка, толпа на набережной, красные фонари, скрип дебаркадера...»

В биографии двух основных героев этого романа много общего, особенно поначалу. Осиротившая обоих несправедливость определяла детское мироощущение, как бы пресекала на время способность активного сочувствия к чужому страданию, отзывчивость, доверие. Вчитайтесь в описание довоенного Центрального парка культуры и отдыха, идущее из восприятия одного из героев, подростка: «Это вот что: шаркающая толпа на знойном асфальте, гул голосов, клочья музыки отовсюду, ее пух, ее сор, музыкальные перышки летают в воздухе, невидимые оркестры где-то выбивают свои перины, обертки мороженого под ногами, в урнах сам собой загорается мусор, растекание толпы, человеческий вар в лабиринтах аллей, краткие спазмы, тугая пульсация, запахи листвы, сигарет, потных тел, шашлыков, гниловатой воды пруда, вокруг которого валунами сидят бетонные лягушки... Надвигается вечер, прохладой дышит овраг, лучше обойти его стороной, все это неизведанный континент, здесь есть свои джунгли, свои пещеры, свои коварные туземцы, добрые незнакомцы, здесь сочится, пересекаясь, чахлым ручейком мое детство...» Предопределена заранее брезгливая антипатия подростка к добрейшей матери друга Левки; принять от нее еду, зная, как нелегко медсестре даются заработки, и отметить тут же ее несуразную, неразборчивую доброту, ее придурковатость, некрасивость для этого мальчишки словно бы естественно, для него в его детском горе всякая другая беда — чужая, а доброта кажется неискренней и ненужной.

Писатель сводит своих героев в переулке за Белорусским вокзалом, где-то в сре-

дине великой войны, на заводе, где подростки наравне со взрослыми делали радиаторы для самолетов. Очевидно, ребята и до этого видели друг друга, ходили в одни часы по одним и тем же улицам, посещали до войны один литкружок, но не помнили друг друга. Трифонов нарочито подчеркивает их общность, похожесть, отчетливо видит не только их беду, но и некое самодовольство, желание похвастать тем, что заработали отцы, подчеркивает постыдное тщеславие этих рассказов о квартире и даче в Серебряном Бору, английском автомобиле и поликлинике на Воздвиженке, где один из них лежал в отдельной палате, и т. д. и т. п. И это стремление похвастать «неведомо чем», своей исключительностью, особинкой некоторое время тоже определяет внутреннее самочувствие подростков, тоже становится ступенькой складывающегося сознания.

Разумеется, герои похожи, но не одинаковы. Один из них, тот, кто становится ученым, доктором математики, очевидно, легче поддается напору обстоятельств, к финалу романа он поглощен неустроенным бытом, мечется между работой и домом. Он один из тех, о ком Трифонов писал в своих повестях. Другой, Саша Антипов, становится писателем, учится не только понимать свое время, но и вести собственную в нем сольную партию. Подчеркнем: оба героя преодолели биографические сложности. Время и общество так распорядились, что несчастье не определило их дальнейшую судьбу.

Роман Трифонова поражает разнообразнейшими приметами быта, они множатся, характеризуют разные периоды жизни героев, разные этапы развития общества. У автора этого романа поразительная память, достоверность подробностей — а сколько их накопилось, ведь почти пятьдесят лет жизни героев проходит перед нами — ни разу не вызывает сомнения. А сколько точных психологических подробностей припас писатель к этому своему последнему роману! Вот только несколько примеров.

Возвращается к семье мать Антипова, приезда ее ждали, а сели за стол — и не могли говорить от волнения. «Они должны были пересказать друг другу такие горы дней, такое множество встреч, испытаний, страданий, счастливых минут, что это казалось непосильным делом, не стоит и браться, и они бессознательно — так было легче — начали с самого простого, с того, что случилось вчера и позавчера. Они как бы отринули навсегда минувшее».

Или постоянное желание Антипова все, что ни случается, записать как рассказ. Мгновенно включается воображение — это, пожалуй, больше, чем информация о вышедших его книгах, убеждает, что перед нами писатель.

Руководитель семинара в Литинституте, мэтр, всю жизнь симулирующий творческую потенцию, устало вещает: «Ничего, кроме мысли и страдания, нет на земле достойного литературы» — и доверчиво-наивный Саша Антипов уходит, подавленный тяжелым размышлением: ему-то, оказывается, нечего сказать миру. Потому что его страдания ненастоящие, ну, лишился отца, была война, голод, тяжелая работа в цехе... Настоящие страдания приходят с годами. А придя домой, увидел сестру, которая, рыдая, говорит, что не может найти общего языка с матерью, отвыкла, мать стала как чужая, прослушал все это и не заметил, как столкнулся с настоящим страданием... Трифонов очень хорошо знает своих героев, проникает в глубины их внутреннего мира, и первые две трети романа, пока накапливаются эти подробности, ждешь, что они понадобились автору для какого-то нового качества в характеристике времени и героя.

В отличие от предыдущих героев Трифонова Антипов способен на поступок, на самостоятельную деятельность, на волевое усилие. Вспомните поведение его, подростка, во время войны, его бесстрашную работоспособность, добродушную готовность не замечать несправедливое раздражение усталых взрослых; или безрассудный порыв уже взрослого Антипова защитить бессловесную пожилую портниху от демагогии квартирной фюреpши Варгановой; или его поведение в истории с Двойниковым. Трифонов верен себе, подробно рассказывает все муки Антипова (от его решения обвинить или нет Двойникова в плагиате зависит литературная судьба самого Антипова, судьба его рукописи, начало пути в литературу). И Антипов не сразу кидается защищать Двойникова, пытается — как Сергей в «Другой жизни» и остальные персонажи повестей — отойти в сторонку, переключиться на что-то другое, но в отличие от этих персонажей все-таки решается выступить в суде в защиту — не Двойникова даже, но справедливости, как Антипов ее понимал. Словом, Антипов старается не быть щепкой в потоке времени, ему отпущенном, но понять свое место в этом потоке, следовать своим путем. Вот учитель его литературный, Киянов, всю жизнь уступал под напором обстоятельств, Киянову почудилось, что он

точно понял «правила игры в судьбу», показалось, что соответствовать своему времени — значит жить вполсилы, охраняя свое благополучие от бурь и потрясений. А в результате — расплата. Несостоявшаяся жизнь. Ремесленные поделки вместо книг. У Киянова готово оправдание: «...в литературе каждый отвечает за себя. Литература не плотницкая артель». Этим он хочет противостоять бывшему другу своему, писателю Тетерину, да и всей перспективе, тенденции нашей жизни, потому что на самом деле «отвечать за себя» — значит брать на себя ответственность и за время, в которое живешь, участвовать в нем, заботясь о деле, видя связь настоящего с будущим. Антипов видит это ясно, роман, над которым он работает, впитывает опыт и этой судьбы.

Его собственный роман «Синдром Никифорова» — мука, притягивающая Антипова к письменному столу, заставляющая выворачивать все накопленные кладовые — памяти, чувств, знаний. Это была книга «о писателе, который тоже писал роман, который не получился, внутри которого был скрыт другой роман, который тоже не получился». Антипову тогда казалось еще, что «нет страшнее, чем узнать свое в р е м я и м е с т о», то, что он назвал синдромом Никифорова, был «страх перед реальностью жизни», герой Антипова «все ясно видит и абсолютно ничего не видит, тайный механизм страха застилает, как катарактой, глаза». Это потом, к финалу, Антипов поймет, что затеял непосильное, потому что нужно преодолеть половинчатость, дочерпывать, доходить до дна, потому что принцип «покажи подробный быт — и ты покажешь человека своего времени» недостаточен («...жизнь обыкновенная, как снег, скучная, как вид из окна кухни во двор, жизнь, где все главное было невидимо и тикало где-то глубоко внутри, наподобие часового механизма с динамитом, стала содержанием „Синдрома..."»).

Чем ближе финал романа «Время и место», тем отчетливее становится, что нельзя переоценивать самостоятельную весомость описания быта, будней, что сама по себе зарисовка — лишь ключ, подход к тому значительному, что несет с собой характер. Жизнь Антипова к финалу словно бежит по кругу, на обочинах остаются недавно близкие люди, рушится семья, вспыхивает и гаснет суетное, льстящее самолюбию новое чувство, недолгое одиночество сменяется новым союзом с некой Верой, она превосходно водит машину, полезная женщина, кажется, вот сомкнутся волны житейского моря.

Дочитывая роман, испытываешь, пожалуй, временами некоторое разочарование, замечая, как неприметно меняется масштаб повествования, видения мира. Это разочарование, пожалуй, сродни тому, что испытывает герой Трифонова Антипов, завершая свой «Синдром Никифорова». Житейские мелочи к финалу укрупняются, привычные будничные заботы суживают кругозор героя, гасят его страсть к постижению времени; в герое, особенно в последних главах, угадываются усталость и самодовольство. Наверное, сам Трифонов чувствовал это, отсюда поспешность и так несвойственная этому тексту информационность финала.

Однако для понимания романа стоит вспомнить эпизод военного времени.

Эвакуируется семья старой большевички Елены Гавриловны, дочь и внучка терпеливо уговаривают парализованную старуху согласиться уехать, и, как всегда у Трифонова, мы обнаруживаем небескорыстие в этом терпении: эшелон-то для старых большевиков, без Елены Гавриловны не уедешь. Нет, это не единственная причина уговоров, дочь и внучка, конечно же, хотят и надеются вылечить ее, но для нас все перевешивает знание того, кому предназначен эшелон. И вдруг — старая женщина, наскучив суетой людей в комнате, закрывает глаза, и сцены революционной борьбы, ссылки, высота и благородство духа взрывают утомительную заводь быта, а следом герой видит, как с песней от Крымского моста на Большую Калужскую идет колонна ополченцев. «Вдруг грянуло мощным хором: «В московских снегах помира-ать!» От этой черной, беспорядочно топающей толпы невоенных людей шла какая-то ветровая, надземная сила, которой я тогда не почувствовал. Она долетела до меня теперь, спустя почти сорок лет».

Это признание дорогого стоит.

Нелегко, вероятно, дался этот роман самому Трифонову. Он знал «магическую силу п и с а н и я, которое притягивает к себе жизнь. То, о чем писалось, что было полнейшим вымыслом — поднялось из твоего мрака, из твоих ила и водорослей,— внезапно воплощается в яви и поражает тебя, иногда смертельно». Думается, что в последнем романе наметился синтез, писатель почувствовал недостаточность самого достоверного микровидения, абсолютной точности и узнаваемости эпизода для воссоздания многомерной картины Времени, ощутил потребность во всем спектре

красок. В романе «Время и место» угадывается подход к новому качеству трифоновской прозы.

Несколько лет назад в книжке «Продолжительные уроки» о писательском мастерстве Юрий Валентинович писал: «У меня есть множество превосходных начал, которые так и не нашли продолжения. Все муки начала, с его надеждами, новизной, напряжением мыслей и чувств, одинаково тяжелы для романа в пятьсот страниц и для рассказа в пять. И так как каждую вещь хочется написать лучше прежних, и, пиша одно, уже думаешь о начале чего-то другого и нового, то кажется, что вся твоя жизнь похожа на какое-то нескончаемое начало...» У трифоновской прозы свое место в нашей литературе, его вещи существуют уже в нашем сознании, и все-таки последний его роман — это очередное начало, подход к новому качеству, к новой образности.

Есть в повести «Долгое прощание» зарисовка:

«А Москва катит все дальше, через линию окружной, через овраги, поля, громоздит башни за башнями, каменные горы в миллионы горящих окон, вскрывает древние глины, вбивает туда исполинские цементные трубы, засыпает котловины, сносит, возносит, заливает асфальтом, уничтожает без следа, и по утрам на перронах метро и на остановках автобусов народу — гибель, с каждым годом все гуще. Ляля удивляется: „И откуда столько людей? То ли приезжие понаехали, то ли дети повырастали?.."»

Новый громадный город вырос после войны на наших глазах, неузнаваемы улицы нашего детства, нет многих домов нашей юности, и мы должны, непременно должны соответствовать темпу и размаху этих перемен. Наступает новый город, не случайно он даже написан в несвойственном Трифонову ритме, энергично, «глагольно», и требует от человека деятельного начала, не замутненного боязнью, неуверенностью, стремлением к покою.

Чтобы осуществить себя, нужно тренироваться на длинную дистанцию. И отстаивать ценности, без которых рушится смысл твоей жизни.

Пожалуй, именно этому посвящен маленький роман эстонского писателя Энна Ветемаа «Сребропряхи».

Как и положено бытовой прозе, в романе суета сует и всяческая суета. Это кино по ту сторону экрана, его непарадный подъезд, будни киногруппы, снимающей исторический фильм по ничтожному сценарию, нелепицы, неполадки, мелочные обиды, множество точных подробностей, достоверность поведения героев — нет сомнения, что материал знаком автору в мельчайших деталях. Там и образность особая, «вещная»: «Здесь (в костюмерной.— *Д. Т.*) валялись обрезки материй всевозможных цветов, куски холстины, старинные медные пуговицы. Это было похоже на товары, которые белые миссионеры привозили дикарям. Разное дешевое барахло. Но экран не подведет, экран преобразит все в сверкающее, благородное, драгоценное...»

Поначалу и персонажи романа кажутся традиционно знакомыми: самодур режиссер, доводящий до истерики известного актера; одетый с иголочки, подчеркнуто современный второй режиссер, недавний выпускник ВГИКа, напичканный новомодными теориями, самоуверенный и беспринципный; скромная женственная швея, золушка, получившая главную роль; чудак пиротехник, заика, предающийся упражнениям в риторике с философским уклоном; хитрюга и балагур местный плотник, с ходу исправляющий дефекты сценария... Все и всё узнаваемо, неприкрашенная будничная жизнь проходит перед нами в своей подлинности, а то, что на наших глазах работается кино, зрелище, в какой-то мере — праздник, только обостряет читательский интерес.

Но автор этого романа — Энн Ветемаа, а значит, мы вправе ждать не просто интересной беллетристики. Читателю это имя знакомо еще с середины 60-х годов, когда повесть «Монумент» словно доказательством от противного яростно утверждала непреходящие духовные ценности. Они хоть и даются мучительно, с болью, нередко с разочарованием, но зато становятся принципами, которым человек добровольно и сознательно следует всю свою жизнь. Добросовестное описание быта у Энна Ветемаа во всех его маленьких романах — трамплин для обращения к человеческому духу. Не исключение и «Сребропряхи».

Среди пижонов — специалистов по западному кино, знатоков-ремесленников, теоретизирующих дам Мадис Картуль, главный герой романа, смотрится этаким грубияномувальнем, начисто лишенным собственной эстетической программы. Право на постановку своего первого художественного фильма он получил, уже отпраздновав шестидесятилетие, до сих пор занимался кинодокументалистикой весьма среднего уровня, всякие там «Сочные корма» хотя и получали поощрительные дипломы, но забы-

вались тут же, как и случается всегда с однодневками.

Непреходящим достоинством его работ, однако, была откровенная резкость в постановке проблемы, а проблему он видел по-государственному, не случайные мелочи — суть интересовала его. (Впрочем, коллеги не торопились увидеть в этом эстетическую программу.)

Писателю не приходится доказывать нам, что Мадис — творческий человек. Герою в высшей степени дано почувствовать момент остановки, пробуксовывания в деле, когда остальные еще уверены, что колеса крутятся с полной нагрузкой. Это чувство остановки заставило его, фронтовика, ставшего хозяйственником — в Эстонии создавалось национальное кино, и Мадис стал заместителем директора студии,— в сорок лет вылезти из начальственного кресла, отправиться на выучку к монтажникам, разрушить все привычки отлаженной, успешной жизни, отказаться от успеха, хорошего заработка. И фильм о моральной опасности растущей зажиточности, который он назвал «Хозяева», где деревенские мужики суют в боковой карман толстые пачки десятирублевок, и их личные усадьбы в полном порядке, и «Жигули» почти у каждого дома, а рядом — развал и разгильдяйство, все тянут в свой карман,— этот фильм наделал шума и заставил поверить в возможности режиссера. В результате Мадису поручили съемки сладенького, щекочущего национальные чувства вестерна, и он мучится, превращая его на наших глазах в фильм о действительно народной жизни.

Герой Ветемаа неутомимо продирается к собственному дару, вернее, к возможности воплотить его в чем-то стоящем, эгоистическая забота о себе ни разу не становится препятствием на этом пути, и характер при этом не теряет своей живой силы, своей самобытности. Слащавой идеализации патриархальной старины, мифам об исключительности эстонцев Мадис противопоставляет выстраданную уверенность в том, что национальное достоинство и самобытность — сами по себе чудо, которое становится только значительнее, если знаешь, в какой бедности, зависимости от помещиков, в каком бесправии народу удалось сохранить и приумножить его. На наших глазах одухотворяются эпизод за эпизодом, первоначальная суета, бытовая разноголосица на съемочной площадке на худсовете наполняется существенным, волнующим содержанием. Облетает случайное, не определяющее нравственное самочувствие людей, традиционно знакомые персонажи запоминаются—каждый своей индивидуальностью. Гармония человека и дела, которому он себя посвятил,— об этом Ветемаа рассказывает живо и изобретательно, используя манеру бытовой литературы, обогащая ее опыт.

Удивительно умеет искусство напомнить о своих законах, о своих пропорциях, удивительно восстает против штампов. Достоверность эпизода, живописность сценки, правда отдельных проявлений характера только тогда вырастают в многозначную и правдивую картину жизни, когда художник живет со временем в ладу и не дает увлечь себя односторонностью.

* * *

...Твой взгляд — да будет тверд и ясен,
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен...

Для Блока это значило подняться над трагизмом, хаосом, преодолеть сословное предубеждение, проникнуться очистительной силой революции. Увидеть случайные черты в обстоятельствах, которые для многих казались непреодолимыми, гибельными, отстаивать веру в разум и совесть революционного народа — такое под силу истинному художнику.

Вся наша великая литература — это накопление позитивного опыта. Не мелочного, эгоистического — существенного. Материал может быть каким угодно, важен взгляд, позиция писателя. Современная наша литература, отметая все временное, наносное, все чаще отстаивает глубинные человеческие возможности. Ибо тот не художник, кто не прибавил крупицы истины в копилку позитивного опыта.

«Сотри случайные черты...»

ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ

★

ЧЕЛОВЕК ЗА ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ

По старым записным книжкам

В 1925 году я начала работу над прозой Вяземского, над его «Старой записной книжкой» (в 1929 году она вышла под моей редакцией в издательстве писателей в Ленинграде). Тогда же эти занятия навели меня на мысль начать самой нечто вроде записной книжки. На практике появились у меня и записи другого жанра. Вела я их в течение нескольких лет.

В 1925 году я была студенткой Ленинградского государственного института истории искусств (научным сотрудником его стала в 1926-м). В институте преподавали тогда Тынянов, Томашевский, Эйхенбаум, Жирмунский; вместе с Виктором Шкловским, Якобсоном эти ученые раньше входили в сложившееся еще в 1910-х годах Общество изучения поэтического языка — ОПОЯЗ. Молодые исследователи в противовес прошлым академическим традициям стремились изучать литературу в ее специфике, в ее словесной конкретности. Но это привело их к пониманию художественного произведения как суммы приемов, а эволюции литературы — как процесса имманентного, словно бы независимого от социальных условий. Несостоятельность этих положений обнаружилась, как только опоязовцы от чистой теории, от поэтического языка перешли к истории литературы. Атмосфера кризиса формального литературоведения, поисков других методологических путей определяла научную и учебную работу, настроение учителей и учеников в институте середины 20-х годов, поры моего там пребывания.

Отношения между учителями и учениками в институте были своеобразны. Учебный процесс не отличался там регулярностью, обстоятельно разработанной и устойчивой программой; многое совершалось само собой, стихийно. Профессоров-литературоведов я уже назвала; с ними рядом работали такие лингвисты, как Щерба, Виноградов, Ларин, Якубинский, Бернштейн. Все они спорили на открытых для студентов заседаниях, читали лекции в холодных, плохо освещенных комнатах, превращенных в аудитории. Читали главным образом о том, над чем в данный момент сами думали, чем занимались. И у студента сразу рождалось желание, иногда робкое, иногда преждевременно самонадеянное, поскорее переступить границу, отделяющую его от мира научного опыта, исследования, знания. Особенно привлекали, больше всего возбуждали мысль лекции и семинары Тынянова.

У меня есть о Тынянове запись 1926 года: «Ю. Н. на днях говорил со мной о необходимости социологии литературы...» Бывшие опоязовцы со временем пришли к историческому и социальному пониманию литературы. Перелом этот во многом был предрешен историко-литературными трудами Тынянова 1920-х годов. Его научное мышление отличалось двумя неотъемлемыми свойствами: напряженным интересом к смыслу, к значению эстетических явлений и обостренным историзмом.

Помню, каким психологическим поворотом стал для меня первый доклад, прочитанный в его семинаре. Доклад Тынянову понравился. Дело было не в обилии похвал — Тынянов вообще был в своих выражениях сдержан. Важно было ощущение, что ему интересно, что разговор шел не условно-педагогический, а всерьез. Это был для меня один из тех моментов, когда перед человеком мгновенно приоткрывается обязательность его будущего поприща. Тот исследовательский тип, который воплощал для нас Тынянов, не позволял обольщаться легкостью, быстрой достижимостью

целей. Уже тогда угадывалось, что открывающаяся перспектива — это перспектива безостановочных усилий. Об этом переживании вспоминаю теперь, когда долгий путь в литературоведении привел меня от ранних опытов к моим книгам 70-х годов: «О психологической прозе», «О литературном герое».

Секции и комитеты Института истории искусств много занимались проблемами современного стиха и прозы, поддерживались непосредственные связи с миром литературы. В институте со стихами выступали Маяковский, Багрицкий, читались и обсуждались произведения Эренбурга, Шкловского, Тихонова, Каверина, Федина. У молодых литературоведов завязывались отношения с писателями. Мне довелось встречаться с Ахматовой, Маяковским, Мандельштамом, Тихоновым, Багрицким, Заболоцким, Николаем Олейниковым, стихи которого впоследствии неоднократно у нас публиковались (сборники «День поэзии», «Литературная газета» и другие издания; в начале 30-х годов я много общалась с этим своеобразным и острым поэтом-сатириком).

Вот круг впечатлений, отразившихся в моих записях; из них я сейчас предлагаю читателю фрагменты. Они напомнят о некоторых гранях научной и литературной жизни. Хочется верить, что в этих записях уже полувековой давности читатель найдет факты и соображения, не утратившие актуальности и теперь, имеющие непосредственное отношение к делам и заботам сегодняшней нашей литературы.

Мы умеем читать книги только в детстве и ранней юности. Для взрослого чтение — отдых или работа; для подростка — процесс бескорыстного и неторопливого узнавания книги. Все, что я в жизни прочла хорошо, я прочла до Ленинграда, до института, до занятий литературой. Так я читала Пушкина, Толстого, Алексея Толстого (очень нравились баллады и шуточные стихи), Блока, «Приключения Тома Сойера»... и так я уже никогда не буду читать. И совсем не потому, что наука выбила из меня непосредственность: все это вздор и никакая непосредственность для наслаждения чтением не нужна — нужна бездельность. Нужна неповторимая уверенность молодости в том, что спешить некуда и что суть жизни не в результатах, а в процессах.

Нужно вернуться из школы после четырехчасового, слегка отупляющего безделья, прийти в свою комнату, наткнуться на знакомую книгу, завалившуюся в угол дивана, рассеянно открыть на любой странице (все страницы одинаково знакомы) и читать не шевелясь иногда до вечера, испытывая то восторг от какого-нибудь нового открытия, то особый уют и почти хозяйскую уверенность оттого, что все слова известны.

А Толстого я читала всего — с письмами, с народными рассказами, с педагогическими статьями, испытывая всегда одно и то же чувство, которое не могу назвать иначе как чувством влюбленности. Я уверена в одном — педагогические статьи и «Фальшивый купон» доставляли мне наслаждение немногим меньшее, чем «Война и мир»,— важен был неповторимый толстовский метод. И все, где я только могла его узнать, представлялось мне равноценным.

Не могу прийти в себя: у Ломоносова нашла две строки совершенно хлебниковские!

> Но враг, что от меча ушел,
> Боится собственного следа.

Неблагодарность детей другого века: хватаем из стариков, что нам понравилось, и кричим: «А это наше, а это Хлебников, а это Пастернак».

Впрочем, это вздор, а суть вот в чем: есть элементы системообразующие и они неотъемлемы, по ним познается мастерство эпохи и лицо мастера. А есть случайные откровения, стилистические пророчества; наше сознание усваивает их как заблудившиеся элементы позднейших систем.

Разумеется, «Дымятся серым дымом домы» — это у Державина элемент, отбившийся от Андрея Белого и футуристов, и, разумеется, наше восприятие его совершенно фиктивно, так как во времена Державина он означал нечто другое или ничего не означал.

Была сегодня утром у Шкловского. В. Б. принял меня, лежа на постели в коротенькой вязаной курточке и в какой-то вязаной чалме на голове. При мне к нему пришел молодой человек лет семнадцати, в очках. Он написал фантастическую повесть и давал Шкловскому рукопись на просмотр. Шкловский усадил его и стал ему объяснять, почему не нужно писать фантастические повести.

— Попробуйте работать на реальном материале, тогда можно выучиться. Надо писать так, чтобы было немножко непохоже; это трудно; а писать совсем непохоже — слишком легко.

Николай Тихонов проводит вступительные испытания на Курсах техники речи. Приходят ребята от станка. Одного из ребят спрашивают:

— Что такое рассказ?

— ?

— Вы можете сказать, какая разница между рассказом и романом?

— ...В рассказе любви нет...

— Помилуйте! Мало ли рассказов, где любовь есть!

— Ну да, но в рассказе любовь короткая.

Тихонов говорит: отличное определение.

В Москве у Мейерхольда я видела «Рычи, Китай!». Там на сцене настоящая вода, и по ней плавают лодочки. Эта настоящая вода воспринимается как особый трюк. То есть все декорации и аксессуары кажутся менее бутафорскими (нарочными), чем эта настоящая вода. Таковы законы вторжения в искусство чужеродного материала. Это вроде волос и кусков газет, которые вклеивались в картины. Вообще говоря, волосы и газетная бумага реальнее, чем вещи, нарисованные красками, но в пределах данной конструкции они явно умышленны и, кроме того, напоминают о бутафории искусства.

Разумеется, в театре вовсе не всякая вещь специфически театральна. Актер может ходить с живым цветком в петлице и есть настоящий хлеб, и это никого не задевает. Все дело в том, что это моменты, во-первых, традиционные, во-вторых, случайные, то есть вводимые не с тем, чтобы на них было обращено внимание,— вода же у Мейерхольда нова и введена именно с тем. А как только чужеродный, то есть заимствованный из естественного мира элемент становится в данной искусственной конструкции принудительно заметным, он тотчас же ощущается как элемент для данной конструкции неестественный. Хорошо это или плохо — это вопрос другого порядка.

В понедельник Николай Тихонов читал новые стихи (прекрасные). Потом мэтры говорили. Все они говорят так, как будто им ужасно не хочется и они службу отбывают.

Потом заговорил Мандельштам. Говорит он шепеляво, запинается и после двух-трех коротких фраз мычит. Это было необыкновенно хорошо; это было «высокое косноязычие» — и говорил вдохновенный поэт.

Он говорил о том, что стихотворение не может быть описанием. Что каждое стихотворение должно быть событием (я понимаю это в том смысле, что в стихотворении должно происходить движение и перемещение представлений).

В стихотворении, он говорил, замкнуто пространство, как в карате бриллианта... размеры этого пространства несущественны... но существенно соотношение этого пространства (его микроскопичность) с пространством реальным. Поэтическое пространство и поэтическая вещь четырехмерны — нехорошо, когда в стихи попадают трехмерные вещи внешнего мира, то есть когда стихи описывают...

Такая мысль может предстать на плоскости. Простые смертные не должны высказывать такое. Но поэт говорил четырехмерно. Прекрасно смотреть на спотыкающуюся мысль поэта, на ее рождение, на мыслительный процесс, знакомый по стихам. Это было похоже.

Это воспринималось так — вот пришел поэт, ему показали стихи другого поэта; он отверз уста — и возникла мысль... Вот ему покажут еще стихи или дерево, дом, стол — и родятся еще бесчисленные мысли.

Но когда у Тихонова спросили, понравилось ли ему то, что говорил Мандельштам, Тихонов ответил довольно равнодушно: «Я уже знал все это». Не значит ли это, что у Мандельштама есть несколько устойчивых мыслей, которые он годами выкипячивал из своего поэтического опыта?

Главное же — ощущение большого поэта. В первый раз я со страшной остротой испытала это ощущение, когда слышала, как Блок читает свои стихи. Это было в небольшой аудитории, в 21-м году, за несколько месяцев до его смерти. Блок читал «Возмездие» глухим и ровным голосом, как бы не видя и не чувствуя слушающих.

Необыкновенны письма Блока к родным. Бессвязные рубленые фразы, интонация монотонная и сухая, напоминающая блоковскую манеру чтения стихов, и столь же неотразимая. Среди фраз о журнальных и денежных делах, об еде, ванне и прислуге — тем же голосом сказанные фразы о том, что трудно и холодно жить — ударяют, как откровения внутреннего человека.

Пушкин не писал о внутреннем человеке; люди 40-х годов писали о нем непременно на двадцати страницах и ничего не стыдясь.

Сам Блок в письмах к друзьям гораздо грубее и литературнее. Блоковские письма к матери учат (не знаю, сознательно

или бессознательно) великолепному презрению к стилю, к эпистолярности, к круглым фразам. Каждое связное письмо начинает казаться фальшивым и не выполняющим назначения.

Может быть, эти удивительные письма и могли быть написаны только к родным, то есть людям, для которых не принято делать выборку материала, которым все интересно. Отсюда смелость и свобода сочетаний и высокая небрежность речи. Белинский, Бакунин, Герцен, Огарев — те писали все о самом интересном... Блок как бы говорит: я не стану нагибаться, с тем чтобы закруглять слова в письме, которые я пишу моей матери.

Блок в этих письмах — пример того, как великие стилистические явления возникают если не из пренебрежения к стилистическим проблемам, то по крайней мере из непринимания во внимание.

Это не только закон стиля, но шире. Литература очень удавалась тогда, когда ее делали люди, которым казалось, что они делают и что-то другое. Державин воспевал, Карамзин организовывал русский язык, Достоевский философствовал, Толстой рассуждал по военным вопросам, Некрасов и Салтыков обличали...

Для того чтобы попадать в цель, литература должна метить дальше цели.

Практические результаты уверенности писателя в том, что он делает именно литературу, и притом со знанием дела, сомнительны. В стихах эти люди совершенно закономерно дошли до того, что могут писать только о том, как они пишут стихи.

В 20-м, кажется, году Блок присутствовал в институте на каком-то заседании опоязовского толка. Говорили о стихах. Блок, по-видимому, чувствовал, что от него ждут отзыва, и поэтому сказал:

— Все, что вы здесь говорили — интересно и, вероятно, правильно, но я думаю, что поэту вредно об этом знать.

Этот вкус к неведению был у Блока совершенно личный, не менее чуждый символистической культуре, чем акмеистической и футуристической. Должно быть, этот вкус проистекал из каких-то тайных свойств психологической структуры Блока.

С Маяковским в первый раз я встретилась при обстоятельствах странных. Шкловский повез как-то В. и меня в Гендриков переулок, где я втайне надеялась его увидеть. Выяснилось, что Влад. Влад. сегодня, вероятно, не приедет (он мог остаться в своей комнате на Лубянке) или приедет очень поздно. Разочарование.

Вечер прошел, пора было уезжать. И вот тут случилось нечто совсем неожиданное для москвичей — наводнение. Москва-река вышла из берегов, такси на упорные вызовы Шкловского не отвечало.

Мы остались сидеть в столовой. Чай остывал и опять горячий появлялся на столе. Глубокой ночью вдруг позвонил Маяковский — он достал машину и собирался пробраться домой. Я ждала сосредоточенно. Для меня Маяковский — один из самых главных.

Маяковский пришел наконец. Он был хорошо настроен, охотно читал стихи — стихотворение Есенину, «Разговор с фининспектором», еще другие. Слушать чтение Маяковского, сидящего за столом в небольшой комнате, странно. Это как бесконечно уменьшенный и приглаженный макет его выступления. Потом я встречала В. В. неоднократно в Москве и в Ленинграде. Но ни разу уже не видела его в столь добром расположении, таким легким для окружающих.

Мы досидели тогда в Гендриковом до утра. Часов в пять такси наконец откликнулось.

На днях видела совсем другого Маяковского, напряженного и мрачного.

Накануне моего отъезда мы, то есть Гуковские, Боря Бухштаб и я, прощались у NN (она болеет). Пришел Маяковский. Он на прошлой неделе вернулся из-за границы и имел при себе весьма курьезную шапочку, мягкую, серую, с крохотной головкой и узкими круглыми полями, вроде чепчика. Он держал ее на колене, и у него на колене она сидела хорошо, но нельзя было без содрогания вообразить ее у него на голове.

В. В. был чем-то (вероятнее всего, нашим присутствием) недоволен; мы молчали. Боря, впрочем, сделал попытку приобщить присутствующих к разговору, не совсем ловко спросив Маяковского о том, что теперь пишет Пастернак.

— Стихи пишет. Все больше короткие.

— Это хорошо, что короткие.

— Почему же хорошо?

— Потому что длинные у него не выходят.

Маяковский:

— Ну что же. Короткие стихи легко писать: пять минут — и готово. А когда пишешь длинные, нужно все-таки посидеть минут двадцать.

О смерти Маяковского я узнала по пути в ГИЗ. В ГИЗе сама собой приостановилась работа; люди толпились и разговаривали у столов; по углам комнат, в коридорах, на площадках лестницы стояли в одиночку, читая только что появившийся вечерний выпуск. «Как в день объявления войны»,— сказал Груздев.

Тихонов говорил о том, как пастернаковский образ мертвеет в эпосе «Девятьсот пятый год» — «это немые коридоры слов». Тогда же он говорил о том, как для него и для Пастернака одновременно встал вопрос о выходе за пределы малой формы, которая перестала удовлетворять, и как они искали способов, не прибегая к фабуле, продвигать лирический материал на большие расстояния. Он даже перечислил ровно шесть приемов этого продвижения, которые применены в «Высокой болезни»,— к несчастью, я не запомнила.

Мандельштам читал у Анны Андреевны «Разговор о Данте». Мандельштам невысок, тощий, с узким выпуклым лбом, небольшим изогнутым носом, с острой нижней частью лица в неряшливой почти седой бородке, с взглядом напряженным и как бы не видящим пустяков. Он говорит, поджимая беззубый рот, певуче, с неожиданной интонационной изысканностью русской речи. Он переполнен ритмами, как переполнен мыслями и прекрасными словами. Читая, он покачивается, шевелит руками; он с наслаждением дышит в такт словам — с физиологичностью корифея, за которым выступает пляшущий хор. Он ходит смешно — со слишком прямой спиной и как бы приподнимаясь на цыпочках.

Мандельштам слывет сумасшедшим и действительно кажется сумасшедшим среди людей, привыкших скрывать или подтасовывать свои импульсы. Для него, вероятно, не существует расстояния между импульсом и поступком, расстояния, которое составляет сущность европейского уклада.

А. А. говорит: Осип — это ящик с сюрпризами. Должно быть, он очень разный. И в состоянии скандала, должно быть, он натуральнее. Но благолепный Мандельштам, каким он особенно старается быть у А. А., нелеп. Ему не совладать с простейшими аксессуарами нашей цивилизации. Его воротничок и галстук — сами по себе. Что касается штанов, слишком коротких, из тонкой коричневой ткани в полоску, то таких штанов не бывает. Эту шутку жене выдали на платье.

Его бытовые жесты поразительно непрактичны. В странной вежливости его поклонов под прямым углом, в неумелом рукопожатии, захватывающем в горсточку ваши пальцы, в певучей нежности интонаций, когда он просит передать ему спичку,— какая-то ритмическая и веселая буффонада.

Он располагает обыденным языком, немного богемным, немного вульгарным. Вроде того как во время чтения он, оглядываясь, спросил: «Не слишком быстро я тараторю?» Но стоит нажать на важную тему — и с силой распахиваются входы в высокую речь. Он взмахивает руками, его глаза выражают полную отрешенность от стула, и собеседника, и недоеденного бутерброда на блюдце. Он говорит словами своих стихов: косноязычно (с мычанием, со словцом «этого», беспрерывно пересекающим речь), грандиозно, бесстыдно. Не забывая все-таки хитрить и шутить.

Мандельштам — это зрелище, утверждающее оптимизм. Мы видим человека, который хочет денег и известности и огорчен, если не напечатаны стихи. Но мы видим, как это огорчение ничтожно по сравнению с чувством своей творческой реализованности, когда оно сочетается с чувством творческой неисчерпанности. Видим самое лучшее: осуществляемую ценность и человека, переместившегося в свой труд. Он переместился туда всем чем мог — и в остатке оказалось черт знает что: скандалы, общественные суды. Люди жертвовали делу жизнью, здоровьем, свободой, карьерой, имуществом. Мандельштамовское юродство — жертва бытовым обликом человека. Это значит — ни одна частица волевого напряжения не истрачена вне поэтической работы. Поэтическая работа так нуждается в самопринуждении поэта; без непрерывного самопринуждения так быстро грубеет и мельчает. Все ушло туда, и в быту остался чудак с неурегулированными желаниями — «сумасшедший».

Он полон ритмами, мыслями и движущимися словами. Он делает свое дело на ходу, равнодушный к соглядатаям. Было жутко, как будто подсматриваешь биологически конкретный процесс созидания.

Анна Андреевна говорит о последнем сборнике П.:

— Он там уговаривает жену не огорчаться по поводу того, что он ее бросил. И все это как-то неуверенно. И вообще это еще недостаточно бесстыдно для того, чтобы стать предметом поэзии.

Когда Анна Андреевна жила вместе с Ольгой Судейкиной, их хозяйство вела

восьмидесятилетняя бабка. Она все огорчалась, что у хозяек нет денег.

— Ольга Афанасьевна нисколько не зарабатывает. Анна Андреевна жужжала раньше, а теперь не жужжит. Распустит волосы и ходит, как олень... И первоученые от нее уходят такие печальные; такие печальные все — как я им пальто подаю.

«Первоучеными» бабка называла начинающих поэтов, а жужжать означало сочинять стихи.

(Из рассказов Анны Андреевны.)

В самом деле, Ахматова записывала стихи уже до известной степени сложившиеся, а до этого она долго ходила по комнате и бормотала (жужжала).

А. А. подписала с издательством договор на «плохо избранные стихотворения», как она говорит.

Л. сказал ей между прочим:

— Я поражен. Здесь есть стихи 1909 года и 28-го — вы за это время совсем не изменились.

Она ответила:

— Если бы я не изменилась с 1909 года, вы не только не заключили бы со мной договор, но не слыхали бы моей фамилии.

Анна Андреевна говорит: «Я иногда с ужасом смотрю напечатанные черновики поэтов. Напрасно думают, что это для всех годится. Черновики полностью выдерживает один Пушкин».

Я на солнечном восходе
Про любовь пою,
На коленях в огороде
Лебеду полю.

А. Ахматова, «Вечер», 1917.

В голодные годы Ахматова живала у Рыковых в Царском Селе. У них там был огород. В число обязанностей Натальи Викторовны входило заниматься его расчисткой — полоть лебеду.

Анна Андреевна как-то вызвалась помогать:

— Только вы, Наташенька, покажите мне, какая она, эта лебеда.

Секрет житейского образа Ахматовой и секрет одуряющего впечатления, которое этот образ производит, состоит в том, что Ахматова обладает системой жестов. То есть ее жесты, позы, мимические движения не случайны и, как все конструктивное, доходят до сознания зрителя.

Современный же зритель-собеседник не привык к упорядоченной жестикуляции и склонен воспринимать ее в качестве эстетического эффекта. Наше время способно производить интересные индивидуально-речевые системы, но оно нивелирует жесты.

Жестикуляция в широком смысле слова, то есть все внешнее, «физическое» поведение человека, бывало конструктивно только в эпохи устойчивых бытовых форм. Уже буржуазная культура с ее нивелирующими тенденциями враждебна этой конструкции. В период дворянской культуры, даже не столь давней (хотя бы начало XIX века), сложная соотнесенность условий определяла привычное поведение человека. Самая привычность могла образоваться только на основе устойчивых и ритуальных форм. Была ритуальность этикета, церемониалов и приличий; ритуальность религиозно-обрядовая не только в церкви, но и дома; ритуальность чинопочитания и социальной и семейной иерархии. Кроме того, каждая социальная группа имела свое принудительное распределение времени. И это день ото дня повторявшееся распределение определялось не схемой обязанностей, но ритмическим импульсом жизни.

В первой главе «Евгения Онегина» (впрочем, мои учителя учили меня, что литература является дефектным свидетельством о жизни) беспутная жизнь светского человека изображается как жизнь необыкновенно размеренная. Онегин каждый день встает в одно и то же время, потому что всегда ложится на рассвете. Он ежедневно отправляется на прогулку, обедает в ресторане, каждый вечер начинает театром, а заканчивает на балу. Быт светского бездельника оказывается предопределенным, как быт крестьянина, связанный работой и церковной службой, временем дня и силой обычая.

У нас же сейчас крестьянский быт является единственным изнутри предопределенным и необходимо привычным. Нас, городских людей, регулирует только служебное время. Человек без службы испытывает смущающую легкость от сознания, что он может поворачивать куски своей жизни в любую сторону, начиная от часа, когда он встает, и вплоть до часа, когда он отправляется в кино. Впрочем, он может ходить в кино на утренний сеанс, а учиться вечером; он может уйти из дому без завтрака и опоздать к обеду; он головокружительно свободен. И если у нас не кружится голова, если мы не задыхаемся в полете разорванных кусков времени — это оттого, что нам всем, служащим и неслужащим, устойчивость жизни заменена повторяемостью.

В старой, особенно дворянской культуре

внешнее поведение человека помимо привычки определялось принципом социальной дифференциации. В основе бытового склада лежала глубокая уверенность в том, что люди разнокачественны не только и не столько индивидуально, сколько социально, и в том, что дифференциация может и должна выражаться формальными признаками. Сословная одежда, позволявшая еще в первых десятилетиях XIX века отличать дворянина от буржуа и разночинца, не была только бренным покровом и украшением тела, но неснимаемым признаком социального качества, признаком, проясняющим и мотивировавшим жесты, потому что в формальных элементах жестикуляции полагалось выражать необходимость повелевать или повиноваться: чувство собственного достоинства или трепет услужливости.

Церковный ритуал, придворный этикет, военный устав, салонный кодекс хорошего тона — все эти структуры включали в себя и оперировали законченными и нормативными системами жестикуляции, исходившими из единой предпосылки о столкновении неравного и о внешнем выражении неравенства.

В наше время, когда одежда члена правительства не должна быть лучше костюма среднего служащего, выразительная жестикуляция запрещена по крайней мере на службе. Она пробивается тайком и бессистемно в чересчур заметном поклоне или чересчур нежной улыбке служебного подхалима. И это не потому, конечно, чтобы стерлось различие между отдающими приказания и приказания выполняющими, но потому (и этому начало положил уже буржуазный строй), что власть и подчиненность признаются служебными состояниями человека, между тем как во времена сословного мышления власть и подчиненность являлись органическими качествами человека, признаками той социальной породы, к которой он принадлежал. Вот почему образ внешнего поведения переходил за пределы своего необходимого применения и распространялся на весь обиход человека. Мы же знаем только профессиональную и, следовательно, условную упорядоченность жестов. Устав предписывает жесты военным, условия ремесла предписывают жесты официантам и парикмахерам, но для нашего сознания это только признаки профессии, которые человек слагает с себя вместе с мундиром и прозодеждой.

В текущей жизни люди незаметным для себя и, к счастью, незаметным для окружающих образом производят множество мелких, необязательных и смутных движений.

По временам мы встречаем бывших военных, для которых служба была больше чем временным занятием; старых профессоров, всходивших на кафедру тогда, когда с кафедры можно было импонировать, профессоров со звучным голосом, бородой и комплекцией (Сакулин) — и их прекрасные движения кажутся нам занимательными и нарочными.

Что касается Анны Андреевны, натолкнувшей меня на все эти соображения, то ее жесты, помимо упорядоченности, отличаются немотивированностью. Движения рук, плеч, рта, поворот головы — необыкновенно системны и выразительны, но то именно, что они выражают, остается неузнанным, потому что нет той жизненной системы, в которую они были бы включены.

Олейников один из самых умных людей, каких мне случалось видеть. Точность вкуса, изощренное понимание всего и при этом ум его и поведение как-то иначе устроены, чем у большинства из нас: нет у него староинтеллигентского наследия.

Не знаю, когда и чему он учился. Вот что он мне как-то о себе рассказал. Юношей он ушел из донской казачьей семьи в Красную Армию. В дни наступления белых он, скрываясь, добрался до отчего дома. Но отец собственноручно выдал его белым как отступника. Его избили до полусмерти и бросили в сарай, с тем чтобы утром расстрелять с партией пленных. Но он как-то уполз и на этот раз пробрался в другую станицу, к деду. Дед оказался помягче и спрятал его. При первой возможности он опять ушел на гражданскую войну, в Красную Армию.

Неясно, успел ли он учиться, но знает он много, иногда самые неожиданные вещи. В стихах он неоднократно упоминает о занятиях математикой. Б. однажды подошел к Олейникову в читальном зале Публичной библиотеки и успел разглядеть, что перед ним лежат иностранные книги по высшей математике. Олейников быстро задвинул книги и прикрыл тетрадью.

Олейников говорит:

— Не может быть, чтобы я был в самом деле поэтом. Я редко пишу. А все хорошие писатели — графоманы. Вероятно, я математик.

Ахматова говорит, что Олейников пишет, как капитан Лебядкин, который, впрочем, писал превосходные стихи. Вкус

Анны Андреевны имеет пределом Мандельштама, Пастернака. Она думает, что Олейников — шутка, что вообще так шутят.

Олейников продолжает традицию, в силу которой юмористы подвержены мрачности и меланхолии (Свифт, Гоголь, Салтыков, Зощенко). На днях мы разговаривали долго. Он был мрачен и говорил, что человеку необходимо жениться, потому что это избавляет от ощущения беспросветности существования, свойственной каждому. «Самое страшное — утром просыпаться в комнате одному».

Заговорили об его стихах.

— Это несерьезно. Это вроде того как я вхожу в комнату, раскланиваюсь и говорю что-нибудь. Это стихи, за которыми можно скрыться. Настоящие стихи раскрывают. Мои стихи — это как исторические повести для юношества.

Я:

— Нет, это несоизмеримо. Но я понимаю... Вы хотите сказать — вещи не из внутреннего опыта.

— Есть разные внутренние опыты. Может быть опыт умного и остроумного человека. Человека, который умеет сделать то, что хочет сделать. Это все может пойти в условную вещь. Только это не самый главный внутренний опыт.

Мы говорили еще о том, что непонятно, как писать сейчас прозу. О том, что нас тяготит фиктивность существующих способов изображения человека. Я сказала, что еще Толстой в конце жизни утверждал, что уже невозможно описывать, как вымышленный человек подошел к столу, сел на стул и прочее. Интересен эксперимент Пруста. Вместо изображения человека у него изображение размышлений о человеке, то есть реальности, адекватно выражаемой в слове. Слово и есть материя размышления, тогда как по отношению к материи всякого предмета слово есть знак, речевой эквивалент. Прустовская действительность — это комментарий; люди и вещи вводятся по принципу примеров, а разговоры по принципу цитат.

Олейников:

— Я уже говорил, что вещи, решающие условную задачу, читать не стыдно.

— Ну да, и если там кто-нибудь садится на стул, то отвечает за это не автор, а предшественники автора. Но на этом нельзя ведь остановиться...

Олейников убежден в том, что символистическая и постсимволистическая поэзия неспособны больше выражать современное сознание. Это у него общеобериутское. Но Заболоцкий, Хармс связаны с хлебниковской системой ценностей природы и познания и через Хлебникова с прошлым. Олейников пошел дальше. Он начинает с уничтожения наследственных сокровищ. Для того чтобы расчистить дорогу новому слову, ему нужно умертвить старые. Для этого ему служит галантерейный язык, этот «высокий стиль» обывательской речи. Современная формация галантерейного языка. Аналогии ей находим у Зощенко, у Заболоцкого, в антиобывательской стихии «Столбцов».

Гротескный язык Олейникова поражает разные цели — от обывателя до символистов. Но поэт, говорящий на этом языке,— настоящий поэт, и, как всякому настоящему поэту, ему нужны высокие слова. Как ему достать новое высокое слово? Он их не придумывает, он берет «вечные» слова: п о э т, с м е р т ь, т о с к а (такие слова легче воспламеняются) — и эти слова, серьезные и чистые, впускаются в галантерейную словесную гущу. И там они означают то, чего никогда не означали. В них перерезаны связи. Слово п о э т, уцелевшее в таком контексте, не может означать того поэта, какой был у Державина, у Пушкина, у Веневитинова, у Фета, у Блока, у Маяковского. Тем не менее это поэт — человек, страдающий и стихами пишущий о любви, о голоде и о смерти (баллада «Чревоугодие»). Провернутое через множество слов с отрицательным знаком ценности, оно — общепоэтическое слово — удержало эмоциональный ореол, но отдало свои наследственные смыслы. Так получается новый языковой знак для обозначения поэта другого качества.

В последнюю встречу я сказала Олейникову:

— Я люблю ваши стихи больше стихов Заболоцкого. Вы расшиблись в лепешку ради того, чтобы зазвучало какое-то слово... А он не расшибся

Он сказал:

— Я для того только и пишу, чтобы оно зазвучало.

В «Чревоугодии» Олейникова представлены оба его словесных начала — слово, у м ы ш л е н н о с к о м п р о м е т и р о в а н н о е, и слово, н а к о н е ц-т о з а з в у ч а в ш е е.

«Чревоугодие» — баллада. И в ней скомпрометированы прежде всего балладные ритмы и темы. Традиционные темы любви, смерти, к ним присоединяется тема голо-

да, скомпрометированы словами то «грубыми» (масло, мясо, квас, горох с ветчиной, кухня, котлеты), то галантерейными. Не неврастенический гамсуновский голод, а желание «покушать». Но по законам иронии, иронии в ее современном ракурсе, сквозь все эти гротескные словесные массы просвечивает высокое значение вечных тем.

Но прежде чем зазвучать, они должны еще пройти сквозь кривое зеркало галантерейного языка с его семантической какофонией. Она неизбежна, потому что обыватель хватает готовое из разных мест, не имея понятия о том, что выработка эстетических ценностей исполнена противоречий, усилий, самоограничения.

Язык «Чревоугодия» весь на совмещении несовместимого: «откровенно», «заявил», «увидевши», «обнимал», «пыл», «страсть», «вяну», дурацкое в своей серьезности слово «пища».

От мяса и кваса
Исполнен огня —
Любить буду нежно,
Красиво, прилежно...
Кормите меня!

«Грубые» и «красивые» строчки почти правильно чередуются. А слово «прилежно», не принадлежа ни к одному из обоих рядов, служит верным признаком галантерейной какофонии. Мертвец по ходу баллады тоже становится все галантерейнее, ему нужны красивые конфеты, лимонад. Все это гротескное травести лермонтовского:

Я перенес земные страсти
Туда с собой.

И вдруг смешное кончается и начинается тоска:

И нет мне ответа.
Скрипит лишь доска.
Лишь в сердце поэта
Вползает тоска...

Это настоящая тоска, и принадлежит она настоящему поэту. Но это уже не та тоска и не тот поэт, какие завещаны нам поэтической традицией.

У меня есть запись о березовых дровах: «...они лежали в своей светло-серой коре, как в хорошей фабричной упаковке». Быть может, это и неплохо как наблюдение, но здесь в самом синтаксисе есть наивное стилистическое самодовольство и вещь более путаная радостно замещается простой и хорошенькой.

Очень трудно бороться со стилистическими соблазнами. Все же необходимо следить за тем, чтобы по нашим книгам не бегали беспризорные метафоры.

Когда Маяковский читает с эстрады стихи о себе самом, то кажется, что он на полголовы выше самой гиперболической из своих метафор. Не стоит обижаться на Маяковского, когда он обижает. Если бы Гулливер не боялся лилипутов, ему было бы трудно им не грубить.

Для нас крайне существенно общение с писателем, и не потому, чтобы оно могло разъяснить вопросы современной литературы, а потому, что мы постигаем удельный вес живого слова писателя, постигаем механику его теоретического высказывания. Это определенный угол зрения, с которого лучше всего расценивается тот материал писем, дневников, воспоминаний, которым мы так жадно пользуемся.

Разумеется, практическое значение имеет общение с писателем литературствующим. Сумбурное, зигзагообразное красноречие Тихонова — это первостепенный, живой, осязаемый исторический материал. За его речью следишь с чувством охотника, нет, вернее с упорством рыболова: вот клюнет драгоценная черточка. О Пастернаке он говорит сложно и заинтересованно, говорит как глубоко и лично задетый человек. Он признается, что продирался через Пастернака. «Я на Пастернака загубил около 12-ти стихотворений. Потом понял, как это делается,— бросил».

С удовольствием передавал отзыв Маяковского (которого считает великим человеком). Спрашивает Маяковского, как ему «Спекторский». Маяковский плечами передернул: «„Спекторский"?.. пятистопным ямбом писать... За что боролись?..» И Тихонов добавляет: «В самом деле, за что боролись?.. «Спекторский» похож на поэмы Фета. Не на стихи, а именно на поэмы». Странная мысль — надо проверить.

Другая его мысль меня огорчила. Он говорит, что единственная настоящая книга Пастернака «Сестра моя жизнь», что в «Темах и вариациях» он собрал остатки, случайный материал, не вошедший в «Сестру», что «Сестра моя жизнь» — книга необычайная, безукоризненно построенная.

У Пастернака я особенно люблю «Темы и вариации». Возможно, что сюжетного Тихонова субъективно притягивает «Сестра моя жизнь» с ее расписанным по главкам и снабженным эпиграфами лирическим романом. Так для него приемлемее Пастер-

нак; Пастернак, упорядоченной связью стихотворений покрывающий их внутреннюю бессвязность.

Нельзя же в самом деле допустить, что такие вещи, как «Так начинают года в два», как стихотворение с Вертером и смертью или с пансионеркой — «чижи, мигрень, учебник»,— что все это излишки, не нашедшие себе места в предыдущем сборнике, ересь!

Нам, интеллигентским поколениям революции, непосредственно предшествовали два мощных идеологических течения: символизм и русский демократизм (с такой мощной культурной отраслью, как народничество).

В речи символистической интеллигенции с большой буквы писались и серьезно произносились слова: Бездна, Вечность, Искупление. Это были слова с положительным знаком, выражавшие несомненные идеологические ценности.

В речи демократической интеллигенции так же ценностно звучали слова: личность, лучшие порывы, на страже общественных интересов, Высшие женские курсы...

Обе культуры кончились. Символизм кончался в очень сложных условиях. Знаменитый кризис символизма — это было крушение идеологических ценностей символизма, которое намного предупредило гибель символистического стиля. Символистический стиль еще целиком достался Гумилеву. Но именно о фактах такого рода Анненский сказал в статье «О современном лиризме»: «Мы в рабочей комнате. Конечно, слова и здесь все те же, что были там (у символистов.— *Л. Г.*). Но дело в том, что здесь это уже заведомо только слова».

Символистический стиль Гумилева — уже не способ познания и выражения мира, а только эстетика молодой школы. Литературный диалект с неясным отношением к действительности.

Какие-то пласты символистической речи временно задержались в культуре акмеизма. Но в то же время символистическая речь неудержимо быстро спускалась к обывателю. Во все эпохи обыватель наряду со своим обиходным, разговорным языком (средним штилем) имеет и свой высокий обывательский стиль, закрепляемый в литературе. Это, так сказать, провинциальная литература не потому, что она непременно издается в провинции, но потому, что она идет по пятам больших идеологических движений и подбирает упавшие слова в тот момент, как они теряют свой смысл. Слова пустые, как упраздненные ассигнации, слова, не оправданные больше ни творческими усилиями, ни страданиями, ни социальными потрясениями, в свое время положившими основания их ценности.

В обывательском высоком слоге, подобранном по признаку красивых слов, безразлично смешивается терминология разных культур и противоречивых идеологических систем.

В дореволюционную эпоху последки символистического слога составляли основу обывательской литературы, начиная любительскими романами гимназистов, студентов и актрис и кончая такими образцами этой литературы, как Арцыбашев и т. д.

Литературного вкуса не может быть у молодых людей, не понимающих своей современности. Не понимать современности могут позволить себе старшие, люди другой культурной эпохи. Молодые в этом положении оказываются людьми вообще без эпохи, следовательно, и без вкуса, потому что вкус всецело историчен.

Анна Андреевна жаловалась Шкловскому, что сидит по целым дням одна: люди, которые меня не уважают, ко мне не ходят, потому что им неинтересно; а люди, которые меня уважают, не ходят из уважения, боятся обеспокоить.

Вспомнила, что говорил Гуковский: «Если человек нашего поколения (старшие не в счет) не бродил в свое время в течение недели, взасос твердя строки из «Облака в штанах», с ним не стоит говорить о литературе».

В ответ на мои недоумения, почему это нужно непременно заниматься любой современной литературой, когда есть великая несовременная, Брик говорил мне: «Вы все работаете в тылу. Разумеется, работать в тылу в своем роде нужно и полезно, но необходимо и почетно работать на фронте».

Я рассказала это Тынянову; тогда он как раз был не в ладах с москвичами, а потому говорил «они» и раздражался.

— А почему вы им не сказали, что они со своей литературой факта — генералы без фронта?.. Знаете вы, как кончилась мировая война? Генерал Гинденбург позвонил генералу Людендорфу по телефону: «Генерал, знаете ли вы о том, что у нас нет фронта?» «Генерал, я знал об этом уже в 12 часов».

Горький недавно говорил Николаю Эрдману о Толстом: «Вы думаете, ему легко

давалась его корявость? Он очень хорошо умел писать. Но по девять раз перемарывал — и на десятый получалось наконец коряво».

Юрий Ник. Тынянов о Ставрогине — это игра на пустом месте. Все герои «Бесов» твердят: «Ставрогин! О, Ставрогин — это нечто замечательное!» И так до самого конца; и до самого конца — больше ничего.

Достоевский работал психологической антитезой, двумя крайними точками. Если бретера Ставрогина бьют по лицу, то бретер прячет руки за спину; если Дмитрий Карамазов потенциальный преступник, то святой старец кланяется ему в ноги. Если человек — идиот, то он умнее всех.

Тынянов говорил о назойливости толстовских «уличений» в «Войне и мире», но толстовский парадокс (я разумею сейчас парадокс как прием изображения) никогда не шел по линии обязательного выворачивания наизнанку. Вместо этого обратного хода он пользуется разложением (остранением), целой шкалой дифференциальных приемов и ожиданных (в результате усвоения читателем писательского метода) неожиданностей.

Тынянов рассказывал нам, как он воспользовался толстовским ходом для одного места «Кюхли». Он несколько раз писал сцену, когда Кюхельбекер попадается в руки солдат, и она все ему не давалась, выходило плоско. Тогда он сделал так: Кюхля заранее, мысленно, переживает свою поимку — и все происходящее в действительности представляется ему грубым и неудачным повторением.

Это толстовская система опровержения того, что персонажи о себе говорят и думают. Вроде: что это я говорю? Это совсем не то... Автор умывает руки.

Речь Шкловского эстетически значима, притом не кусками, а вся сплошь. Это специфическая система, функционирующая уже независимо от его воли, то есть своего рода диалект. Вот почему Шкловский не может заговорить непохоже; у него нет других слов. Он не может открыть люк в своем диалекте, через который собеседник увидал бы другой речевой пласт, домашний, хранимый про себя. Поэтому он нисколько не похож на салонного разговорщика или на эстрадного речедержателя, а более всего похож на диалектический экспонат. Есть множество самых нейтральных слов и словосочетаний, которые никак не могли бы быть им произнесены. Он, например, не может просто сказать: «Я совсем забыл, что мне надо зайти к Всеволоду Иванову».

Хорошо и счастливо работается только тогда, когда работа целиком заливает сознание. Я люблю писать по ночам, потому что ночью теряется рассеивающее ощущение движения времени. Днем только в самых редких случаях удается достигнуть этой творческой окаменелости, глубокого безразличия к окружающему. День весь расчленен: он измеряется и управляется дробными величинами часов; причем каждый час имеет свою характеристику, настойчиво поддерживающую дробление. Одни часы ассоциативно связаны с профессиональными обязанностями, другие с обедом (это сильное членение, дающее особую окраску часам предобеденным и послеобеденным), иные с отдыхом. Словом, день очень заземлен, его этапы предназначены регулировать суету и не способствуют высокому оцепенению. Дневные часы наказывают нас отвратительным ощущением бестолковости, если мы нарушаем и смешиваем их функции; два часа дня и четыре часа — очень разные вещи. Два часа и четыре часа ночи — почти одно и то же. Все ночные часы в равной мере предназначены для сна; сон же представляется нам скорее потребностью, чем обязанностью. Пересилив эту потребность, мы чувствуем себя вправе искажать лицо ночи по нашему усмотрению.

Ночные часы лишены индивидуальных признаков. Время не продвигается толчками, но сливается в поток, протекание которого неощутимо.

Человек за письменным столом слышит, как пульсирует кровь в его висках, разгоряченных работой. Он смотрит непонимающими глазами на циферблат, по которому без определенной цели движется часовая стрелка, до самого утра не имеющая власти над человеком...

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Светлана Соложенкина. Современность современного.— **В. Оскоцкий.** «Строки поэтов живут века...».—**Сергей Чупринин.** Ясным светом.—**Н. Эйдельман.** Вклад в пушкиниану.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Р. Баландин. От освоения к взаимодействию.— **Лев Филатов.** Игра для всех.

Литература и искусство

СОВРЕМЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО

Сагдулла Караматов. Золотые пески. Роман. Перевод с узбекского Ю. Карасева. М. «Советский писатель». 1981. 352 стр.

Уктам Усманов. Наедине. Роман. Перевод с узбекского В. Панкиной. М. «Советский писатель». 1981. 342 стр.

Глиняный дракончик-свистулька из Бухары, безобидный и веселый... Он живет на моей книжной полке рядом со «Сказками Шахразады», о которых, помните, Горький писал: «Эти сказки с изумительным совершенством выражают буйную силу цветистой фантазии народов Востока — арабов, персов, индусов...»

Существует определенная инерция читательского восприятия. С этим ничего не поделаешь. Знаешь, что давным-давно, как сказал поэт, «нет в пустыне такого Востока», а все-таки...

Был, впрочем, момент, когда в Бухаре на миг показалось, что время и впрямь остановилось, не помышляя ни о каком прогрессе. На повороте узкой и кривой улочки навстречу нашей туристской группе выехал вдруг величавый старец в белоснежной чалме, восседающий на маленьком замшевом ослике... Выходец из «Тысячи и одной ночи», он небрежно и чуть пренебрежительно скользнул взглядом по машинам, теснящимся на каменном пятачке городской площади, и пропал за поворотом... И сразу нелепыми и смешными показались висящие на каждом углу вывески «Ремонт часов с гарантией». Какая уж тут гарантия!

А потом был Самарканд с его голубыми куполами и неповторимой синевой мозаик на древних стенах. Очевидно, синева привлекала пчел — и они летали низко-низко, над самыми плитами мостовой, золотые, гудящие... Стершиеся булыжники, должно быть, казались им каменными сотами.

Было очень жарко. На знаменитом самаркандском базаре я пыталась купить «что-нибудь старинное, ручной работы». Но ручной работы предлагали почему-то... только поводки для собак. Красивые, правда, затейливые, плетеные. Но собаки у меня не было. Кончилось тем, что я купила своего милого, хотя и явно поточного производства дракончика.

Однако все пиалы и поводки, все мечети, старцы и ослики мгновенно и бесследно вылетели из моей головы, когда мы очутились в Навои. Этот новый город, как мираж, возникающий среди пустыни, способен ошеломить самого завзятого эстета своей индустриальной красотой. А его зеленые парки, рукотворные озера и многочисленные бассейны?.. Вокруг жарко дышит пустыня. А здесь — дети, устанавливающие всесоюзные рекорды по плаванию!.. Это было непостижимо прекрасно. И пока мэр города горделиво-скромно показывал

нам свои владения, я смотрела на него так, как, наверное, могла бы смотреть на джинна из бутылки, соблаговоли он мне явиться.

Вот так и получилось, что стремилась я в Бухару и Самарканд, а уехала, завороженная Навои. Между тем по возвращении все спрашивали меня опять-таки о Бухаре и Самарканде, а бессвязные мои восторги новым городом оставляли слушателей, в общем, спокойными.

И я вновь подумала об инерции читательского восприятия. О том, как трудно привлечь внимание не к экзотическому, а к новому Востоку, как трудно впечатляюще передать красоту и величие этого творящегося на наших глазах нового.

Тем интересней всякий раз книги наших среднеазиатских писателей, обращающихся к современной теме. Для этого нужна определенная отвага. Ведь художнику приходится преодолевать как бы двойную силу инерции: ту самую инерцию читательского восприятия, о которой мы уже говорили, и собственную, писательскую. Она ведь тоже существует! Средневековая восточная литература, на которой все мы выросли, обладает большой притягательностью и богатейшим арсеналом изобразительных приемов и средств. Согласитесь, если вам кто-нибудь скажет: «Жили плотник и ткач...» — вас это мало заинтересует. Ну, жили и жили. Но если то же самое будет начинаться: «Легенды гласят, сказания рассказывают, что в одном городе жили плотник и ткач...» — вы немедленно приготовитесь с большой охотою слушать дальше. А вот как быть без легенд и сказаний?.. Или попробуй-ка рассказать столь же занимательно, но по-другому не о плотнике и ткаче, а, скажем, о геологах и селекционерах, живущих и работающих не в каком-то абстрактном городе, а в современном Ташкенте, положим. И без всяких «легенды гласят...».

Впрочем, два узбекских прозаика уже сделали это. Герой романа Сагдуллы Караматова «Золотые пески» как раз геолог. А в романе Уктама Усманова «Наедине» перед читателями предстает молодой селекционер. Причем и для того и для другого автора, как явствует из аннотаций, роман — жанр, к которому они обращаются впервые. Хотя писатели эти достаточно известные в республике. И вот оба прозаика почувствовали внутреннюю необходимость обратиться к р о м а н у на современную тему. При этом не сговариваясь сделали своими героями крупных ученых, решив показать их непростое восхождение к вершинам науки. Любопытное совпадение, не правда ли?.. И, очевидно, не случайное: сама жизнь подсказала тему; сходные проблемы, что называется, носятся в воздухе... А воздухом-то мы все дышим одним.

В повести Р. Фиша и Р. Хашима «Глазами совести», воссоздающей страницы жизни и творческой деятельности С. Айни, приводится такой эпизод. С. Айни спрашивает у дочери: «Ну, рассказывай, дочка, что было в школе!» — и та, пожав плечами, отвечает: «Обыкновенно. Сами знаете, отец, литературный вечер. Читали стихи. Лермонтова, Пушкина». И это краткое сообщение дочери наводит Айни на такие размышления: «Обыкновенно! Таджикские девушки читают по-русски стихи Лермонтова, Пушкина. Слышал бы это мулла Камар и его свора, будь они прокляты!»

Очень выразительный и много говорящий эпизод, не правда ли?.. Вот такого «обыкновенного» немало появилось за прошедшие после установления советской власти годы на Востоке. Неграмотные некогда дехкане преобразили свою землю и поднялись к вершинам мудрости. Их дети, внуки — не просто грамотные люди. Кандидатской степенью теперь никого не удивишь. Молодые доктора наук тоже не редкость!.. И то, что узбекские прозаики делают своими героями крупных ученых, по-видимому, столь же обыкновенно. Два романа, к которым мы обращаемся сегодня, стоят в определенном ряду, свидетельствуют о неоспоримости происшедших социальных достижений и духовном росте обыкновенных тружеников — наших современников, сынов и дочерей нового Узбекистана.

Читать эти романы параллельно по-своему очень интересно. Ведь не зря же заметил кто-то мудрый, что когда двое говорят об одном и том же, то это уже не одно и то же.

Сначала — о сюжетных схемах (к слову «схема» мы привыкли относиться как-то неодобрительно, но в данном случае это определение носит чисто конструктивный, а не эмоционально-оценочный характер). Их можно изложить буквально в двух словах, что и сделали составители аннотаций, предваряющих книги. Не мудрствуя лукаво, прибегну к цитатам, чтобы тем самым сразу ввести читателей в круг проблем.

Итак, о «Золотых песках» С. Караматова сказано: «В центре романа судьба крупного ученого, геолога, беспокойного энтузиаста, горячо отстаивающего принципиальные позиции в науке. Геологические открытия героя, взаимоотношения с коллегами, сложные перипетии его личной жизни — обо

всем этом и повествуется в романе «Золотые пески».

О романе «Наедине»: «Главный герой — молодой селекционер Азиз Касымов — занимается выведением нового сорта хлопка, устойчивого к заболеваниям, урожайного. Некоторые из ученых, встречающихся на пути Азиза, не верят в успех нового дела. Но научный поиск Касымова, его борьба и победа доказали, как велика и благородна борьба во имя интересов человека и общества».

Предвижу, как скучнеет и неодобрительно вздыхает читатель — мол, что за язык... общие фразы... Да, это вам не Шахразада! С такими «аннотациями» в первую же ночь слетела бы с плеч ее бедная головушка... Но чего и ждать от аннотаций, от их вечно безымянных авторов — им-то ведь ничто подобное не грозит! Нам же было важно уловить следующее: оба романа — остроконфликтны, их герои добиваются своей цели нелегко, многое приходится им преодолевать (в том числе й в самих себе). И здесь мы сталкиваемся с забавным парадоксом. Насколько нежелательны бывают нам реальные затруднения и препятствия в собственной жизни, настолько прямо-таки насущно необходимы таковые в судьбах героев книг, которые мы читаем! Да мы без них, признайтесь, дорогой читатель, и одной страницы не перевернем... Взять хотя бы и милую нашему сердцу традиционную восточную литературу с заранее известными персонажами Он, Она, Злодей или злодеи, мешающие их счастью... Ведь если бы Он и Она могли полюбить друг друга без всяких помех — и сказки бы не было и нам бы это было просто ни к чему...

Шутки шутками, но разве, в самом деле, не конфликт — сердце любого произведения? Нет конфликта — произведение бездыханно. И потому прежде всего так пристально приглядываемся мы именно к конфликту, стремимся определить его суть и степень остроты. И потому, перефразируя известное изречение «ищите женщину», я говорю себе, приступая к чтению: ищи злодейство!

Впрочем... что его искать, оно само нас находит. При этом отнюдь не стремясь быть узнанным, напротив, принимая самые современные формы. Ну кто, например, заподозрит в намеренном злодействе такого почтенного на вид человека, как профессор Баки-заде из «Золотых песков»? Или — директора Расула Аллаяровича из романа «Наедине»? Поглядеть на них со стороны — интеллигенты, право слово, интеллигенты... Образованны, когда надо — обходительны до вкрадчивости. Умеют зарезать без ножа?.. Впрочем, это неточно сказано... Зарезали бы, будь сие для них самих гарантийно безопасно... И тот и другой немало крови попортили главным героям романов — бескорыстным энтузиастам и правдолюбцам. Но лишь до той поры, пока начальство сверху не вмешалось. Тут и козням их, да и конфликту — конец.

Но до той, последней, точки как же все-таки, не превращая пресловутых отрицательных героев в легко узнаваемые театральные маски, дать читателю почувствовать их неприглядную человеческую сущность, обнаружить их склонность к интригам, демагогии, их лицемерие хотя бы? Тут кроется немало трудностей, тут и проявляется (или не проявляется) психологическое мастерство писателя. Нужны «говорящие» детали... выразительные жесты... Хотя бы такой: профессор Баки-заде (из романа Сагдуллы Караматова «Золотые пески»), готовясь к не очень приятному для себя разговору, начинает манипулировать очками в черной роговой оправе, то вздевая их на лоб, то вновь водворяя на переносицу. Острые на язык студенты прохаживались на этот счет: «...дескать, на лбу у домлы Баки-заде имеется еще пара глаз, невидимых, и когда профессор приступает к ответственному разговору и ему нужно повнимательней разглядеть собеседника, он передвигает очки на лоб, смотрит через них своими «тайными» глазами, взгляду же обычных глаз придает выражение, соответствующее моменту».

Забавно, что и директор Расул Аллаярович (из романа «Наедине» Уктама Усманова) «любил красивые очки в элегантных оправах. У него их был целый набор, из его карманов торчали обычно две-три пары. Он подбирал их в соответствии с требованиями моды, словно на все случаи жизни, словно они гарантировали ему разную, но всегда правильную и точную реакцию на все, что происходило в мире и вокруг, рядом».

Можно подумать, писатели сговорились. Но так как это совершенно невероятно, остается предположить, что не только темы и сюжеты бывают бродячими — но и художественные приемы имеют свою типологию, и тут что-то тоже «носится в воздухе»... Впрочем, кроме этого случайного совпадения, в остальном отрицательные герои С. Караматова и У. Усманова достаточно индивидуализированы.

Меньше повезло, как это обычно водится, персонажам сугубо положительным. И что за притча такая, почему писатель-

ские карандаши чаще всего ломаются именно на этом месте! Это относится и к профессору Петровскому в романе С. Караматова и к профессору Иванову в романе У. Усманова. Не случайно Иванов присутствует в романе лишь косвенно — в воспоминаниях знавших его людей, и в первую очередь Азиза Касымова, чьим наставником он был; а профессор Петровский, наставник Шерали Алиева, подобно мавру, сделавшему свое дело, исчезает со страниц романа ближе к концу...

Впрочем, может быть, дело в этом самом словечке «сугубо». Сугубо положительный, сугубо отрицательный — не возвращает ли это нас к условным театральным маскам вместо живого лица? Отдельно — свет, отдельно — тень... А хочется светотени. Постичь таинство светотени всего трудней.

Характерно замечание автора романа «Наедине» по поводу сложных взаимоотношений академика Джаббарова со своим аспирантом Касымовым: «А в общем-то, он был для Азиза пока не до конца разгаданным ребусом: такой талант — и такой консерватор одновременно!» Азиз с присущим ему горячим, чуть наивным прямодушием пытается отделить одно от другого. Но в том-то и сложность, что соединение столь несоединимых, казалось, душевных свойств здесь отнюдь не механическое. Такие «ребусы» можно порой разгадывать всю жизнь — и безуспешно... Это печально для Азиза, но отрадно для читателя, так как благодаря авторскому искусству светотени образ академика Джаббарова — один из самых сложных и самых живых в романе.

По-настоящему колоритен в романе «Наедине» и бригадир Махамат-ака, по прозвищу Упрямец,— горячий, вспыльчивый, но исполненный истинного благородства и душевной тонкости дехканин. Поначалу, когда по настоятельной просьбе всеми уважаемого профессора Иванова председатель колхоза решил выделить полтора гектара земли для проведения научных опытов аспиранта Касымова, Махамат-ака встречает это решение, да и самого Азиза, в штыки. Но поняв, какое большое и благородное дело затеяли ученые, уступает. А позже, полюбив его, как сына, становится для Азиза настоящей опорой. Именно Махамат Упрямец — верный друг — помогает Азизу во всех его житейских передрягах и нелегкой борьбе с «талантливыми консерваторами». Его поддержка тем более дорога и нужна Азизу, что в нелегкой борьбе за научную истину, мужественно перенося все гонения и лишения, он, увы, сам не замечает порой, что, по выражению его жены Салтанат, становится «букой, нелюдимом», что ему грозит реальная опасность разувериться в людях... Ведь вот и она, Салтанат, все больше отдаляется от него (или он от нее?). Они любят друг друга, но взаимное непонимание растет, как снежный ком, и едва не оборачивается трагедией...

Нужно отдать должное У. Усманову: он не идет на упрощение конфликта. Куда как просто и привычно было бы сделать из главного героя — Азиза Касымова — непонимаемого до поры гения, а из его жены — махровую мещанку, которая, конечно же, только камень на шее... Но автор решительно отворачивается от штампа, стремясь к нелегкому искусству светотени. И слава богу! И Азиз и Салтанат — страдающие, любящие — предстают перед нами во всей сложности своих чувств и переживаний.

Посмотрим теперь, из чего же состоят «сложные перипетии личной жизни» в романе С. Караматова.

Личная жизнь талантливого геолога Шерали Алиева в самом деле сложилась както нескладно... Говоря точнее, она не сложилась, хотя он женат и у него трое детей. Жену свою он жалеет, любит по-своему, но... не так, как в юности любил другую, Сабогуль, к которой и до сих пор тянется его сердце. Увы, в жизни так бывает нередко: любят одну, женятся на другой. Было бы наивностью и плоским морализаторством требовать, чтобы этого не было. Если бы требования такого рода были приемлемы, следовало бы начать с того, чтобы Адама и Еву вернули в райские сады. Из-за какого-то яблока... Но, впрочем, не будем отклоняться от темы. Попробуем лучше уяснить, из-за чего же все-таки Шерали и Сабогуль не смогли при взаимной любви соединить свои судьбы.

Сабогуль, рано оставшуюся сиротой, воспитал и вырастил дедушка; суровый, как обветренный камень, старик не баловал внучку, требовал беспрекословного послушания. Когда девушка подросла, он позаботился о ней весьма своеобразно: против ее желания выдал замуж за тщедушного Абдухалика. Абдухалик, правда, парень был безобидный, но Сабогуль его не любила. Прожили они вместе не больше месяца. Потом началась война... Абдухалик отправился на фронт, и вскоре на него пришла похоронка... А Сабогуль осталась одна, вернее, с родившейся дочкой. И со своим суровым дедом... Для односельчан Сабогуль — не молодая, жаждущая счастья женщина, а прежде всего вдова фронтовика, павшего геройски за родину. И, следовательно, она обязана хранить ему верность и погибшему.

На этом всех непреложнее настаивал опять-таки дед...

Вот какая сложная предыстория предшествовала встрече Шерали и Сабогуль. Они полюбили друг друга. Но... «Дедушка этого не позволит!», «Что скажут люди?». И вообще: как быть с собственной, может быть, даже излишне обостренной совестливостью?

В душе Сабогуль происходит сложная борьба. Шерали поначалу пытается бороться за их счастье, уговаривает Сабогуль забрать дочку и уехать вместе с ним. Но... как оставить деда? И когда терпеливый читатель обрадуется, решив, что после смерти деда все препятствия устранены, ничто не помешает влюбленным... окажется, что он ошибся: воля умершего — священна вдвойне.

Шерали уезжает. Оба тоскуют, но не предпринимают никаких попыток вырваться из заколдованного круга... Что было потом, вы уже знаете. Жизнь берет свое, наш герой женится, и вот спустя двадцать восемь лет, точнее, спустя жизнь, солидный ученый Шерали Алиев случайно встречает в горах выросшую дочь Сабогуль, поразительно на нее похожую... а потом и саму Сабогуль... постаревшую, конечно, но по-прежнему прекрасную для него, с глазами «круглыми, как у серны».

Эти «круглые, как у серны», глаза героини, как и не менее традиционное сравнение «лицо ее сделалось алым, как тюльпан», как и прием совпадений и узнаваний спустя много-много лет, как и другой прием — вставных новелл в тексте романа, заставляют нас вспомнить о традиционной средневековой восточной литературе, о ее поэтике.

Я не хочу сказать, что само по себе обращение к поэтике средневековья плохо. Отчего бы и нет?.. Как мы уже говорили — да это бесспорно признает весь мир, не только мы с вами,— у занимательной восточной литературы немало художественных завоеваний, и даже при обращении к современной теме не худо взять из ее богатейшего арсенала что-то на вооружение. Не механически, конечно.

Правда, одним из главных достоинств занимательной восточной литературы было необыкновенно изобретательное построение сюжета, стремительность его поворотов. Стремительность... В те времена ведь еще не в ходу было модное ныне словечко «динамизм». Но дело не в названии. И если уж вспоминать о поэтике той литературы, прежде всего стоит обратить внимание на полное отсутствие статичности. В этом большое мастерство!

Между тем временами герои романа «Золотые пески» именно статичны. И Сабогуль, и Шерали по-настоящему интересны читателю до той поры, пока в их сердцах и душах идет сложная, глубокая борьба. Но вот фигуры, что называется, расставлены по местам, и игра кончается. Читатель забывает Сабогуль и ее появление «под занавес» воспринимает с чувством некоторого напряженного удивления — казалось, сюжет уже завершен. Эта статичность ослабляет и впечатление от интересно задуманного и, бесспорно, колоритного романа С. Караматова. Нельзя не отметить подлинную живописность многих его кусков, тонкое чувство природы. Недаром Шерали не только геолог, но и художник.

В своих дружеских и потому, может быть, несколько субъективных и пристрастных раздумьях о новых романах узбекских писателей мне хотелось передать ощущение того, как в сегодняшней литературе идет обогащение традиционной восточной поэтики, нелегкий и непростой процесс насыщения ее современными проблемами, углубленным психологизмом, без чего и невозможно передать все многообразие и сложности нашей бурной жизни...

Мой безмолвный и милый собеседник — дракончик из Бухары на моей книжной полке — из глины, на которой, может быть, останавливал в свое время взгляд Омар Хайям... А может быть, той глины касался, бывая в Средней Азии, другой — прекрасный русский поэт, мастер, завещавший нам:

Пока владеют формой руки,
пока твой опыт
не иссяк,
на яростном гончарном круге
верти вселенной
так
и сяк.
Мир незакончен
и неточен,—
поставь его на пьедестал
и надавай ему пощечин,
чтоб он из глины
мыслью стал.

Светлана СОЛОЖЕНКИНА.

★

«СТРОКИ ПОЭТОВ ЖИВУТ ВЕКА...»

Пиримкул Кадыров. Звездные ночи. Роман. Перевод с узбекского Ю. Суровцева и автора. М. «Известия». Библиотека «Дружбы народов». 1981. 495 стр.

«Копыто раздавило бутончик тюльпана, что только было собрался поднять головку от земли и раскрыться»...

Не только в сюжетных коллизиях, но и в образной материи слова, в строе фразы отзываются контрасты времени, в котором живет и действует исторически доподлинный герой романа «Звездные ночи» Захириддин Мухаммед Бабур. Потомок Тимура, феодальный правитель сначала Ферганы, затем Кабула, а под конец своей бурной, неспокойной жизни — падишах Индии, основатель династии Великих Моголов. Выдающийся поэт и ученый восточного средневековья, автор знаменитого памятника тюркоязычной культуры «Бабур-наме», лирического «Дивана», трактатов по поэтике и музыке.

Композиционно роман П. Кадырова выстроен по законам последовательно хронологического жизнеописания героя — от детских и юношеских лет до последних дней. Однако его сюжет достаточно напряжен и просторен для того, чтобы вместить широкую панораму эпохи. В вихри истории вовлечена венценосная судьба Бабура, переменчивая и непостоянная, как и его утомительно-капризная воинская слава, знавшая высокие взлеты и крутые падения, головокружительную радость побед и гнетущую тяжесть поражений. Жизнь, которую впору уподобить горному роднику, попавшему под обвал; но вопреки оползню, преградившему выход воде, «у родника не иссякла внутренняя сила, снова начал он пробиваться сквозь камни. Клокоча, он в родившей его стихии все ищет и ищет путей, чтобы снова пробиться в светлый мир».

На пути встают то андижанские беки-мятежники, то самаркандские духовники, невежды и фанатики: «Темные и жестокие силы, некогда погубившие Улугбека, змеи шипящие, они пустили в ход ядовитые свои жала, когда он, Бабур, взялся за восстановление обсерватории великого ученого. Бабура тоже обвинили в измене мусульманству, убедили в этом даже немалую часть войска, что способствовало его поражению в Кызылкумах». Идее единения упрямо противятся правители Ташкента и Герата. Степной Шейбани-хан побеждает ослабленных взаимным недоверием, междоусобной враждой тимуридов. «Чем сильней оказался Шейбани-хан? Коварством, жестокостью, бесчеловечной прямотой помыслов. И еще одним: фанатизмом, суннитским одушевлением веры». Выходит, чтобы победить, «надо быть ныне таким, как Шейбани. А он, Бабур, хотел быть просвещенным правителем, отдавал много времени и сил поэзии, искусству, зодчеству, думал о человечности... Но что же важнее — человечность или власть, даже в едином Мавераннахре?»

Так, исподволь нарастая, углубляется и ширится ведущий мотив повествования, драматично отражающий социальный по своей природе конфликт между объективным ходом истории и субъективными устремлениями личности, поднятой на вспененный гребень событий. Гуманизм просвещенной власти — не более чем мираж в лучшем случае выдающий прекраснодушие властелина.

Сын своего времени, Бабур принимает и усваивает его жестокую логику: «Средь сильных надо стать сильнейшим». Успешный поход в Индию вплотную приближает вожделенную мечту о государстве, созданном его, Бабура, сокрушительной волей. Но «черного пятна **завоевателя**» не смыть с себя, так же как не извести «скрытую язву души». Не радостная газель в честь одержанной победы выливается из-под пера, а горестное признание:

Сколько лет, сколько лет мне ни в чем
не везло! О беда!
Жизнь моя — заблужденье одно.
И — теперь, и — всегда...
Черным горем гоним, я ушел в Хиндустан,
но за мною тотчас же
Черной тенью, пятном неотмывным оно
притащилось сюда!

Нет, не дано было Бабуру, как и никому в мировой истории, перешагнуть пропасть, разделившую войну и искусство, власть и творчество. «Холодная вьюга» единодержавных амбиций неотвратимо приближает его к тому краю, где вершатся и казни, и набеги, и войны. «Власть требует от человека холодного расчета, беспощадности, равнодушия к чужим бедам. Я привык к власти... все больше вхожу во вкус власти — и чувствую, что черствею»,— терзается герой романа, изнуренный непрестанной борьбой в себе между властелином, шахом и поэтом, художником. Шах Бабур, всю жизнь стремившийся создать и возглавить крепкое и единое государство, не мог не свершать и такое, о чем так мучительно было вспоминать, судить и писать поэту. «То, что про-

исходило между Алишером Навои и Хусейном Байкарой, у Бабура бушевало в сердце — одном сердце одного и того же человека».

Что и говорить, неодномерный, сложный, разъятый надвое характер выписан в романе П. Кадырова. Характер, погруженный в эпоху и преломивший в себе ее неразрешимые противоречия. Создание такого характера равно потребовало от писателя и острого социального взгляда на события далекого прошлого, и глубокого психологического проникновения в его духовные драмы

Во имя чего? Ради извлечения непреходящих уроков истории. «Строки поэтов живут века...» Основанное Бабуром государство Великих Моголов выстояло в жестоких испытаниях при сыне Хумаюне, укрепилось и возвысилось при внуке Акбаре... Но все-таки и его пережил вещий бейт, высеченный на камне:

Пораженный отвагой моею и силой —
мир склонился у ног.
Тщетно! Мир покоренный с собою в могилу
унести я не смог.

Найденный спустя четыре с половиной века, в 1954 году, у колодца вблизи таджикского кишлака Оббурдон, этот камень хранится ныне в музее в Душанбе...

В. ОСКОЦКИЙ.

★

ЯСНЫМ СВЕТОМ

Вацлав Михальский. Стрелок. Повести, рассказы, роман. М. «Современник». 1980. 415 стр.

Вацлав Михальский. Все уносящий ветер... Роман, повести, рассказы. М. «Советский писатель». 1981. 463 стр.

Весь сложный, разветвленный, многолинейный сюжет романа «17 левых сапог» вышел, как признавался позднее сам Вацлав Михальский, из очень, в общем-то, обыкновенной житейской истории, свидетелем которой автор когда-то стал.

«По булыжной мостовой, чуть в горку, чалый мерин уныло влек телегу с гробом, на передке телеги сидел краснолицый белобрысый мужчина, курил папироску, за гробом шли грузная старуха и несколько мальчишек лет десяти — двенадцати, один из них нес у живота обыкновенную подушку в белой засаленной наволочке и на ней две медали, тогда у меня были зоркие глаза, и, присмотревшись, я различил, что это медали «За отвагу» и «За боевые заслуги»... Вот такой случай».

Обычная в своей бесхитростной печали картина. Обычные переживания случайного прохожего, что приостановится на миг, затронутый чужой скорбью, а потом пойдет себе дальше, то ли о скоротечности всего земного размышляя, то ли в свои привычные — опять же земные, скоротечные — заботы погружаясь...

Но так уж устроена писательская душа, что никакое, даже самое мимолетное впечатление не проходит для нее бесследно. В урочный час, когда автор опять-таки нечаянно узнал, что его сосед по лестничной площадке — тихий бухгалтер дядя Коля был, оказывается, человеком выдающегося мужества, совершил в войну геройские подвиги, припомнился, кстати, и рыбинский случай.

И тут мощно, на всех оборотах заработал мотор воображения, наделяя новой жизнью и краснолицего возчика, и грузную старуху — ей суждено было стать в романе юношеской любовью главного героя,— и мальчишек, что важно вышагивали за гробом с медалями на белой засаленной подушке. Открылась читателю трудная, странная судьба одноногого больничного сторожа Алексея Зыкова, что прожил последние десятилетия в чужом городе под чужим именем Адама Домбровского. Довоенная лихая юность, фронт, пленение, Освенцим, побеги, горькая обида на тех, кто на родной уже земле после победы не поверил Алексею, счел трусом, если уж не вовсе изменником, вынудил его скрываться, таить свои боевые заслуги не только от посторонних людей, но и от родных...

Виток за витком разворачиваются в романе воспоминания Алексея Зыкова, отмякает его душа в последние четыре предсмертные дня, и уж не привычный страх навредить близким, а гордость за свою честно и высоко прожитую жизнь окрашивает и эти воспоминания, и думы героя, и его ненарочитые, к случаю, разговоры с ребятишками, что обрывают тютину в больничном саду, ловят таранку на червяка, до черноты жарятся под южным беспощадным солнцем...

Митьке, Толяну, Феде, их сверстникам и дела нет до того, как шли прежде дни бесприютного Адама, до обстоятельств и причин его одинокой, скудной жизни в больничной сторожке. Узнай мальчишки про то, что старший их товарищ за подвиги ве-

ликие был представлен к званию Героя Советского Союза, совершил несколько дерзких побегов из лагерей смерти, они, конечно, больше бы, чем сейчас, хвастались дружбой с чудаковатым стариком. Хвастались бы больше, это да, но любили бы так же, как любят и теперь, ибо не ореол таинственности притягивает их к Алексею-Адаму, а иное, совсем иное — доброта. Та беспредельная, никакими испытаниями и тяготами не порушенная доброта, за которой ребята своим слабым еще, но верным разумением угадывают и крупный характер, и значительную судьбу.

Не будь этих Митек и Толянов, которые возникают вроде бы на периферии повествования, на самой его кромке, роман «17 левых сапог» был бы совсем иным: более жестким, более сконцентрированным сюжетно, более мрачным по тону и окраске. Но не только для лирической, облагораживающей «подсветки» драматического сюжета вводит Вацлав Михальский в роман своих юных героев — их взгляд на старика Зыкова, их нравственную оценку, их понимание происходящего. Писателю важнее другое — показать преемственность, непрерывность памяти, что переходит от старших к младшим, что объединяет всех родственно мыслящих и родственно чувствующих людей в некое незримое сообщество — сообщество добрых людей.

Так из дум о связи поколений, о памяти, хранящей нравственный опыт народа, вырастает важнейшая для Вацлава Михальского мысль — мысль о ненапрасности всякой достойно прожитой человеческой жизни.

Что и говорить, не каждому дано занести свое имя на исторические скрижали человечества. Не каждому суждено изведать на своем веку славу, обеспечивающую бессмертие. Но каждый, кто для людей прожил отпущенные ему годы, кто передал обществу частицу своего опыта и своего достоинства,— тот сполна осуществил свое человеческое предназначение, не бесследно прошел по белу свету. Так, ненапрасной была горькая, сиротская доля героя романа «17 левых сапог», ибо, как поймет впоследствии, повзрослев, Митька, «хороший человек Алексей Зыков прожил свои шестьдесят пять и еще проживет семьдесят его, Мити, и жизнь Феди, и Гены, и Толяна, и всех мальчишек». Так, ненапрасным было и легкое дыхание Катеньки, героини одноименной повести Вацлава Михальского, что не вовсе рассеялось в наэлектризованном воздухе гражданской войны, а согрело судьбы пусть даже немногих близких ей людей, чтобы спустя десятилетия слиться с дыханием новой Катеньки, еще только начинающей жизненный путь...

Что героического совершила неграмотная старуха-аварка Патимат, которая, как повествуется в «Балладе о старом оружии», на второй день войны ушла на фронт искать своих сыновей-воинов, чтобы передать им оправленную в серебро и кость кремневку прадеда и материнское благословение? Да ничего, пожалуй. Ей и сынов-то даже не удалось найти в военной круговерти... Но как велик, как ясен свет, которым Патимат одарила всех, кто встретился ей на трудном и долгом пути по просторам России! Светлую память о себе, добром человеке,— вот что Патимат оставила и бойцам, схоронившим старуху на степном кургане, и своей никогда ею не виденной внучке Тане, что и языка-то уж родного не знает и с обычаями родными не в ладу, но вопреки всем жизненным переменам чувствует себя естественной наследницей, хранительницей того нравственного закона, повинуясь которому Патимат вышла в свой последний путь из затерянного в горах аула...

Книги Вацлава Михальского почти исключительно населены добрыми людьми.

Подобно Алексею Зыкову или Патимат, писатель приметлив и памятлив именно на встречи с теми, кто достоин называться д о б р ы м, то есть, как подсказывают слова, относящимся к людям с расположением и сочувствием, отзывчивым, готовым понять других, ничем дурным не запятнанным.

Единственно к кому нетерпим писатель, так это к фразерам, собственным красноречием отгораживающимся от чужой беды и боли. И еще к тем, кто, руководствуясь дурными, а чаще хорошими, да скверно понятыми принципами, пытается алгеброй сухих инструкций и установлений поверить гармонию человеческой чести, благородства, совести. Всюду, где сюжетные повороты сталкивают героев В. Михальского с подобными типами, автор с недвусмысленной ясностью высказывает свое отношение, свою нравственную позицию. И... идет дальше вместе с героями, ему дорогими и близкими. Тягчайшей из кар, которая, по понятиям писателя, постигнет плохого человека, будет забвение, бесследность и напрасность его жизни на земле.

Человек словно в доме со стеклянными стенами живет: все на виду, все достушно суду окружающих. Можно скрыть от всех те или иные свои поступки, мысли, речи Не скроешь характер — он всегда выявит себя,— не скроешь собственной приязни или неприязни к людям, к миру. Тысячи испытующих глаз смотрят на тебя, и среди них

самые доверчивые и одновременно самые проницательные, самые ласковые и одновременно самые непрощающие — глаза детей.

Есть свой, особенный смысл в том, что события и герои у Вацлава Михальского освещаются еще и этим — по-детски ясным и чистым взглядом. Мальчишки в романе «17 левых сапог», сегодняшняя девочка-подросток в повести «Катенька», аварка Таня, ставшая москвичкой в первом поколении («Баллада о старом оружии»), герой-рассказчик в повести «Печка» не просто корректируют оценки и самооценки «взрослых» персонажей, но еще и существенно расширяют своим присутствием, своим суждением духовное пространство повествования, размыкают его навстречу будущему.

С детьми — порою даже с одним только упоминанием о них — в прозу Вацлава Михальского входит воздух большого времени, завязывается мысль о корневой связи всего со всем и всех со всеми. Как веское «доказательство от противного» звучит в данном смысле повесть «Холостая жизнь» — история человека, равнодушного к «мысли семейственной», бесплодного, словно классическая смоковница.

Писательская манера Вацлава Михальского в этой повести, опубликованной журналом «Октябрь» (1981, № 7), решительно переменяется. Простодушная сердечность, с которой автор рассказывал о прежних своих героях, уступает место изощренно-аналитической суховатости. Блестящий и по нынешним временам совсем еще молодой — тридцатисемилетний! — экономист Антонов не исповедуется перед читателями (не в чем исповедоваться), а будто дает свидетельские показания, не упуская ни единой подробности, ни единой возможности, которыми смогли бы воспользоваться как защита, так и обвинение. В его словах о собственной правоте и неправоте нет бесстрашия самооговора, нравственного самосуда, которому подвергают себя слабые, но такие узнаваемо-обаятельные герои городской прозы Ю. Трифонова, А. Битова, Вл. Гусева, В. Маканина. Здесь одно только бесстрастие — бесстрастие очевидца, словно бы и не прожившего жизнь, а лишь присутствовавшего при ее течении, истощившего себя праздными наблюдениями за собственными деловыми и любовными победами.

Точный и обстоятельный диагностик, Вацлав Михальский отлично знает этого героя и нимало не сочувствует ему. Писатель равно безжалостен к своему Антонову и тогда, когда Антонов тщеславно тешит себя торопливым просмотром собственного донжуанского списка, и тогда, когда приуставшему, вконец промотавшемуся герою хочется сбросить с себя иго «легкой жизни»:

«Ему тридцать семь, а он все бегает в мальчиках-зубоскальчиках, и, как говорят его знакомые, у него «все впереди». А если вдуматься, это довольно мрачно, когда в тридцать семь «все впереди»... До боли в сердце захотелось Антонову тишины, основательности, семейной жизни, захотелось оберегать и радовать не только себя — другого человека... Пора жить всерьез, с размахом, с ответственностью... Пора по-настоящему впрячься в работу, ведь, черт возьми, у него же есть хватка!..»

Словно песок на зубах хрустит, когда цитируешь эти явно заемные, пустоватые признания. В том и правдивость писателя, что герой его даже в самые свои, казалось бы, просветленные минуты не умеет пробудить в себе подлинной сердечности, не умеет найти слова, полные искреннего, безоглядного чувства. Нет этого чувства; все съела лихорадочная погоня за удовольствиями, все поглотило и переварило тщеславие.

Так что не сломать Антонову стереотип собственного поведения и собственного мировосприятия, не победить инерцию, все дальше и дальше уносящую его от истинного человеческого предназначения. Остается что же? Твердить пушкинскую строку: «Дар напрасный, дар случайный...» — подсказывающе вынесенную Вацлавом Михальским в эпиграф повести...

Холостая жизнь — пустая жизнь, напрасная, не оставляющая ни следа, ни доброй памяти по себе, ибо человек, единожды обокравший себя, не остановится, пока не опустошит окончательно свою живую душу, пока не заместит сердечный порыв изощренной игрой своекорыстного рассудка.

Вот вывод последней повести Вацлава Михальского. Тем же, кому он покажется слишком очевидным или слишком назидательным, напомним, что житейская истина — а как раз ее-то и отстаивает здесь писатель — заслуживает того, чтобы быть повторенной... Словно бы опровергая популярную ныне установку на неоднозначность этического суждения, на относительность нравственной оценки, допускающей множественность и равноправность взаимоисключающих точек зрения, Вацлав Михальский не оставляет в своей прозе места ни для какой недоговоренности, ни для какой «спорности». Все вещи должны быть названы своими подлинными именами. Каждому должно быть воздано по заслугам — с тем,

чтобы порок был наказан, а добро восторжествовало.

Именно в этой «монологической» определенности, ясности авторского воззрения на жизнь таится секрет особенного, редкого сейчас по своему характеру и направленности обаяния прозы Вацлава Михальского.

После того, как сам автор в «Страничке из писательского блокнота», опубликованной журналом «Вопросы литературы», назвал это особенное свойство собственной прозы сентиментальностью, не устыжусь и я применить к книгам «Стрелок» и «Все уносящий ветер...» термин, столь, казалось бы, безнадежно скомпрометированный за два века плохими писателями.

Да, повести, рассказы и роман Вацлава Михальского сентиментальны в точном смысле этого слова. Да, он стремится достучаться своими книгами не столько до разума, сколько до сердца читателя, пробудить в нем сострадание, милосердие, жалость — исконные качества доброго человека. Пусть не считается чуть ли не дурным тоном, когда над вымыслом обливаются слезами, пусть не стесняется читатель — хотя бы только в часы, проведенные наедине с книгой,— побыть чувствительным и даже сентиментальным. Все это, мне кажется, пойдет только на пользу и читателям, активизирующим именно эти — милосердные — начала своей натуры, и литературе, от которой ведь ждут не одной лишь достоверности, не одного глубокого психологического анализа или яркости красок, но и утешения, но и ясного, доброго света, который помогает разглядеть, понять и полюбить человеческое в человеке.

Книги Вацлава Михальского рождаются в русле той нравственной традиции русской литературы, которая из многих важных творческих и гражданских задач выделяла в первую очередь и по преимуществу как раз эту — воспитание чувств.

Это много, это дорогого стоит. Это определяет смысл и значимость писательской работы Вацлава Михальского.

Сергей ЧУПРИНИН.

★

ВКЛАД В ПУШКИНИАНУ

Ю. М. Лотман. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Пособие для учащихся. Л. «Просвещение». 1981. 255 стр.

Полтора века уже пишется биография Александра Сергеевича Пушкина: сам поэт был, как известно, первым ее автором; сетовал, что «в биографиях славных писателей наших довольствуемся означением года их рождения и подробностями послужного списка»; шутил — «будущий мой биограф, коли бог пошлет мне биографа...».

«Бог послал» многих, писавших по-разному, с разным успехом. Лучшим жизнеописанием традиционно считается работа П. В. Анненкова, хотя и сильно устаревшая (сочинена более ста лет назад), но до сих пор привлекающая своим слогом, манерой, духом...

Юрий Михайлович Лотман вмешался в давний спор — как написать биографию Пушкина, не поступившись научным в пользу художественного, занимательного (и наоборот). Вмешался очень просто: выпустил «Биографию писателя. Пособие для учащихся».

Небольшой объем книжки оказался достаточным для избранной автором манеры; действительно, сегодняшняя огромная информация о Пушкине, наверное, лучше всего объединяется либо в «малом», либо в «колоссальном» варианте; но уж, конечно, для написания хорошей биографии на 13 печатных листах надо знать дело на 1300...

Лаконичности изложения Ю. М. Лотман достигает прежде всего тем, что умело апеллирует к знаниям (иногда и полузнаниям) о Пушкине, которые уже есть у читателя.

Многое вмещают точно выбранные автором «типические» подробности — как правило, не хрестоматийно затертые, часто открытые, по-новому осмысленные самим Ю. М. Лотманом: казалось бы, и так «места мало» — он же неторопливо цитирует и комментирует, например, смачный образчик малограмотного доноса на Пушкина, написанного в начале 1828 года, или приводит такое наблюдение: «При самых дружеских разговорах его не покидало чувство оскорбительного присутствия чужих ушей. Пушкин даже выработал особую методику — для наиболее сокровенных дружеских разговоров он выбирал время мытья в отдельном номере московских бань. Так, именно в бане он впервые встретился с Вяземским после михайловской ссылки (они не виделись с 1819 по 1826 год: смерть Александра I, 14 декабря

1825 года, свидание Пушкина с новым царем, участь декабристов — им было о чем поговорить без свидетелей). Позже в бане же Пушкин «отводил душу», беседуя с Нащокиным».

Эти и десятки других точно отобранных деталей позволяют представить без лишних комментариев подоплеку, «внутренний нерв», атмосферу пушкинской эпохи.

Но, думаю, главный источник лаконизма — энергичная авторская мысль, организующая, скрепляющая все повествование. Последуем же за нею через все девять глав книги, по столь знакомым и таинственным пушкинским десятилетиям.

В главах, посвященных Лицею, автор справедливо замечает, как мало и редко Пушкин вспоминает свои детские годы. «Он был человек без детства». Перед нами характерный пример интересной, афористической формулы. С нею, правда, можно слегка поспорить — редко вспоминая отца и мать, Пушкин с годами все больше интересуется «позапрошлым» поколением, особенно дедами и бабкой Ганнибалами, и с этого начинался взгляд на историю рода, страны. Однако признаем общую верность авторского наблюдения: «Лицей заменил Пушкину детство. Лицей был закончен — детство прошло. Началась жизнь».

Именно этим объясняется и особая пушкинская тяга к лицейским воспоминаниям, лицейским спутникам... Однако спутники, подчеркивает Лотман, отнюдь не только «одноклассники», но и «арзамасцы», Карамзины, даже Державин. Из житейско-бытовых размышлений о счастливейшей для юного Пушкина поре в книге естественно возникает тема отношения поколений, рождения Пушкина-поэта. Разрушая устойчивые идиллически-слащавые стереотипы, автор замечает, что в Лицее «насмешка и пафос не отменяли, а оттеняли друг друга... Встреча Пушкина и Державина не имела в реальности того условно-символического (и уж, конечно, тем более театрального) характера, который невольно ей приписываем мы, глядя назад и зная, что в лицейской зале в этот день встретились величайший русский поэт XVIII века, которому осталось лишь полтора года жизни, и самый великий из русских поэтов вообще. Державин несколько раз до этого уже «передавал» свою лиру молодым поэтам».

Лицейское время оказалось в книге развернутым с помощью мыслей о детстве, о смешном-серьезном. Не хватает разве еще одного-двух штрихов — таких, например: веселое буффонство объединяло лицеиста с людьми, большинство из которых годилось ему в отцы. Но, видимо, не существовало у Пушкина с Жуковским, Александром Тургеневым, Давыдовым проблемы отцов и детей: все были д е т и! Оттого прежде всего, что само время было «молодое», «молодая Россия»: высокий дух просвещения 1812 года, первых тайных союзов. Конечно же, это в книге подразумевается; но все же хотелось бы перенести из других работ Ю. М. Лотмана важнейший тезис — о том, что главным результатом столетнего просвещения, начиная с Петра, был определенный тип просвещенного человека: слой узкий, но замечательный своей яркостью, исторической молодостью...

Интересную и выразительнейшую подробность (заметим, в каждом из разделов есть несколько таких «опорных» деталей) находим мы в главе «Петербург 1817—1820» в следующей цитате из письма Пушкина к другу и авторском комментарии: «...напишешь ли мне, мой холосенькой. Поговори мне о себе — о военных поселеньях. Это все мне нужно — потому что я люблю тебя — и ненавижу деспотизм. Прощай, лапочка» — и подпись: «Свер<чок> А. Пушкин». Это сочетание «ненавижу деспотизм» с «холосенькой», «лапочка» (и другие выражения, еще значительно более свободные) характерно для «Зеленой лампы», но решительно чуждо духу декабристского подполья.

В свое время об этом различии поэта с декабристами (при родственной близости идеалов) было обстоятельно рассказано в статье Лотмана «Декабрист в повседневной жизни»; здесь же — итог, краткий, образный. О пушкинском круге и пушкинском «самостоянии» замечено: «Окружающие Пушкина опекуны и наставники — от Карамзина до Н. Тургенева — не могли понять, что он прокладывает новый и с в о й путь: с их точки зрения, он просто сбивался с пути... Вокруг Пушкина было много доброжелателей и очень мало людей, которые бы его понимали. Пушкин уставал от нравоучений, оттого, что его все еще считают мальчиком, и порой всем назло аффектировал мальчишество своего поведения».

Опять порадуемся важной мысли, но только заметим, что и те, что «не могли понять», были очень полезны для развития поэта; что (может быть, независимо от воли Ю. М. Лотмана, самой логикой приводимого материала) е г о Пушкин меньше зависит от внешних влияний, чем мы «привыкли»: так, верно выделяя благотворное

влияние Чаадаева, автор, думаем, сильно занизил роль Карамзина.

В главе «Юг», охватывающей почти четверть книги, Лотман развертывает свою главную мысль. Речь идет о биографии и творчестве; Пушкин создал «не только совершенно неповторимое искусство слова, но и совершенно неповторимое искусство жизни». Книга отвергает две точки зрения на соотношение Пушкина — человека и поэта: первая — поэзия, «раскрывая глубины его личности, является идеальным биографическим источником. Согласно другой — поэт в минуту творчества преображается, становясь как бы другим человеком, и, соответственно, у поэта две биографии: житейская и поэтическая».

Ю. Лотман предлагает третью концепцию: взгляд Пушкина на собственную биографию — это идеал жизни, возвысившейся до искусства. В «южные годы» бытовое поведение еще стремится к согласованию с романтической, литературной установкой, но постепенно штамп, стереотип преодолеваются сначала на личном, затем на творческом уровне: «Надо было быть поистине гениальным не только поэтом, но и человеком, чтобы в этих условиях не дать себя соблазнить ни одной из пошлых масок общественного маскарада, не представляться

Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой».

Саморазвитию поэта в книге посвящены истинно художественные строки. Вот один из примеров: «Маленький мир Раевских как бы воспроизводил в миниатюре утопию жизни людей, все связи которых покоятся на любви и равенстве. А кругом расстилался другой мир — воинственный, дикий и свободный, вольный мир горцев и столь же вольный мир пограничных казаков. Этот мир знал постоянную войну, но не знал рабства (если смотреть на него сквозь призму политических идей, усвоенных Пушкиным в Лицее и Петербурге). Малый мир привлекал любовью и счастьем, большой — энергией и дикой свободой. Оба очаровывали».

Исследование биографии и творчества в единой системе биографии-творчества оказывается чрезвычайно плодотворным: оно оживляет и вводит в науку массу фактов, явлений, считавшихся прежде бытовыми, «не филологическими». Это в духе лучших традиций не только литературоведения, но и литературы; в конце концов в традициях самого Пушкина, который художественно овладел «низкой повседневностью».

Не только в этой книге, но в десятках прежних работ Ю. М. Лотман возвращает истории, филологии, другим гуманитарным дисциплинам целые слои, типы фактов, не замеченных прежде. Увы, специалисты временами уподобляются древним людям, которые мерзли у каменноугольных глыб, еще «не понятых» ими как топливо...

Поблагодарив автора за открытие этих огромных запасов историко-филологического «топлива», приглядимся, однако, к представленному в книге механизму перехода бытовых установок в творческие и обратно.

Возникают обороты — «Пушкин учитывал...», «образ поэта-беглеца... был удобен», «романтическое поведение Пушкина отличалось своеобразием: оно подразумевало не ориентацию на какой-либо один тип поведения, а целый набор возможных «масок», которые поэт варьировал, меняя типы поведения». К событиям последних месяцев жизни поэта — но по сути и ко многим другим периодам — Ю. М. Лотман применяет определение «обдуманная стратегия пушкинского поведения», приводит яркие примеры пушкинских игр, мистификаций, действительно доказывающих существование стратегии...

Все это представляется нам и важным и интересным, но, пожалуй, чрезмерно рационализированным.

Ю. М. Лотман, конечно же, великолепно понимает сложность человеческой, поэтической психологии, и, возможно, впечатление о чрезмерной рациональности возникает как один из побочных результатов необходимого лаконизма книги. Но что делать, у читателя остается ощущение, что Пушкин довольно четко «формировал себя», постоянно планируя тот или иной тип поведения. Огромная сфера стихийного, неосознанного, иррационального в книге почти не затрагивается.

Мы понимаем: точному, умному современному филологу, разбирающему поэтический процесс, претит туманно-приблизительный «поток сознания». Однако другая крайность тут не менее опасна. И не находим ли мы ее опровержения в замечании самого Лотмана, что в Одессе (1823—1824) «природа романтического поведения стала осознанным фактом». Значит, прежде, в Петербурге, Кишиневе, процесс, описанный как рациональный, был фактом «неосознанным»? Нам кажется, что Ю. М. Лотман куда более художник, чем

представляется ему самому, ибо именно на грани мысли и образа в книге достигаются максимальные удачи.

И, наконец, последнее возражение—уточнение насчет связи осознанных или неосознанных биографических элементов. Если Пушкин действительно сам в такой степени, как это представлено в биографии, владеет собою, направляет свою эволюцию, тогда резко уменьшается возможность его ошибок, спада, появления тех страниц жизни, над которыми поэт «трепещет и проклинает»; тогда ему грозит только или почти только слепой случай. Тогда почти исключается возможность трагедии внутренней...

Не с этим ли связано известное, на наш взгляд, облегчение, спрямление противоречивой, мучительной пушкинской выработки самого себя? То, что отразилось в страшных стихах «Коварность», что привело поэта почти на грань гибели в 1824 году и от чего «поэзия как ангел-утешитель спасла»,— об этом в книге почти не упоминается.

Итак, принимая полностью подход Лотмана к биографии-творчеству, остаемся в сомнении насчет некоторых внутренних механизмов этого процесса...

Особого разговора достойны страницы книги, посвященные Пушкину и декабристам. Глубоким, интересным представляется нам авторский вывод: «...оппозицию романтических героев-одиночек (только почему одиночек? — *Н. Э.)* разогнали штыками и картечью: пришло время другой, гораздо более опасной для правительства оппозиции — анонимной и неистребимой оппозиции общественных сил. И то, что первый же взор нового общественного сопротивления обратился к лирике Пушкина,— факт, исполненный глубокого исторического смысла. Ведь могла бы иметь место и другая реакция: читатель, подавленный мрачной атмосферой столицы декабря 1825 года, мог и не заметить какую-то книжку стихов в 200 небольших страничек. Мало ли было более серьезных забот! Но произошло иное — в трудную и трагическую минуту взоры русской публики с надеждой обратились к Пушкину».

При этом некоторые частные соображения Лотмана кажутся нам спорными. Нужно ли было подчеркивать, например, что во время первого разговора с Николаем I, 8 сентября 1826 года, поэт, «видимо, умолчал относительно своих глубоких сомнений в декабристской тактике и решительно подчеркнул единомыслие, сказав, что если бы он случился в Петербурге, то 14 декабря был бы на Сенатской площади»? Смелый ответ Пушкина царю говорил не столько о «единомыслии» поэта с декабристами, сколько о высоких правилах чести: он ведь отвечал, что был бы на площади, ибо там находились его друзья (а не потому, что он был принципиальным сторонником революционного свержения самодержавия). Это известное упрощение сложнейшей проблемы.

В главе «После ссылки. 1826—1829» читаем: «Складывается интересный парадокс в соотношении жизни и творчества: в то время как в «Полтаве» истина приравнивается спокойному историческому взгляду в перспективе вековой дистанции («Прошло сто лет...»), в то время как мятежный Онегин осуждается и ему противопоставляется мудрая покорность Татьяны (седьмая глава романа), а в лирике Пушкин создает образ поэта-олимпийца («Поэт и толпа») — в жизни он менее всего приближается к идеалу мудрого созерцателя». Притом это период максимально возможного для Пушкина относительного «примирения» с действительностью, когда «в законченных произведениях резко осуждается эгоизм отдельной личности, не соизмеряющей своих желаний с законами исторического целого (седьмая глава «Евгения Онегина», «Полтава»), но в черновиках, набросках живет мысль о безотносительной ценности человека как такового».

Пушкинский поиск для России не лучших или более свободных («декабристских»), но наиболее естественных, исторически обусловленных политических форм замечен и глубоко оценен автором; но в то же время при разборе отношений поэта с царем этот пушкинский ход мыслей кажется недостаточно учтенным: полагаем, что в книге завышена тема обмана, обольщения поэта Николаем I, который «разыграл сцену прощения и примирения» и «сумел убедить Пушкина в том, что перед ним — царь-реформатор, новый Петр I».

При таком подходе затушевываются два немаловажных обстоятельства: во-первых, особый взгляд Пушкина на самодержавие и российскую историю, сложившийся независимо от царского прощения, во-вторых, политика Николая I представлена определившейся уже с первых дней нового царствования; между тем планы реформ, реальные колебания власти при выборе политического курса в 1826—1830 годах — важнейший источник отнюдь не только пушкинских общественных иллюзий.

Читатель, несомненно, обратит внимание на то, как в биографии рассказывается о

1830-х годах. Основной, счастливо найденный в текстах того времени образ — «Артист в силе», максимальная, античная высота биографии-творчества; высочайшая поэзия и поиски личной, домашней гармонии. Точно, тонко отобранными фактами, определениями представлена борьба великого поэта за великую литературу, за свое личное достоинство. Очень интересно описанная полемика 1830-х годов иногда, правда, кажется несколько упрощенной, «двухцветной», где Пушкину (начало светлое) противостоят только черные или серые силы...

А ведь трудность, историческая сложность времени заключалась прежде всего в своеобразном осознании «народной темы» не только прогрессивными, но и охранительными силами. Сама теория «официальной народности», выдвижение на первый план союза монарха с «верной чернью» имели целью изоляцию «мыслящего меньшинства» как бы с двух сторон. Кроме того, осложнились отношения и с прогрессивными силами.

Ю. М. Лотман замечает: «Тяжелому настроению Пушкина способствовало то, что он чувствовал потерю контакта с читателями. Читатель демократизировался, и многолетняя кампания в журналах, объявлявшая Пушкина аристократом, давала свои плоды. Этому способствовало известие о камер-юнкерстве Пушкина, подлинные обстоятельства которого массе публики были неизвестны».

Вывод верный, но требующий некоторых дополнений. В отношении «позднего» Пушкина существовала ведь действительная, серьезная «критика слева». Мы подразумеваем статьи, а еще больше — устные мнения Белинского, Герцена и других «молодых москвичей», непростые отношения поэта со ссыльными декабристами.

Дело было не только в недоразумениях. Тут уж судили люди 40-х годов; зарождался взгляд на словесность, который, в сущности, вскоре оставил вне литературы Вяземского и других заметных писателей пушкинской поры; общественно-литературная ситуация, которая потребовала бы в будущем гигантских усилий даже для такого титана, как Пушкин, чтобы сохранить свой высокий общественно-литературный авторитет.

«В периоды творческого подъема, в минуты, когда «мысли в голове волнуются в отваге»,— замечает Лотман,— сознание Пушкина работало с баснословной скоростью. В эти периоды замыслы сменялись новыми замыслами, мысль обгоняла возможность воплощения. Памятниками таких напряженных полос творческой жизни оставались планы, наброски, замыслы обширных трудов и незавершенные произведения. Они не оканчивались, потому что творческая мысль спешила дальше, оставляя их позади, как недостроенные дворцы, создатель которых увлечен новыми, более грандиозными планами. По количеству и размаху незавершенных трудов можно судить о том вдохновенном напряжении, в котором Пушкин находился в эти годы». В русле могучего творческого потока — и новые планы литературной борьбы («Современник») и необыкновенное, усиленное ощущение культурной традиции; неоднократно подчеркнуто, что не только среда определяет человека, поэта, но и великий поэт «очеловечивает», преобразует историю.

Вдохновенному творческому напряжению соответствует и особое ощущение жизни: «Пушкин мечтал об отставке, о жизни в деревне. Однако было бы заблуждением полагать, что светская жизнь не имела для него привлекательности: он любил «и тесноту, и блеск, и радость», любил оживленную беседу с умными, образованными и красивыми женщинами, исторические воспоминания стариков и старух, помнивших царствование Елизаветы Петровны и Екатерины II, танцы, беседы с дипломатами о европейской политике. Он прекрасно владел речью — разговор его был неистощим и блестящ. В салоне он любил быть светским человеком, а не поэтом (маска разочарованного поэта на балу казалась ему нестерпимой пошлостью), никогда не разговаривал с дамами о поэзии и резко отделял светские знакомства от литературных».

Однако важнейший, постоянно, с первых глав книги, выявляемый «личный эквивалент» гениальной литературной одаренности — это пушкинское чувство внутренней свободы, личного достоинства.

Много было писано у нас и о художественном гении Пушкина, меньше — но тоже немало — о красоте его личности Однако мало кому удавалось так, как Ю. М. Лотману, органически соединить эти сферы воедино, вывести «одну из другой». Анализируя причины гибели Пушкина, автор его биографии оспаривает два распространенных взгляда на трагедию поэта: первый — «Пушкин — жертва социального зла», второй — «Пушкин искал смерти» Лотман, которому основной тон пушкинской биографии-творчества представляется светлым, мажорным, находит в этих

мнениях «глубокую неправду»: «Бросив на стол карту жизни и смерти, он этой страшной ценою вызвал духа Истории, который явился и все расставил по своим местам... Пушкин победил. Враги его были не только опозорены — Пушкин обнажил их ничтожество».

Мы видим в этом суждении истину, звучащую, однако, несколько красиво и односторонне. Снова сталкиваемся с преувеличением «обдуманной стратегии» жизни Пушкина; по существу, при этом обозначается только внешняя трагедия случая (которой бы не было, если бы Пушкин не погиб). Проблемы внутренней трагедии нет совсем, а она, полагаем, была: в противоречии образа жизни, который вел поэт, с его идеалом; в уже отмеченном разладе — отнюдь не только с худшими, но и с частью лучших людей; в нарастающем одиночестве, «отсутствии воздуха»,— то, в чем Пушкин никогда бы не мог, не стал винить исключительно окружающую среду.

Еще одна важная книга о великом поэте...

За последние несколько лет от нас ушли несколько замечательных пушкинистов — М. П. Алексеев, Н. В. Измайлов, И. Л. Фейнберг, Т. Г. Цявловская. В то же время пушкинское наследство требует и требует огромных сил: впереди новое полное академическое издание поэта, а также Пушкинская энциклопедия, летопись жизни поэта. Перед новым погружением в океан биографических фактов, текстов, документов пушкинской поры появление такого труда, как книга Ю. М. Лотмана, представляется чрезвычайно полезным. Этот труд— заметное явление в пушкиниане прежде всего оттого, что, опираясь на достижения предшественников, он в лучшем смысле слова современен. Главное достоинство новой биографии мы видим в том, что ее ярчайшим героем является авторская мысль; что сама личность поэта представлена как существеннейший, не разделимый с творчеством вклад в русскую и мировую культуру.

Н. ЭЙДЕЛЬМАН.

★

Политика и наука

ОТ ОСВОЕНИЯ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

Стратегия освоения. Составитель Владимир Лебедев. М. «Молодая гвардия». 1981. 239 стр.

«Стратегия освоения» — сборник научно-художественных очерков, объединенных единством главной темы: рациональное природопользование и охрана естественных ресурсов.

В предисловии к книге академик В. Соколов пишет: «Молодые хотят знать не только что охранять, но и для чего охранять. Этим вопросам и проблемам посвящена эта книга, призывающая продумать, взвесить, выверить каждый свой шаг, каждую мысль, направленную на дело преобразования природы, вмешательство в ее великий круговорот». Хотелось бы добавить: необходимо еще знать, как охранять окружающую среду, вырабатывая соответственные научно-технические рекомендации и реализуя их на практике. Об этом тоже сказано в данной книге (из чего, впрочем, не следует, что она представляет собой обязательную для всех инструкцию, а не «информацию к размышлению»).

В некоторых случаях с ее авторами трудно согласиться. Но и в полемичности, спорности ряда тезисов содержится определенный творческий потенциал: обосновывая свои возражения, имеешь возможность под новым углом зрения увидеть то, о чем идет речь. Вот, скажем, такое утверждение: «Если оценивать сегодняшнюю ситуацию, природе, можно сказать, повезло: наука в состоянии дать рекомендации преобразователям Земли, чтобы жизнь наша становилась лучше, счастливее». Этот оптимистический настрой, безусловно, разумен и оправдан. И все-таки вряд ли его можно принять без оговорок. Основания для сомнений представляют, в частности, и материалы сборника.

Например, беседа с директором ГРЭС из очерка Е. Федоровского «Работать на новый век». Директор рассказывает о непростых мерах по охране природы на электростанции (избавление от дыма, организация рационального водооборота, использование золы и шлака). В конце разговора журналист говорит:

«— Любопытно бы встретиться нам снова этак лет через десять...

— Если голову не снимут к этому времени,— отвечает его собеседник,— почему бы не встретиться?..»

Не правда ли, странно: толковому директору, стремящемуся проводить мероприятия по рациональному природопользованию, то есть осуществлять государственный подход к использованию природных ресурсов, могут «снять голову»? Тем более что вышестоящее начальство, как следует из текста, полностью поддерживает природоохранные идеи и тоже озабочено их реализацией.

Или такой эпизод (очерк Л. Чешковой «Большой порог»). Начальник гидрохимической лаборатории, изучающий состояние енисейских вод в районе Западных Саян, высказывает опасения: со временем, с заполнением водохранилища, тот лес, который не успеют вырубить и вывезти, начнет гнить, как это происходит на целом ряде водоемов. Сейчас здесь текучие воды чисты и охраняются в пределах созданного Саяно-Шушенского заповедника. Но загрязнение рукотворного моря скажется на всем комплексе природных условий, и потребуется масса усилий, чтобы сохранить в прежней чистоте заповедные речные воды.

Выходит, специалисты (да и не только они) уже заранее знают, что природная среда сначала будет загрязняться, а затем потребуется много сил и средств на ее восстановление и последующую охрану. Почему же получается такая нелепица? Чем объяснить, что охрана общенародного достояния становится трудным мероприятием?

Совсем не обязательно подозревать существование конкретных носителей зла. Их может и не быть. Важнее (и труднее) выявить те объективные причины, которыми вызываются неблагоприятные явления.

В настоящее время методы экономического поощрения за сбереженные ресурсы почти не используются, причем научное обоснование этих методов явно отстает от соответствующих достижений в области эксплуатации природы. Поощряются прежде всего экономически рентабельные производства, а экологическая рентабельность — введем такое понятие — оценивается в лучшем случае во вторую очередь. Поэтому директору ГРЭС может не поздоровиться, если он, стремясь сберечь природные ресурсы и проводя соответствующие мероприятия, не выполнит план по выработке электроэнергии. Загрязнение водохранилища начнется потому, что хозяйственники, обязанные как можно скорее ввести его в строй, не обязаны столь же ответственно относиться к лесным богатствам, остающимся в чаше будущего водоема,— это как бы попутная нагрузка при выполнении главного задания.

Исторически сложилась такая ситуация, что до последнего времени экономисты были заняты подсчетом доходов и расходов лишь от эксплуатации природных ресурсов. Но чем точнее, чем полнее учитывается весь комплекс факторов, связанных с природопользованием (затраты на восстановление ландшафтов, увеличение со временем стоимости природного сырья, потери неиспользованных ресурсов и многое другое), тем очевиднее выявляется простая истина — производства только тогда экономически рентабельны, когда они комплексно используют природные ресурсы, максимально утилизируют отходы и наносят минимальный ущерб окружающей среде. Интуитивно это понимают едва ли не все, кто связан с использованием и охраной природных богатств. И беда тут не столько в неразумных хозяйственниках (хотя такие и встречаются), сколько в неразработанности критериев рационального природопользования. Отчасти это вызвано тем, что чрезвычайно сложно создать кибернетическую модель, учитывающую переплетение взаимосвязей природных экосистем при их перестройке.

Сошлюсь на мнение авторитетного специалиста — академика В. Глушкова,— приведенное в книге. По его словам, уже удалось создать кибернетические модели, помогающие охранять лес от пожаров, оптимизировать лесоразработки и т. д. Но из этого еще не следует, что подобные модели вполне достаточны для прогнозирования более сложных процессов.

«Не надо думать,— писал В. Глушков,— что кибернетика дает некую «палочку-выручалочку»: будто бы уже сейчас возможно просто взять да и заложить в такого рода модель те или иные данные. А потом прокрутить эту модель и с полной уверенностью сказать, что же произойдет, если мы, скажем, перекроем Берингов пролив плотиной, или что получится, если мы перебросим воды северных рек в Аральское или Каспийское море.

К сожалению, положение здесь является не таким уж простым. ЭВМ не ясновидец. Она работает по заложенным в нее данным, а они не всегда отражают истинное положение дел. Это плата за наше незнание».

Пожалуй, в том-то и корень проблемы: стратегия освоения биосферы до сих пор научно не обоснована. Обычно это не учитывают ни журналисты, ни популяризаторы науки, ни многие администраторы и даже ученые. Имеется очень много частных разработок тех или иных аспектов проблемы, высказаны общие пожелания. Однако до сих пор еще только продолжается переход к тому новому научному мировоззрению, о ко-

тором первым в мире писал В. И. Вернадский полвека назад. Он считал, что натуралистам не следует мириться с приматом математических, астрономических и физико-химических наук, вытекающим из современного научного построения мироздания, при котором живому веществу, человеку и его разуму придается ничтожно малое значение в бесконечности космоса.

По отношению к окружающей среде научно-технический прогресс вольно или невольно делал человека потребителем и «победителем»: природные ресурсы рассматривались как средство для достижения тех или иных целей.

Теперь наступила пора сбора воедино разрозненных сведений, выработки обобщающих концепций о развитии природы и общества, о месте и роли человека на Земле. Этим и определяется переход к новому научному мировоззрению, в основе которого лежит понимание единства человека и среды жизни — биосферы, отношение к окружающей нас природе как целому, имеющему высшую ценность вне связи с нашими потребительскими понятиями о «пользе».

Пожалуй, таковы в общих чертах предпосылки (лишь предпосылки!) к выработке разумной стратегии освоения природных богатств. Да и вряд ли точно говорить об освоении (вновь проскальзывает потребительский и «победительский» подход), точнее было бы — о взаимодействии и единстве. Возвращаясь к рецензируемой работе, хотелось бы отметить, что ее главная посылка, отражением которой стало заглавие и даже композиция книги с размещением очерков по принципу эксплуатации природных ресурсов, дробления окружающей среды на отдельные компоненты (воздух, вода, минералы, почвы, растения и т. д.),— эта главная посылка все же в стратегии освоения.

Ценность книги в другом — в ее документальности. Она правдиво отражает современное состояние идей и действий, направленных на эксплуатацию и охрану природы, со всеми сопутствующими неполадками и промахами. В ней нет стремления выдавать желаемое за реальность, создавать иллюзию решения проблем, которые подчас даже еще корректно и не сформулированы. Книга будит мысль, способствует распространению нового научного мировоззрения. И оно постепенно завоевывает свои позиции: учение Вернадского о биосфере и ее преобразовании человеком начинает занимать центральное место в современном естествознании, приобретает широкую популярность во всем мире.

Р. БАЛАНДИН.

★

ИГРА ДЛЯ ВСЕХ

Валерий Винокуров. Шаг к истине. Статьи, очерки, интервью. М. «Физкультура и спорт». 1981. 192 стр.

Михаил Сушков. Футбольный театр. М. «Молодая гвардия». 1981. 224 стр.

Однажды в еженедельнике «Футбол-хоккей» на последней странице появился скромный библиографический раздел — «Что еще почитать». Поначалу никто не мог поручиться, что он проживет долго. Но вот уже пятнадцать лет материалы раздела появляются в каждом номере, рассказывая о наиболее интересных очерках на футбольную тему в центральных газетах и журналах. Довольно часто появляются в этом разделе и названия новых книг.

Мне кажется, что если бы какое-либо издательство вдруг решилось постоянно выпускать книги под рубрикой «Футбольная библиотека», серию ждал бы гарантированный успех. Впрочем, сложности такого издания тоже неизбежны: даже авторитетной редколлегии было бы непросто отбирать лучшее из уже прошедшего проверку временем или вновь написанного — столь обширна футбольная литература. Среди авторов блистательные мастера футбола — Николай и Андрей Старостины, Г. Федотов, Л. Ящин, В. Иванов, О. Блохин, известные журналисты М. Мержанов, И. Фесуненко, К. Есенин... Совсем недавно вышли интересные, каждая по-своему, книги тренера-ветерана М. Сушкова и журналиста В. Винокурова.

Не возьмусь утверждать, почему так происходит, но читатели спортивной литературы вообще и футбольной в частности куда более расположены к книгам публицистическим, мемуарным, очерковым, короче говоря — основанным на фактическом материале, чем к чисто беллетристическим. Повести, рассказы, киносценарии проходят как-то мимо широкого читателя, не вызывают у него ответного отклика. Быть может, просто еще не пришло время удач. Или не пришли пока в футбольную тему истинно

профессиональные писатели, хорошо знакомые с миром футбола. Не исключено, однако, что для читателей, интересующихся этой темой, более увлекателен сам футбол во всей своей реальности. И потому они нуждаются в новых подробностях, комментариях, суждениях специалистов — словом, в том, чем их способна снабдить только документальная литература, к которой относятся и книги М. Сушкова и В. Винокурова, содержащие немало фактов и размышлений.

Есть, конечно, люди, вообще не покоренные футболом. В целом их, пожалуй, даже большинство. И все же армия футбольных болельщиков огромна: согласно официальным сообщениям информационных агентств за матчами чемпионата мира, проходившего в 1978 году в Аргентине, наблюдали с помощью телевидения около миллиарда зрителей. По предварительным оценкам, нынешним летом трансляции из Испании с XII чемпионата мира соберут у телеэкранов еще на триста миллионов человек больше.

Какая же сила влечет столь значительную часть человечества к футбольному зрелищу? Ответить на такой вопрос непросто.

Прежде всего отметим, что футбол как игра — удивительно удачное изобретение. Эта игра гармонична, разумна, естественна, олицетворяет собой подлинный коллективизм взаимоотношений, притом что яркая личность в ней никогда не затеряется. Техника и тактика футбола, вообще его язык не просто понятны, они общедоступны. В футбол играют на всех пяти континентах, в отборочных играх испанского чемпионата участвовали команды более ста государств.

Футбол — игра, доступная едва ли не всем, во всяком случае, многим, и все же сегодня это прежде всего зрелище.

Книга В. Винокурова начинается с «Введения в „футболоведение"», в котором автор говорит о природе зрелищного эффекта игры. Несколько неожиданно, но вполне уместно приводится суждение швейцарского композитора и педагога Жак-Далькроза о том, что концентрация и взаимодействие мысли, воли и мышечной силы вместе с доведенной до автоматизма техникой способны полностью раскрепостить мастера-музыканта в процессе решения им сложных творческих задач. Это, в свою очередь, приносит зрителям и слушателям подлинное эстетическое удовольствие. Все сказанное можно отнести и к футболу, так как эстетика игры в нашем представлении неотделима от самой игры, от понятия «большой футбол».

Мне доводилось интересоваться мнением о футболе мексиканского художника Давида Сикейроса в дни чемпионата мира в Мехико. Он говорил, что не отходит от телевизора и, как ему кажется, в игре то и дело возникают композиции, близкие его творческим интересам. О футболе говорил и писал в футбольный еженедельник и композитор Дмитрий Шостакович. Он не был согласен с некоторыми утверждениями журналистов и комментаторов, но его серьезное отношение к играм было очевидно. Стихи и полемические статьи о футболе, о знаменитых футболистах Боброве и Хомиче писал поэт Евгений Евтушенко. Не раз выступали в печати с заметками о матчах прозаик Ю. Трифонов, драматург А. Арбузов. Известна книга Константина Ваншенкина «Воспоминание о спорте».

Футбол загадочен, непредсказуем и неповторим. Хотя вроде бы в итоговых циферках счета нет особого разнообразия, из года в год все те же 1 : 0, 1 : 1, 2 : 1... Однако как бы ни был важен счет матча, суть не в нем, а в содержании игры, ее драматургии, в каждом мгновении тех полутора часов, что отведены на футбольный спектакль. Парадокс, конечно: болельщик на трибуне или у телеэкрана ждет не дождется, когда его любимой командой будет забит гол, но главное наслаждение получает не в момент, когда мяч оказывается в сетке, а от всего процесса борьбы — тех кружных дорог, которые ведут к этому голу, от стойкости и ловкости, даже от ошибок игроков «своей» и «той» команды. Условность происходящего очевидна, но зритель реагирует всерьез, как на вполне жизненные события.

Футбол делается на наших глазах. Как бы ни были предусмотрительны и проницательны постановщики и репетиторы, им дано предлагать лишь канву, и только, а все узоры расписывают игроки, разыгрывая спектакль, в котором действие правдиво, истинно, а развязка таинственна. Хотя, чего греха таить, не без оснований иногда велись разговоры о «договорных ничьих» — и нам и вам на пользу, чего ж, как говорится, ломаться зря. Теперь, кажется, все это в прошлом. Но чуть только зрители уловят фальшь, притворство, имитацию, позу, дурного пошиба актерство, они немедленно взрываются негодованием, не делая исключения и для своих любимцев. Словом, и в футболе аудитория «не читки требует с актера, а полной гибели всерьез». Не без оснований В. Винокуров в своей книге настойчиво выясняет отношение к зрелищной стороне футбола игроков и специалистов фут-

бола. Опираясь, в частности, на мнение очень популярного сейчас тбилисского тренера Н. Ахалкаци, автор призывает всех тех, кто определяет стратегию и тактику игры, заботится об очках и местах команд в турнирных таблицах, очень серьезно думать и о том, чтобы зрительские вкус и отношение к игре были веским доводом при выборе ее манеры.

Футбол решительно выделяется из других спортивных дисциплин хотя бы потому, что о нем говорят всегда и всюду, он включен в круг постоянных тем человеческого общения. Сравнить эту тему по популярности можно разве что с кино. В каждом городе, в каждом селе есть люди, стремящиеся вникнуть в самую сущность футбола, разобрать его до деталей и высказать свое веское суждение. Удивительно, не правда ли? Пользуясь часами, мы ведь не заглядываем в механизм. А любителям футбола необходимо знать о нем все до последних «шестеренок». Это тоже одна из любопытных, неразгаданных особенностей футбола. Как бы то ни было, не считаться с ней невозможно. Поэтому и высок спрос на футбольную литературу.

Михаил Павлович Сушков, заслуженный мастер спорта, начавший играть еще в дореволюционные годы, тренировавший команды Москвы, Еревана, Киева, а ныне президент комсомольского клуба «Кожаный мяч», объединяющего три миллиона мальчишек, человек основательный, много на своем веку повидавший.

Книгой своей он продолжает серию футбольных мемуаров, в которых авторы, вспоминая о былом, стараются не потерять из виду злобу дня. Прошлое футбола, не будучи соотнесено с сегодняшними заботами и проблемами, легко может оставить чрезвычайно активного читателя такой литературы равнодушным. И в книге М. Сушкова даже в изложении очень давних событий чувствуется желание автора проследить связь времен, дать совет и урок нынешнему. Это тем более удается автору, что и сегодня, как в далекие годы, многое в сложной жизни футбола продолжает быть неясным и нерешенным.

В книге М. Сушкова настойчиво проводится мысль, что без дара импровизации в футболе далеко не уйдешь. Импровизация!.. Казалось, где бы ей быть в современном футболе. У каждого матча своя партитура, и если игроки вздумают от нее отступать, им грозит неизбежный провал, а затем тренерский разнос. Но, с другой стороны, если они примутся по-школярски делать лишь то, что им заранее предписано, стадион непременно ответит рассеянным скучным молчанием. От футбола всегда ждут чего-то из ряда вон выходящего, даже диковинного. Ждут, чтобы игроки проявили себя личностями, действующими сообща, а не фигурками с наспинными номерами, ждут событий драматических. Только в этом случае игры и отдельные события на поле врезаются в память, о них говорят и десять и двадцать лет спустя. Тогда как матчи чинные, без особых примет, может быть и недурные, остаются достоянием коллекционеров футбольной статистики.

За футбол в последние годы напористо взялась наука. К нему подсоединили провода от медицины, психологии, физиологии, биохимии, кибернетики. Ничего удивительного тут нет, таково веление времени. Человек, участвующий за сезон, скажем, в восьмидесяти матчах, требующих максимального расхода мускульной и нервной энергии, должен и жить, и тренироваться, и отдыхать согласно обоснованному регламенту. Впрочем, теперь принято тренировку называть «учебно-тренировочным процессом», отдых — «реабилитацией», а разновидности игры именовать «структурами». Правда, эти новации превзошли пока немногие, другие же лишь пробавляются модной терминологией. И вообще распространился тип тренера, так сказать, «новой волны», который переполнен ультрасовременными знаниями, только что полученными на соответствующих курсах, однако не успел осмыслить их на истинно жизненном деле. И, подобно алхимику, такой тренер верит, что хороший футбол можно вывести в лабораторной колбе, стоит игрокам лишь соблюсти все предыгровые установки — строго и точно перемещаться на поле по заранее рассчитанным траекториям, в определенный момент и в определенном направлении передавать мяч — и успех будет обеспечен. Когда же команды терпят неудачи, объяснение под рукой: игроки несознательны и нерадивы, не выполнили тренерский наказ. Надо ли говорить, что заметного успеха на этом пути не добивался никто. Да и не верится, что он возможен.

Жизнь футбола не исчерпывается матчами и тренировками. Она вбирает в себя свою историю, статистику, юрисдикцию, прессу, собственные оттенки морали, систему специального образования (с самого юного возраста вплоть до высшей школы тренеров), систему информации о противниках, разветвленную сеть международных и внутренних турниров, миллионную армию общественников, в свободное время становящихся тренерами, судьями,

организаторами, гордыми своей причастностью к любимой игре.

Жизнь эту никак не назовешь установившейся и постоянной. Она пронизана дискуссионностью во всех своих аспектах.

Каждый, кто отваживается писать о футболе, должен быть готов к тому, что ему не простят любой неточности, неосторожного слова, малейшей необъективности. Выручить может только безупречное профессиональное знание игры и всей жизни футбола, четкая логика и доказательность суждений.

Книга В. Винокурова дает представления о широте интересов литератора, пишущего о футболе, и о том, насколько уверенно он может чувствовать себя в разных жанрах. Мы встречаем на ее страницах очерк, судебный фельетон, интервью, деловую корреспонденцию, полемику, путевые заметки. Автор взволнованно (это особенно приятная черта книги) вступается за тренера с большими заслугами, безвинно уволенного, представляет образцовую футбольную школу-новостройку в Ленинграде, знакомит с интересными людьми. Особенно привлекает его острый и смелый отклик на некоторые досадные поражения наших команд. Не важно, что поражения эти кое-кто старается быстро забыть; автор стремится сохранить меру оценки и требовательности, убеждает нас в том, что она должна быть величиной постоянной, не зависящей от конъюнктуры. Важно еще, что мера эта у В. Винокурова достаточно высока, поскольку происходит из уважения к реальным возможностям нашего футбола.

Футбол наших дней несравним с футболом тридцатилетней давности. Атлетизм, скорость, быстрота реакции, количество движений в единицу времени — все эти показатели у нынешних мастеров значительно выше. Да и более разумные системы игры теперь в ходу. Тем не менее нивелировка игроков не состоялась, и мы точно так же, как во времена Боброва и Хомича, выделяем сегодня футбольных кудесников, скажем, Олега Блохина или Давида Кипиани. Ждем от них красивой и мужественной игры, как в былые времена, и конкретного спортивного результата на большой международной арене.

В июне нынешнего года — очередной чемпионат мира. Они редки, проводятся раз в четыре года, и по этой причине превращаются в событие долгожданное и исключительное. Напомню: миллиард и триста миллионов — такова аудитория. Какая команда станет чемпионом, интересно всем. Нас с вами, понятно, волнует, как себя проявит советская сборная, уже давненько не выезжавшая на чемпионаты. Но не менее интересно и другое: каким окажется футбол в исполнении лучших команд мира. Все мы в предвкушении высокого зрелища, большой, нешуточной игры, в которой ставки чрезвычайно высоки, победа почетна, как, впрочем, и поражение, если оно в борьбе равных, а главнейшим итогом остается участие в этом захватывающем, самом массовом спектакле.

Лев ФИЛАТОВ.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

ЦВЕТ АБРИКОСА. Повести и рассказы армянских писателей в переводах С. Хитаровой. Ереван. «Советакан грох». 1981. 296 стр.

Захожу к Федину накануне отъезда на международный симпозиум, посвященный столетию Ромена Роллана.

— Вам знакома символика цвета в литературе? — неожиданно спрашивает он. И, не дожидаясь ответа, продолжает: — Она возникает интуитивно. О ней интересно пишет Флобер. Он придавал этой символике большое значение. Например, в своей «Саламбо», по его словам, он стремился сделать нечто пурпуровое. Так вот, с Роменом Ролланом, с его образом, с его книгами, у меня неразлучен прозрачный ярко-синий цвет, цвет его глаз.

Свою книгу переводов, рассказов и повестей армянских классиков Хитарова назвала «Цвет абрикоса». Это название глубоко символично. Именно в этом чистом, и нежном, и в то же время томительном, жарком цвете видит она армянских классиков, их идейно-эстетические устремления, их стиль, интонацию, их поэтическую первородность. Каждый писатель глубоко индивидуален, но цвет абрикоса объединяет их в единую, трогательную, поэтически неповторимую книгу.

В «Цвете абрикоса» мир героев обращен к миру природы, и оттого их стихийный, подспудный протест против гнетущего мрака старых общественных отношений приобретает особую силу, читатель почти физически ощущает, как неодолимо растет этот протест из крепких корней народной жизни.

Вот Аветик Исаакян рассказывает, как в 1906 году он поехал в Лори к поэту Ованесу Туманяну. Лори — родина Туманяна. Вековой фольклор Лори, где каждый камень— свидетель героического прошлого, оплодотворил его талант. Исаакян рисует один из характернейших пейзажей Лори: «На старом мосту, перекинутом через грозно ревущую реку Дебет, сидит ашуг и под звуки тара повествует о прошлых битвах с дэвами, а потом непосредственно переходит к рассказу о борьбе, которую ведут непокорные, отважные сыны народа против угнетателей — богачей, помещиков и чиновников».

Отважные и непокорные люди из народа и в замечательных повестях Стефана Зорьяна. На фоне могучей и щедрой армянской природы сдержанно, строго и трогательно изображает он любовь армянской девушки Катарин к турку Али, который был слугой в доме ее отца («Романтическая история»). Влюбленных насильственно разлучают, но и в разлуке через все бури и невзгоды проносят они до самого конца красоту своей непокорной любви. Обаяние и сила народного характера и в повести Зорьяна «Закарова сноха». Красавица Эстер из маленькой армянской деревни Кахнут предпочитает смерть позору и унижению.

Человеческое сердце — это любовь, и самые отважные, самые лучшие люди часто гибнут, защищая добро от зла. Что же делать, чтобы прекратить страшную несправедливость человеческих отношений, когда лучшие погибают?

На этот вопрос отвечает Нар-Дос в повести «Дочь домохозяина», написанной о дореволюционной Армении. Вот финал повести: «Надо перетрясти все общество до основания, не оставить камня на камне от его устоев — вот что нужно».

Переводы рассказов и повестей, вошедшие в книгу «Цвет абрикоса», благодаря их глубокой человечности и художественной выразительности найдут отклик в сердцах читателей. Высокие традиции армянской классики наследует не только современная армянская литература: они давно вошли в сокровищницу мировой литературы.

Б. Брайнина.

★

НАТАЛЬЯ СОКОЛОВА. Осторожно, волшебное! Сказка большого города. Роман. М. «Советский писатель». 1981. 359 стр.

Автор этой «сказки большого города», где хорошо ужились фантастика и реальность, рассказывает нам историю весьма заурядного молодого человека Никиты Иванова, проходящего на страницах романа школу «воспитания чувств» не без помощи и вмешательства злых и добрых фантастических существ.

Злая фея и добрый волшебник заключают между собой пари, кто из них сможет оказать более сильное влияние на человека, случайно выхваченного из толпы волшебной подзорной трубой. Им оказывается Никита Иванов. Писательница использует в своем произведении древний, как сама литература, мотив борьбы за человеческую душу, и мотив этот в современной аранжировке зазвучал весьма злободневно. Ведь речь здесь идет о созревании человеческой личности, о самовоспитании, о зле и доброте в душе каждого, об ответственности человека не только за поступок, но и за ту внутреннюю правду (или неправду), что подготовила его. Вокруг этого строится и причудливо разрастается повествование.

Чего не хватает Никите, который, казалось бы, хорошо делает свое дело, то есть то, что и требует жизнь? Прежде всего — душевной зоркости. Духи добрые учат этому — внимательнее смотреть на мир, видеть то, что можно увидеть лишь неравнодушным взором; злые же стремятся развить в человеке равнодушие, низкие инстинкты, дать им вырваться на волю.

Духи у Н. Соколовой не слишком проницательны, совершают порой ошибки, промахи. Они носят людские фамилии или милые прозвища, а их привычки и пристрастия порой очень уж напоминают человеческие. В этом романе фантастическое открыто ориентировано на солидную европейскую традицию, а также есть здесь и сатирическая гротесковая ситуация, многократно использовавшаяся в литературе: человек волею волшебства попадает в мир духов или иных фантастических существ и видит, что многое там напоминает порядки в мире людей. Вспомним хотя бы Свифта или широкое распространение этого мотива в восточных литературах в старое и новое время. Так что классики оказывают ощутимую поддержку Н. Соколовой.

Прихотлив ход повествования: писательница с лукавым простодушием спрашивает совета читателя, как лучше построить эпизод, сетует на то, что герои не спросясь входят в сказку, что главный герой самоволь-ничает, а то и поучает автора.

История «воспитания чувств» Никиты дает понять лишний раз, что равнодушие отдельного человека всегда на руку силам зла, а готовность прийти на помощь другому делает зло бессильным. Н. Соколова написала любопытную сказку, где окинула нескучным взором будничную жизнь. В игре, в которую вовлечен читатель, соединились и забавные авторские отступления, и фантазии на тему духов, и очень знакомая наша жизнь. Однако эта игра становится почвой для серьезных раздумий. Стоило бы посоветовать автору отказаться от иных подробностей, явно перегружающих и отягощающих повествование, внимательней отнестись к каким-то необязательным второстепенным линиям. Тогда сказка еще убедительней доказывает, что в литературе вживление фантастического в самую что ни на есть обыденную реальность открывает немалые возможности для ее постижения.

Лидия Мешкова.

★

ВИКТОР ФЕДОТОВ. Позднее признание. Стихи. М. «Советский писатель». 1981. 152 стр.

По-разному складывалась судьба поэтов фронтового поколения. Одни из них сумели сразу, по свежим впечатлениям сказать о войне свое слово, другие подступали к теме долгие годы. В книжке «Позднее признание» поэт говорит, что есть два измерения войны: «первое — что сами видели глазами», а второе — это то, что «определяет История сама». С этими измерениями легче отделить главное от случайного.

Вошедшие в сборник стихи о войне написаны В. Федотовым сегодня. Как не сразу приходила боевая зрелость, так не сразу творческая зрелость придет и к В. Федотову-поэту.

Я книгу написать не тороплюсь,
чтоб было в ней о сути главной...

И в хроникальном фильме его интересуют не артобстрелы и перестрелки — он «это видел все — и как!».

Совсем другое мне дороже,
смотрю до ощущенья дрожи
на поступь сверстников своих,
идут они — и-дут — солдаты,
в руках винтовки, автоматы,
и рад я видеть их, живых!

Это чувство останется у нас, фронтовиков, до конца жизни — они всегда будут представляться нам живыми, наши друзья по боевой юности.

Нам ясно, что́ именно привело бывшего участника прорыва блокады Ленинграда поэта Виктора Федотова в деревеньку под названием Станки.

Сорок лет назад в ней размещался штаб немецкого корпуса. Отступая, нацисты уничтожили деревню. Теперь на месте пепелища — дом. «Копала женщина картошку в огороде». Обратила внимание на поседевшего человека: «Вы вроде ищете кого-то?» И невольно что-то с горечью полоснуло по сердцу.

Ищу! Кого! Когда была война,
костьми легла тут чуть не рота.

Он подумал это про себя, но она все поняла и угостила ветерана яблоком.

Я возвращался медленно назад —
вот яблоко в руке, а не граната.
Получено немало мной наград,
а тут — самой земли награда!

Такие стихи могли родиться только сейчас. После того, как на обожженной земле вырастет яблоня и даст свои плоды...

«Позднее признание» — небольшая книжечка, у нее своя внутренняя цельность, свой твердый и добрый характер.

Владимир Осинин.

★

ЧАСТЬ ОБЩЕПРОЛЕТАРСКОГО ДЕЛА. Литературная критика в дореволюционных большевистских изданиях. Составитель И. В. Кузнецов. М. «Современник». 1981. 382 стр.

РУССКАЯ СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА (1917—1934). Составитель П. Ф. Юшин. Хрестоматия. М. «Просвещение». 1981. 447 стр.

Эти сборники работ русских критиков-марксистов представляют несомненный общественный и литературный интерес. Исторический опыт борьбы большевистской литературной критики за торжество ленинских принципов анализа и оценки художественного творчества, идейно-воспитательное значение критики возрастают год от года в эпоху развернутого коммунистического строительства.

Знаменательно, что издание этих сборников приурочено к первому десятилетию со

времени выхода известного постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» (1972), в котором подчеркивается долг советской критики всемерно содействовать укреплению ленинских принципов партийности и народности, развивать традиции марксистско-ленинской эстетики, бороться за высокий идейно-эстетический уровень произведений литературы и искусства, последовательно выступать против буржуазной идеологии.

Следует заметить, что сборники, изданные разными издательствами под разными рубриками и, казалось бы, с различными целями (вплоть до учебных), имеют органическую связь между собой. В один сборник вошли материалы, представляющие образцы большевистской литературной критики предоктябрьского периода (1900—1917), в другом представлены работы, раскрывающие процесс сложной борьбы в критике за упрочение метода социалистического реализма в нашей литературе от Октября до Первого всесоюзного съезда советских писателей (1934). В обоих сборниках четко просматривается единый марксистско-ленинский подход к задачам новой, социалистической литературы, ясно виден процесс утверждения ленинского понимания роли литературы и искусства в жизни советского общества, равно как и процесс выработки на основе ленинских заветов конкретных методологических принципов оценки художественных произведений.

Центральное место в сборниках отведено работам В. И. Ленина, в которых определена самая сущность принципов партийности и народности художественного творчества, правдивости и историзма, роль традиций и новаторских поисков, единство национального и интернационального, классового и общечеловеческого в искусстве, роль мировоззрения в творчестве художника.

В больших и содержательных предисловиях к каждому сборнику, написанных их составителями, говорится о том, что В. И. Ленин придавал огромное значение публикации в политической газете (и журнале) литературной критики, видя в ней одну из форм идейного воспитания трудящихся.

Вновь перечитывая статьи тех далеких лет, принадлежащие перу В. Воровского и А. Луначарского, Н. Крупской и М. Ольминского, приходишь к выводу, что верность принципам партийности и народности в литературе и искусстве, глубина социального анализа и эстетическая взыскательность, соединенные с тактом, унаследованы нашей современной критикой от критиков-большевиков, сподвижников великого В. И. Ленина.

Включенные в хрестоматию работы В. И. Ленина, партийные документы, высказывания советских государственных деятелей и видных писателей дают читателю надежный ключ для понимания и оценки сложных процессов литературного движения в нашей стране. Особый интерес вызывают те разделы хрестоматии, которые ближе всего по своему содержанию к современному литературному процессу, к актуальным проблемам творческого метода советской литературы, жанров, стиля и языка. Интересны также конкретные оценки наиболее крупных прозаиков, драматургов и поэтов, включенные в раздел «Советская литература в критике».

Конечно, и этот раздел, и другие разделы обеих хрестоматий не отличаются достаточной полнотой, но мы имеем дело с первым опытом хрестоматии по русской марксистско-ленинской литературной критике. Поэтому хочется отметить, что оба сборника составлены с хорошим знанием дела, вступительные статьи к ним написаны на высоком научном уровне, выразительно, увлеченно. И все это внушает уверенность, что обе книги встретят благодарный отклик у всех, кто интересуется историей нашей литературной критики.

Вл. Котовсков.

Ростов-на-Дону.

★

РИНА ЗЕЛЕНАЯ. Разрозненные страницы. М. Всероссийское театральное общество. 1981. 239 стр.

М. Горький и А. Толстой, В. Чкалов и П. Капица, П. Бажов и О. Шмидт, Н. Островский и В. Маяковский, К. Станиславский и К. Чуковский, Кукрыниксы, Л. Орлова, Л. Утесов, И. Ильинский, О. Пыжова, Н. Смирнов-Сокольский, С. Образцов, А. Вертинский... Если бы книга только добавила по легкому штриху к портретам каждого из этих людей, ее значимость была бы неоспорима...

Гражданская и Великая Отечественная войны, ранние годы советской власти, первые робкие шаги нового искусства и их постепенное превращение в уверенную поступь... Если бы книга лишь с правдивостью очевидца свидетельствовала об этом времени протяженностью в целую эпоху, вместившую в себя столько бурь, она безусловно представляла бы немалый интерес...

Все уголки России: от Северного Кавказа до Северного полюса, от Закарпатья до бухты Провидения,— а еще Иран, Ирак, Англия... Если бы книга воспроизводила только эти бесконечные параллели и меридианы гастрольных маршрутов кочевого племени эстрадных артистов, она была бы нужна как весомый аргумент в разговоре о значении профессии ее автора...

Обладай книга только тремя названными «измерениями» — она уже стала бы достойным подарком многочисленным любителям мемуарного жанра.

А она наделена помимо всех перечисленных еще одной ценностью, делающей книгу интересной самому широкому кругу читателей.

«Разрозненные страницы», написанные Риной Зеленой, ценны неповторимым авторским стилем. Очень точно написал в предисловии Ростислав Плятт: «...не помню, чтобы, читая чьи-либо мемуары, я смаковал их литературные достоинства — всегда интересен самый факт. Другое дело у Рины Васильевны...»

Книга написана с той удивительной интонацией, которая присуща только этой актрисе, ставшей изобретателем и уникальным исполнителем на эстраде номеров, которым и названия-то не подберешь: не придумано оно театроведением. «Детский рассказ»? — слишком примитивно. «Монологи ребенка»? — сухо. «Мини-тюз»? — эффектно, но неконкретно. Наверное, этот жанр

надо называть просто «Риназеленая». Одним словом. Как в письмах детей, адресованных актрисе.

Книга написана в этом жанре. Читая ее, словно присутствуешь на концерте Рины Зеленой, где, познавая детскую душу, познаешь и свою. Где за кажущейся наивностью скрыта подлинная мудрость, а степень откровенности под стать храбрости. И где произносимые слова кажутся сиюминутной импровизацией, а на деле — глубоко продуманный и придуманный текст, воздействие которого на души и умы зрителей восхищает в каждом концерте.

Из калейдоскопа зарисовок, мыслей «по поводу», коротких и точных характеристик складывается картина жизни незаурядной актрисы и незаурядного человека. Жизни, главный смысл и содержание которой труд, а главное богатство — встречи.

Актриса — интереснейший собеседник: умный, ироничный, наблюдательный, откровенный. Не менее важную роль в создании этой книги, чем дар актерский и литературный, сыграл, думается, талант восхищения другими людьми, которым Рина Зеленая щедро наделена сама и которому настоятельно, но не назидательно учит читателя.

Назидательность вообще чужда этой книге. Она просто несовместима с ее иронией и самоиронией. Автор самоотверженно вступает на ее страницах в споры по самым различным поводам, главный из которых — укоренившаяся привычка считать и называть эстраду легким жанром. Как будто маленький алмаз огранить в бриллиант легче, чем большой. Следом за книгами Н. П. Смирнова-Сокольского и Л. О. Утесова «Разрозненные страницы» Р. В. Зеленой протестуют против этой надменной неуважительности. Протестуют самим своим содержанием. И стилем, который и есть человек.

С. Овчинникова.

★

Е. И. МЕЛАМЕД. Джордж Кеннан против царизма. М. «Книга». 1981. 127 стр.

Без малого за век до наших дней американец Армстронг, воротившись из России, прочел лекцию о положении в романовской империи. Лекция прозвучала обвинением самодержавию. Тотчас явился оппонент — адвокатом царизма выступил Джордж Кеннан. Он тоже бывал в России, участвуя в работах русско-американской экспедиции, проектирующей телеграфную линию, потом написал книгу «Кочевая жизнь в Сибири».

Полемика, вспыхнувшая в аудитории, перекинулась на страницы прессы. Большинство держалось справа, считая русских реакционеров — серафимами, а русских революционеров — чудовищами. Конец спору вызвался положить все тот же Кеннан.

В 1885 году, заручившись финансовой поддержкой тароватого издателя, он сызнова отправился в Россию. Сановный Петербург обласкал путешественника. Г-н Кеннан желает посетить места отдаленные и познакомиться с государственными преступниками? Извольте, г-н Кеннан, сделайте милость.

Кеннан исколесил тысячи миль. Он услышал гром кандалов на Сибирском тракте, увидел смрадные этапные остроги, проникся волчьей тоской житья ссыльнопоселенцев, ощутил леденящий озноб средь сопок забайкальской каторги. Однако обращенье Савла в Павла произошло не в одночасье, а исподволь, по мере общения с «государственными преступниками», то бишь революционерами-народниками. Это были обыкновенные люди, интеллигентные и скромные, лишенные и тени мелодраматизма. Это были необыкновенные люди, наделенные отвагой и бескорыстием нелакейского патриотизма. Жребий каждого был трагическим, общий удел — героическим.

Не определить, что сильнее и глубже проняло Кеннана — карательная ли низость царизма или нравственная высота жертв. «Впечатления бытия» отозвались чувством возмущения. И чувством восхищения. О тех, кто поднял голос и меч в защиту обездоленного мужика, Кеннан сказал: «Я гордился бы такими братьями и сестрами».

В молодости, после «телеграфной» экспедиции, он отдал издателю рукопись познавательную и увлекательную. Человеком зрелым он выдал в свет «Сибирь и ссылку». Энгельс определил точно и кратко: автор «разоблачил перед всем миром все те гнусные методы, при помощи которых царизм в собственной империи подавляет всякую попытку к сопротивлению».

Толстой и Короленко, Марк Твен и Степняк-Кравчинский, поколения революционеров, поколения читателей обоих континентов видели в Кеннане свидетеля столь же правдивого, сколь и эмоционального. Историки русского освободительного движения обрели источник строго документальный.

Но — странно — доселе не было у нас ни брошюрки о судьбе Кеннана, о судьбах его книги. Е. Меламед заполнил белое пятно. Вся (или почти вся) необходимая информация получена из отечественных и зарубежных источников. В числе последних — материалы вашингтонского Института имени Кеннана: еще один пример научного сотрудничества вопреки порывам холодного ветра. Произведены и архивные поиски в хранилищах Москвы и Ленинграда, то есть тихая, несуетная, неприметная работа, без которой не обойтись первопроходцу.

Сжатый очерк Е. Меламеда — тот золотник, что мал, да дорог. Придираясь, можно, конечно, углядеть задоринки. Можно посетовать и на недостатки полиграфического исполнения. Однако книга — полновесная, долгожданная.

Но вот что надобно прибавить.

Труд Джорджа Кеннана — давным-давно библиографическая редкость. Башмаков не напасешься, обходя букинистов, а вряд ли купишь. Остается уповать на превосходную серию «Литературные памятники Сибири», все ярче расцветающую на берегах Ангары. Право, честь бы и место в этой серии кеннановской «знаменитой книге» (Плеханов), «настоящей библии для ранних революционеров» (Калинин). Честь бы и место ей, переведенной с подлинника (ибо в прежних переводах пропасть погрешностей и пропусков), снабженной комментариями и именным указателем, иллюстрированной художником Фростом, тезкой и спутником Кеннана.

Юрий Давыдов.

★

ФАНТАСТИКА-81. М. «Молодая гвардия». 1981. 352 стр.

Новая научная теория только тогда имеет шанс быть верной, когда она достаточно «сумасшедшая». Эта известная, хотя и не слишком серьезная гипотеза Нильса Бора так полюбилась физикам и так часто подтверждалась на практике, что ее, пожалуй, можно считать четвертым боровским постулатом. С некоторыми поправками он применим и в научной фантастике. Здесь, правда, физические законы условны и любая предложенная автором идея хороша, если не противоречит законам художественным. Однако идея должна быть достаточно «сумасшедшей». Иначе это не фантастика. Иначе, как говорится, костюм не по размеру.

На первый взгляд в сборнике «Фантастика-81» требования жанра и «размеры» вымысла вполне соответствуют друг другу. К примеру, в повести «Ущелье Печального дракона» Валерий Демин показывает развитую цивилизацию змееящеров (с гравиталетами и эликсиром молодости!), предшествующую цивилизации человека. Змееящеры стремятся передать накопленные знания людям, но, не успев дочитать курс, вымирают из-за холодного земного климата... Чем не парадоксальный сюжет? Разве что палеонтологи заспорят, однако что там было с драконами, они пока и сами толком не решили.

Еще один пример — рассказ Ходжиакбара Шайхова «В тот необычный день...». В тот день (в 30-е годы XXI века) инженер Салимов попал в аварию на строительстве канатной дороги. Пока реконструируют израненное тело пострадавшего, мозг его на несколько часов пересажен в организм лани. Очнувшись, инженер замечает «что-то темное, продолговатое» перед своими глазами и с ужасом осознает, что это его нос. Но он человек с высшим техническим образованием и в отличие от коллежского асессора Ковалева, у которого, как вы помните, тоже были неприятности с носом, понимает, что подобная чепуха исправима и без обер-полицмейстера. Инженера-лань уже готовы усыпить для операции, но тут вдруг на работников лаборатории космодрома, находящегося рядом с клиникой, наваливается никому не известная болезнь. Медицина XXI столетия в замешательстве. О причинах эпидемии догадывается только инженер Салимов, благодаря своему сверхчеловеческому обонянию обнаружив какие-то вредные микроорганизмы, завезенные на Землю космолетом с Нептуна. Далее инженер в зверином облике, рискуя жизнью, совершает гражданский подвиг.

В такие невероятные истории можно, конечно, «впрячь» и лань, и драконов, и вообще что угодно. И все же швы трещат, какой бы суровой нитью ни сшивали авторы научно-фантастическую ткань своих рассказов. Для прозы сборника это, к сожалению, характерно. Отдельные удачные произведения — а они среди подборки из тридцати повестей и рассказов, естественно, есть — мало меняют общую картину.

В целом, по крайней мере по смелости фантазии, по «четвертому постулату», прогнозы и идеи беллетристов явно уступают научным, изложенным в научно-популярном разделе сборника. (В него включены интервью с космонавтом П. Поповичем, статьи члена-корреспондента АН СССР В. Сифорова, М. Васина и В. Скурлатова.) Информация о кольцах Урана, проблемах искусственного интеллекта, новости современной селекции, обзор научных гипотез об обратимости времени — все это оказывается значительно интереснее и фантастичней, чем ящеры на гравиталетах.

Безусловно, фантазия в фантастике — далеко не все. Приключение того же коллежского асессора Ковалева, казалось бы, совершенная нелепица, между тем повесть Гоголя — шедевр, «арабеск... великого мастера» (Белинский). Узор его сложен, складывается из переплетения многих мотивов, но в нем отчетливо выделяется линия социальная. В современной фантастике эта линия также важна. Мне даже кажется, что социальное в сегодняшней фантастике, в частности научной, может быть острей, свободней, чем в произведениях менее экзотических литературных жанров. Об этих возможностях «Фантастика-81», по-моему, подзабыла. Строители, халтуря, сдают объекты низкого качества; родители, занятые космическими полетами, запускают воспитание сына; что лучше: горячая земная любовь или холодное бессмертие — таковы примерно стержневые проблемы рассказов сборника. Масштабней в этом плане лишь фантастика Леонида Леонова и, пожалуй, критические статьи о фантастике, составившие заключительный раздел сборника — «Неведомое: борьба и поиск».

Я не утверждаю, разумеется, что стоит осовременить научный фон, да окрылить фантазию, да сдобрить все это острой социальной проблематикой — и получится «Гиперболоид инженера Гарина» или братья Стругацкие. Фантастика «по Бору» и «Фантастика-81», большая литература и литература посредственная,— не определимы четкими формулами, но различаются вполне точно. Поэтому, чтобы перейти от одного уровня к другому, высшему, все-таки нужна, думается, некая неделимая сумма качеств — своеобразный квант художественности. Почти как квант энергии, необходимый электрону при переходе на орбиту с бо́льшим радиусом,— в полном соответствии с третьим (абсолютно серьезным) боровским постулатом. Признаться, очень бы хотелось увидеть этот, в сущности, нефантастический для научной фантастики переход в следующем выпуске молодогвардейского сборника.

А. Белорусец.

ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КОСОЛАПОВА

На семьдесят втором году жизни скоропостижно скончался Валерий Алексеевич Косолапов.

Недавно, в канун Первомая, члены редколлегии «Нового мира» вели с Валерием Алексеевичем разговор о судьбе творческого наследия ушедшей от нас Мариэтты Сергеевны Шагинян, обсуждали материалы предстоящих номеров, и Валерий Алексеевич, как всегда, с присущими ему вдумчивостью и глубиной отзывался о прочитанных материалах, высказывал свои соображения относительно предстоящих публикаций.

Двенадцать лет Валерий Алексеевич Косолапов трудился в коллективе «Нового мира». Он был главным редактором журнала, членом редколлегии. Мы называли Валерия Алексеевича в узком кругу строителем литературного дела и обращались к нему за помощью и советом всегда, когда требовался его опыт.

В повседневной работе Валерия Алексеевича незримо присутствовала педагогика — свыше сорока лет назад он окончил Горьковский педагогический институт и на всю жизнь сохранил любовь к воспитанию человека, делал это умело и осторожно, с неизменным чувством такта. Его имя произносят с большим уважением именитые и молодые писатели, которым посчастливилось знать этого обаятельного и отзывчивого человека. Он пользовался большим уважением в коллективах «Красного воина», «Литературной газеты», издательства «Художественная литература», которыми в разные годы руководил.

Все, кто знал Валерия Алексеевича, видел в нем истинного советского интеллигента с присущими ему светлыми качествами — глубокой эрудицией, скромностью, деликатностью, преданностью делу, трудолюбием и самоотверженностью.

Сорок два года состоял Валерий Алексеевич Косолапов в рядах Коммунистической партии Советского Союза, мы его знали как честного и принципиального коммуниста, страстного публициста и литературного критика. В четвертой книжке нашего журнала за этот год читатель получил возможность ознакомиться с его новым выступлением о нашей многонациональной литературе.

Редколлегия и коллектив «Нового мира» лишились любимого, глубоко уважаемого товарища. Мы скорбим по поводу этой невосполнимой потери и выражаем глубокое соболезнование семье покойного.

Мы будем всегда хранить в своих сердцах светлую память о Валерии Алексеевиче Косолапове.

Редакция журнала «Новый мир».

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Критические заметки по национальному вопросу; О праве наций на самоопределение; О национальной гордости великороссов. 111 стр. Цена 15 к.

В. И. Ленин. Пролетарская революция и ренегат Каутский. 119 стр. Цена 15 к.

Л. И. Брежнев. Воспоминания. 46 стр. Цена 10 к.

Е. Парнов. Витязь чести. Повесть о Шандоре Петефи. («Пламенные революционеры») 431 стр. Цена 1 р. 60 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Василевич. Мыс Доброй Надежды. Повести и рассказы. Перевод с белорусского. 447 стр. Цена 1 р. 70 к.

Воспоминания о В. Овечкине. Составитель М. Колосов. 336 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. Меттер. Свидание. Повести и рассказы. 271 стр. Цена 1 р. 20 к.

Р. Рождественский. Голос города. Двести десять шагов. Стихи и поэма. («Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии СССР») 175 стр. Цена 85 к.

М. Слуцкис. Приглашение к танцу. Рассказы, повести, роман. Перевод с литовского. 439 стр. Цена 1 р. 70 к.

Г. Фиш. Письмо Надежде. Рассказы. 391 стр. Цена 1 р. 50 к.

М. Шагинян. Человек и время. История человеческого становления. 559 стр. Цена 3 р.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Я. Гашек. Похождения бравого солдата Швейка. Роман. Перевод с чешского. 416 стр. Цена 4 р. 20 к.

Н. Гильен. Избранное. Стихи, публицистика, проза. Перевод с испанского. 494 стр. Цена 2 р. 90 к.

А. Зегерс. Собрание сочинений. В 6-ти тт. Перевод с немецкого. Т. I. Восстание рыбаков в Санкт-Барбаре. Повесть. Соратники. Путь через февраль. Романы. 447 стр. Цена 2 р. 80 к.

Э. Уортон. Избранное. Перевод с английского. 511 стр. Цена 2 р. 70 к.

И. Шаркади. Избранное. Перевод с венгерского. 318 стр. Цена 2 р. 50 к.

«СОВРЕМЕННИК»

М. Дудин. Дальняя дорога. Книга стихов и поэм. («Библиотека поэзии «Россия») 424 стр. Цена 2 р. 10 к.

Нури Заки. Рождение весны. Книга стихов. Перевод с татарского. («Новинки «Современника») 65 стр. Цена 35 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Е. Гуляковский. Сезон туманов. Роман. 304 стр. Цена 1 р. 10 к.

Е. Долматовский. Интерстих. Стихи, поэмы. 223 стр. Цена 1 р. 20 к.

Море исчезающих времен. Повести и рассказы латиноамериканских писателей. Перевод с испанского, португальского, английского. 367 стр. Цена 2 р. 30 к.

Музыка голубого колодца. Современная скандинавская повесть. Перевод с датского, шведского, норвежского. 526 стр. Цена 1 р. 20 к.

«ПРОГРЕСС»

Г. де Бройн. Избранное. Перевод с немецкого. 560 стр. Цена 3 р. 80 к.

Э. Веси. Избранное. Перевод с венгерского. 208 стр. Цена 1 р. 20 к.

Земля и мужество. Современная словенская поэзия. Перевод со словенского. 279 стр. Цена 1 р. 50 к.

Из современной поэзии ГДР. Сборник. Перевод с немецкого. 312 стр. Цена 2 р.

«ИСКУССТВО»

В. Круглова. Василий Кузьмич Шебуев. 1777—1855. 151 стр. Цена 2 р. 20 к.

А. Лебедев, А. Солодовников. В. В. Стасов. («Человек. События. Время») 191 стр. Цена 5 р. 40 к.

В. Лихачева. Искусство Византии IV—XV веков. («Очерки истории и теории изобразительных искусств») 311 стр. Цена 2 р.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Б. Бегак. За горами, за морями. Очерки. 128 стр. Цена 40 к.

Д. Бедный. Избранное. Стихи и поэмы. Вступительная статья А. А. Суркова. Составитель В. Муравьева. 158 стр. Цена 35 к.

В. Беляев. Кто тебя предал? Повесть. Предисловие А. Белова. 224 стр. Цена 55 к.

А. Бодрова. Аринкино утро. Повесть. 160 стр. Цена 1 р. 10 к.

С. Михалков. Веселый день. Стихи. 287 стр. Цена 1 р. 50 к.

М. Энде. Момо. Фантастическая повесть. Перевод с немецкого. 207 стр. Цена 75 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Алексин. Звоните и приезжайте! Повести. «Московский рабочий». 416 стр. Цена 1 р. 40 к.

Р. Валеев. Вечером в испанском доме. Рассказы и повести. Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство. 276 стр. Цена 85 к.

А. Вампилов. Дом окнами в поле. Пьесы, очерки, статьи, фельетоны, рассказы, сцены. Составители А. П. Вампилова-Копылова, Л. В. Иоффе. Иркутск. Восточно-Сибирское книжное издательство. 640 стр. Цена 2 р. 40 к.

Мы живем в Москве. Рассказы молодых московских писателей. «Московский рабочий». 252 стр. Цена 70 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. Н. Бубнов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 24.03.82 г. Подписано к печати 12.05.82 г. А 08912.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)
27,82 уч.-изд. л. 8,5 бум. л. Тираж 350 000 экз. Зак. 1110.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 01890.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1982, № 6, 1—272.